



День

Арье
Барац

Шестой



Арье Барац

День шестой

Иерусалим 2026

УДК 82-3
ББК 84-4
Б24

Барац Арье

Б24 День шестой / Арье Барац. — [б. м.] : Издательские решения,
ISBN: 978-965-7862-82-7. 2026. — 638 с.
Издание третье дополненное и исправленное, 2026 год

«День шестой» — трилогия, включающая в себя романы: «1836», «1988» и «2140». Захватывающий интеллектуальный триллер, основывающийся на столь же реальных, сколь и загадочных событиях жизни автора, и приоткрывающий таинственную связь между разбросанными в веках творцами мировой культуры. Широкое признание придет к этой книге только в XXII веке, однако и в нашем столетии она несомненно найдет своего благодарного читателя.

**УДК 82-3
ББК 84-4**

16+

В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

Полиграфические услуги: Clickbook,
Иерусалим, www.clickbook.co.il

ISBN: 978-965-7862-82-7

© Арье Барац, 2026
© Лия Барац-Аруш, дизайн обложки, 2026

Книга эта относится к классу визионерских текстов. В ней много ума, наблюдений, анализа, осмысления. Книга уникальная по многим параметрам: по своему жанру, который я мог бы определить, как метафизические приключения, по своей энциклопедической основательности и по масштабу мысли; по своему напряжению в отношении автобиографического, экзистенциального смысла повествования, увлекательно сосредоточенного на метафизике. В ней сочетается невероятным образом профетическая и аналитическая составляющие. Автор предлагает свою оригинальную и убедительную концепцию исторического времени, основанную на еврейской традиции, предлагая свою собственную изнанку-интерпретацию библейских событий. Желаю книге быть прочитанной, пусть судьба ее будет славной.

Александр Иличевский

В традиционном романе исторический фон покоится, подобно декорациям театральной сцены; зато герои пребывают в движении. У Бараца же всё обстоит ровно наоборот: реальные и статичны хорошо известные читателям персонажи (Пушкин, Шеллинг, Дантес, Чаадаев, Гоголь и проч. — вплоть до о. Александра Меня и публициста Дова Конторера), в то время как историческое пространство мировой культуры препарируется, сжимается в комок и расправляется заново уже в ином, структурированном волею автора виде. Это не «романы людей», но «романы идей»,

Алекс Тарн

Предисловие автора

В 1993 году я издал книгу «Лики Торы». Комментарии к Пятикнижию переплетались в ней с автобиографическими заметками — с историей моих религиозных исканий.

В 1995 году, через два года после публикации книги, я обратил внимание на то, что одно событие моей жизни, не упомянутое в «Ликах Торы», обладает неожиданным загадочным значением.

Дело было так: весной 1988 года я посетил дом, известный по роману «Мастер и Маргарита» как дом «302-бис», где испытал исключительное в своем роде переживание, повлиявшее на всю мою дальнейшую жизнь.

По свежим следам я достаточно подробно записал детали того визита, однако в «Лики Торы» записей этих не включил, так как никакой смысловой нагрузки в необычных «декорациях» того события не заметил. Просто пикантность.

Но вот, семь лет спустя я перечитал «Мастера и Маргариту» и, сопоставив детали описанного Булгаковым «весеннего бала полнолуния» с собственными записями, крепко призадумался.

Я обнаружил ряд календарных нюансов, позволяющих усмотреть в дате моего визита код доступа в некую фантастическую религиозную систему. Я разглядел в «Мастере и Маргарите» литературную мистификацию, выявляющую весьма редкие «звездные» годы. Все эти годы не были богаты собственно «историческими» событиями, но, как оказалось, их легко можно было связать с основными литературно-философскими прорывами последних восьми столетий!

С той поры я не раз пытался как-то осмыслить и наглядно представить открывшуюся моему взору закулисную лабораторию.

Прежде всего, я основательно расширил и переработал «Лики Торы», введя туда соответствующую «булгаковскую линию». Последняя версия этой переработки, названная мною «Сверхновое время», была завершена в 2013 году. Но, как и предыдущие варианты, она получилась слишком мудрёной, чтобы привлечь широкого читателя, и я не спешил с ее публикацией.

Такого рода идеи нуждались в художественном оформлении, нуждались не столько в теоретическом, сколько в литературном раскрытии.

Лишь через 20 лет после своей находки, в 2015 году, я, наконец, решился. Я стал наводить справки о разбросанных в веках литераторах, я стал снаряжать их в дорогу. Всплыли неведомые мне до той поры имена, и из множества «надерганных по нитке» хаотических деталей как-то сам собой соткался роман, с одной стороны выявляющий мистическое измерение европейской литературы, а с другой — позволяющий усмотреть в ней неожиданный религиозный смысл.

Мне оставалось лишь слегка расцветить воображением реальные истории из Жизни Замечательных Людей и прочертить пересечение их судеб.

Нашла свое место и моя автобиографическая повесть, а исток всей этой грандиозной интриги невольно усмотрелся в евангельской (неведомо кем подслушанной) беседе Иешуа с дьяволом.

Так возникла трилогия «День шестой», 1-я и 3-я части которой — литературные исторические исследования (романы), а 2-я — автобиографическая повесть.

Вероятно, у кого-то моя «теология» вызовет серьезные сомнения, а у кого-то даже и резкую критику. Предупреждая эти закономерные движения человеческой мысли, я бы хотел отметить следующее. Я ручаюсь лишь за подлинность своей истории, что же касается ее теологической интерпретации, то всякий вправе предложить свою, и — лучше. В конце концов, я не единственный, кто посетил

дом «302-бис» в конце 80-х, и не единственный, кто по этому случаю поделился своими воспоминаниями. Каждый пишет, как он дышит. Это с одной стороны.

С другой стороны, сама эта интерпретация носит не «строго научный/религиозный», а заведомо «игровой», «беллетристический» характер. Идеи, нуждающиеся в художественном оформлении и литературном раскрытии, сами в первую очередь — «литература».

Однако это не делает их менее подлинными. Напротив. «Роман, — как выразился Шеллинг, — есть как бы окончательное прояснение духа».

Пролог

«День Восьмой». Так Торнтон Уайдлер назвал один из своих романов. «Человек не конец пути, а начало, — пишет автор. — Мы стоим сейчас в начале второй недели творения. Мы дети Восьмого Дня».

В расчет этот вкралась досадная ошибка. В действительности мы все еще находимся на исходе Дня Седьмого.

В конце каждого Дня Творения сообщается о его завершении. «И был вечер, и было утро: День Шестой». Далее же мы читаем: «И закончил Бог к Седьмому Дню работу Свою, которую Он делал, и отдыхал в День Седьмой от всей работы Своей».

Итак, про Седьмой День не сказано, что он завершен. Бог отдыхает и поныне, т. е. отдыхает в течение всей человеческой истории, начавшейся в момент завершения Творения и изгнания Адама из рая, датируемого Талмудом 3761 годом до н. э. Однако Талмуд датирует не только начало, но и конец истории, ограничивая ее продолжительность шестью тысячелетиями («шесть тысяч лет просуществовал мир»).

Откуда берется этот срок?

Пока Бог отдыхает, человек трудится подобно тому, как трудился Создатель, т.е. как Создатель творил мир в течение Шести Дней, так и человечество отрабатывает свои «шесть рабочих дней». Человеческая история представляет собой таким образом «рабочую неделю», каждый день которой занимает тысячу лет, как сказано: «тысяча лет в глазах Твоих, как день вчерашний».

Итак, согласно преданию Израиля, человеческой истории исходно отмерено шесть «тысячелетних дней», которые истекут в 2240 году по христианскому летоисчислению. Только тогда наступит седьмое тысячелетие, которое

явится «субботой человечества» и одновременно Восьмым Днем Создателя.

До той же поры мы остаемся детьми Седьмого Божественного дня, и — шестого тысячелетия человеческой истории, «Шестого дня человечества», который примечателен тем, что он соответствует тому Божественному дню, в который творился человек.

Виленский Гаон учил, что события «сотворения мира проявляются в тысячелетиях, каждый в свой день и в свой час».

Шестой «тысячелетний день», начавшийся в 1240 году н.э., явился, поэтому днем становления человека, днем его творческого взлета.

Наше время — время завершения Шестого рабочего «тысячелетнего дня» человечества и одновременно исхода Седьмого Дня Божественного Отдыха — время небывалое, сумеречное, сверхновое, в потоке которого могущественный Дух, имя которого нам еще предстоит уточнить, открывается в трех последних главах своей Великой Поэмы, в трех избранных годах человеческой истории — 1836, 1988 и 2140.

Если эти годы представить как часы тысячелетнего дня (дня, начинающегося в полночь), то 1836 год будет соответствовать примерно двум часам пополудни, 1988 — шести часам вечера, а 2140 год будет приближаться к десяти часам вечера. До 12-ти часов ночи, когда шестой тысячелетний день закончится, нам, живущим в пору создания этой книги, осталось немногим более пяти часов.

«1836»

6 (18) марта (1 нисана 5596)

Ольденбург

Наступила суббота, и вместе с ней первый день весеннего месяца Нисан. Вечерняя молитва завершилась, и молодой ольденбургский раввин Шимшон Гирш неспешно поднялся на возвышение посреди синагоги.

Все ждали его обычного в этот час поучения. Но час был необычен, и рабби Гирш чувствовал это.

Много лет в глубоком одиночестве продумывал он ответ, который его религия могла бы дать вызову, брошенному Просвещением. И вот после долгих трудов и перипетий его пробный камень, его «Письма с севера» должны были, наконец, увидеть свет! Он возлагал на ближайший год особые надежды.

— Только что вместе с субботой наступил месяц Нисан, — произнес рабби Гирш, — первый месяц еврейского календаря. Не странно ли это? Не странно ли, что Новый год мы отпраздновали полгода назад, а первый месяц года отмечаем только сегодня? Каким образом счет месяцев и счет лет ведется от разных дат? Ответ прост. На самом деле существует два новых года: один общечеловеческий, начинающийся осенью, а другой еврейский, начинающийся весной.

Общечеловеческая хронология ведется от сотворения мира — от 1 тишрея, хронология Израиля — от исхода из египетского рабства, от 1 нисана. Поэтому-то годы правления израильских царей считались по весне. Когда мы читаем в Писании: «В шестой год царствования Хизкияху», то уточняем срок не по дате помазания, а по 1-му нисана.

Сегодня наступил такой новый год царей. И хотя нет царства, к хронологии которого его можно было бы приложить, сам он об этом царстве напоминает.

Философы утверждают, что саморазвитие абсолютного разума завершилось. Вся Германия со дня на день ждет яв-

ления Мирового духа. Сынам Эсава чудится, что «иссякла череда новых духовных формаций», что История подводит итоги, а заразившиеся их лихорадкой сыны Иакова повсеместно оставляют веру отцов...

Но на самом деле до наступления седьмого, субботнего тысячелетия человеческой Истории еще пройдут века. И уж, конечно, это произойдет не раньше, чем народ Израиля вновь соберется на своей земле. И в день весеннего новолуния мы призваны предвкушать избавление, призваны надеяться, что царство Израиля восстановится в ближайшее время, в наши дни...

Петербург

В тот же вечер в дом Пушкина у Гагаринской пристани, подобно птице, имя которой он носил, шумно влетел сияющий Гоголь.

— Представьте, Александр Сергеевич! Я получил разрешение на постановку «Ревизора»!

Пушкин вскочил навстречу и порывисто обнял гостя.

— Bravo! Поздравляю!

— Не знаю, открывал ли Ольдекоп вообще мою пьесу, — заливался Гоголь, схватив Пушкина за воротник халата, — но он написал, что она «не заключает в себе ничего предосудительного», представьте себе!

Пушкин представил и усмехнулся.

— Я к вам как раз из театра. Отдал к постановке. Через месяц премьеры!

Пушкин осторожно высвободился и похлопал взбужденного гостя по плечу.

— А вот в это я уже поверить не могу...

— Ну, через два — точно. Эта пьеса преобразит Россию!

36-летний Пушкин не стал разубеждать 27-летнего Гоголя. В свои 27 лет Пушкин написал «Бориса Годунова», но вовсе не ожидал, что спасет этим Россию.

— Ну а как «Современник»? — поинтересовался Гоголь, усевшись на плетеный стул. — Что скажете по поводу моих последних материалов?

— Есть кое-какие новости... «Утро чиновника» я только третьего дня в цензуру отправил; из «Коляски» Крылов вымарал четыре места... А вот из статьи вашей «О движении журнальной литературы» я бы и сам кое-что выкинул...

В этой статье Гоголь прошелся по всем периодическим литературным изданиям, каждому вынес суровое порицание. Главным нападкам подверглась коммерческая «Библиотека для чтения», но досталось и «Северной пчеле», названной писательской мусорной корзиной, и «Сыну отечества». Даже «Московский наблюдатель» получил выговор за отсутствие в нем «сильной пружины, которая управляла бы ходом всего журнала».

— Что там не так?!

— Очень уж задиристо, обидятся люди... Ну, что вы, например, про Погодина пишите?! Я не могу с этим согласиться... Но в целом хорошо, тема развивается. Я бы вообще вам посоветовал написать историю русской критики — начало тут явно вами положено, но слишком уж пылко... Взгляните, тут помечены места, которые я бы не хотел видеть в печати...

Пушкин намеревался было дать некоторые разъяснения, но вдруг передумал; не захотел в такой радостный для Гоголя день затевать спор. Он приказал принести пироги, достал из шкафа бутылку рома, выставил рюмки, и подмигнул:

— Это тот самый ром, по «сто рублей за бутылку», который ваш Хлестаков будто бы хлещет. Признайтесь, что с меня его писали! И про картишки «по два дня кряду»?

Гоголь хлопнул себя по коленям и захохотал. Наблюдение Пушкина было верным и в комментариях не нуждалось.

В тот же вечер двадцатичетырехлетний поручик Жорж Дантес, красивый голубоглазый блондин, сидел в своей комнате в казарме кавалергардского полка. Прошло полгода с тех пор, как прекраснейшая женщина Петербурга — Наталия Николаевна Пушкина — сразила его, и вот уже три недели как он открыл перед ней свое сердце.

Чувство это было столь же внезапным и неожиданным, сколь сильным и сладостным, но сегодня пришло время его преодолеть. Того требовал высокий покровитель Дантеса — голландский посол барон Луи Геккерн. Он находился в отлучке, и в своем последнем письме объяснил Жоржу, что прелести госпожи Пушкиной уже давно были заслуженно оценены также и императором Николаем, и что если он — император — не добился ее благосклонности, то успехи Дантеса в этом направлении могут слишком дорого ему обойтись. Если Дантес дорожит так блестяще начатой карьерой, то ему следует полностью прекратить свои воздыхания. Между строк в послании барона сквозили и иные чувства, но Дантесу хватило одних этих явных аргументов.

Он осознал, что его друг и покровитель в сущности прав, и уселся писать ответ:

«Петербург, 6 марта 1836 г.

Мой дорогой друг, я все медлил с ответом, ведь мне было необходимо читать и перечитывать твое письмо... Господь мне свидетель, что уже при получении его я принял решение пожертвовать этой женщиной ради тебя. Решение мое было великим, но и письмо твое было столь добрым, в нем было столько правды и столь нежная дружба, что я ни мгновения не колебался... Я победил себя, и от безудержной страсти, что пожирала меня 6 месяцев, о которой я говорил во всех письмах к тебе, во мне осталось лишь преклонение да спокойное восхищение созданием, заставившим мое сердце

биться столь сильно... Она была много сильнее меня, больше 20 раз просила она пожалеть ее и детей, ее будущность и была столь прекрасна в эти минуты, что, желай она, чтобы от нее отказались, она повела бы себя по-иному, ведь я уже говорил, что она столь прекрасна, что можно принять ее за ангела, сошедшего с небес. Итак, она осталась чиста; перед целым светом она может не опускать головы. Нет другой женщины, которая повела бы себя так же... Ну, я уже сказал, все позади, так что надеюсь, по приезду ты найдешь меня совершенно выздоровевшим...»

18 (30) марта (католическая страстная неделя)

Париж

В 11-ом часу Александр Иванович Тургенев вошел в Собор Парижской Богоматери. Начиналась третья утренняя месса.

Первую часть дня Тургенев обычно проводил в архивах и библиотеках, а по вечерам посещал литературные салоны и театры, но сейчас у католиков шла страстная неделя, и несколько утренних часов у него уходило на молитвы и слушание проповедей.

Александр Иванович жил за границей, в России бывал наездами. Когда-то он пробовал служить на благо отечества, старался влиять практически — возглавлял департамент духовных дел иностранных исповеданий, но в 1824 году его отстранили от должности за либеральные взгляды, и он уехал за границу.

Во время событий на Сенатской площади Александр Иванович с братом Николаем находились в Париже, и назад как-то не потянуло. Особенно, конечно, Николая, которого заочно приговорили к повешению, но и Александр особых милостей к своей персоне не ожидал, и первый раз навестил Россию только через пять лет. Собрался он посетить родину также и в этом году.

После утренней мессы Александр Иванович перекусил в гостинице и направился в Сорбонну. Любопытных для него лекций здесь сегодня не объявлялось, но в библиотеке всегда имелось, в чем порыться.

Начать, однако, свой трудовой день Александр Иванович решил с утренних газет, и сразу же натолкнулся на весьма огорчившее его сообщение: готовившийся к изданию пушкинский «Современник», в который он — Тургенев — уже направил свои материалы, оказывается, задумывался не как ежемесячный журнал, а как квартальное издание! Писательским дарованием Александр Иванович не блистал, но журналистскими качествами обладал и рассчитывал поставлять Пушкину животрепещущие новинки из области литературы и всеобщей политики. Но какой интерес могут представлять из себя его послания чрез три или четыре месяца? Для Review нужны статьи, а не новости с пылу-жару... Как Пушкин мог не разъяснить ему такой важной подробности?!

Пушкина Александр Иванович знал еще ребенком. В каком-то отношении мог назвать себя его путеводной звездой. Ведь именно при его участии двенадцатилетний Пушкин был определен в Царскосельский лицей, и именно он способствовал сближению поэта с Карамзиным и Жуковским, которые столь замечательно повлияли на становление молодого таланта.

Порывшись около часа на полках, и убедившись, что сегодня ничем серьезным он заниматься не в состоянии, Тургенев вернулся в Собор Парижской Богоматери, а оттуда отправился напрямик домой, где предался полуденному сну.

Когда Тургенев пробудился, уже вечерело. Он присел за стол и тотчас вспомнил о «Современнике».

Даже странно, что у него с Пушкиным приключилось такое взаимонепонимание, ведь их связь была того рода, которую Чаадаев назвал «связью всех единомысленных людей».

Тургенев открыл ящик стола, достал последнее чаадаевское письмо и перечитал полюбившиеся ему строки.

«Значит, правда, что существует только одна мысль от края до края вселенной; значит, действительно, есть вселенский дух, парящий над миром, тот Welt Geist, о котором говорил мне Шеллинг и перед которым он так величественно склонялся; можно, значит, подать руку другому на огромном расстоянии; для мысли не существует пространства, и эта бесконечная цепь единомысленных людей, преследующих одну и ту же цель всеми силами своей души и своего разума, идет, следовательно, в ногу и объемлет своим кольцом всю вселенную. Продолжайте давать мне чувствовать движение мира: ваши труды, я надеюсь, не пропадут даром».

— Как замечательно сказано! — подумалось Тургеневу. — Как замечательно поддержал меня мой добрый друг! Мы единомысленные люди, разбросаны по всему миру, разбросаны даже по всем векам, но благодаря Мировому Духу чувствуем локоть друг друга... Я один в этой комнате, но в то же время теснейшим образом связан и с Чаадаевым, и с Шеллингом, и уж, конечно же, с Пушкиным, хоть даже и из газет, а не от него самого узнаю концепцию его журнала... А название подходящее — «Современник». Удивительно жить в пору раскрытия Мирового Духа, превращающего в современников все бывшие и будущие поколения!

21 марта (2 апреля) (Пасхальная ночь западных христиан)

Мюнхен

Пасхальный вечер тайный советник профессор мюнхенского университета Фридрих Вильгельм Иосиф Шеллинг провел в кирхе.

Домой он возвращался понурый, одиноко бредя за своей преданной Паулиной, увлеченно беседовавшей с сосед-

кой. Женщины шли рядом, и Шеллинг, невольно отстав, предался грустным мыслям.

Эта Пасха, к которой он готовился как к никакой другой, Пасха, которую еще год, да что там год — еще три месяца назад! — воспринимал как знамение возрождения его миссии в качестве Первого Мыслителя Европы, эта Пасха превратилась в знамение его провала!

Восхождение Шеллинга было феерическим. В 1797 году в 22 года он написал труд «Идеи к философии природы», издание которого, при содействии Гете, привело Шеллинга на кафедру философии Йенского университета в качестве профессора. Здесь в 1800 году он издал книгу «Система трансцендентального идеализма» и приступил к разработке «философии тождества», согласно которой в первооснове бытия лежит тождество субъективного и объективного.

Идея была навеяна диалогом Джордано Бруно «О причине, начале и едином», и впервые раскрыта в 1802 году в сочинении «Бруно, или о Божественном и естественном начале вещей».

Но наиболее полно Шеллинг изложил эту философию в 1804 году в сочинении «Система моей философии». Тогда же он создал близкие по духу «Философию религии» и «Философию искусства».

Но философия тождества оказалась внутренне противоречивой, она не поддавалась, точнее она не подлежала разработке. Коль скоро в основу бытия положена интуиция, а не разум, то разуму выпадает второстепенная роль. Кажущаяся успешной на уровне тезисов, «философия тождества» могла получить максимальное свое раскрытие лишь в литературной области. Область эта некогда манила Шеллинга: в юности он писал стихи, даже поэмы, позже писал и романы, однако окончательно определился он все же как философ, а не литератор, и теперь, приближаясь к старости, пожинал плоды.

Сочинения Шеллинга — сбившиеся с прямого рационального пути и уклонившиеся в сторону религии и визи-

онерства — стали вызывать насмешки философской публики.

Шеллинг как мог отбивался от нападков, но вдруг летом 1807 года, как вор из-за угла, выскочил Гегель со своей «Феноменологией духа». Всегда он был преданным учеником Шеллинга, всегда смотрел на него снизу вверх... но тут вдруг выступил с жесткой критикой! Впрочем, не в критике было даже дело, а в том, что критикуя, Гегель незаметно для публики выкрал у Шеллинга все его основные прозрения!

Поучая Шеллинга, как тому следует обходиться с выдвинутыми им идеями, Гегель бесцеремонно ввел эти идеи в свой оборот! В течение последующих лет этот мошенник показал себя в такой же степени неспособным завершить эти идеи, в какой неспособен был их изобрести. Но все, раскрыв рот, почему-то восторженно ему внимали!

Завладев его — Шеллинга — главной концепцией, концепцией истории как самосознания Мирового духа, Гегель завел эту историю в философский тупик, представляя ее чисто спекулятивной. Гегель не понимал, что из мысли невозможно вывести бытие, которое бы отличалось от бытия мысли! Гегель, как фокусник, который извлекает из шляпы заранее подброшенные в нее предметы, производил из собственной головы не имеющие никакого отношения к действительности «категории»..., а легковверная публика восторженно аплодировала!

Так вор и шарлатан Гегель стал первым умом Германии, а он, Шеллинг, истинный пророк Мирового Духа, оказался забыт и осмеян! Ситуация не изменилась и после смерти неблагодарного ученика.

Как бы то ни было, но глумление филистеров над трудами Шеллинга привело к тому, что он совершенно перестал публиковаться. Он писал, писал много, но никак не мог доработать текст до такого состояния, чтобы лишить своих озлобившихся недругов малейшей возможности над ним издеваться.

Результат оказался плачевный: с тех пор, как Шеллинг объявил о скорой публикации «Мировых эпох», написанных в 1811—1815 годах, прошло двадцать лет, а его последнее печатное произведение — памфлет против Якоби — появилось почти четверть века назад — в 1812 году!

Шеллинг по-прежнему хранил репутацию блестящего лектора. Чтобы услышать его суждение о «Философии мифологии» и «Философии откровения», люди съезжались со всей Европы, и на его выступления невозможно было пробиться. Но, во-первых, лекции — это особы предварительные, это эмбрионы, ожидающие своего рождения в виде книг, а во-вторых, лекции всеми старательно конспектируются, неизбежно обрастая при этом домыслами и неточностями. Были даже случаи, когда такие конспекты публиковались без его авторского ведома!

Измученный и издерганный Шеллинг два года назад, наконец, решил: он подписал контракт с издателем господином Георгом Коттом. Предполагалось опубликовать не просто отдельные работы, а полное собрание его сочинений: «Положительная философия» — один или два тома, «Философия мифологии» — шесть томов, и «Философия откровения» — два тома.

Появление в свет этих трудов должно было ознаменовать полноценное возвращение Шеллинга на философскую арену, должно было вернуть ему заслуженное положение, положение первого мыслителя Европы: не наместника Мирового Духа на земле, каковым мнил себя Гегель, а лишь его доверенного лица.

В этом опять же заключалось коренное расхождение Шеллинга с Гегелем. Мировой Дух пишет великую поэму, а не философский трактат, якобы знаменующий собой завершение истории. Если уж Мировой Дух действительно произнес свое последнее слово, то он произнес его в «Фаусте», а не в «Феноменологии духа»: «Теория, мой друг, мертва, но зеленеет жизни древо».

Пока Гете продолжал писать своего «Фауста», Шеллинг, собственно говоря, так и верил, то есть верил, что это произведение явится той, как он писал, «лежащей в неопределенной дали точкой, когда Мировой Дух сам закончит им самим задуманную великую поэму». Новый мир, начавший свое построение с «Божественной комедии», по всей видимости, завершает свое формирование в «Фаусте».

Однако, когда после смерти Гете была, наконец, издана пестрящая загадочными символами вторая часть «Фауста», пришли сомнения. Шеллинг почувствовал, что доктор Фауст — не последний штрих в соборном образе человека Нового мира, каким он останется на все времена. Что-то этому образу все же не доставало.

Сомнения эти навалились на Шеллинга как раз в ту пору, когда он решился издать собрание своих сочинений. По этому случаю он даже загадал, что события эти — издание его трудов и завершение мировой поэмы — совпадут; что в самое скорое время произойдет та литературная вспышка, которая осветит всю историческую композицию, и в которой Мировой Дух закончит задуманную им «великую поэму».

Последним сроком подачи рукописей издателю было 3 апреля 1836 года, то есть та самая Пасха, которую он сегодня встретил.

Два эти года Шеллинг напряженно работал, но рукописей г-ну Котту к сроку так и не представил. Не решился. Можно было, конечно, продолжать обманывать себя, говорить, что «не успел», но характер этого «не успел» был ему самому — особенно сегодня — слишком ясен: он не в состоянии довести свои тексты до должного блеска, он страшит глумливой критики. Ему шестьдесят один год, смерть, возможно, уже не за горами, а он так и не решился! Что его ждет?

Сегодня во время пасхальной службы он стал молиться, стал просить, чтобы Дух подсказал ему решение, дал бы какое-то знамение.

Судорожные метания, наивный порыв. Откуда? Какое знамение?

Подавленный этими нелегкими мыслями, Шеллинг брел в одиночку, основательно отстав от своей нежной любимой Паулины.

Приближаясь к особняку банкира Симона Селигмана, Шеллинг еще издали увидел освещенную лунным светом внушительную группу людей, столпившуюся у входа в дом.

Большинство из них выглядели обычно, но трое были одеты в черные лапсердаки, выдающие в них традиционных евреев. Удивляло, что несмотря на поздний час, в этой толпе было немало детей.

Поравнявшись с домом банкира, Шеллинг увидел среди этой толпы своего студента Макса Либиенталя, писавшего работу по Филону Александрийскому. Они раскланялись.

Шеллингу импонировали иудеи. Он не понимал ни Канта, ни Фихте, ни тем более Гегеля, глубоко презиравших еврейскую религию. Племенная самовлюбленность Израиля, равно как и глупое иудейское обрядоверие не казались ему — Шеллингу чем-то исключительным. А разве христиане вообще, и даже лютеране в частности, не помешаны на собственной правоте? Разве они не имеют своих обрядов? Все христианские направления привыкли выезжать на ограниченности иудаизма, не замечая, что в них самих не больше смысла, чем в нем. Все религии в равной мере держатся на множестве нелепых предрассудков, но у евреев, по крайней мере, есть впечатляющая история, есть даровитость, есть, наконец, связь с Писанием, хоть как-то оправдывающая их пристрастие. У католиков, протестантов, мусульман нет и того. В грядущую церковь войдут все без разбора, основываясь на чистоте помыслов, на достоинстве человеческой личности. В эту действительно свободную от обрядов церковь войдут и христиане, и евреи и даже язычники. Но пока этой вселенской церкви

не возникло, евреи менее остальных традиционных верующих заслуживают насмешек.

— Что это вы все тут делаете в столь поздний час, господин Лилиенталь? — поинтересовался Шеллинг.

— У нас тоже Пасха, герр профессор. Видите, полная луна? Это полнолуние месяца Нисана.

Шеллинг взглянул на огромную серебристую луну, нависшую над домом банкира.

— Сегодня календари печатают на бумаге, — продолжал Макс, — и все мы забыли про этот небесный нерукотворный календарь, забыли слова псалмопевца: «Он сотворил луну для определения времен». В небе подвешен календарь, герр профессор, при наметанном глазе ошибиться можно только на день.

— Луна — естественный календарь? Как это вы хорошо сформулировали, господин Лилиенталь... Так у вас, говорите, тоже Пасха? Выходит сегодня все повторяется...

— Я не понял. Что повторяется?

— Я имею в виду, что Иисус Христос был распят как раз накануне еврейской Пасхи, перед наступлением Субботы. В ту ночь, значит, в небе светила такая же яркая луна. Она кажется сегодня необычной яркой, не правда ли?

Ольденбург

В тот вечер за пасхальным столом двадцатисемилетнего раввина Шимшона Гирша собралось около двадцати человек — сам рав Шимшон, его ученики, жена Хана и трое их детей, старшему из которых, Менделю, исполнилось уже четыре года, и он вполне самостоятельно пропел: «Чем эта ночь отличается от всех прочих ночей?»

Без малого уже шесть лет рабби Гирш возглавлял еврейскую общину Ольденбургского княжества. Он без особого напряжения разрешал незатейливые проблемы окружавших его евреев — по большей части окрестных селян, вел несколько уроков в еврейской школе, и по десять —

двенадцать часов в день проводил над изучением священных книг.

Обсудить сложные вопросы со сведущим собеседником удавалась нечасто, и рабби Гирш с тоской вспоминал своих друзей Цви Ойербаха и Гершона Йеошофата, с которыми в свое время учился в Мангеймской йешиве.

Только в «хевруте», только в обсуждении с другом возможна полноценная учеба, но уже долгое время рабби Гирш был ее лишен. Единственной его собеседницей была его драгоценная Хана, с ней он размышлял над трудными местами Талмуда, с ней он делился своими тревогами о судьбе германского еврейства, с ней обсуждал и свои замыслы.

Хана была единственной свидетельницей его работы над книгой «Хорев», разъясняющей заповеди Торы людям, захваченным идеями просвещения.

«Даже если бы мы смогли постичь самый глубокий смысл каждой заповеди, — писал рабби Гирш в авторском предисловии, — или Сам Всевышний раскрыл бы нам его, — мы и тогда были бы обязаны исполнять их не из-за того или иного смысла, а потому, что нам заповедал их Всесильный».

Минувшей осенью работа была завершена. Но зимой выяснилось, что во всей Германии не имеется ни одного еврейского издательства, готового напечатать книгу, посвященную «отжившим свой век» законам! Головами германских евреев прочно овладели идеи прогресса, а набравшие силу реформисты, как могли, препятствовали традиционному просвещению.

После нескольких месяцев тщетных поисков, Хана предложила мужу попытать счастья в каком-либо нееврейском издательстве. Эта неожиданная идея оказалась плодотворной.

В типографии города Альтоны рабби Гирш получил еще один дельный совет: подготовить сначала небольшую брошюру, в которой бы излагались главные идеи, и уже,

если она разойдется, издать основную книгу. На такой риск издатель-христианин готов был пойти.

Рабби Гирш немедленно сел за работу, и в короткий срок написал «Письма с севера. Девятнадцать посланий о еврействе» — брошюру, в которой в полемической форме затрагивались все острейшие вопросы современности, все «за» и «против» Моисеева Закона. Незадолго до Песаха брошюра была отдана в набор.

Хане очень понравилось новое сочинение мужа.

— До сих пор и реформисты, и ортодоксы говорили как будто каждый сам с собой. А ты их столкнул — и получилось интересно. Особенно интересно было познакомиться с аргументами реформистов в твоём изложении.

— Их аргументы только им самим и кажутся новыми, по сути же они лишь повторяют тысячелетние христианские обвинения. И те и другие считают, что евреи о себе слишком много возомнили, веря в то, что Бог всех людей избрал именно их. И те и другие неспособны вообразить, что Бог может быть настолько «ограничен», чтобы всерьез требовать от кого-то соблюдения субботы.

Франкфурт

В тот же пасхальный вечер в десятом часу пополудни тридцати-двухлетний литератор и один из учредителей журнала «Московский наблюдатель» Николай Александрович Мельгунов вошел во франкфуртский собор Св. Варфоломея. Вот уже скоро год как Мельгунов путешествовал по Германии, общался со знаменитостями, писал для своего журнала «Путевые очерки» и лечился от преследовавших его смолоду головных болей и невралгий у доктора Иоганна Генриха Коппа, прославленного медика, последователя Ганемана.

Зиму Николай Александрович провел неподалеку от Франкфурта, в Ганау, где располагалась клиника доктора Коппа. В Ганау было скучно, и Мельгунов довольно ча-

сто наведывался во Франкфурт, прозванный «германским Парижем».

Пасху Мельгунов решил встретить в Соборе Св. Варфоломея — не просто самом роскошном и крупном во Франкфурте, но и самом «историческом», — в нем на протяжении столетий помазывались короли священной римской империи.

Часа за полтора до полуночной пасхальной мессы Мельгунов подошел к алтарю спящей Марии и застыл от неожиданного зрелища.

Перед скульптурным изображением, облокотившись на невысокий деревянный бортик, молилась девушка, на вид лет двадцати. Она была повернута к Мельгунову в пол-оборота, и он мог хорошо ее рассмотреть, не привлекая ее внимания.

Все в ней подчинялось какому-то глубокому молитвенному порыву. Ее нездешнее лицо с полуприкрытыми глазами и неслышно шевелившимися губами невольно завораживало, а ее изящная фигура, покрытая строгим лиловым плащом, казалось уносящейся куда-то ввысь.

Мадонна, — подумал ошеломленный Мельгунов. — Подлинная Мадонна!

Никогда Николай Александрович не испытывал такого странного порыва: хотелось повернуться спиной к мраморной Мадонне, и молиться вознесшейся в высшие миры живой девушке! Хотелось крикнуть: — Забери меня с собой! Забери туда, куда вознеслась!

Мельгунов был настолько прикован к этому видению, что когда девушка поднялась с колен и отошла в один из проходов, он не мог вспомнить, находились ли рядом с ней перед алтарем другие люди.

Какое-то время он еще держал девушку в виду, но к началу мессы она затерялась среди прибывающей толпы.

После службы, когда уже все разошлись, Мельгунов вышел на бульвар Гроссер-Хиршграбен, и пройдя по пустынной аллее несколько минут, уселся на скамейку.

Над четырехэтажным домом напротив висела огромная полная луна, светившая столь ярко, что в ее лучах таялся свет газовых фонарей, щедро установленных вдоль всего бульвара.

Лунный свет всегда успокаивал Николая Александровича, настраивал на искания и размышления. Так случилось и теперь.

— Как странно, — подумал Мельгунов, — для плоти ночь — это время сна, а для духа — время бодрствования, время невероятных открытий и находок. Днем же все наоборот: тело трудится — потеет, а дух впадает в спячку...

Мельгунов захотел уже было вернуться в гостиницу и записать неожиданно нахлынувшие на него мысли, как вдруг заметил медленно приближающуюся человеческую фигуру в сопровождении огромного черного дога.

Поравнявшись с Мельгуновым, человек остановился. То был невысокий, слегка сгорбленный старик, закутанный по самый нос шерстяным шарфом.

— Зитц! — скомандовал он собаке, которая немедленно уселась на задние лапы. Старик подсел к Мельгунову на скамейку.

— Какая луна, а?

— Да, редкой силы сияние, — согласился Мельгунов.

— Но с солнцем все же не перепутаешь?

— Что за странный вопрос?

— Вопрос политический, по меньшей мере, правовой. С одной стороны, вроде бы все ясно: одно светило яркое, другое тусклое, одно светит своим светом, второе — отраженным светом первого, но их видимый нашему глазу размер одинаков! Заметьте, когда они оба на небосводе, и одно на другое накладывается, то закрывает его, как два талера. Так что, хотя солнце в 400 раз больше луны, оно расположено во столько раз дальше от земли, что оба светила выглядят одного размера.

— Верно, — согласился Мельгунов, — действительно, их иногда можно даже перепутать... в сумерки и при силь-

ном тумане... Но интересно, кому это нужно, чтобы они казались нам одного размера? Или я глупый вопрос задал?

— Вопрос совсем не глупый. Если бы Шеллинг задался этим вопросом, вся его натурфилософия развивалась бы совершенно по другому... Был бы сейчас самым успешным философом, а он...

— Да, с Шеллингом нынче что-то не то происходит. Как объяснить, что этот некогда блестящий мыслитель за четверть века не издал ни одного труда? И при этом, как я слышал, сердится, что его обворовал Гегель? Хочется понять, в чем проблема — в субъективности или объективности, в его личной несостоятельности, или в общеполитических возможностях познания?

— Говорят, он работает над собранием сочинений. — многозначительно произнес старик. — Хочет одним разом всех удивить. Ой, получится ли?

— Так вы говорите ответ — в вопросе: отчего солнце с луной одного размера?

— Вот именно: отчего? Вот и подумайте на досуге.

Старик свистнул собаке и так же внезапно отошел, как и появился.

Мельгунова озадачил вопрос старика, но вернувшись в «Отель де Руссе», он первым делом записал все же начавшую складываться у него на скамье фразу: «Для людей, живущих внутренней жизнью, свет дня так же тягостен, как и для птицы Минервиной, и они охотнее глядят на опускающееся солнце или на бледный свет луны, на эту божью лампаду ночи, которая осветит их духовный труд, работы ума их, вдохновенный плод их сердца. Они любят вечер и захождение солнца потому, что это вестники духовного дня».

Петербург

В тот же субботний вечер Пушкин с женой были с визитом у Карамзиных. Историк Николай Михайлович Ка-

рамзин, умерший десять лет назад, сыграл в судьбе Пушкина выдающуюся роль, и как человек, и как литератор, и даже как покровитель: в 1820 году, после того как на столе Александра I появился текст оды «Вольность», именно заступничество Карамзина спасло поэта.

Вняв увещаниям придворного историка, «самовластный злодей» отказался от своего первоначального решения заточить Пушкина в Соловецкий монастырь, и вместо этого сослал его на Кавказ.

После смерти Карамзина Пушкин сохранил тесную дружбу с его семейством, с вдовой Екатериной Андреевной Карамзиной и детьми — Александром, Андреем, Вольдемаром и Софи.

В тот вечер собрались ближайшие друзья Александра Карамзина — Аркадий Россет, Михаил Юрьевич Виельгорский, чета Вяземских, Жуковский. Заглянул на тот огонек и поручик Жорж Дантес.

Покинул он, впрочем, компанию довольно рано — заторопился на пасхальную мессу, окинув на прощание Наталью Николаевну робким, но жарким взглядом.

Жуковский, поэт и царедворец, автор первого русского гимна, делился наболевшим:

— Вот вы говорите, только у нас цензура лютует... А в Германии ее что ли нет? Профессор Тюбингенского университета Давид Штраус издал книгу «Жизнь Иисуса, критически рассмотренная», так вся Германия гудит: как допустили? как просмотрели? где была цензура? Ну и, понятно, от преподавания автора отстранили. Лекций своих больше профессор не читает...

— Да что же он там такое написал? — удивилась Софи.

— Говорят, простым человеком Спасителя выставил, а чудеса объявил сказками!

— Господи помилуй! — перекрестилась Екатерина Андреева.

— Но сам я пока не читал. Только заказал по почте прислать...

— Отстае от жизни, Василий Андреевич, — заметил Вяземский. — Книга очень серьезная, думаю, что в России один Чаадаев в состоянии написать на нее опровержение.

— Вы меня пугаете.

Заговорили об Антихристе и о том, что книга Штрауса — верный знак его скорого приближения.

— Раньше вот все считали, что Антихрист — Наполеон, — заметила Софи. — А теперь на кого думать? Может с востока его ждать?

— С востока? — усмехнулся Жуковский. — На восток, слава Богу, одна Россия простирается, уже с другого края к Западу подбираемся.

— Не понимаю я этих восторгов по поводу размеров страны нашей. — вяло и как бы в сторону возразил Вяземский. — Зачем нам Польша? Зачем Америка? Поляков лучше иметь в качестве явных врагов, чем при каждом держать часового и следить, что бы снова не восстали, а до Аляски столько лет скакать, что управлять этим краем решительно невозможно.

— А мне нравится, что есть Русская Америка, — не согласился Пушкин. — Мне про нее Федор Толстой много интересного рассказывал. Сбежал бы туда. Да и подумать только, на трех континентах страна наша раскинулась! А ведь размер страны влияет на самочувствие ее гражданина. Как по-разному человек чувствует себя во фраке и в домашнем халате, так же и на большой и малой земле.

— Вот и я как раз о том же! — подхватил Вяземский. — Размер России стал уже частью русской души — широкой и неспешной, от того у нас и от мысли до мысли пять тысяч верст!

Спор завязывался нешуточный.

Жена Пушкина Наталья Николаевна тем временем сидела в сторонке и листала альбом Софи.

— Мы не надоели тебе своими географическими изыс-

каниями, дорогая? — спросил Пушкин, заметив скучающий вид жены.

— Можете продолжать, я вас не слушаю...

— Ну зачем же так, хочешь, пойдем домой? — предложил Александр Сергеевич.

Пушкин взял жену под руку, и они откланялись.

В экипаже Пушкин между прочим спросил: — Я смотрю, этот француз записался к тебе в поклонники?

— Ты заметил?

— Он ел тебя глазами.

Наталя Николаевна немного смутилась.

«Этот француз» не только воспылал к ней самой невышенной страстью, но месяц назад объяснился ей в любви и, что самое главное, вовсе не оставил Наталью Николаевну равнодушной.

Этот молодой человек, ее сверстник, отличался редкой обаятельностью и пользовался всеобщей любовью. Как было устоять? Услышав, что она любима, Наталья Николаевна скоропалительно, словно кто-то тянул ее за язык, призналась в ответных чувствах, но заявила Дантесу то же, что и Татьяна, выведенная ее мужем в поэме «Евгений Онегин». Она сказала ему, что «не может быть счастлива иначе, чем уважая свой долг».

Теперь ее долг, по-видимому, состоял в том, чтобы открыть эту интригу супругу, но, конечно, не всю. Признаться мужу в своем чувстве к Дантесу ей казалось совершенно излишним. Эта рана, сладостно ноющая в ее сердце, после шести лет брака с Пушкиным вправе оставаться секретом от мужа, которому и без того хватает забот: мелочная и унижительная опека правительства, вечные долги, цензура и Бог знает что еще.

— Как-то между двумя ритурнелями кадрили он успел наговорить мне множество восторженных слов... Но ведь не он первый, кто назвал меня прекраснейшей женщиной Петербурга.

— Давно ли приключилось это излияние?

— Не помню точно. Около месяца... даже больше.

— Около месяца?! А я заметил только теперь? Я, похоже, сам не в себе...

— Мне тоже кажется... Ты в последнее время взрываешься от всякого пустяка... Но не беспокойся по поводу Дантеса. Это совершенно невинный воздыхатель, который решительно ни на что не рассчитывает.

— Не понимаю, какие вообще могут быть расчеты на даму в твоём положении... — усмехнулся Пушкин, кивнув на семимесячный живот своей супруги.

Наталья Николаевна была права. Он был не в себе последнее время. После выговора, полученного от Бенкендорфа за пьесу «На выздоровление Лукулла», осмеявшую Уварова, последовало назначение Крылова в качестве цензора. После этого неприятности повалились одна за другой. Небрежность, допущенная Пушкиным при переводе «Вастола», была истолкована некоторыми как сознательный обман публики... Московский знакомый Пушкина Хлюстин сказал ему это в лицо, и после обмена резкими репликами дело чуть не дошло до поединка.

А теперь еще всплыла история с оскорбительными словами, якобы сказанными Наталии Николаевне Сологубом, и Пушкин уже твердо решил ехать к тому в Тверь, чтобы потребовать удовлетворения.

В этот вояж поэт рассчитывал отправиться после выхода в свет первого номера «Современника». Но тут как раз слегла мать, было очевидно, что долго ей не протянуть. Пришлось остаться в Петербурге и каждый день навещать родителей.

— Да, ты совершенно права, — Александр Сергеевич придвинулся к жене и взял ее за руку. — Я немного не в себе.

Где-то вдалеке раздался звон колоколов.

— Что это?! Ах, да — католическая пасха, — вспомнил Пушкин. — Наша — через неделю.

22 марта (3 апреля) (Воскресенье — Католическая пасха)

Франкфурт

В воскресное пасхальное утро, после ночи, проведенной за письменным столом, Мельгунов вновь направился в собор Св. Варфоломея.

Он постоял у всех алтарей, обошел все ряды, однако того увиденного накануне вдохновенного лица среди молящихся так и не обнаружил.

После службы Мельгунов перекусил в небольшом кафе, а затем снова вышел на бульвар Гроссер-Хиршграбен, и прогуливаясь по нему, вдруг лицом к лицу столкнулся со черашней незнакомкой.

Их глаза встретились. Оторопевший Мельгунов остановился и было потянулся к шляпе, однако, чтобы не выглядеть навязчивым, приподнять ее так и не решился.

Заметившая этот неловкий жест, Мадонна приветливо улыбнулась и, не замедлив шага, прошла мимо писателя.

Мельгунов несколько мгновений стоял в нерешительности, а когда оглянулся, никого позади себя не увидел.

По-видимому, девушка вошла в подъезд ближайшего четырехэтажного дома. Больше ей деваться было некуда, да и дверь, вроде бы, только что стукнула.

Ошеломленный Мельгунов с минуту смотрел на массивную дубовую дверь, и вдруг заметил, что стоит перед домом Гете.

Великий германский поэт большую часть своей жизни провел в Веймаре, но родился он во Франкфурте, и именно в том доме, в котором, по-видимому, скрылась девушка, протекали его детство и отрочество.

В отличие от Веймарского дома, превращенного в грандиозный музей сразу после смерти поэта, дом во Франкфурте несколько раз перепродавался, и в нем обитали совершенно посторонние Гете люди.

Все в городе знали, что здесь когда-то жил автор «Фауста», а туристы постоянно останавливались напротив входной двери и, запрокинув голову, тыкали пальцем в мансарду. Но дом этот продолжал жить своей собственной жизнью, никак не связанной с жизнью великого поэта.

— Так она из этого дома! — сообразил Мельгунов, и только тут вдруг его осенило, что вчерашний старик, сравнивавший луну и солнце, был очень похож на Гете!

Облик великого поэта был знаком Мельгунову не только по литографиям. Однажды, семь лет назад, он встретился с ним лицом к лицу — когда передавал ему книгу от Проспера Мериме. Встреча была мимолетной, но черты гениального старца крепко впечатались в память Николая Александровича.

Да и как бы могло быть иначе? Ведь он воспринимал Гете как доверенное лицо Мирового Духа, как самое приближенное к Нему лицо, во всяком случае, из современников!

Когда в 1806 году наполеоновские войска заняли Йену, и Бонапарт самолично объехал город, то стоявший в толпе Гегель увидел в нем явление Мирового духа. «Мне посчастливилось видеть Мирового Духа, проезжающего верхом на лошади», восторженно писал он друзьям.

Мельгунов, хорошо уяснивший от Шеллинга, что в первую очередь именно поэты творят историю, пережил нечто похожее в ту минуту, когда обменялся приветствиями с 78-летним Гете.

И вот теперь это странное явление.

— Что же это такое было вчера? — испугался Мельгунов. — С кем я разговаривал? И действительно ли моя Мадонна исчезла за этим порогом?

Чтобы понять, почему Николай Александрович так встревожился, нам необходимо более подробно рассказать его историю.

В юности Мельгунов принадлежал к тому московскому кругу литературной университетской молодежи, в котором в 1823 году возникло тайное «Общество любителей».

Восемнадцати-девятнадцатилетние юноши жадно проглатывали сочинения Канта и Шеллинга, а затем, засиживаясь за полночь, бурно обсуждали прочитанное. Собирались друзья обычно или в маленькой квартирке у Владимира Одоевского в Газетном переулке или в Кривоколенном переулке в просторном доме стихотворца Дмитрия Веневитинова — красавца с огромными голубыми глазами, осененными небывало длинными бархатными ресницами. Безнадежная любовь к очаровательной Зинаиде Волконской придавала его взору особую грусть.

Ни политика, ни городские сплетни, ни тем более карьерные вопросы никогда не обсуждались на этих вдохновенных собраниях — только смысл Поэзии, только «Одиссея Мирового духа» занимали умы любителей!

Кто только из творческой молодежи не бывал на тех «тайных» встречах! Помимо «посвященных», помимо постоянных членов «тайного общества», куда наряду с Веневитиновым, Одоевским и Мельгуновым входили Хомяков и Киреевский, были и «вольные слушатели», такие как Погодин, Андросов, Шевырев, Кошелев. Сюда заходили Тютчев и Кюхельбекер, а Пушкин читал любовным драмам «Бориса Годунова». Что же касается Николая Мельгунова, то он был своим в доме Веневитинова, и частенько прогуливался с его хозяином по Кривоколенному переулку. Обычно друзья выходили на Чистые пруды, усаживались на тенистую скамейку под липами, и рассеянно наблюдая за плавающими по пруду утками, самозабвенно обсуждали откровения Шеллинга и прозрения Канта.

— Понимаешь, — говорил Мельгунов, — шеллинговская идея полярности пронизывает всё, равно как и всё

объясняет. Почему я не могу, например, до конца встать ни на сторону тех, кто ратует за исконную Россию, ни на сторону тех, кто молится на Запад? Шеллинг прав, это как полюса магнита, они немыслимы друг без друга. Распили железный брус, и две половины опять превратятся в тот же магнит. Точно также нельзя отделить Восток от Запада, православную церковь от католической.

— Я нисколько не спорю с идеей полярности, — печально опуская свои пышные ресницы, отвечал Веневитинов, — но обрати внимание, что никому другому не мешает при этом быть либо за Восток, либо за Запад. Только тебя одного это почему-то так смущает, только ты один хочешь их вместе удержать. Это просто твой характер. Ты хочешь всех на свете перемирить.

— Верно. Хочу! Какая мысль! И что в этом плохого?!

В 1824 году многие «любомудры», сдав специальный экзамен, устроились на службу в Московский архив министерства иностранных дел в Хохловом переулке. Мельгунов был среди них. Работы было немного, присутственных дней — два в неделю, и юноши, прозванные с той поры «архивными», продолжали и здесь свои философские изыскания. Продолжали их вплоть до 1826 года, когда разгневанный декабрьским мятежом государь запретил любые сомнительные сборы.

Но в следующем году пришло настоящее несчастье: Веневитинова арестовали по подозрению в связях с декабристами и три дня продержали в каземате, отчего у него расстроилось здоровье. После того как через месяц он простудился, то уже не встал с постели и скончался 15 марта 1827, не прожив и двадцати двух лет.

Все были ошеломлены и подавлены.

«Как вы позволили ему умереть?» — воскликнул услышавший горькую весть Пушкин. А Мельгунов, бывший всего на год старше своего безвременно ушедшего товарища, пребывал в настоящем отчаянии, все напоминало ему о друге.

Необходимо было как-то отвлечься. Через две недели после смерти Веневитинова Николай Александрович взял четырехмесячный отпуск и отправился в путешествие по России.

Осенью он как будто бы вернулся в колею, зима обошлась без каких-либо драматических происшествий.

Ровно через год после смерти Дмитрия — 15 марта 1828 года — Николай Мельгунов посетил с утра его могилу в Симоновом монастыре, а под вечер пришел посидеть на той скамейке на Чистых прудах, где они обыкновенно обсуждали мировые вопросы.

Поначалу Мельгунов грустно глядел на покрытый еще кое-где льдом пруд, а потом прикрыл глаза и стал читать по памяти стих, написанный его другом:

*В вечерний час уединенья,
Когда, свободный от трудов,
Ты сердцем жаждешь вдохновенья,
Гармоньи сладостной стихов,*

*Читай, мечтай — пусть пред тобою
Завеса времени падет,
И ясной длинной чередою
Промчится ряд минувших лет!*

*Взгляни! уже могучий гений
Расторгнул хладный мрак могил;
Уже, собрав героев тени,
Тебя их сонмом окружил —*

*Узнай печать небесной силы
На побледневших их челах.
Ее не сгладил прах могилы,
И тот же пламень в их очах...*

Мельгунов читал очень медленно, растягивая каждое слово, но при этом достаточно громко, чтобы его можно было услышать со стороны. После слов «И тот же пламень в их очах» он сделал паузу... и вдруг услышал, как чтение стиха продолжает уже не его, а чей-то другой голос.

*Но ты во храме. Вкруг гробницы,
Где милое дитя лежит,
Поют печальные девицы
И к небу стройный плач летит:*

Мельгунов открыл глаза и повернулся на звук. Рядом с ним на лавке сидел молодой человек. Картуз полностью прикрывал его волосы, ворот студенческого кителя был приподнят, глаза же скрывались за фиолетовыми очками.

Молодой человек продолжил чтение:

*«Зачем она, как майский цвет,
На миг блеснувший красотой,
Оставила так рано свет
И радость унесла с собою!»*

*Ты слушаешь — и слезы пали
На лист с пылающих ланит,
И чувство тихое печали
Невольно сердце шевелит.*

*Блажен, блажен, кто в полдень жизни
И на закате ясных лет,
Как в недрах радостной отчизны,
Еще в фантазии живет.*

— Кто вы? — с трепетом спросил Мельгунов.

Вместо ответа молодой человек снял фиолетовые очки, и Николай Александрович увидел те самые незабываемые голубые глаза и бархатные ресницы!

— Дмитрий! — воскликнул Николай Александрович.

Но в этот миг видение подернулось, заколебалось и стало расплываться. При этом зрачки его сузились в вертикальном направлении как у кошки и, блеснув этими жуткими глазами, явление исчезло.

* * *

Вскоре после этого явления Мельгунова стали мучать кошмары. Перед его глазами то и дело всплывало лицо Веневитинова с кошачьими глазами. Видение неотвязно преследовало его, заставляя просыпаться посреди ночи в холодном поту....

Мельгунов чувствовал, что начинает сходить с ума.

И тогда ему пришла идея описать загадочного темного духа, являющегося под видом различных умерших людей.

Повесть, названную им «Кто же он?», он начал словами: «Я лишился друга. Знавшие его не могут обвинять меня в пристрастии: то был ангел, ниспосланный на землю и отозванный прежде, нежели что-либо человеческое успело исказить его божественную природу. Стоило взглянуть на возвышенное, всегда восторженное чело его, чтобы прочесть на нем неизгладимое свидетельство его небесного происхождения...

Скорбь друзей покойного была невыразима; но из живой и сильной она обратилась постепенно в тихую грусть: печальное и вместе сладостное наследство! Прошло около года после его кончины; наступила весна.

Я прихожу в банк и, в ожидании выдачи денег, смотрю на пеструю, движущуюся толпу, которая ежедневно теснится в этом здании. Там встречаются все сословия, начиная от вельможи, закладывающего свое последнее имение, до простого селянина, который кладет в рост избыток

своих скудных доходов. Меня развлекало это движение, коего пружиной была потребность денег, денег и еще денег. Двери почти не затворялись; знакомые и незнакомые лица мелькали передо мною: то веселые, то пасмурные, а чаще невыразительные, они появлялись и исчезали, как тени в фантазмагории. Но вот двери отворяются настежь; молодой, осанистый человек величаво сбрасывает с себя плащ на руки лакея и быстро проходит чрез залу в совет банка. Не прошло пяти минут, мой незнакомец возвратился из совета; я смотрел тогда прямо ему в лицо... то был покойный друг мой!».

Главным героем этой повести являлся демон Вашиадан, который приходит к человеку под видом утраченного им родственника или близкого друга. Мельгунов погрузился с головой в процесс сочинительства, это его развлекало и приносило успокоение.

* * *

Время шло, но отношение властей к поэтам не менялось. В ноябре 1830 года шеф жандармов Бенкендорф учинил Дельвигу оскорбительный разнос, и пригрозив сослать его в Сибирь, объявил о закрытии «Литературной газеты», в издание которой Антон Антонович вложил все свои силы и весь свой талант.

Через два дня поэт тяжело занемог, и так и не оправившись от болезни, скончался 14 января 1831 года, за месяц до женитьбы ближайшего своего товарища — Пушкина.

Как раз в те дни Мельгунов договаривался с издателем журнала «Телескоп» Николаем Ивановичем Надеждиным о публикации «Кто же он?». Повесть появилась в одном из осенних номеров.

Лишь через четыре года Мельгунов узнал, что в первую годовщину своей смерти Дельвиг явился своему другу Левашову.

Стоит ли удивляться тому, что последние странные события 1836 года во Франкфурте привели писателя в замешательство? Мельгунова охватил страх — неужели он опять сходит с ума? Что это за странные явления такие — «Мадонна», «Гете»? Неужели это видения? Неужели — Вашиадан?

Нет, нужно успокоиться, прийти в себя и помыслить трезво. «Мадонна» — это просто живая девушка, которая, по-видимому, живет в этом доме, а странный старик, рассуждавший о луне и солнце — просто странный старик. Возможно даже, он какой-то родственник Гете. Отсюда и сходство. Нужно держать себя в руках.

29 марта (10 апреля) (Православная пасха)

Петербург

В день светлого Христова воскресения умерла мать Александра Сергеевича — Надежда Осиповна.

Она желала быть похороненной в Михайловском, в стенах Святогорского монастыря, рядом с могилами родителей — Осипа Абрамовича и Марии Алексеевны.

Отпевание назначили на понедельник, но к вечеру в дом родителей Пушкина стали собираться друзья и родные — принести семейству свои соболезнования.

— Надежда Осиповна очень набожна была, — отметил Плетнев. — и вот Бог как ее отметил — забрал в день своего воскресения...

— И впрямь удивительно, — согласился Пушкин. — Ведь матушка почти месяц плоха была, со дня на день кончины ее ждали, а умерла именно в святой день. Специально Бог ее до этого дня довел, чтобы отметить. В добрый час, в добрый день матушка умерла!

Помолчав, Пушкин зачем-то добавил:

— А я вот не в добрый день родился и не в добрый день женился...

— Что еще такое?

— Есть такая «колдовская рукопись», в которой 26 мая и 18 февраля названы «несчастливыми».

Аркадий и Софья Карамзины с усмешкой переглянулись, они привыкли уже к пушкинской суеверности, слышали не раз и про эту страшилку, которую уже было начал цитировать Пушкин: — «Кто в один из сих дней родится — занеможет...»

Плетнев не терпел суеверий и стал решительно возражать:

— Опять ты с этой «рукописью». Что за выдумка? И рождением твоим все вокруг довольны, и брак твой счастлив необычайно. Помнишь, ты сомневался, когда женился к Наталии Николаевне, говорил: «черт меня догадал мечтать о счастье, как будто я для него создан». А вот сколько уже лет в счастливом браке живешь. Зачем все это на себя напрасно наговариваешь?

30 марта (11 апреля)

Петербург

В понедельник с утра Надежда Осиповна была отпета, и гроб с ее телом в сопровождении Александра Сергеевича отправился в Святогорский монастырь.

Вечером этого же дня Жорж Дантес сел за стол, чтобы закончить письмо голландскому послу Геккерну. До его возвращения в Петербург оставалось еще полтора месяца, и Дантес очень скучал по своему другу и наставнику.

Невольно припоминалось бывшее, припомнилось как он, двадцатилетний юноша, сын опального роялиста, отправился в поисках счастья в Россию.

Угодив где-то в Германии под проливной дождь, он сильно простудился и слег в невзрачной гостинице

небольшого городка. И так случилось, что как раз в ту пору той же дорогой ехал в Россию нидерландский посланник — барон Луи Геккерн. Экипаж дипломата повредился, было поздно, барон вынужден был заночевать в убогой гостинице, и случайно заглянув в соседнюю комнату, увидел обворожительного юношу, мечущегося в горячке.

Барон немедленно принялся выхаживать больного горячим пуншем, и когда тот возымел действие, юркнул к Жоржу под одеяло, убеждая, что тому необходимо согреться.

Любовные процедуры длились недолго, но в результате их Жорж пережил совершенно неожиданное и ранее не испытанное наслаждение.

Когда утром Жорж очнулся, все еще слабый, но заметно поправившийся, он поначалу несколько смутился.

Но барон находился рядом и немедленно мудро и тактично стал объяснять юноше, что в пережитом наслаждении не было ничего предосудительного и тем более постыдного.

Лекция с привлечением аргументов из «Философии в будуаре» маркиза Де Сада и «Терезы-философа» маркиза д'Аржана длилась недолго — не более четверти часа, но произвела на Дантеса неизгладимое впечатление.

«Как это действительно мудро, просто и верно! — поразился Жорж. — Бог не мог дать человеку возможность испытывать такое яркое наслаждение и одновременно запретить его переживать! В соблюдении ветхозаветного запрета „не мужеложествуй“ не больше смысла и правды, чем в запрете питаться свининой».

Как католик католику барон объяснил Жоржу, что возникшая между ними близость не может одновременно считаться и «прелюбодейством», так как строится в совершенно ином измерении и не имеет в виду деторождения. Достигнутая между ними близость — это нега и нежность в своем чистейшем и первичном проявлении! Радости эти нигде не пересекаются с собственно брачными, если в них

вообще почему-либо возникнет необходимость. У него — Луи Геккерн — никогда так и не возникла.

* * *

Барон Луи Геккерн и Жорж Дантес прибыли в Петербург в октябре 1833 года.

Геккерн немедленно ввел своего любовника в высший свет и стал хлопотать о его карьере, определив в кавалергардский полк, а через два года, после тщательного изучения юридической стороны вопроса, отправился в Эльзас для того, чтобы оформить усыновление Дантеса, усыновление, которое бы позволило им открыто жить под одной крышей до конца дней.

Геккерн не раз уверял Дантеса, что взаимоотношения того с женщинами его не волнуют, хотя он и ожидает от него умеренности в этой области.

Но Дантес чувствовал, что любовь к Пушкиной все же не может не быть некоторым испытанием для его нежного друга, и продолжил писать начатое накануне письмо, в котором выражал намерение победить свое чувство к первой красавице российской столицы.

«Петербург, суббота 28 марта 1836 г.

...Хотел писать тебе, не говоря о ней, однако, признаюсь, письмо без этого не идет... Как и обещал, я держался твердо, я отказался от свиданий и от встреч с нею: за эти три недели я говорил с нею 4 раза и о вещах, совершенно незначительных, а, ведь Господь свидетель, мог бы проговорить 10 часов кряду, пожелай я высказать половину того, что чувствую, видя ее. Признаюсь откровенно — жертва, тебе принесенная, огромна. Чтобы так твердо держать слово, надобно любить так, как я тебя; я и сам бы не поверил, что мне достанет духу жить поблизости от столь любимой женщины и не бывать у нее, имея для этого все возможности. Ведь, мой драгоценный, не могу скрыть от тебя,

что все еще безумен; однако же сам Господь пришел мне на помощь: вчера она потеряла свекровь, так что не меньше месяца будет вынуждена оставаться дома, тогда, может быть, невозможность видеть ее позволит мне не предаваться этой страшной борьбе... Так вот, когда бы ты мог представить, как сильно и нетерпеливо я жду твоего приезда, а отнюдь не боюсь его — я дни считаю до той поры, когда рядом будет кто-то, кого я мог бы любить — на сердце так тяжело, и такое желание любить и не быть одиноким в целом свете, как сейчас, что 6 недель ожидания покажутся мне годами».

Дантес.

13 (25) апреля

Копенгаген

Сёрен Кьеркегор, 24-летний студент теологического факультета Копенгагенского университета, сидел с приятелями в кафе на площади Нюторв, неподалеку от своего дома. День выдался неожиданно теплый, и присесть можно было также и в открытой части кафе.

Сёрена не волновало, что отец может его заметить, что старик расстроится, увидев как его сын потягивает вино, вместо того чтобы сидеть на лекции. Все это для Сёрена уже давно не имело значения. Для него были открыты дома самых видных и уважаемых людей датской столицы, но он предпочитал им общество пропойц, бездельников и таких же вечных студентов, каким был он сам.

Компания живо обсуждала сердечные неурядицы одного из них — Ганса Рердама.

— Могу тебя утешить, — сказал соученик Сёрена Йоханнес. — Это не только твоя проблема. У нас на богословском учат, что все дочери Евы пройдохи. В книге Экклезиаста сказано: «Чего еще искала душа моя, и я не нашел? —

Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел».

— Причем, если во времена царя Соломона это было просто эмпирическое наблюдение, — попыхивая сигарой, добавил Сёрен, — то в наш век было научно доказано, что по-другому и быть не может.

Все с интересом обернулись на Кьеркегора.

— Доказано? — удивился Ганс. — Что ты имеешь в виду?

— После того как Кант открыл свою максиму, после того как он показал, что человек может выступать для другого человека только как цель, но не как средство, женщинами стало невозможно обладать!

— Разве? Я, признаться, этого не заметил! — хихикнул Йоханнес.

Йоханнес даже не догадывался, что Сёрен и вовсе не имел никакого любовного опыта. На равных участвуя в циничных пересудах своих приятелей, Кьеркегор сумел убедить их в том, что не делится собственными любовными похождениями исключительно по скрытности характера.

— Я не о том, — усмехнулся Кьеркегор. — Я говорю о том, что если ты берешь девушку за руку, а не канат с ней перетягиваешь, то наслаждаясь прикосновением к ней, ты ее используешь.

— Но ведь и ей же нравится это?

— Это означает только то, что и она тебя использует. Наслаждаться можно яблоком или антрекотом, но не человеком. Кант доказал нам это со всей своей германской прямолинейностью и интеллектуальной честностью.

— Значит, только платоническая любовь нам остается? — засмеялся Эмиль, друг Сёрена. — Назад к Данте!

— В том-то и дело, что — нет! Физическое обладание как раз еще как-то можно было бы обойти с помощью какого-нибудь хитроумного софизма, вроде: воздайте телу телесное, а душе — душевное. Сложности начинаются именно тогда, когда речь заходит о платонической любви,

ведь любовь требует полного обладания именно душой, требует абсолютной верности, абсолютной покорности. Деспотизм брачной любви уничтожает любящих. Любовь несет в себе саморазрушение... Любовь — это мираж, который следует немедленно выбросить из сердца. Поверьте, совсем не случайно кенигсбергский мудрец не подпускал к себе женщин.

Все смеялись, воспринимая слова Кьеркегора как чистой воды гротеск, как насмешку над «критикой чистого разума». Но для самого Кьеркегора в этой шутке заключалось слишком много внутренней правды.

Вернувшись домой, он сделал запись в своем начатом два года назад дневнике: «Я только что вернулся с вечеринки, где был её душой, шутки лились из меня потоком, все смеялись и восхищались мной — но я ушёл — да, в этом месте прочерк должен быть длинным как радиус земной орбиты — и хотел застрелиться».

18 (30) апреля (Суббота)

Мюнхен

Вернувшись из университета, Шеллинг застал свою супругу Паулину в весьма возбужденном состоянии.

— Ты слышал, что произошло?

— Может быть, и слышал, — неуверенно ответил Шеллинг. — Что ты имеешь в виду?

— Значит, не слышал! Элеонора, жена атташе русского посольства Теодора Тютчева, покушалась на свою жизнь!

— Что она сделала?!

— Она нанесла себе несколько ножевых ранений, истекая кровью, выбежала на улицу и там потеряла сознание. самого Тютчева в тот час дома не оказалось, ее подобрала соседка, она же вызвала врача. Теодор только через час появился. Угрозы для жизни нет, но весь Мюнхен, как сам понимаешь, теперь гудит. Мать троих детей — и такое над

собой совершила! Только тебя такие новости умеют обходить..

— А в чем дело? Известна причина?

— Ты еще спрашиваешь? Разве не видно, что Теодор без ума от Эрнестины Дёрнберг? Мне уже месяц назад показалось, что между ними что-то произошло. Помнишь, как они разговаривали на последней выставке Буассере?

История эта несколько вывела Шеллинга из себя. Тютчев был один из ближайших его русских друзей, да и Элеонору он знал давно. Как все это ужасно, разлад в семье, смерть близких!

Шеллинг вздрогнул, вспомнив тот ужас потери, который сам пережил более четверти века назад, похоронив свою первую жену Каролину.

Он вошел в кабинет, достал из стола портрет Каролины и углубился в воспоминания... Почему-то вспомнилось, как вскоре после женитьбы они вместе писали роман «Ночные бдения», а потом подписали его Бонавентурой.

— Как славно мы тогда с ней повеселились, — улыбнулся Шеллинг. — Наверно, то были лучшие моменты моей жизни...

Он взял с полки «Ночные бдения». Они писали этот роман в то время, когда романтика, относящаяся к эпохе «бури и натиска», изжила себя, и в их книге это проявилось. Романтизм предполагал самоиронию, вызванную непомерностью поставленной им задачи «восхождения с уровня плесени до уровня Херувимов». В «Ночных бдениях» Фридрих и Каролина вдоволь посмеялись над самой этой самоиронией...

Шеллинг очнулся, лишь когда стало смеркаться и ударил колокол, оповещающий о начале вечерней службы.

Он взглянул на календарь — тридцатое апреля. Шеллинг ужаснулся — прошел уже почти месяц после обозначенной в контракте даты на сдачу рукописи — Пасха, 3 апреля. Все это время Шеллинг не мог писать. Он не прикасался к своим трудам, целиком сосредоточившись на лекциях.

Тридцатое апреля — ночь на первое мая, значит, приближается Вальпургиева ночь, самое подходящее время для «ночных бдений». И Шеллинг вышел из дому, побродить по ночному Мюнхену. Когда он проходил мимо дома банкира, то опять, как и в Пасхальную ночь, увидел группу людей, среди которых снова находился Макс Лилиенталь.

— Я встречаю вас здесь второй раз. Вы, по-видимому, родственник Симона Селигмана?

— Нет, просто сосед. Захожу иногда к ним на субботу. Она как раз сейчас закончилась.

— Мы виделись здесь с вами месяц назад, в пасхальную ночь, вы помните? — спросил Шеллинг.

— Определенно, герр профессор.

— И нынешняя ночь точно такая же, то есть воскресная... Но только не Пасхальная, а Вальпургиева.

— Вы не вполне правы, профессор. — улыбнулся Лилиенталь. — Нынешняя ночь не только снова воскресная, но и снова пасхальная. Взгляните на луну. Она снова полная.

— Вы шутите! Что ж это у вас, каждый месяц Пасха?

— Положим, не каждый, но два раза в году — определенно. Если бы Иерусалимский Храм не был разрушен, то завтра утром на святой горе вторично закалывались бы пасхальные агнцы — этот праздник именуется Песах Шейни, Второй Песах, его празднуют в месяце Ияре.

— Вот как, — удивился Шеллинг. — Опять Песах, значит. Какое зловещее совпадение! Воскресная Вальпургиева ночь совпадает с пасхальной ночью евреев! Уж не знаю, чего можно ждать от этой ночи...

И раскланявшись с озадаченным студентом, Шеллинг побрел по направлению к дому.

Франкфурт

Той же ночью, в это же самое время во Франкфурте происходили уже совершенно необыкновенные события.

Мельгунов возвращался с вечерней мессы из собора Святого Варфоломея, опять, как обычно, напрасно прождав там свою «Мадонну». Опять, как обычно, он дошел до дома Гете и сел на скамейку, к которой месяц назад подошел старик с собакой.

Так же как и в ту пасхальную ночь, все было залито серебристым лунным светом, и в Мельгунове невольно зашевелилась надежда — ведь сегодня тоже была не просто ночь, а Вальпургиева ночь, а это должно было что-то значить для странного старика, если конечно это был не просто случайный прохожий.

Однако, не просидев и пяти минут, Мельгунов стал зябнуть от внезапно поднявшегося со стороны Майна прохладного ветра. Придерживая шляпу и подняв воротник сюртука, Мельгунов поспешил домой. В этот момент какая-то огромная собака погналась за ним. Мельгунов остановился и замахнулся тростью на заливающееся лаем животное, как вдруг кто-то мягко взял его за плечо и командовал собаке — «Зитц!». Собака тут же села и преданно посмотрела на Мельгунова. Николай Александрович медленно обернулся и обомлел — это был тот самый тогдашний старик, надежда не обманула! От неожиданности Мельгунов даже согрелся.

— Так почему же луна и солнце на нашем небосводе выглядят одинаковыми, хотя одно светило многократно больше другого и по размеру, и по отдаленности от земли? — спросил старик, словно отходил не на месяц, а на минуту.

Мельгунову показалось, что минувший месяц куда-то провалился, что продолжалась та же самая пасхальная ночь. Казалось, он просто задумался над вопросом старика и только сейчас очнулся, чтобы на него ответить.

— Видимо так Создатель задумал. Вряд ли это случайно получилось, ведь вероятность случайного совпадения видимых размеров этих двух светил очень невелика... Полагаю, что Творец подстроил так умышленно... Извините,

но почему Вас так интересует этот вопрос? Что бы изменилось, если бы зримый размер Солнца на небосводе превосходил бы размер луны?

— Может быть, ничего бы и не изменилось, но вы только подумайте, сколько из наблюдаемых нами предметов на поверку оказываются бутафориями, выглядят декорациями к какой-то постановке! Линия горизонта, голубой хрустальный небосвод, плоская земля, одинакового размера солнце и луна. Зачем и кому понадобилось создавать эти оптические иллюзии?

— Вы хотите сказать, что это проделки Мирового Духа?

— Я хочу сказать, что равенство светил в этом ряду занимает особое место, что оно дано нам как подтверждение того, что все под контролем, что мир управляется Разумом. Равенство светил — это подпись, это именная печать Высшего Разума!

— Не просто Разума, — уточнил Мельгунов, — а именно Мирового Духа, то есть Разума, раскрывающегося в человеческой истории, Разума, обращенного к человеку!

— Вы, я вижу, являетесь поклонником Шеллинга? — улыбнулся старик.

— Вы угадали, — смутился Мельгунов. — На меня произвела огромное впечатление его идея Мирового Духа. Только представьте себе — весь мир создан творческим воображением Мирового Духа!

— Я не совсем понимаю вашего восторга. Но разве всего этого не говорила религия? Разве это Шеллинг открыл, что мир создан Богом?

— Религия — это сказка, она пользуется языком мифа, в ней слишком много случайного, детского, даже ложного. Сегодня даже Новый завет слишком ветх для нас. Лишь в Мировом Духе истина явилась, наконец, очищенной от всех посторонних привнесений!

— Мне кажется, что вы несколько переоцениваете чистоту Мирового духа. Боюсь, он не столь чист, как вам кажется, — усмехнулся старик. — Но продолжайте.

— Таким образом, все, что мы видим — на самом деле великое произведение искусства! Но тогда видимое равенство совершенно разных светил и в самом деле подтверждение его авторства! К голым холодным формулам при-
мешано воображение!

Мельгунов чрезвычайно оживился. Он был одержим этой идеей, он целиком подчинил ей свое творчество, написав ряд повестей, в которых действительность тесно переплеталась с фантазией и как бы ею задавалась. «Ни голой правды, ни голого вымысла, — писал Николай Александрович в предисловии к своей книге. — Задача искусства — слить фантазию с действительной жизнью. Счастлив автор, если в его рассказах заслушаются былого, как небылицы, а небывалому поверят, как были».

— Вы понимаете, — стал развивать свою мысль Николай Александрович, — произведение искусства отличается от документа истории тем, что оно больше документа. Вымысел и действительность не просто соседствуют в нем, а необходимо соседствуют. Невозможно помыслить романа, который бы отчасти не опирался на действительность, а отчасти не был бы порожден воображением писателя. Но как роман расцвечен воображением, так же и сама действительность, ведь она создается воображением Мирового Духа! Но поэтому и в действительности — как знак, как знамение — просто обязано присутствовать что-то небывалое, что-то фантастическое! А видимое равенство светил — это именно что-то невероятное, небывалое, нарочито подстроенное!

Николай Александрович был взволнован. Он, наконец, до конца додумал свою давнюю мысль.

— Совершенно с вами согласен, — поддержал Мельгунова Старик. — Действительность расцвечена фантазией. Вот хотя бы это сходство нынешней Вальпургиевой ночи с Пасхальной.

Мельгунов пристально взглянул на своего собеседника, который в эту минуту вплотную приблизился к нему

и впервые повернулся лицом. Света луны вполне хватало для того, чтобы его рассмотреть. Мельгунов затрепетал. Старик, в самом деле, был неотличим от Гете!

— Кто вы? Что здесь сейчас происходит? — опешил Николай Александрович.

— Видите ли, в нынешнем году в Одиссее Мирового Духа намечается интересный поворот. Все как будто бы идет к написанию последнего акта.

— В великой поэме Мирового Духа будет поставлена точка, о которой нам поведал Шеллинг?

— В общем-то, да. Хотя, если быть точным... Придет другой, и Пасху приурочит — к классической «Вальпургиевой ночи»...

— Это какой-то стих из Фауста?

— Не совсем. Скажите мне вот что: Сколько раз мы с вами здесь во Франкфурте встречались?

— Один, — выпалил Мельгунов. Получилось это у него автоматически, настолько сомкнулась их нынешняя встреча с предыдущей.

— Вы правильно посчитали. Дело пойдет. Прощайте.

И старик, кликнув собаку, двинулся по аллее и растворился в ночи.

Петербург

В тот же день в Петербурге Гоголь поздно вечером навестил Пушкина, который два дня как вернулся из Михайловского, и все не мог налюбоваться на вышедший в его отсутствие первый том «Современника».

— Завтра премьера «Ревизора», — напомнил Гоголь. — Будет, как и обещал, смешнее черта. Надеюсь, вы не забыли?

— Был бы рад, но после смерти матушки еще и месяца не прошло. Так что меня не ждите. Но не расстраивайтесь, я еще зимой у Жуковского прослушал «Ревизора» в вашем собственном исполнении, а чтец вы отменный.

— Примите мои соболезнования... очень жаль... А я как раз принес вам еще кое-что почитать... Помните, вы мне сюжет подбросили про скупщика мертвых душ?

— Как такое забудешь! Вы сами над душой стояли — идею требовали.

— Так вот я, представьте, начал, и уже две главы набросал.

— Прекрасно. Давайте только чай разольем.

Пушкин распорядился, чтобы человек подал чаю, а Гоголь достал из папки листы.

— Только не рассказывайте никому, Александр Сергеевич. Я вам первому читаю. А о том, что я писать этот роман начал, только вы, Жуковский и Плетнев знаете...

И Гоголь стал читать.

Поначалу Пушкин улыбался и даже несколько раз звонко рассмеялся, однако вскоре сделался сумрачен, и сидел безучастно.

Закончив чтение, Гоголь бросил на осунувшегося Пушкина вопросительный взгляд.

— Боже, как грустна наша Россия! — с тоской произнес тот.

— Вот те на! Да чего же тут грустного? — растерялся Гоголь.

— Грустно. Вы хотели рассмешить, а вышло наоборот. Безжизненные души. Очень правдиво, и очень грустно.

— Я не то хотел показать, не только то... Надо подумывать, как это мрачное впечатление загладить...

— Знаете что, давайте прогуляемся перед сном, — предложил Пушкин. — Погода стоит волшебная. Какой воздух! Я вчера два часа по улицам бродил. До могилы Дельвига дошел...

Друзья неспешно шли вдоль пустынной в этот час набережной. Нева серебрилась в лунном свете, с тихим плеском набегаая на гранит.

— Какая яркая луна! — заметил Гоголь. — Словно солнце. При такой читать можно...

— А чародействовать, небось, и того лучше... Когда в Одессе мне один грек гадал, то вывез ночью в поле под такую же вот точно яркую и полную луну...

— И чего он вам нагадал?

— Нагадал, что мне начертано умереть от лошади или от беловолосого человека...

— Вы раньше сказывали, будто бы это вам здешняя немка на кофе нагадала...

— Верно, госпожа Киршгоф первая это предсказала. Но грек потом подтвердил, торжественно, при луне... А сегодня луна и впрямь необычная, словно в вашем «Вие». Там, кажется, у вас вместо месяца светило какое-то солнце...

В эту минуту Пушкин заметил, что Гоголь его не слушает, а восторженно всматривается в черные воды Невы с отражающейся в них луной.

— Мой гений! — вырвалось у него, — мое небесное виденье!

Простояв так с минуту, Гоголь как будто опомнился и заторопился домой.

— Вы кого-то видели? — поинтересовался Пушкин.

— А вы, разве, нет?

— Я — нет...

— Поздно, дорогой Александр Сергеевич. Мне пора, завтра премьера.

* * *

Войдя в свою комнату, Гоголь бросился в кресло и еще долго мечтательно молился, но не Богородице, не Спасителю, а своему Гению.

Пришла минута, которую он столько ждал — минута завершения блистательного труда.

— Завтра наша «грустная» Россия очнется, — мечтал писатель. — Завтра у нее состоится «ревизия», завтра она посмотрится в зеркало «Ревизора» и начнет меняться к лучшему! Такова целительная сила искусства!

Гоголь не то что бы надеялся на это, он твердо знал, что именно это и произойдет.

Семь лет минуло с той поры, как двадцатилетний юноша с чувством избранничества и жадной служения прибыл в Петербург.

«Поприще», о котором мечтал он с отроческих лет, открылось поначалу в Департаменте Уделов, где Гоголь переписывал документы: буквы выходили ровные — залюбуешься. Но по вечерам на чердаке в Гороховом переулке он стал писать сказочные истории о малороссийской жизни. С этими историями Гоголь пошел к Дельвигу, которому повести полюбились и который стал знакомить юношу с литераторами, с Жуковским, а позднее с Пушкиным.

Дело пошло, малоросские истории стали публиковаться. Одновременно при содействии Плетнева Гоголь устроился в Патриотический Институт учить девиц истории, а вскоре и вовсе стал профессором в Санкт-Петербургском Университете. Читал курс лекций по средним векам.

Неудача с переводом в Киевский Университет в 1833 году сосредоточила Гоголя на литературе: не в лекциях, не в исторических исследованиях, а именно в сочинительстве увидел он теперь свое истинное поприще, поприще, на котором его ждал успех.

В канун наступающего 1834 года он клятвенно заклинал своего Гения: «Молю тебя, жизнь души моей, мой Гений. О не скрывайся от меня, пободрствуй надо мною в эту минуту и не отходи от меня весь этот, так заманчиво наступающий для меня, год. Какое же будешь ты, мое будущее?.. О будь блистательно, будь деятельно, всё предано труду и спокойствию! Что же ты так таинственно стоишь предо мною 1834-й? — Будь и ты моим ангелом. Я не знаю, как назвать тебя, мой Гений! О взгляни! Прекрасный, низведи на меня свои чистые, небесные очи. Я на коленях, я у ног твоих! О не разлучайся со мною! Живи на земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой. Я совершу... Я совершу! Жизнь кипит

во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет витать недоступное земле божество!»

Так заклинал он своего Гения в канун нового 1834 года, и все действительно сложилось наилучшим образом: были написаны «Арабески» и «Миргород», творческий подъем продолжался. С этой же верой вступал Гоголь также и в 1836 год, и опять все оправдалось: им с Пушкиным разрешили издавать «Современник», первый номер которого лежит сейчас на его столе, а главное, разрешен и в самый короткий срок поставлен «Ревизор»!

— Соверши это завтра, мой добрый Гений! Соверши это чудо, пусть с этого часа грусть России станет развеиваться, как рассеется мрак этой ночи с завтрашними лучами солнца, да и вот уже начал рассеиваться в серебряных лучах луны!

19 апреля (1 мая)

Петербург

Гоголь проснулся в кресле с каким-то тяжелым чувством. Вчерашнее половодье чаяний и восторгов совершенно схлынуло. Откуда-то выползла тревога.

С беспокойством подъехал Гоголь к Александрийскому театру, и войдя в примерную, оторопел.

Он ведь просил хотя бы последнюю репетицию провести в костюмах! Не хватило духу настоять, и вот результат. Клоунада!

Актеры были выражены в какие-то нелепые седые парики, неопрятные, взъерошенные, с выдернутыми огромными манишками.

Не на шутку расстроенный Гоголь проследовал в зал и уселся между Жуковским и князем Вяземским, которые оба слышали уже «Ревизора» в исполнении самого автора.

Зал заполнился самыми избранными чиновниками, генералами, министрами, блестящими наряженными да-

мами. Наконец, с некоторым опозданием появился и государь.

Действие началось... и уже очень скоро несчастного автора стал прошибать пот. Нелепая игра вызывала в публике то возмущенный ропот, то взрыв неуместного смеха.

Какой ужас! Ведь он все этим клоунам объяснил! Один только Сосницкий, игравший городничего, как будто бы во всем разобрался и единственный был на месте. Бобчинский и Добчинский ни на что негодились!

Но главная роль провалилась совершенно! Дюр ни на волос не понял, что такое Хлестаков, не понял, что тот не просто хвастун, а человек, впервые в жизни столкнувшийся с вниманием к своей особе! Неужели же не видно из самой роли, что такое Хлестаков? Он никого не надувает; он не мошенник; он забывается и сам почти верит тому, что говорит. Его вдохновляет внимание, которого он до сих пор никогда ни в ком не встречал! Выдавая себя за другого, он мечтает, он представляет себя таким, каким желает быть! Но в исполнении Дюра Хлестаков сделался рядовым водевильным вралем!

Вжавшись в кресло, Гоголь неподвижно просидел до конца спектакля.

«Тут всем досталось, а больше всего мне», — заявил Николай по завершении пьесы, а затем вошел в гримерную и, громко расхохотавшись, объявил актеру, сыгравшему Добчинского:

— Вы желали, чтобы государь знал, что в таком-то городе живет Петр Иванович Добчинский? Так вот теперь я знаю об этом.

Но Гоголь этого не видел. Как только упал занавес, он бросился вон из театра и еще долго метался в смятении по улицам.

— Провал! Провал! Бросить все к черту и бежать вон из этого мрачного Петербурга, бежать от этой свинцовой тоски!

Москва

В тот же воскресный день профессор русской истории Московского университета 36-летний Михаил Петрович Погодин собрал на обед полтора десятка своих коллег и друзей.

Дни в Златоглавой стояли теплые, и впервые в этом году пообедать можно было не в гостиной, а в просторном саду погодинского дома на Девичьем поле.

После обеда все разбрелись маленькими кружками. Рядом с Погодиным оказались «басманный философ» Петр Чаадаев, редактор «Наблюдателя» Василий Петрович Андросов и профессор филологии Владимир Печерин.

— Вы слышали, господа, что вышел, наконец, первый номер «Современника»? — поинтересовался Андросов.

— Не только слышал, но вчера уже вертел его в руках, — с некоторым пренебрежением ответил Чаадаев. — Но что за название такое — «Современник»? Современник чего? XVI-го столетия, из которого мы никак не выкарабкаемся?

— Оставьте, Петр Яковлевич, — усмехнулся Погодин. — Для того этот журнал, наверно, и задумывался, чтобы вырвать Россию из средневековья. А название мне кажется замечательным. Мы ведь живем в какое-то особенное время, в которое человечество окончательно повзросло. Вам разве не кажется? Отныне все люди, которые придут после нас, будут нашими современниками. Кант и Шеллинг превратили свое время во время всех бывших и будущих эпох!

— С этим я, пожалуй, согласен, — произнес Чаадаев. — История подошла к своему завершению. По этому вопросу даже Шеллинг с Гегелем не спорят. Конец Великой Поэмы, авторство которой Шеллинг приписывает Мировому Духу, не за горами.

Слова эти были глубоко прочувствованы. Петр Яковлевич не сомневался, что таинственный час действительно

приближается, и даже решил внести в историю свою лепту. На эту встречу на Девичьем поле он принес рукопись своих «Философических писем», чтобы передать их Андросову. Вдруг тот решится опубликовать их в «Московском наблюдателе».

— Не помню такой теплой весны, — проговорил Погодин. — Не помню, чтобы когда-нибудь в середине апреля вот так сирень расцветала.

— Это у нас апрель, а в Европе сегодня уже 1 мая, — заметил профессор Печерин.

— В чем-то мы отстаем от Запада на 12 дней, а в чем-то на 12 веков! — проронил Чаадаев. — Примерно столько столетий минуло с тех пор, как в Римской империи повально стали освобождать рабов. А у нас рабство и поныне цветет как майская сирень.

— Но подумайте только, — горячо возразил Андросов, — Как народ наш преобразится после того, как это рабство повсеместно отменится и крестьянские дети отправятся в школы!

— А у меня, признаться, воображения не хватает это представить. — уныло выговорил Печерин. — Везде это холопство, отовсюду оно прет, и повсюду все подавляет. Я тут раз возвращаюсь домой и вижу — на крыльце сидит нищая старуха. Оказалась моей крестьянкой из села Навольново.

«Видишь ты, батюшка, — говорит. — Староста-то наш хочет выдать дочь мою Акулину за немилого парня, а у меня есть другой жених на примете, да и сама девка его жалует. Так ты вот сделай милость да напиши им приказ, чтоб они выдали дочь мою Акулину за парня такого-то».

Я взял листок бумаги и написал высочайший приказ: «С получением сего имеете выдать замуж девку Акулину за парня такого-то. Быть по сему. Владимир Печерин». В первый и последний раз в моей жизни я совершил самовластный акт помещика и отослал старуху. Весь этот наш

с вами протест, господа, в рамках того же барства протекает. Не имеем мы никакой опоры, чтобы вырваться из этой трясины.

— Опора — в религии, — многозначительно возразил Чаадаев. — На Западе первые случаи освобождения были религиозными актами, они совершались перед алтарем и в большинстве отпускных грамот мы встречаем выражение: *pro redemptione animae* — ради искупления души. А у нас закабаление идет при полном попустительстве церкви.

— А мне иногда кажется, что это размеры погубили Россию, — заметил Печерин. — У нас народ никогда всерьез с властью не боролся, просто бежал на Восток, бежал на Дон к казакам. В такой ситуации образованным людям не остается ничего другого, как бежать на Запад.

В 1831 году Печерин окончил филологический факультет Петербургского Университета, а в 1833 уехал на стажировку в Берлинский Университет.

«Оставь надежду всяк сюда входящий!», — вырвалось у Печерина, когда прошлым летом он, возвращаясь после стажировки домой, пересек германскую границу и оказался в пределах Российской империи.

В тот же миг он ясно осознал, что не сможет в ней оставаться, и через полгода после начала своей профессорской карьеры в Московском Университете окончательно решил оставить Россию. Разрешение съездить на лето в Берлин Владимир Сергеевич получил довольно быстро, и через месяц собирался навсегда покинуть страну. Распространяться об этом он, однако, не стал, и лишь заметил:

— Помните, как Мельгунов в «Путевых очерках» описал свое первое чувство, с которым сошел с корабля на европейскую землю?

— Не помню, но могу догадаться, — усмехнулся Чаадаев.

— Он писал о «неизъяснимом чувстве блаженства», о «чувстве заключенного, который после долгого заточе-

ния вдруг был выпущен на свет Божий», что-то в этом роде.

— Надо же! — удивился Чаадаев. — И цензура пропустила!

Франкфурт

Мельгунов между тем сидел в тот момент на бульваре Гроссер-Хиршграбен на той самой скамье, на которой накануне ночью беседовал со стариком.

В очередной раз не встретив на утренней мессе свою «Мадонну» в соборе святого Варфоломея, Николай Александрович пришел сюда в надежде увидеть ее выходящей из дверей дома, в котором, как он предположил, она жила.

Может быть, ее появление прольет какой-то свет на произошедшее, может быть она что-то знает о двойнике Гете? А может быть, наоборот — ее саму придется признать видением? Впрочем, если это было видение, то не иначе как видение самой девы Марии!

Незнакомка не появлялась. Мельгунов не заметил, как пролетел целый час. Что же с ним в самом деле происходит? Не болен ли он?

Тревожные размышления вернули Мельгунова к его последнему разговору с Пушкиным.

Николай Александрович был знаком с Пушкиным еще с отрочества. Он учился вместе с братом Пушкина Львом в петербургском Благородном пансионе при Педагогическом институте, не раз бывал в гостях у поэта, да и потом общался с ним немало в Москве.

Год назад Мельгунов прибыл в Петербург, намереваясь оттуда на корабле отправиться в Германию, и тогда встретился с Пушкиным в последний раз, это было в доме у Вяземского.

Они не виделись уже несколько лет, и Пушкин очень обрадовался встрече. Разговор зашел о повести «Кто же он?». Пушкин оценил, что мысль о явлении сатаны в обра-

зе ближайших умерших людей — идея неожиданная и оригинальная, и спросил:

— А у вас какой-то собственный опыт имелся?

— Имелся, Александр Сергеевич... Мне явился вроде бы Веневитинов, а кто это на самом деле был, одному Богу известно. Это меня поначалу очень тревожило. Я все время боялся, не осложнилась ли моя старая болезнь каким-то дополнительным образом?

— И ваша повесть вас от этого страха исцелила?

— Очень помогла, но не до конца.

— Не тревожьтесь, многим людям самые непонятные духи являются.

— Вы знаете похожие случаи?

— Предостаточно. Чего далеко ходить. Вот, например, матушка моя, Надежда Осиповна, престранного духа встречала. Раз она с батюшкой шла по Тверскому бульвару и увидела женщину в белом балахоне, с белым платком на голове. Причем женщина эта не шла, а как бы скользила, словно на коньках. Матушка ее видела, а батюшка — нет. Да и потом еще эта женщина матушку навещала, и в Михайловском и в Петербурге. Сквозь стены проходила, и всегда двигалась скользя... но смотрела бессмысленно. Или, например, Софья, жена Дельвига — это еще до его смерти случилось — видела в доме моей сестры парившего под потолком злобного старика, даже ходить к ней в гости перестала из-за этого...

— Это вы про привидения рассказываете, а я спрашивал про духов близких людей или родственников.

— И таких историй хватает. Вот как раз недавно услышал я такую историю. У Дельвига был друг — Левашов, кажется, фамилия. Так вот они давным-давно сговорились, что тот, кто умрет первым, явится тому, кто еще жив. И вот представьте, в первую годовщину смерти Дельвига сидит этот Левашов у себя в кабинете и читает книгу. Вдруг ровно в полночь с 13 на 14 января является Дельвиг и садится напротив него в кресло. Не произнес ни единого

слова, и удалился... И только потом этот Левашов вспомнил, что у них договор был!

— Но это ведь точно, как со мной приключилось! — воскликнул Мельгунов. — Точно так же, в первую годовщину смерти Веневитинова, и явился этот загадочный гость! Александр Сергеевич, как вы меня успокоили! Со мной, получается, все в порядке!

— Не беспокойтесь, вы находитесь в приличном обществе, — расхохотался Пушкин и потащил его играть в карты.

Такой разговор состоялся у Мельгунова с Пушкиным год назад, и вот теперь те же сомнения вновь нахлынули на писателя. Все ли с ним в самом деле в порядке? Кто же они — эти странные полупризрачные старик и мадонна?

Мюнхен

Первого мая Шеллинг пробудился на рассвете, но несмотря на то, что день был воскресный нежиться в постели не стал. Мысли о вчерашнем вечере не давали ему заснуть.

Это сходство ночей — Пасхальной и Вальпургиевой — обеих полнолунных, обеих воскресных и, как оказалось, еще и обеих пасхальных в пространстве еврейской литургии — не давало ему покоя.

Наметанный взгляд автора «Философии мифа» ясно опознавал во всем этом какую-то «структуру» — за этим совпадением должно было что-то скрываться. Нависшая вчера над домом еврейского банкира луна на что-то определенно намекала, определенно наводила на какую-то мысль...

Шеллинг потер виски.

Ну, конечно же! Пасхальная и Вальпургиева ночи — это ночи-антагонисты, но в то же время и ночи-близнецы! Они смотрятся друг в друга как в зеркало: сгущающийся

мрак Вальпургиевой ночи симметричен предрассветным сумеркам ночи Пасхальной!

Два эти противопоставленные друг другу мифа глубоко увязаны между собой. Они перемигиваются друг с другом в культуре, они задают друг друга в метаистории. Но иногда они оказываются способны вписаться в какую-то причудливую календарную химеру, позволяющую их некоторым дополнительным образом отождествить.

Вчерашнее астрономическое совпадение определенно на что-то намекало, создавало возможность какого-то культурного эффекта, какого-то религиозного события, представляло собой некий натурфилософский этюд.

В пасхальную ночь он попросил знамения — и вот его получил!

В этом — 1836 году Пасхальная и Вальпургиева ночи выстроились друг перед другом словно как в каком-то брачном танце... Они оказались в этом году как бы приурочены друг к другу. Вот именно — приурочены. Как это там у Гете?

*«Пошли приказом воина в сраженье,
А девушку в веселый хоровод.
И дело вмиг у них на лад пойдет.
Так и у нас. Я дело приурочу
К классической Вальпургиевой ночи».*

Пока трудно сказать, можно ли будет сварить из этих ингредиентов какой-то глинтвейн, но само по себе любопытно!

2 (14) мая

Москва

29 апреля, по завершению месячного траура по матери, Пушкин выехал из Петербурга в Москву. 1 мая он заново

чевал в Твери и под самый вечер 2-го подкатил ко двору своего давнего друга Павла Воиновича Нащокина.

Пушкин был знаком с ним еще по Царскому селу, но по-настоящему сблизился в 1826 году после Михайловской ссылки. Они жили в Москве несколько лет на одной квартире, секретов друг от друга не держали и наиболее щекотливые из них завели себе в обычай обсуждать в бане. Обычно ходили они в Лепехинские бани у Смоленского рынка. Считали, что тут в отдельных кабинках их никто никогда не подслушает.

Нащокин долгое время бедствовал, так как в наказание за легкомысленный образ жизни был лишен своей доли родительского наследства. Однако в прошлом году он очень крупно выиграл в карты, снял добротный дом в Воротниковском переулке и устроился с шиком.

Хозяина на месте не оказалось, и Пушкина радушно встретила жена Нащокина — Вера Александровна.

В ожидании друга Пушкин принялся рассказывать ей о похоронах матери, поведал, что и сам сделал взнос в Святогорский монастырь, чтобы и его поблизости погребли.

— Видели бы вы, Вера Александровна, какая там земля, чистый песчаник, ни червей, ни сырости, в такую где еще ляжешь? Вот бы нам с супругом вашим там упокоиться.

Вера Александровна расстроилась от этих слов.

— Что вы, Александр Сергеевич, все о смерти, да о смерти? Не о чем еще помечтать? И в стихах об этом размышляете, «грядущей смерти годовщину» все предугадываете, и землю вот выбираете...

— Верно. Какое-то зловещее любопытство донимает меня... — задумчиво произнес Пушкин, но поглядев на побледневшую Веру Александровну, воскликнул:

— Да полно вам, Вера Александровна, не волнуйтесь же вы так!

Вскочив, он налил ей из графина воды.

— Вот попейте, я не так выразился... Я просто надеюсь, что когда-нибудь вы с Нащокиным приедете в Михайловское, и мы там все вместе заживем. А жить мы будем долго, в этом не сомневайтесь!

Однако Вера Александровна до конца Пушкину не поверила, и разговор их Павлу Воиновичу пересказала, как только тот вернулся домой.

— Да, что ты, душа моя! — засмеялся Нащокин. — Все верно. Александр Сергеевич давно меня к себе в Михайловское зазывает. Это мечта его, чтобы мы там по соседству жили. А уж коли жить вместе, то значит и помирать.

6 (18) мая

Москва

Пушкин отогревался душой в атмосфере неспешного уклада нащокинского дома, где никто не торопился вставать, а встав, чем-то важным заняться. Первые три дня Пушкин с Нащокиным только домоседничали и играли в вист, хотя дел было намечено немало. Нужно было побывать в архиве Коллегии иностранных дел, разобраться с распространением «Современника», который в Москве продавался еще хуже, чем в Петербурге, а также встретиться с некоторыми авторами «Московского наблюдателя» и постараться заинтересовать их своих журналом.

В числе множества приглашений, пришедших Нащокину на имя Пушкина в эти дни, было получено приглашение и от Чаадаева. С него Пушкин решил начать свои выезды.

42-х летний Чаадаев жил во флигеле дома Левашовых, на Новой Басманной улице. Участник войны 1812 года, он избрал военную карьеру и в 1821 году готовился стать флигель-адъютантом Александра I, как вдруг что-то разладилось.

Офицеры Семеновского полка, в котором в ту пору служил Чаадаев, были недовольны присланным из Петербурга

начальством, и в свой конфликт с ним втянули солдат. Произошел бунт. Чаадаев, неосмотрительно вызвавшийся представить царю рапорт, составленный начальством, оказался в положении чуть ли не «доносчика» на своих товарищей. Уговоры государя не возымели действия, и Чаадаев подал в отставку.

Через два года он уехал в Европу, намереваясь навсегда там остаться, но в 1826 году все же вернулся в Россию. С той поры он вел исключительно частную жизнь, получив прозвище «басманный философ» и прослав первой головой страны.

С Пушкиным Чаадаев познакомился в 1817 году, когда вступил в расположенный в Царском Селе лейб-гусарский полк. Все офицеры были на короткой ноге со старшими лицеистами, прозванными Чаадаевым «философами-перипатетиками» за их пристрастие к прогулкам по тенистым царско-сельским аллеям.

Но с Пушкиным, как раз завершавшим в том году свою учебу, Чаадаев сблизился особенно. Покоренный его живостью и поэтическим талантом, Петр Яковлевич очень хотел пристрастить юношу к своим идеям, зародившимся в 1813 году в занятом русскими войсками Париже: у человечества нет иного пути кроме европейского. Любой другой путь ведет в никуда!

Пушкин, казалось бы, также восхищенный глубоко-мыслием своего друга, оставался большей частью при своем мнении. Друзья спорили о значении религии, о судьбах России и Европы, спорили жарко и аргументированно, и каждый раз удивлялись — особенно Чаадаев, как это его собеседник отказывается понимать очевидное?!

Чаадаев часто сетовал на то, что им с Пушкиным так и не удалось соединить их жизненные пути, что не пошли они рука об руку.

Он и сейчас готов был повторить своему гостю эти слова. Он был убежден, что предложи тот ему, Чаадаеву (а не Гоголю), стать вторым лицом в «Современнике»,

публика набрасывалась бы на журнал, как на горячие бублики. Но Пушкин без восторга относился к «Философическим письмам» своего друга, и темы сотрудничества благоразумнее было бы не затрагивать.

Между тем совсем удержаться от проблемы распространения своих идей Чаадаев не мог, и не преминул поделиться наболевшим.

— Сегодня я к себе Андросова жду. Он мне рукопись должен вернуть — русский перевод моих «Философических писем». Не берет «Наблюдатель» мою работу.

— Опомнитесь, Петр Яковлевич. Нет цензора, который бы такое пропустил. Андросов тут не при чем. Это я вам как издатель говорю. Вы не представляете, с какой чиновнической тупостью приходится по журнальным делам сталкиваться... Хочется порой плюнуть на Петербург и удрать в деревню.

— Не представляю, как бы вы могли себе это позволить с вашим семейством...

— Отчего же? Что вы имеете в виду?

— Такие супруги как ваша, Александр Сергеевич, для затворничества не созданы... Поручусь, немало у вас с ней забот.

— Да какие там заботы? Расходы, конечно, семья немалые требует, но я очень счастлив в браке.

— Правда? Охотно вам верю, хотя сам я к браку не расположен.

— Но почему? — Александр Сергеевич оживился, получив неожиданную возможность задать давно вертевшийся на его языке вопрос. — Вы были блестящим офицером, Перт Яковлевич, вы — герой войны. Выправка у вас, вкус в одежде необыкновенные, наконец, вы и танцор замечательный. Не раз про себя это отмечал. И как вы знаете, мой Онегин некоторые ваши черты унаследовал. У вас блестящий ум философа, но вы при том не какой-нибудь книжный червь вроде Канта, который на смертном одре благодарил Бога за то, что в жизни ему не пришлось со-

вершать нелепых телодвижений, лишенных метафизического смысла... Не может же быть, что вы никогда не состояли с какой-либо особой в романтической связи? Неужели и вы не находите в определенных движениях никакого смысла, или я просто не все знаю? Ответьте мне, Петр Яковлевич, была ли в вашей жизни любовь?

Чаадаев приподнял брови и ответил:

— Помните, как сказано у Экклезиаста: «Чего еще искала душа моя, и я не нашел? — Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел».

— Замечательные слова, но они все же никого пока не заставили от самого поиска отказаться, а некоторые, как я, например, даже готовы с этими словами и поспорить.

— Дорогой Александр Сергеевич, — медленно выговаривая каждое слово, ответил Чаадаев, глядя Пушкину прямо в глаза. — Когда я умру, вы все сами узнаете.

В этот момент слуга Чаадаева Иван Яковлевич, которого за его благородную осанку, ум и манеры все всегда принимали за барина, доложил о приходе бывшего любимца, главного редактора «Московского наблюдателя» Василия Петровича Андросова.

Андросов степенно подошел к беседующим. Он церемонно пожал руку хозяину, и лишь затем протянул ее Пушкину.

Андросову было за что себя уважать. По происхождению мещанин, дворянскую грамоту он получил вместе с университетским дипломом, а нынешнего своего положения издателя и ученого достиг напряженным трудом.

Писал Андросов на самые разнообразные темы, начиная философией Канта и кончая хозяйством России. Репутацию добросовестного автора и беспристрастного исследователя ему принес изданный в 1832 году справочник «Статистическая записка о Москве», в котором приводились исчерпывающие сведения о Первопрестольной: климат, состав населения, число Храмов, театров и даже самоубийств.

Пушкин держал в своей библиотеке эту книгу, даже почти до половины разрезал в ней листы, но до чтения дело так и не дошло. Весь этот энциклопедизм, сказавшийся также и на облике «Московского наблюдателя», особого вдохновения у Пушкина не вызывал.

Взглянув в проницательные, но поблекшие глаза редактора «Московского наблюдателя», Пушкин живо вспомнил другого Андросова — юного тщедушного студента, по памяти цитирующего Шеллинга. Тогда в нем сверкала какая-то искра, тогда его глаза горели.

— Пожалуй ведь, мы не встречались с вами со времен общества Любомудров? — улыбнулся Пушкин.

— А вы помните еще наше «тайное общество»? Помните споры о Канте и Шеллинге до утра?

— До утра я, конечно, с вами философами не досиживал; диалектика все же — не вист, но то что «Мировой Дух пишет не столько историю, сколько поэму», это я усвоил.

— Что ж, вы ухватили главное, — улыбнулся Андросов. — Как сказал великий Шеллинг — «поэтический вымысел творит действительность»! Вы, поэты, — главные поверенные Мирового Духа! Не чета нам, философам и статистикам.

— Да, — подтвердил Чаадаев, поймав на себе ироничный взгляд Андросова. — В этом вопросе у Шеллинга с Гегелем решительное расхождение. По Гегелю, Вселенский дух пишет ученый трактат, пишет «Феноменологию духа», а по Шеллингу — Поэму.

— Однако Гегель, как я вижу, излишней скромностью не страдал, — усмехнулся Пушкин. — А кого, интересно, Шеллинг занес в соавторы Мирового духа, коль скоро сам на эту роль не претендовал?

— Ну как, кого? Шекспира, Гете, Гомера. — стал вспоминать Чаадаев.

— Имя Гомера Шеллинг, конечно, не раз упоминает, — заметил Андросов. — Но в том отрывке, где идет речь о Великой Поэме Мирового Духа, он говорит только о Но-

вом времени. Давайте проверим. Вы не дадите мне «Философию искусства», Петр Яковлевич?

Чаадаев подошел к полке, вытянул нужный томик и протянул Андросову, который быстро разыскал нужное место.

«В искусстве мы имеем как документ философии, так и ее единственный извечный и подлинный органон... Всякий великий поэт призван превратить в нечто целое открывающуюся ему часть мира, и из его материала создать собственную мифологию; мир этот находится в становлении, и современная поэту эпоха может открыть ему лишь часть этого мира; так будет вплоть до той лежащей в неопределенной дали точки, когда Мировой Дух сам закончит им самим задуманную великую поэму и превратит в одновременность последовательную смену явлений нового мира...»

— Видите, я был прав, здесь о «новом мире»...

Андросов остановился, ища абзац, с которого хотел продолжить.

— Вот так тему подбросил нашему брату Шеллинг! — воскликнул Александр Сергеевич. — Мировой дух посещает гениев разных веков и дарит им идеи, должны однажды предстать в своем единстве! Какой потрясающий роман можно написать об этом! Гоголю, что ли эту тему подарить, или самому взяться?

— А вот послушайте, что дальше написано. — продолжал Андросов.

«Для пояснения приведу пример величайшего индивидуума нового мира, Данте создал себе из варварства и из еще более варварской учености своего времени, из ужасов истории, которые он сам пережил, равно как из материала существующей иерархии собственную мифологию и с нею свою божественную поэму... Так же и Шекспир создал себе собственный круг мифов из исторического материала своей национальной истории... Сервантес создал из материала своего времени историю Дон

Кихота, который до настоящего времени, так же как и Санчо Панса, носит черты мифологической личности. Все это вечные мифы. Насколько можно судить о гетевском „Фаусте“ по тому фрагменту, который мы имеем, это произведение есть не что иное, как сокровеннейшая, чистейшая сущность нашего века».

— У меня такое ощущение, господа, — внушительно произнес Чаадаев, — что «точка» в Поэме будет поставлена в самое ближайшее время.

— С чем же связано у вас такое предчувствие? — поинтересовался Андросов.

— Ну как с чем? Во-первых, и Шеллинг и Гегель конца истории всегда с часу на час ожидали. «Иссякла чреда новых духовных формаций» — так ведь, кажется, у Гегеля говорится? Да и видно это. В наше время все основное понято и сформулировано...

Чаадаев запнулся. Он хотел было сказать, что со своими «Философическими письмами» потому хочет сейчас выступить, что время пришло, и только ждет, чтобы его всколыхнули, но не встречая в собеседниках сочувствия, вместо этого спросил:

— Вот вы думаете, отчего Шеллинг книг больше не пишет?

— Вы хотите сказать, что это не его личная проблема, а просто самой философии уже нечего через него сказать?

— Верно. Но у Искусства, похоже, еще найдутся слова, — многозначительно произнес Чаадаев. — Вы не думаете, что Шеллинг сам хочет поставить точку в Великой поэме? Вы вообще слышали, что Шеллинг обратился к поэзии? —

— Слухи такие до меня доходили, — подтвердил Андросов. — Мельгунов говорил, что направляется в Германию, отчасти чтобы и этот вопрос выяснить. Может быть, и выяснил уже.

Мюнхен

Мельгунов действительно собирался задать Шеллингу этот деликатный вопрос, но в силу спонтанности своего образа жизни почти за год пребывания в Германии до Мюнхена так и не добрался. В этот момент он наслаждался общением с берлинскими литераторами и учеными.

Сам же Шеллинг ни о какой поэме не помышлял и, напротив, укрепился в решении возобновить редактирование своих старых работ, не строя при этом каких-то определенных издательских планов.

Между тем что-то новое и необычное все же стало занимать его ум. Неожиданно открывшееся ему сходство Пасхальной и Вальпургиевой ночей не переставало занимать мыслителя.

Сегодня поутру он зашел в Университетскую библиотеку и разыскал книгу, содержащую расчет пасхалий. Ему захотелось проверить, а может ли Пасхальная ночь непосредственно наложиться на Вальпургиеву?

Как он и ожидал, такого не бывает. Самая поздняя Пасха по Григорианскому календарю выпадает на 26 апреля.

Итак, совпадать, накладываться одно на другое два эти мифологических события не могут. Но, тогда тем более интересно, что — как он сам воочию видел — случаются такие ситуации, то есть бывают такие годы, в которые Вальпургиева и Пасхальная ночи, выпадая на воскресенье и полнолуние, словно уподобляются, словно пересмеивают друг друга.

В природе как будто возникает то самое напряжение, которое присутствует в культуре. Ведь если вдуматься, то весь Новый мир жил этим противостоянием, противостоянием Пасхи и Вальпургиевой ночи. Вся суть трагического героя, вся соль новейших европейских исканий состоит в этом метании между двумя нравственными образцами, нравственными полюсами: между гефсиманскими боре-

ниями и фаустовскими соблазнами, между самоустранением Христа на Масличной горе, и самоутверждением Фауста в Брокенских горах!

А ведь тут в довершении ко всему, оказывается, еще имеет место также и совпадение с еврейскими пасхами; оказывается, что еще и по этому признаку они подобны. Что это вообще за «вторая» Пасха?

Шеллинг стал что-то смутно вспоминать. Он вытянул с библиотечной полки симфонию и быстро разыскал в Библии — в 9 главе книги Чисел — следующий фрагмент: «И сказал Моисей сынам Израилевым, чтобы совершили Пасху. И совершили они Пасху в первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером, в пустыне Синайской... И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым: если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу, или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню; четырнадцатый день второго месяца вечером пусть таковые совершат ее и с опресноками и горькими травами пусть едят ее; и пусть не оставляют от нее до утра и костей ее не сокрушают; пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе».

— Удивительно, — размышлял Шеллинг. — Обе эти ночи оказались тождественны еще и в еврейских координатах. А то различие, которое между ними все же имеется, также символично: одна пасха для всех, вторая — для нечистых...

10 (22) мая

Петербург

После премьеры «Ревизора» Гоголь ни одной минуты не чувствовал себя покойно. Воскресная литургия, которую с утра посетил Николай Васильевич, также не принесла облегчения.

Как это уже не раз бывало, после встреч с «Гением», после творческих подъемов — длившихся порой дни, а порой

и месяцы — наступал спад. Однако нынешний спад оказался серьезней всех предыдущих, поскольку связался с провалом «Ревизора».

— Тоска, тоска, — метался Гоголь по своему кабинету. — Не знаю отчего одолевает меня тоска. Я устал и душою, и телом. Никто не знает и не слышит моих страданий. Мне опротивела моя пьеса. Я хотел бы убежать теперь Бог знает куда. Одна надежда — что предстоящее мне путешествие, пароход, море и другие, далекие небеса помогут освежить меня. Я жажду их как избавления!

Николай Васильевич, несмотря на мучительный голод, был даже не в состоянии приготовить себе свои любимые вареники.

Пищеварение всегда занимало повышенное внимание писателя, всегда как-то по-особенному волновало его, но сейчас, похоже, в его чреве что-то расстроилось вконец. Гоголь почувствовал, что желудок его как будто перевернулся и установился вверх дном.

— Вот еще важный повод для этой поездки, — догадался Николай Васильевич. — Заняться, наконец, всерьез своим здоровьем!

Друг детства Данилевский, уже месяц готовившийся к путешествию в Германию, согласился отложить отъезд, чтобы составить компанию другу. Сегодня была, наконец, согласована дата отъезда — 6 июня.

18 (30) мая

Москва

Пушкин обещал жене вернуться в Петербург к своему дню рождения, к 26 мая, но из опасения всяких случайных задержек в пути решил выехать заблаговременно.

Вторую половину дня Александр Сергеевич провел с Нащокиным, который вручил ему подарки — ожерелье для Наталии Николаевны и золотое колечко с бирюзовыми

камешками для самого Пушкина — то был талисман, предохраняющий от насильственной смерти.

Нащокин, конечно, давно слышал, что Пушкину было предсказано умереть от «белой головы», но только в предыдущий приезд поэта в Москву он осознал, до какой степени это предсказание не дает его другу покоя.

Они вместе с Пушкиным побывали тогда в гостях у княгини Волконской. В тот час в доме повредилась статуя, кто-то из гостей взялся ее поправить, и стал взбираться на принесенную лестницу. Пушкин поначалу вызвался лестницу эту под ним придерживать, однако немедленно отбежал в сторону, обратив внимание, что человек тот светловолос.

Наблюдавший эту сцену Нащокин тогда же задумал заказать для Пушкина специальное заговорное кольцо «от насильственной смерти».

— Спасибо, — обрадовался Пушкин. — С этим-то кольцом, да с твоим чародейским фраком, мне ничего теперь не угрожает, с любым блондином в одни сани сяду.

Фрак, о котором упомянул Пушкин, был тот, в котором он удачно посватался к Гончаровой. Семейство Гончаровых поначалу отказывало Пушкину, на котором красовалось пятно «мятежника» и который дважды подвергался ссылке. Но в тот раз, когда Пушкин надел — за неимением собственного — фрак Нащокина, первая красавица России согласилась вдруг стать его нареченной! Понятно, одеяние это Павел Воинович другу подарил, и Пушкин, уверовавший в его чудодейственные свойства, с той поры в важных случаях фрак тот всегда надевал.

За прощальным ужином опять вышла незадача. Поэт опрокинул флакон и пролил масло на скатерть. Примета недобрая.

— Эдакой неловкий! — воскликнул с досадой Нащокин, — за что не возьмешься, все роняешь!

— Ну, это я на свою голову... — пробормотал Пушкин, тревожившийся в ту минуту за жену куда больше, чем за себя.

Друзья посовещались, и по принятому в таких случаях правилу, решили отложить отъезд: у них считалось, что с наступлением следующих суток зловещий знак теряет силу.

Тройку подали в первом часу, и расцеловавшись, друзья расстались.

26 мая (6 июня)

Петербург — Каменный остров

Свое 37-летие Пушкин, как и обещал, отпраздновал дома, или точнее, на даче, куда в его отсутствие перебралось семейство.

Из Москвы Александр Сергеевич вернулся 23 мая, уже за полночь, и как подгадал: жена только что разродилась дочкой.

— Вот к чему случилась эта задержка с пролитым маслом, — обрадовался Пушкин, предпочитавший отсутствовать при родах жены. — Не случись ее, приехал бы как раз к началу схваток. Вдвойне важно все эти предосторожности соблюдать...

Состояние Наталии Николаевны не позволяло созывать гостей. Присутствовали поэтому на дне рождения в основном родственники. Из посторонних был только Одоевский, но его Пушкин пригласил скорее по делам «Современника», нежели для произнесения заздравных речей. Гоголя он тоже позвал — как-никак в дальнюю дорогу человек собрался.

Теперь же, когда стало ясно, что и на день рождения Гоголь не приехал, Пушкин заметно расстроился.

— Ну и друг, ну и сотрудник! — пожаловался он Одоевскому. — Не объяснившись все бросает, бросает даже

своего «Ревизора». Щепкин ждет его в Москве, не решаясь без автора роли распределять, а тот в вояж по Европе пускается!

— Он очень болезненно принял постановку «Ревизора», говорил, что никто его не понимает, что ничего изменить нельзя... Никогда его, кажется, таким мрачным не видел.

— Я даже не понимаю, намерен ли он продолжать сотрудничество в «Современнике».

— Есть люди, которых трудности закаляют и препятствия приводят в азарт, Гоголь мне именно таким когда-то казался, а вышло наоборот. Вместо того, чтобы самому поставить в Москве свою пьесу, как он того, казалось бы, желал, он бежит за границу.

— Вы правы, бежит... — задумался Пушкин. — Как его Подколесин из-под венца.

— Вы хотели поместить в «Современнике» статью о паровых машинах, — сменил тему Одоевский. — Я вам еще более удивительное техническое достижение советую осветить... Про магнетический телеграф слышали?

— Нет. Расскажите.

— Оказалось, что магнетический сигнал перемещается по медному проводу с той же скоростью, что и свет в пространстве — в секунду 280 тысяч верст!

— Неужто? Может быть просто 280 верст?

— Все точно, я специально справлялся — 280 тысяч. Я когда об этом сам услышал, то в своем последнем романе — он называется «4338-ой год» — написал, что в будущем между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далёком расстоянии люди общаются друг с другом.

— Любопытно.

— Так вот представьте, как раз теперь у нас в Петербурге придумали, как сигналы эти на другом конце провода улавливать. Вокруг Адмиралтейства сейчас протянули такой провод и делают опыты.

— То есть я сижу, скажем, здесь на Каменном острове, а Нащокин у себя напротив Старого Пимена, и мы можем мгновенно с ним сообщаться?

— Определенно. Это и есть магнетический телеграф.

— Неужели правда? Вот чудеса!

Из мансарды открывался вид на просторы Большой Невки, и Наталия Николаевна, расположившаяся так, чтобы можно было любоваться красотами, особенно в разговоре не участвовала.

Ее троюродная сестра Идалия Полетика листала ноты и время от времени пробовала что-то сыграть на пианино, а родные сестры Натальи Николаевны Екатерина и Александрина Гончаровы, уже неделю жившие на даче, расспрашивали сестру Пушкина Ольгу Сергеевну о последних городских сплетнях.

Ее муж — Павлищев — заговорил о разделе имущества, о передаче Михайловского брату Льву Сергеевичу, — было от чего начать нервничать. И настроение у Александра Сергеевича окончательно расстроилось.

Как-то отпустило тогда в Москве! И как все давит и тревожит в Петербурге.

Пушкин был рассеян, слушал невнимательно, вздрагивал каждый раз, когда звенела посуда или о стенку бил ставень.

Заметив, наконец, что Пушкин в дело не вникает, Павлищев перестал донимать его делами и поделился последней столичной новостью:

— Вы слышали — Геккерт на прошлой неделе усыновил своего протеже Дантеса! Поручик уже перебрался из кавалеристской казармы в посольские хоромы! Как это изволите понимать? Видано ли, чтобы кто-то принимал во взрослом уже человеке столь ревностное отеческое участие? Впрочем, я слышал, что Дантес — побочный сын голландского короля, и этим его усыновлением была достигнута своего рода сатисфакция.

— Все проще, — отрезал Одоевский. — Сам Геккерт дал

понять Вяземскому, что Жорж и без того его сын, нужно думать, незаконный... Отец и сын всего лишь подтвердили — не нарушая рамок приличия — свою природную связь.

— Ах вот как! Это уже действительно что-то объясняет, — заметила Александрина.

— Достойные люди находят достойные решения, — сверкнув глазами, бросила Идалия Полетика, которую уже несколько дней назад посвятили в эту тайну ее друзья — кавалергарды.

Ее собственный отец, граф Григорий Александрович Строганов, был заслуженный покоритель дамских сердец. Говорили, что Байрон, с которым граф был коротко знаком, именно с него писал своего Дон Жуана. Находясь с дипломатической миссией в Испании, Строганов влюбился в графиню Юлию д'Эга, жену камергера королевы Марии I. Но на сей раз интрижка оказалось серьезней обычной: графиня оставила мужа и уехала вместе со Строгановым в Россию. Когда скончались их законные супруги, граф и графиня поженились, но Идалия, родившаяся до их венчания, так навсегда и осталась «воспитанницей» звездной пары, а не их официальной дочерью.

Идалии самой приходилось прокладывать себе дорогу в свете, и для начала она решила выйти замуж за ничем не примечательного капитана Полетика.

Идалия и раньше слышала уже от самого Дантеса, что Геккери специально поехал в Эльзас к отцу Жоржа, чтобы убедить того отказаться от отцовства.

Способности блестящего дипломата, с легкостью играющего с условностями света, вызывали у Идалии и зависть, и восхищение. Ну вот почему ее родители не додумались до чего-то подобного? Как, оказывается, все просто можно было устроить, а теперь ей, урожденной графине, придется жить при кавалергардской казарме.

На пол со звоном упал нож. Пушкин вздрогнул, легкая надежда блеснула в глазах, но тут же померкла. Примета

не срабывает. Белые ночи сбивают с толку, но часы уже пробили десять раз. Гоголь не придет. Ну и день рождения выдался в этом году — родился Пушкин, а чествуют Дантеса! Эх, Нащокин, Нащокин, как тебя здесь не достает! Ты бы всех сейчас поставил на свое место. Всем бы дал понять, кто в этом доме хозяин!

* * *

В тот день с утра профессор филологии Московского университета Владимир Сергеевич Печерин покинул Москву.

Еще зимой он обратился в Совет университета с прошением: «Непредвиденные обстоятельства, требующие моего присутствия в Берлине для свидания с одним весьма близким мне семейством, равно как и намерение напечатать у книгопродавца Дюмлера мою диссертацию: *De Anthologia Graeca* — заставляют меня просить покорнейше совет Императорского университета об исходатайствовании мне от начальства позволения ехать в Берлин, в отпуск, на время летних вакаций».

А за несколько дней до католической пасхи ему был дан положительный ответ. Университетский попечитель граф Строганов истолковал слова Печерина как его намерение жениться, и решил, что это благотворно скажется на его образе мыслей.

Но образ мыслей Владимира Сергеевича сложился вполне определенный и пересмотру уже не подлежал:

— У России нет будущего, в ней не дано зародиться ничему живому: все разумное будет разрушено, все живое будет уничтожено.

Это не было предчувствием, это было глубинным ощущением Владимира Сергеевича: будущего в России у него нет. В России он осужден либо превратиться в злобного и черствого чиновника, либо закончить свою жизнь в рудниках.

— Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения! — повторял про себя Печерин, с привычной тоской вглядываясь в прогнившие серые заборы и просевшие черные избы, то там, то тут разбросанные вдоль Смоленской дороги.

Какое счастье, через две-три недели он будет в Базеле и уже никогда больше не увидит этих ужасных нагоняющих чувство безысходности сооружений!

6 (18) июня

Копенгаген

Серен Кьеркегор проснулся с раскалывающейся головой, на душе было пугающе пусто. Накануне он определенно хватил лишнего.

После университета они с Йоханнесом выпили на площади Нюторв несколько кружек пива.

— Пьянка подобна войне, — говорил, попыхивая сигарой, Серен. — Всегда знаешь, как ее начать, но не знаешь, как закончить.

Так и произошло. После кафе они зашли в студию полузнакомаго художника, где продолжили возлияния с самим живописцем и двумя его натурщицами.

Оттуда друзья направились в оперу, слушать моцартовского «Дона Джованни», но почти все время просидели в фойе, потягивая вино и громко споря о Шеллинге, лекции которого Кьеркегор выражал желание послушать. Визит в оперу вспоминался отрывочно, и главное, Сёрен совершенно не помнил, как добрался домой и свалился в постель.

— Если бы я не выпил накануне пять кружек пива и две бутылки вина и испытал вдруг эту дикую тяжесть в голове, этот разлад всех членов, эту тошноту, я бы счел себя опасно больным, я бы подумал, что умираю и немедленно бы вызвал врача. Как же теперь я считаю это состояние чем-

то естественным? Оно должно быть названо своим именем, — это болезнь, тяжелая страшная болезнь, которая не может остаться без последствий, и от которой необходимо вылечиться раз и навсегда!

Мне 23 года, я взрослый человек веду дурную жизнь, учусь спустя рукава; я дуюсь на отца, и в то же время проматываю его деньги.. Я не понимаю, зачем живу, не понимаю, что происходит вокруг, но по меньшей мере понятно одно — так продолжаться больше не может.

С раннего детства Сёрен страдал от строгости отца — Микеля, шесть лет назад отправившего его в Университет на богословский факультет. Отношения между деспотичным отцом и независимым сыном никогда не были простыми, но в какой-то момент между ними наступил серьезный разлад.

В семье все знали от отца о его великом грехе, о том, как будучи 11-летним пастушком, он, изнемогая от холода, проклял Творца. Бог воздал бунтарю благополучием и достатком. Разбогатевший на производстве чулков Микель не находил более повода сердиться на Создателя, но с тем большим основанием он убивался из-за своей детской вспышки и опасался какой-то страшной кары.

После того как в 1819 умер один из его сыновей, Микель заподозрил, что проклятие состоит в том, что никто из его детей не достигнет возраста Христа. И действительно, в последующие 14 лет у него умерли еще один сын и три дочери. Таким образом, у Микеля из семи детей осталось в живых только двое — Педер-Христиан, избравший к вящей радости отца религиозное поприще, и Серён.

Однако, как выяснилось, над Сёреном витало еще одно тайное проклятие, которое как раз и привело его к бунту против родителя.

Сёрен занимал в семье особое положение, он был не просто последним ребенком, он был единственным сыном второй жены Микеля — Анны.

Однако эта его особенность, как оказалось, не была единственной. Однажды вернувшись в неурочный час домой, Сёрен застал отца за молитвой. Не заметив появления сына, Микель продолжал громко стенать, и из вырывавшихся у него слов Сёрен понял, что является... внебрачным ребенком, что Микель овладел служанкой, ухаживавшей за его умирающей женой! Его — Сёрена — зачатие, по-видимому, явилось для любовников полной неожиданностью — ведь Микелю в ту пору было 57 лет, а Анне — 45.

По-человечески они никогда не были близки, и очевидно, что только рождение сына вынудило Микеля и Анну вступить в брак. Может быть, поэтому у Сёрена не сложилось с матерью близких отношений.

С той минуты набожность отца померкла в глазах сына, он стал выказывать ему открытое пренебрежение и коротать время в компании бездельников.

Но когда-то нужно было взрослеть, когда надо было самому встать лицом к лицу к тайне своего появления на свет; когда-то надо было принять себя, а тем самым и второй брак отца, оправдать этот брак.

Время это пришло, решил для себя в то утро Кьеркегор.

* * *

В этот же день Печерин пересек западную границу Российской империи, а Гоголь и Данилевский вступили на борт парохода «Николай I», отплывавший в Гамбург.

13 (25) июня

Веймар

Перед своей поездкой в Россию Тургенев по просьбе Пушкина заехал в Веймар, чтобы собрать материалы о Гете. Он остановился в гостинице Слона, и большую часть

времени увлеченно работал, не забывая при этом вкусно поесть и сладко поспать.

В этот день, вялый и еще до конца не оправившийся после двухчасового послеобеденного сна, он спускался из своего номера в прихожую и столкнулся на лестнице с Мельгуновым, только что вселившимся в гостиницу.

— Здравствуйте, дорогой Александр Иванович! — воскликнул Мельгунов. — Я слышал, что вы направляетесь в Россию, и не чаял уже вас здесь повстречать.

— Вот по дороге решил заехать в Веймар, пишу тут для «Современника» о Гете, как он продолжает жить в своем городе даже после своей смерти. Вы знакомы с канцлером Мюллером?

— Не имею чести.

— Я вас непременно представлю. А пока заглянем в местный трактир. Тут прекрасные перепела, что-то невообразимое. Вам заказать?

— Как вам будет угодно.

Через четверть часа разговор продолжился за богато накрытым трактирным столом.

— Откуда вы? Какие планы? — поинтересовался Тургенев.

— Последнее время в Берлине жил. С Гумбольдтом, с Варнгагеном фон Энзе общался. Теперь вот в Ганау к доктору Коппу должен заехать, ну а потом в Мюнхен. В любом случае я твердо намерен познакомиться с Шеллингом... Великий мыслитель. Одоевский верно сказал, что в философии нашего века он занимает такое же положение, которое в XVI веке Колумб занимал в мореплавании... Вы сами-то в Мюнхен не собираетесь? Может быть вместе навестим Шеллинга?

Тургенев отрицательно покачал головой. По Шеллингу он скучал, но в Мюнхен не собирался. Два года назад там ему очень уж «зашибла сердце» местная вдовушка Эрнестина Дёрнберг. Александр Иванович ухаживал за ней, было объяснение, но дело далее того не пошло. Умная и бле-

стящая на вид, внутри эта дама оказалась безжалостной сердцеедкой. Атташе Тютчев тоже оказался к ней в ту пору равнодушен, и они вместе с Тургеневым обсуждали тогда свою неудачу. Но вот теперь доходит слух, что у Тютчева и Эрнестины роман, что жена Тютчева покушалась на свою жизнь!

Нет, себя надо щадить. Пока эта роковая особа остается в Мюнхене, от этого города следует держаться подальше!

— В Мюнхен я уже не поеду, я тороплюсь. Но там ваш давний друг Тютчев, он вас, конечно же, познакомит с Шеллингом.

— Я списывался с ним. Тютчев как раз сейчас собирается в Россию, я не уверен, что застану его.

— Так он из-за этого скандала что ли?

— Вы, я вижу, тоже слыхали? Я так понял, что ему в Мюнхене оставаться уже невозможно. Роковая ситуация. А вы знали, что он замечательный поэт? Пушкин опубликовал в своем «Современнике» десятки его стихов.

Знал ли Тургенев? Конечно!

Тургенев видел однажды Эрнестину молящейся в храме. Молитва в устах этой холодной кокетки показалась Тургеневу неуместной. Он прозвал ее Мадонной Мефистофеля, и сумел передать свое ощущение Тютчеву, который тогда же посвятил Эрнестине стих:

*«И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.
Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении Творца!
И смысла нет в мольбе!»*

Тургенев зачитал этот стих по памяти и спросил:

— Это стихотворение в «Современнике» публиковалось?

— Этого вроде бы не было.

— Когда-нибудь обязательно где-нибудь появится. Это о ней... об Эрнестине. Как говорится в книге Эклизиаст «И понял я, что горше смерти женщина» и как там дальше: «Чего еще искала душа моя, и я не нашел? — Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел».

— Мюнхен на данный момент — моя главная цель, — продолжал Мельгунов. — Но начать, как видите, я решил все же с Веймара, со свидания с Гете. А как вы здесь проводите время?

— Мюллер устроил мне потрясающий прием. Столько интересного рассказал. Он сопровождал меня в поездке в сельский дом Гете в Тифурте. Вам, Николай Александрович, обязательно надо там побывать. Дом этот превращен в музей Мирового духа. Каждый из великих людей, навестивших Гете в его уединении, оставил ему на память какой-то сувенир, какой-то след. Теперь Тифурт — это святыня германского гения, ковчег народного просвещения. Мюллер рассказал мне, что последние слова Гете перед смертью были: «Свету, больше свету!» Ах, я столько всего увидел и услышал в этот раз в Веймаре... Надеюсь Пушкин останется доволен моим отчетом. Вы вообще здесь раньше бывали? Встречались с Гете?

— Не напоминайте мне, — криво усмехнулся Мельгунов. — Как-то по дороге из Парижа я заехал в Веймар, и действительно познакомился с Гете, но воспоминание двойственное сохранилось.

— Вы посетили Гете вместе с кем-то?

— Если бы! Один. Сам бы я, конечно, не дерзнул потревожить автора «Фауста», но когда Мериме — я был вхож в его круг — услышал, что я заеду в Веймар, то попросил передать Гете книгу «La Guzla». Я, конечно, такой возможности обрадовался. Всю дорогу воображал, что скажу Гению, но при встрече так законфузился, что

до сих пор неловко. Впрочем, сколько мне тогда было? — Двадцать два. Ваши встречи с Гете, наверняка, были счастливее моей.

— Не все. Одна была, думаю, не лучше вашей, но однажды за три года до смерти Гения я действительно провел с ним незабываемый час за бутылкой вина. Беседовал с ним, как мы сейчас с вами.

— Я наверно умру от досады за упущенную возможность, но все равно расскажите.

— Помнится, я сказал ему, что всегда с удивлением слышу о его наградах. Что думают владыки, увешивая орденами грудь писателя, в которой бьется сердце Вертера? — спросил я его.

«Согласно нашему дорогому Шеллингу, цари прислуживают поэтам», — ответил мне Гете. — «Они делают это, как умеют. Меня, во всяком случае, иногда трогает их забота. А почему вы сказали, что здесь бьется сердце Вертера, а не Фауста?».

Я не решился ему сказать, что, по моему мнению, его «Фауст» принес в мир соблазн, но просто ответил, что ставлю Вертера выше Фауста.

— А что вы, собственно, против «Фауста» имеете? — поинтересовался Мельгунов.

— Если подвести общий итог, то книга эта опасна... ей лучше было бы не быть написанной. Ни познание, ни красота не являются высшей ценностью, а по «Фаусту», именно так и получается.

— Вы хотите сказать, что нравственность выше красоты? Что, как говаривал Пушкин, гений и злодейство несовместимы?

— Именно это.

— Но, ведь и Пушкин очень высоко чтит «Фауста». Да и по Шеллингу искусство выше морали, — возразил Мельгунов. — В этом, мне думается, его отличие от Гегеля. По Гегелю высшей инстанцией является разум, а по Шеллингу — искусство, сверхразумное единство.

— Верно. Странно, что я никогда не обращал на это внимания... Вы знаете, Николай Александрович, мне это напоминает один спор, в котором я стал невольным участником. В 1829 году я провел некоторое время в Бонне, слушал в тамошнем университете лекции Нибура и Шлегеля. В то время там учились два молодых еврея — Авраам и Шимшон. Авраам — умница, прекрасный образец просвещенного еврейства, которого теперь немало в Германии, а Шимшон, при всей своей тяге к знаниям, сохранял иудейское упрямство и косность. Они постоянно спорили.. и вот один их спор был как раз на эту тему... Авраам говорил, что только критический разум, только положительная наука могут приниматься во внимание при оценке традиционной веры, что все, что разумным критериям не соответствует, должно быть отброшено. А Шимшон как раз утверждал, что Бог Израиля и выше разума, и выше морали... И пример он привел самый вызывающий. «Почему вера иудеев всеми осмеяна, почему евреи повсюду слывут каким-то историческим шлаком, от которого все стремятся скорее освободиться? Потому что разум внушает, что универсальный Бог не может быть Богом какого-то одного племени, а если может, то только временно. Так говорит разум. Но Бог так не говорит. Бог говорит, что Он возлюбил Израиль вечной любовью, и что Его завет с ним вечен».

— В тот момент мне все это показалось какой-то досадной слепотой, но теперь я вижу, что и Шеллинг мыслит близким образом. Он ведь действительно ставит Искусство, а значит Мировой Дух, и выше разума и выше морали.

Франкфурт

Александр Иванович довольно точно описал своего собеседника — фанатичного иудея, студента Боннского университета.

То был Шимшон Гирш, который в 1829 году после двух лет учебы в Мангеймской йешиве решил заняться философией и всеобщей историей. Сын раввина Рафаила Гирша, с детства живший в атмосфере глубокой веры в Творца, Шимшон впервые по-настоящему столкнулся с еврейской молодежью, глубоко презиравшей религию своих отцов.

Он пытался понять своих собеседников, но понял прежде всего одно: чтобы вернуть этих еврейских юношей Богу, нужно освоить язык просвещения, нужно быть на их уровне. Как хорошо, что он поступил в университет!

Между тем среди боннских недругов еврейской традиции несколько особняком стоял один студент — Авраам Гейгер, столь понравившийся Александру Ивановичу. В отличие от многих других еврейских сверстников Шимшона, этот юноша был хорошо знаком с традицией, свободно читал Талмуд и был способен разъяснить даже весьма сложные места. И в то же время Авраам видел свою основу не в еврейском откровении, а в европейском рационализме.

В 1831 году Шимшон оставил университет и стал главным раввином небольшого герцогства Ольденбург, у границы с Голландией. Авраам вскоре получил место раввина в Висбадене.

Год назад, когда Шимшон Гирш был уже близок к завершению работы над своим «Хоревом», он получил в руки первый номер журнала, изданного Авраамом Гейгером.

Оказалось, что Авраам тоже не стоял на месте. Пойдя путем реформизма, он пытался полностью подчинить веру Израиля идеалам просвещения. В своем журнале Гейгер призывал удалить из молитвенников всякое упоминание о Храме, и полностью отказаться от идеи избрания Израиля. Как явствовало из ряда статей, предметом веры по Гейгеру должно было служить лишь то, что открылось в критическом научном анализе. «Я хочу доказать, что все основания нынешнего иудаизма — плод исторического развития, а потому не могут иметь никакой обязательной силы».

И вот теперь они снова столкнулись. Столкнулись во Франкфурте на Юденштрассе 152, в узком четырехэтажном доме с эмблемой Красного Щита, где проживала вдова Майера Ротшильда — 83-летняя Гутле, и где часто появлялся ее сын — глава франкфуртского ответвления семейного банка — барон Амшель Майер. Здесь решались финансовые вопросы, но здесь также свершались и дела благотворительности.

Авраам Гейгер, уроженец Франкфурта, бывал в этом доме многократно по самым разным поводам, и сейчас пришел просить денег на издание своего «Научного журнала еврейской теологии». Шимшон Гирш приехал попросить денег на поддержание школы.

Впервые Шимшон был тепло принят в этом доме в 1827 году, по дороге из Гамбурга в Мангейм, где он намеревался начать учебу в йешиве Йакова Этингера.

Живой и искренний девятнадцатилетний юноша из знатного раввинского рода полюбился и Гутле, и Амшелю Майеру. В значительной мере именно благодаря поддержке барона Гирш был назначен на должность раввина княжества Ольденбург.

— Пожалуй, только в этом доме мы еще можем иногда повстречаться, — усмехнулся Шимшон, протягивая руку бывшему однокурснику.

— Но не слышать друг о друге мы не в состоянии... Я читал «Письма» Бен Узиэля, талантливо и местами очень сильно... но это как раз те места, в которых ты полемически заостряешь нападки твоих оппонентов, мои нападки. Я сразу догадался, кто автор. Помнишь наши споры на скамейке в саду боннского университета? Назвав иудаизм мумией, набальзамированным трупом, не мои ли ты слова употребил?

— Не только твои... Виленский Гаон также называл иудаизм трупом. Он говорил, что еврейский народ умер, когда был изгнан из Земли Израиля, но что момент его воскрешения из мертвых приближается! В наши дни его

последователи возвращаются в Сион, упоминание о котором ты призываешь выкинуть из молитвенников. Один из них недавно приезжал в Германию, собирал вспоможение. Он выступал в моей общине и рассказал, что они восстанавливают сейчас в Иерусалиме синагогу Хурва, разрушенную несколько веков назад.

— О чем ты говоришь, какое избавление? Какое возвращение в Сион? Для этого нет ни возможностей, ни средств, а главное, нет смысла... Просветители открыли новый смысл, общий всему человечеству. Как это замечательно сказано у Канта: «Все, что человек сверх доброго образа жизни предполагает возможным сделать, чтобы стать угодным Богу, есть лишь иллюзия религии и лжеслужение Богу».

— Это справедливо в отношении народов, но недостаточно для еврея, которому как раз поручено все же нечто «сверх». Пойми, у евреев свое предназначение, и никакие достижения прогресса не отменяют его.

— Просвещение, идеалы равенства несовместимы с избранием.

— Позволю себе с тобой не согласиться. Избрание не отменяет равенства. Избирая себе супругу, человек не умаляет человеческие права прочих женщин. Он просто выделяет одну из них для себя. Точно так же, выделяя Израиль для Себя, выделяя его требованиями Своего Закона, Бог не умаляет прочих людей. Я не спорю, что язык просвещения должен быть освоен еврейским миром. Но в первую очередь следует показать этому просвещенному миру, что Израиль остается народом священников, что никакие идеалы свободы, равенства и братства не способны лишить его избранности, как они не способны лишить человека возраста и пола.

15 (27) июля

Мюнхен

В университете начались летние каникулы, и у Шеллинга появилась, наконец, возможность целиком предаться редактированию своих старых сочинений. Однако работа едва продвигалась.

Он было принялся править «Философию мифологии», но вскоре решил, что к ней следует сделать введение. Начал уже его писать, но обнаружив, что вязнет, перекинулся на «Философию откровения». Провозившись с этой рукописью целый день, бросил и ее, и принялся редактировать философский отдел «Мюнхенских ученых записок».

Чувство досады нарастало, а тут еще где-то сбоку все время скребла в голове совершенно посторонняя мысль, связанная с его весенним наблюдением — видением двух параллельных, никогда не пересекающихся, никогда не накладывающихся друг на друга ночей — Пасхальной и Вальпургиевой.

Что-то, как казалось Шеллингу, сулило здесь последний прорыв, выглядело каким-то кодом истории, какой-то давно искомой им точкой соприкосновения природы и культуры. Ведь две эти ночи — не только природный, но благодаря Гете, еще и литературный феномен!

Эх, если бы Гете был жив и молод, чтобы он сотворил из этой идеи! Как бы он обыграл сей парад календарей, да еще при его любви к астрологии! Как бы он свел воедино две эти параллельные линии — Хребет Брокенских гор с грядой Иудейских холмов!

Возможно, этот сам собой напрашивающийся роман как раз и должен явиться последней точкой великой поэмы, которая творится Мировым духом!

Как жаль, что сам он — Шеллинг — уже не в силах взяться за такое дело! Как жаль, что его навык литератора давно утрачен!

9 (21) августа

Петербург — Каменный остров

Два месяца на Каменном острове было покойно. Гостей у Пушкиных было немного, Александр Сергеевич мог работать без помех, и к 23-му июлю завершил «Капитанскую дочку».

Идея повести возникла еще в 1832, но приходилось отвлекаться то на «Дубровского», то на «Историю Пугачева», так что работа затянулась. Но не жаль. Зато теперь удалось привнести в нее мысль, промелькнувшую у него на Басманной, во время чтения Шеллинга.

Роман о великих поэтах, в едином Духе творящих единую Поэму, он еще напишет! Но пока в «Капитанской дочке» характер самого этого Духа он все же обозначил. Дух этот мятежный, мятущийся Дух: ведь он вдохновляет и на соращение Гретхен, и на нелепое лжеслужение Дульсинее, но так же и на бесстрашную любовь к Джульетте! Случается, что самозванец Пугачев творит правый суд, и тогда истинная царская власть подтверждает его!

Еще неделю поэт безмятежно упивался радостями творчества, однако в начале августа в Новой Деревне разместился вернувшийся с маневров Кавалергардский полк, и все решительно изменилось: пришло время балов.

Появился на берегах Большой Невки также и обворожительный Жорж Дантес, теперь уже в своем новом качестве высокородного аристократа и завидного жениха.

Четыре месяца — с самого траура по Ольге Осиповне — Дантес не встречался ни с кем из четы Пушкиных, но теперь отплатил себе сторицей и постоянно терся подле сестер Наталии и Екатерины, встречаясь с ними на балах, на прогулках в парке, а порой даже и у них на даче.

Поручик усмотрел в ухаживании за обеими сестрами двойную пользу: с одной стороны, ничем не предосудительное ухаживание за девицей позволяло ему находиться

в постоянной близости к дому Пушкина, а с другой — возбуждало ревность у Наталии Николаевны.

В раскрепощенной дачной атмосфере Дантес перестал скрывать свою страсть даже на людях, и как-то раз, улучив момент, стал умолять Наталию Николаевну принадлежать ему.

— Жорж, мы ведь уже обсудили этот вопрос. Вы видите, что мое сердце принадлежит вам, но большего не требуйте и не ждите.

— То, что ты говоришь, жестоко и глупо, Натали. Нет никакой причины душить наши чувства... Это те редкие и драгоценные мгновения бытия, ради которых мы и пришли в этот мир. Мы будем преступниками, если во имя каких-то условностей их упустим.

Настойчивость Дантеса и пылкость его признаний не оставляли Наталью Николаевну равнодушной. Она, конечно, следила за тем, чтобы не переступить грани приличия, но не имела мужества решительно оттолкнуть Дантеса, постоянная близость которого сладостно волновала ее.

Совместные танцы и прогулки, проникновенные взоры и острые речи были немедленно замечены светом и сделались предметом всеобщего обсуждения.

Александр Сергеевич был раздражен и подавлен. Он не раз разъяснял своей жене, как ей следует держать себя с государем, явно неравнодушным к ее прелестям. Это было по-настоящему опасное противостояние, и Пушкин категорически запрещал Наталье кокетничать с Николаем. Но унижаться какими-то замечаниями относительно Дантеса он был не в состоянии. Как-нибудь сама с этим франтом управится. Приревновать свою жену к этой наполнявшей кавалергардский мундир пустоте поэт был определенно не способен. Не говоря уже о том, что у него имелся волшебный талисман — золотой перстень с еврейскими каббалистическими письменами и восьмигранным сердоликом, который ему подарила при их расставании княгиня Воронцова. Ее напутствие поэт переложил в словах:

*Милый друг! От преступленья,
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранил мой талисман!*

Безгранично веривший в любовь своей жены и в силу своего амулета, Пушкин не опасался супружеской измены. Но его неожиданно смутило другое. Наглость и дерзость поручика в любой момент могли привести к взрыву, могли обернуться дуэлью, а ведь заморский щеголь был блондин!

Подавленность и тревога скорой смерти нашли выход в поэзии. В этот вечер Пушкин написал первую строку будущего стихотворения: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

12 (24) августа

Москва

В этот вечер Петр Яковлевич Чаадаев явился в Английский клуб. Москвичи в эту пору все еще оставались на дачах, и зал был заполнен лишь на треть сравнительно с разгаром сезона.

Тем не менее тот, кого разыскивал Чаадаев, находился в клубе.

Зайдя в библиотеку, Петр Яковлевич увидел зарывшегося в газету редактора «Телескопа» Николая Ивановича Надеждина, и чинно с ним поздоровался.

Николай Иванович приосанился. В свое время они с Чаадаевым несколько раз хлестко схватывались, и в последний год даже здесь, в непринужденной остановке Английского клуба, редко друг с другом заговаривали.

На сей раз по чопорному виду Чаадаева Надеждин сразу понял, что предстоит какое-то объяснение.

— Прочитал последний выпуск вашего «Телескопа», дорогой Николай Иванович, и нашел его весьма поучительным. Самому захотелось бы у вас что-нибудь напечатать.

— Будем рады. А что имеете предложить?

— «Философические письма». В свое время вы ведь читали их, насколько я помню. Сейчас я подготовил русский перевод и ищу издателя. Что скажете?

Надеждин оживился. Издание его журнала в действительности шло к упадку, и взбодрить его чем-нибудь скандальным представлялось весьма заманчивым. На ловца и зверь бежит.

— Я прекрасно помню эти ваши «Письма». С работой вашей в рукописях многие знакомы. Предложение лестное, не скрою. Дело за малым, надо как-то суметь обойти цензуру.

— Вот и я о том же. Вы ведь с Болдыревым соседствуете... Может как-то по-приятельски удастся это дело продвинуть?

— Давайте мне рукопись. Я просмотрю ее, и подумаю, что можно сделать.

— Вот, извольте, — Чаадаев протянул Надеждину аккуратную синюю папку.

— В ближайший номер это уже в любом случае не попадет. Надо думать уже по осени. Но оно так и лучше — через месяц как раз публика с дач потянется. Как только с цензурой прояснится, я дам вам знать.

16 (28) августа

Мюнхен

В середине дня Мельгунов прибыл, наконец, в Мюнхен и, остановившись в гостинице, первым делом направился в русское посольство. Вопреки его опасениям, второй секретарь русской миссии в Баварии и старинный

товарищ по кружку любомудров Федор Тютчев находился на месте.

— Уже не чаял тебя здесь встретить, — обрадовался Мельгунов.

— Ничего не поделать, князь Гагарин слег. Я почти месяц его заменял, исполнял обязанности поверенного в делах. Не знаю, сколько все это еще протянется... Но долго я здесь не останусь. Вообще дипломатическую службу хочу бросить. Ты, разумеется, слышал мою историю?

— Кое-что еще в Москве слышал, а в Веймаре встретился с Тургеневым. Он рассказал мне, будто бы ты влюблен в роковую женщину, к которой и он был неравнодушен. Прочитал твой стих, ей посвященный.

— Какой еще стих?

— Что-то про отсутствие чувства в ее очах...

— Я был не прав. Эрнестина Дёрнберг необыкновенная женщина. С той поры я посвятил ей немало совершенно других стихов... Но между нами все кончено. Я пообещал жене прекратить с Эрнестиной все отношения, а месяц назад она сама покинула Мюнхен. Временами очень тяжело, сердце разрывается в разлуке с созвучной близкой душой, но я преодолею... Обязан преодолеть. Но хватит об этом, ты ведь наверняка с Шеллингом приехал знакомиться? А его, представь, сейчас нет в Мюнхене.

— Вот как? Где же он?

— Я не знаю. Неделью назад сам его искал... Мне сказали, что раньше чем через месяц он не появится. Но можно зайти к нему домой и выяснить подробности у его домашних.

— Было бы замечательно...

17 (29) августа

Мюнхен

На другой же день супруга Шеллинга Паулина приняла Тютчева и Мельгунова.

На вид ей было чуть более сорока. Тонкие черты лица были все еще очень привлекательны. Это явилось неожиданностью для Мельгунова: он никогда не слышал, и тем более не предполагал, что жена первооткрывателя Мирового Духа столь привлекательна.

— Скажу вам честно, что мой муж просил не называть его настоящего местоположения. Его все отвлекает, а ему нужно сосредоточиться для работы.

— Это правило не знает исключений? — поинтересовался Тютчев.

— Исключения, во-первых, вызовут лишние обиды, а во-вторых, сведут на нет все старания, так как такого рода секреты люди обычно не хранят.

— Но легко ли вам, фрау Паулина, вот так всем отказывать?

— Уж если я сама согласилась не тревожить мужа, то, поверьте, с легкостью выстою перед напором менее близких ему людей. Я знаю, как напряженно работает мой муж, и очень рада тому, что в настоящий момент он делает это без помех.

Между тем Мельгунов не торопился прощаться. Услышав накануне от Тютчева, что Паулина была коротко знакома с Гете, Николай Александрович попросил ее подробнее рассказать об обстоятельствах их знакомства.

— Мы близко общались с Гете в 1810 году. Я жила в ту пору в Веймаре у семьи Цигезаров, с которыми Гете близко дружил и к которым частенько заходил. Он был буквально влюблен в мою подругу Сильвию Цигезар, но и мне от его внимания немало выпадало. Он дарил мне свои книги, приглашал в театр, просто заходил к нам в гости. Однажды он заглянул к нам со своим приятелем лет семидесяти, самому Гете в ту пору было шестьдесят. Он сказал тогда: «наши ноги уже не танцуют, но этого никак нельзя сказать про наши сердца».

При встрече он часто говорил мне «Милое дитя, в твоём присутствии я молодею на двадцать лет!».

Это вызывало у меня странное чувство, которое и теперь не проходит. Как это? Из-за того только, что ты молодая и миловидная, пожилой уважаемый человек, более того — величайший гений, расцветает перед тобой, старается блистать, как бы он никогда не старался ни перед равными ему гениями, ни перед сильными мира сего! Удивительно!

— Какая действительно красивая женщина, — сказал Мельгунов Тютчеву, когда они покинули дом философа. — Трудно поверить, что она подарила Шеллингу шестерых детей и так сохранилась.

— И при этом она очень преданная своему мужу супруга, — заметил Тютчев. — Уверен, что без ее поддержки ему было бы гораздо труднее переносить свое нынешнее творческое бесплодие...

— И как она достойно уклонилась от ответа, где находится ее муж.

— Не расстраивайся, — сказал Тютчев, — в любом случае через месяц Шеллинг начинает читать лекции. Ты же пока с другими местными знаменитостями пообщайся. Я здесь много лет, для меня Мюнхен — прескучнейший город на планете. Когда здесь жил Гейне, было еще куда ни шло. Но для тебя и без Гейне на месяц свежих впечатлений должно хватить.

21 августа (3 сентября)

Петербург — Каменный остров

В полдень Пушкин завершил стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Поэт испытывал в эти дни тот особенный подъем, который приходил к нему осенью, а унылая пора определенно уже входила в свои права: серые низкие тучи, подгоняемые морским ветром, быстро проносились над дачей, листва кленов побагровела, и кое где уже начала облетать.

Захотелось прогуляться, подышать осенью, полюбоваться водными просторами.

Выйдя из дома в сад, Пушкин к своему неудовольствию обнаружил там веселую компанию, распивающую чай с вареньем — поручика Дантеса, наклонившегося к Наталье, и ее сестер, покатывающих со смеха.

Наталья Николаевна обыкновенно на людях держалась величаво, смеялась и даже улыбалась редко, интуитивно чувствуя, что ее необыкновенная красота при смехе теряет свою загадочность.

Однако сейчас, слушая шепчущего ей что-то на ухо Дантеса, она широко улыбалась и выглядела возбужденной. Дамы тоже смотрели на него с обожанием, особенно Екатерина.

— Этот хлыщ появился тут уж наверняка при содействии Екатерины Николаевны, — с досадой подумал Пушкин.

Ему никогда не нравился этот лощеный франт с хорошо поставленным томным взором. Хотя уже почти месяц он вызывающе волочился за его женой, Пушкин все же кивал Дантесу при встрече на людях.

Однако на сей раз он с ним не раскланялся и решительно направился к калитке.

29 августа (10 сентября)

Москва

Ректор Московского университета Алексей Васильевич Болдырев, он же по совместительству цензор, всего два дня назад вернулся с дачи, но жизненный режим свой немедленно и полностью восстановил. Обыкновенно, возвратившись из университета, Алексей Васильевич коротал вечера у себя дома на Тверском бульваре, попивая чай и играя по маленькой с кем придется. Сегодня за его небольшим столиком с зеленым сукном собрались две со-

седские дамы и студент словесного отделения Федор Буслаев.

— А почему профессор Печерин нигде не объявлен? — робко поинтересовался Буслаев.

— Я сам очень обеспокоен. В мае он выехал в Берлин по какому-то личному делу, но так и не вернулся. Я уже за-просил графа Строганова.

— Как обидно! Я был в восторге от его лекций.

Вполне рутинным выглядело также и появление под вечер издателя журнала «Телескоп» Николая Ивановича Надеждина, жившего в том же доме.

— Заждался я уже вас с дачи, дорогой Алексей Васильевич. У меня тут с собой еще одна корректура для 15-го номера «Телескопа», не взгляните?

— Положи на стол, голубчик, я завтра ознакомлюсь, — произнес ректор, с благодушной улыбкой всматриваясь в карты.

— Мне жаль вашего времени, — стал возражать Надеждин. — Статья вполне невинная, могу случайным образом прочесть несколько отрывков.

— Коли так, прочитай.

Надеждин открыл принесенную с собою корректуру «Телескопа» и стал зачитывать избранные места из чаадаевских «Писем», пропуская те заранее помеченные абзацы, которые могли бы показаться предосудительными чуткому слуху цензора.

— Вы правы, Николай Иванович. Все вполне пристойно, давайте я подпишу. А ты, Федор, не сочти за труд, достаешь из шкапа печать.

— Ну что ж, — размышлял Надеждин, выходя из дома ректора. — Если теперь «Телескоп» не закроют, то популярность ему обеспечена на долгие месяцы, если не годы. Ну а закроют, туда ему и дорога. Значит, свой короткий век журнал прожил.

7 (19) сентября

Петербург — Каменный остров

На Каменном острове дачный сезон подходил к концу. Пушкины намеревались съехать через несколько дней, и кое-какие вещи были уже упакованы к переезду. Этим вечером в здании минеральных вод должен был состояться один из последних балов, и в шестом часу дамы ушли переодеваться.

Александр Сергеевич идти отказался. Видеть вальсирующего с Наталией Николаевной Дантеса было выше его сил.

Родные сестры Наталия, Екатерина и Александрина, зашелестев платьями, устремились к экипажу, но троюродная Идалия осталась, сказав, что должна еще заглянуть домой и отдать какие-то распоряжения, связанные с отъездом. В действительности же она решила воспользоваться вольностью дачного образа жизни для того, чтобы осуществить недавно пришедшее ей на сердце желание.

Уже несколько дней Идалия бросала на Пушкина грустные и нежные взгляды. Он заслуживал сострадания. Его Таша вела себя неосмотрительно, с одной стороны отвергая Дантеса, а с другой позволяя ему волочиться за собой, да еще в совершенно скандальной манере.

В сущности, она, Идалия, даже не ожидала, что Натали до такой степени ничего не понимает ни в мужчинах, ни в себе.

— Что за дура! Тихо отдайся ему, или прогони с глаз долой! К чему этот спектакль перед всем Петербургом?! — давала она мысленные советы своей кузине, но вслух лишь нахваливала Дантеса. Он был ей симпатичен, и в глубине сердца она желала ему удачи.

Однако неделю назад к этому пожеланию прибавилось еще одно. Проведя как-то с Александром Сергеевичем полчаса в непринужденной беседе, она вдруг подумала,

что в сложившейся ситуации было бы совсем неглупо попытаться его соблазнить.

Было тяжело видеть его вечную подавленность, его нервозность при появлении Дантеса. Как просто можно излечиться от этого недуга с помощью легкой и приятной интрижки! А ведь этот африканец наверняка должен оказаться пылким любовником.

Их многолетние отношения всегда были самые теплые и игривые, можно даже сказать балансирующие на грани флирта. Наедине они всегда шутили и невинно пикировались. Идалия была уверена, что рядом с ней поэт чувствует себя беспечнее и свободнее, чем рядом со своей вознесенной на пьедестал, но совершенно лишенной чувства юмора Ташей.

Объяснив, что она хочет разыскать среди нот какую-то пьесу, Идалия задержалась, а когда дамы ушли, сказала Александру Сергеевичу:

— Вот нашла этого Генделя. Хочешь, я тебе сыграю?

— Сыграй.

— Тогда садись сюда, в партер.

Идалия усадила Пушкина на диван, и села за стоявший напротив рояль.

Пока она играла, в гостиной сделалось совсем сумеречно, и звуки, казалось, полностью наполняли залу.

Исполнив пьесу, Идалия под села к поэту, и направив на него лучистый взгляд, нежно спросила:

— Что кручинишься, добрый молодец?

— Хочешь намекнуть, что утро вечера мудренее?

— Отнюдь. Мудренее как раз скоротать с милым другом вечер, чем скакать кадрили за кадрилию на минеральных водах. Вовсе туда сегодня не пойду.

Стройная фигурка, излучающая утешение и покорность, приблизилась совсем близко к Пушкину.

— Ну, правда, Саша, не грусти. Весь этот бездарный водевиль с Дантесом в главной роли не стоит даже капли твоей желчи.

— Ты думаешь? — улыбнулся Пушкин. — Ни капли?

— Ни капельки! — ответила Идалия и, не отрывая от поэта озорного, но нежного взгляда, провела рукой по его волосам.

— Идалия, дорогая, прости, но меня ждут срочные дела, право, шла бы ты лучше на бал.

Пушкин поднялся и с извиняющейся улыбкой раскланялся.

— Такой же дурак, как и его Таша! — с раздражением пробормотала Идалия, глядя в спину поднимавшегося по лестнице Пушкина. — К тому же еще урод и карлик.

11 (23) сентября

Аугсбург

Прошло более двух недель после приезда Мельгунова в Мюнхен. За это время он перезнакомился со всеми местными знаменитостями: с философом Баадером, живописцем Корнелиусом, и особенно близко сошелся с коротким приятелем Шеллинга искусствоведем и собирателем древностей Сульпицием Буассере.

Буассере дал русскому путешественнику ответы на некоторые интриговавшие того вопросы, в том числе коллекционер самым решительным образом отверг предположение, будто бы Шеллинг пишет поэму.

И именно Буассере сообщил Мельгунову, что Шеллинга видели в Аугсбурге.

Заручившись поклонами от Тютчева, Гагарина и самого Буассере, Мельгунов отправился в Аугсбург, где с помощью местного трактирщика довольно скоро разыскал исчезнувшего философа.

Принимать русского гостя в своем убогом гостиничном номере Шеллинг отказался, но согласился встретиться в гостинице «Ригеле Виртсхаус», в которой остановился сам Мельгунов.

Небрежно одетый, с плащом, перекинутым через руку, философ вошел в гостиницу ровно в назначенный час — в четыре по полудню.

Поджидавший его за столиком Мельгунов встал навстречу.

— Я слышал о вас, — заговорил Шеллинг, усаживаясь в кресло напротив Мельгунова. — Вы один из «любомудров», не правда ли? Господин Тютчев рассказывал мне о вашем товариществе.

— Да, то было философское общество, в котором главным образом изучали как раз вашу философию. Мне особенно была по сердцу «Философия искусства»... — Вы не представляете, господин Шеллинг, как велик интерес к вашей философии в России.

— Думаю, что представляю. Благодаря господину Тютчеву. Но думаю, что вы не представляете, в какой мере я возлагаю надежды на Россию. Уверен, что Ваша страна еще скажет миру свое слово.

— У меня такое же предчувствие. Причем это будет, как вы изволили выразиться, именно слово. Страна наша переживает в настоящее время истинный расцвет словесности...

— А мне кажется, что и в области философии у России колоссальный потенциал. До меня тут кое-что доходило из философско-исторических работ Погодина. Очень любопытно. Жаль, что я не владею русским и не способен следить за развитием вашей мысли.

— Мысль не знает национальности. Чего нельзя сказать о поэзии — поэзию переводить невозможно. Как вы думаете, на каком языке будет завершена поэма Мирового Духа? Не вы ли сами призваны ее завершить?

— Этого я сказать не могу, — смешался Шеллинг, — но вы правы в том, что Одиссея Мирового духа гораздо ближе к литературному процессу, нежели к сухому разворачиванию категорий. Мировой Дух — художник, и он творит мир для участливого зрителя, а не для холодного наблюдателя.

— Вот, вот, — оживился Мельгунов. — И я то же самое думаю. Вот почему, например, солнце и луна на небосводе имеют идеально одинаковый размер, хотя как небесные тела различаются колоссально? Какой в этом смысл, если нет зрителя, способного это оценить?... Вы знаете, весной, в полнолуние, я повстречался на одном Франкфуртском бульваре с незнакомцем, который советовал вам — именно вам — начать решать натурфилософскую проблему с этого визуального тождества луны и солнца.

— А то полнолуние пришлось на пасхальную, или на вальпургиеву ночь? — зачем-то спросил Шеллинг.

— Вообще-то на обе.

— Поня-я-ятно! — протянул Шеллинг, пристально разглядывая Мельгунова. — Так и должно быть. А он что-нибудь вам сказал, ваш собеседник, относительно самих этих дат?

— Он сказал мне какое-то странное пророчество. Он сказал так:

Придет другой, и Пасху приурочит

К классической Вальпургиевой ночи.

— Как вы сказали? — буквально подскочил на своем кресле Шеллинг. — Приурочит Пасху к Вальпургиевой ночи? Кто он был, этот ваш незнакомец? Как он знал? Вы-то сами понимаете, что все это значит? Вы знаете, что Пасхальная и Вальпургиева ночи никогда не совпадают, что это искусство, большое искусство приурочить их?

— Столько вопросов! — опешил русский гость, пораженный реакцией великого философа. — Старик из Франкфурта сказал то, что сказал. О том же, что Пасхальная ночь не может совпасть с Вальпургиевой, я совсем не задумывался, да, признаться, в этом совсем не уверен. Пасха и после дня Вальпургия случается.

— Это, наверно, у вас, у русских так. Но ведь православные не знают никакого Вальпургия. Я вам сейчас все объясню... Этот ваш незнакомец, кем бы вы его не считали, фигура, безусловно, мистическая. Своим парафразом

из «Фауста» он точно сформулировал ту литературную задачу, перед которой сегодня стоит Мировой Дух!

— Вот как?!

— Да, противопоставленность сгущающегося мрака Вальпургиевой ночи предрассветному мраку ночи Пасхальной — это, в действительности, и есть главная тема великой Поэмы.

— Главная тема? — Мельгунов даже растерялся. — Каким образом?

— Вы должны согласиться, что пока Христос находился в аду, силы тьмы праздновали победу. В первую ночь, которую Спаситель провел в гробу, в ночь с пятницы на субботу — а это и есть «шабаш» — сатана правил бал. Победа над смертью совершилась во вторую ночь, с субботы на воскресенье, да и то на рассвете. Всю вторую ночь Христос также удерживался тьмой. Так, что даже и в самой Пасхальной ночи «шабаш» несомненно присутствует.

— Допустим, но ведь сама-то Вальпургиева ночь никак не связана с пасхальной, ни по времени, ни по смыслу. Согласно поверью, ведьмы слетаются в эту ночь на метлах на Брокенские горы, пляшут с дьяволом, пытаются задержать весну, наводят порчу... причем здесь Пасха?

— Они слетаются не только ради дьявольских плясок, но и ради посрамления Христа. Подобные ведовские слеты, согласно разным поверьям, происходят обыкновенно в сакральные даты: в канун дня всех святых, в Рождественскую ночь и в начале Великого поста. Только один шабаш — самый громкий, самый скандальный, шабаш Вальпургиевой ночи — внешне никак не приурочен к христианской традиции.

— Вот видите, не приурочен!

— Внешним образом не приурочен. То есть ведьмы слетаются на Брокенские горы не в самую Пасху, которая знаменует их гибель, и которая привязана к лунному календарю, а по солнечному календарю в считанные дни после той даты, на которую выпадает самая поздняя пасха.

Этим переносом темные силы, как бы заявляют, что имеется также и их пасха, не завершающаяся воскресением, пасха субботней, а не воскресной ночи. В эту ночь с первыми лучами солнца нечисть расходится непобежденной, как если бы Иисус Христос не встал из гроба, в то время как пасхальный рассвет второй ночи сокрушает ее. Но то что Вальпургиева ночь обособилась в самостоятельную сакральную дату, как раз и позволило ей в полной силе противостоять ночи Пасхальной! Пасхальная и Вальпургиева ночи параллельны. Они не могут пересечься, но они не могут и разойтись!

— Любопытно... Но признаться, я все же не вижу, как это может быть связано с Великой Поэмой? Какое отношение имеют «Божественная комедия» или «Гамлет» к этим ночам, к их противостоянию?

— Человек Нового мира — это творец, прежде всего творец собственной судьбы. Только он решает, развеять ли ему ночной сумрак своей жизни, превратив ее в Пасху, или поглотиться этим сумраком в безудержном Шабаше.

— То есть в Новом мире тема свободы, наконец, находит своего адресата!

— Именно. А теперь слушайте внимательно. Не знаю, заметили ли вы, но в нынешнем году Вальпургиева ночь, хотя как всегда и не совпала с Пасхальной, все же ей определенным образом уподобилась. В этом году обе ночи не только выпали на один день недели — на воскресенье, но еще к тому же обе оказались полнолунными! Более того, обе эти ночи совпадали также и с еврейскими пасхами. Вы знали, что их две?

— Нет, не слышал.

— Вторая празднуется ровно через месяц, и в ней участвуют те, кто по причине нечистоты пропустили первую Пасху. Разница в месяц таким образом сюда прямо с луны свалилась... Итак, вы видите, что хотя эти ночи не могут совпасть, не могут пересечься, они способны взаимодействовать, они способны так выровнять-

ся друг перед другом, что их становится трудно различить.

— Браво! — воскликнул Мельгунов. — Тогда это оказывается чем-то вроде затмения! Эти ночи становятся неразличимы, как неразличимы по своим размерам Солнце и Луна!

— Они оказываются столь подобны, что в литературном описании их нетрудно будет отождествить.

— В литературном описании?

— В любом случае все эти астрономические совпадения — это какой-то код, какой-то шифр Мирового духа. В нашем 1836 году природа и культура каким-то образом пересчитываются друг в друга — вот что по-настоящему важно. И ваш незнакомец, похоже, на это намекал.

* * *

Шеллинг вышел из трактира и спешной походкой зашагал в свою гостиницу. Накрапывал мелкий дождь, но философ его не замечал. То, что поведал ему Мельгунов, привело его в смятение.

— Придет другой, и Пасху приурочит к классической «Вальпургиевой ночи»! Каково? Неужели этот другой — он — Фридрих Вильгельм Иосиф Шеллинг? Но кто же еще? Кому, если не ему — первооткрывателю Мирового Духа — взяться за этот труд?

Ведь и в самом деле, искусство лежит не просто в основе культуры, а в основе бытия мира. Именно оно задает последнее тождество! Искусство — это цель в себе, оно не подотчетно ни практическим интересам, ни науке, ни даже морали... Придет время, когда ручейки науки и философии вольются в полноводное русло поэзии!

В его, Шеллинга, лице сама философия слагает с себя лавры первенства и возлагает их на поэзию. Но почему бы тогда Поэзии не заявить о себе в лице того же Шеллинга? Почему, черт побери, он не пишет Поэму? Мо-

жет быть, вопрос этого русского был искренним, а не просто грубой лестью, как ему сначала показалось? Он всю жизнь занимался, прежде всего, философией и мало писал стихов и романов, но это, в сущности, одно большое недоразумение. Верно, своими литературными опытами он никогда не был доволен. Но как быть с тем, что и философские его сочинения оказались не в лучшем положении? Как объяснить, что ничто написанное им так никогда и не удовлетворяло его? Может быть, в том, что он не в состоянии довести до требуемого уровня свои философские тексты... не его вина, а вина самой философии? Может быть, на большее она и не способна в силу ограниченности собственных средств? Может быть, философия — это удел таких пошляков и филистеров как Гегель? Но поэзия — не философия, ее возможности безграничны!

Как же вообще так вышло, что он забросил писать романы? Почему уже более тридцати лет не возвращался он к литературе? А ведь он создал не только «Ночные бдения», он писал стихи и даже поэмы. Был «Эпикурейский символ веры Ганса Видерпоста», был фантастический диалог «Каролина». Была начата «Записная книжка дьявола», и даже та эпическая поэма, на которую он намекал в «Эпохах мирового развития»: «Возможно, еще придет тот, кто пропоет величайшую героическую поэму, объемлющую своим духом то, что было, то, что есть, то, что будет».

Но теперь все проясняется. Это знак небес! Именно к той Пасхальной ночи, которая оказалась повенчана с ночью Вальпургия, он обязался составить полное собрание своих сочинений. Теперь понятно, почему все сорвалось: его главное сочинение, возможно, просто должно состоять в другом! Это знамение! То знамение, о котором он молил Духа! Он должен написать роман, такой роман, такую мистификацию, в которой бы Пасхальная и Вальпургиева ночи совместились!

15 (27) сентября (16 тишрея, Суккот)

Мюнхен

Неожиданная тирада Шеллинга относительно Пасхальной и Вальпургиевой ночей, которые в этом году обе оказались воскресными и полнолунными, озадачила, чтобы не сказать потрясла Мельгунова.

Что мог иметь в виду призрак Гете, говоря, что кто-то приурочит Пасху к Вальпургиевой ночи? Не намекал ли он действительно на то внешнее сходство Пасхальной и Вальпургиевой ночей, о котором говорил Шеллинг? Странное, очень странное совпадение, как часто оно вообще случается?

Этот вопрос вдруг до такой степени заинтриговал Николая Александровича, что уже на другой день после возвращения в Мюнхен он отправился в Университетскую библиотеку, в надежде разобраться с расчетом пасхалий.

Два часа Мельгунов честно бродил среди каталогов, но ничего для себя доступного так и не нашел.

Не оставалось ничего другого как обратиться за помощью к знатокам. Заручившись поклоном Буассере, Николай Александрович явился на другой день под вечер в Университет к профессору астрономии Францу Паулю фон Груйтуйзену.

— Мне бы хотелось выяснить, когда еще в истории имелось точно такое же календарное совпадение некоторых полнолуний и дней недели, которое случилось в этом году. Это возможно?

— Вполне. Напишите интересующую вас дату, и я произведу расчет.

— Это пасхальное воскресенье со 2 на 3 апреля, и воскресенье с 30 апреля на 1 мая, обе эти ночи должны быть еще и полнолунные, как в этом году.

— Полнолунной ночью интересуетесь? — лукаво улыбнулся профессор. — Я ценю такие ночи.

— Вот как?

— Видите ли, после того как много лет назад я разглядел в свой телескоп на поверхности луны возведенный разумными существами город, я не пропускаю ни одного полнолуния, чтобы произвести дополнительные исследования. Разумеется, если хорошая видимость. А в минувшую Вальпургиеву ночь видимость была отменная. Какое упоение было в ту ночь разглядывать лунную столицу! Мы не одни в этой огромной вселенной, мой друг!

— Вы считаете, что луна обитаема? — с трепетом воскликнул Мельгунов.

— Я уверен в этом, и все больше нахожу тому подтверждения... Сегодня, кстати, как раз полнолуние. Вы заметили, возможно, что евреи построили возле своих домов шалаши, это всегда бывает на осеннее полнолуние.

— Так можно будет взглянуть?

— Боюсь, сегодня слишком пасмурно. Однако вернемся к вашей просьбе. Вы хотите произвести расчет по двум датам? Чтобы полнолуние совпадало в одном и том же году и с Пасхой, и с днем Вальпургия?

— Именно так. И еще, чтобы они совпадали с субботой.

— Вы знаете, что полнолунными обыкновенно бывают две ночи?

— Посчитайте так, как все было в этом году.

— Хорошо. Но такое сочетание будет редким, могу вас заверить заранее. Приходите завтра, я просмотрю на век назад, и на век вперед. Вас это устроит?

— Вполне.

Сегодня Мельгунов получил ответ. Как выяснилось, на сто лет вперед от 1836 года искомой комбинации дней недели и чисел солнечных и лунных месяцев не просматривалось. Что же касается ста лет назад, то аналогичное сочетание имело место лишь однажды — в 1768 году.

Не заходя домой, Мельгунов прошел в университетскую библиотеку, взял с полки автобиографическое произведение Гете «Поэзия и правда» и углубился в чтение глав,

связанных с юностью поэта. Николай Александрович вознамерился всерьез выяснить, что произошло с Гете в 1768 году.

17 (29) сентября

Петербург

С дачи Пушкины вернулись не в прежний свой дом на Гагаринской пристани, а в дом княгини Волконской на Мойке близ Конюшенного моста.

Обстановка была новая, но неприятности оставались прежними и даже усугубились.

Все более было очевидно, что «Современник», от которого Пушкин ожидал надежных доходов, еле держится на плаву. Пушкин оказался не в состоянии выполнить задуманное. Тому имелись чисто внешние причины: содержание его журнала, по высочайшему распоряжению, контролировалось не только главным Управлением цензуры, но также еще и тремя другими ведомствами — охранным, военным и духовным. В результате самые острые материалы тупо отсеивались или безжалостно оскোплялись жандармами, генералами и иерархами.

При этом в качестве «легкой» развлекательной литературы «Современник» никак не мог тягаться с «Библиотекой для чтения», расходившейся в 5 тысячах экземпляров.

Первые два номера Александр Сергеевич издал тиражом 2400 экземпляров, однако оба раза журнал не разошелся, и сейчас Пушкин принял решение в два раза сократить тираж готовящегося третьего выпуска, на который набралось всего шестьсот подписчиков.

Все это никак не уменьшало глубину той долговой трясины, в которую после своей женитьбы все более проседал поэт. Было от чего прийти в отчаяние.

И все же самая главная неприятность приближалась с совершенно неожиданной стороны, со стороны благопо-

лучия его семейного очага, со стороны надежности его супружеских уз.

Шесть лет Александр Сергеевич черпал жизнестойкость и оптимизм в своем браке. Любовь и преданность его жены служили противовесом любым его неудачам. И вдруг тревогой повеяло именно с этой стороны!

Дантес совершенно отравил Пушкину последний месяц его пребывания на даче, и поэт очень надеялся, что с возвращением в Петербург ситуация изменится. Но этого не случилось. Чуть ли не каждый день молодой ловелас каким-либо образом напоминал о себе поэту.

Так случилось и сегодня. На именинах Софьи Карамзиной, где собрался весь ее круг, модный француз блистал и терся подле обеих сестер Гончаровых — Екатерины и Натальи.

Кто-то похвалил Бальзака.

— Я читал и очень рекомендую последние его произведения: «Златоокая красавица» и «Серафита», — немедленно прореагировал Дантес. — Как вы не слышали? Быть того не может! «Серафита» — это величайшее мистическое прозрение, очень развивающее воображение — о существе, меняющем свой пол в зависимости от того, с кем оно встречается!

На самом деле, только что появившегося в магазинах мистического романа «Серафита» Дантес не читал, и знаком был с этим произведением лишь по пересказу своего любовника — барона Геккерна. Но «Златоокою красавицу», в которой описывалась лесбийская страсть, действительно одолел.

Вообще-то, чтобы не наводить досужую публику на совершенно излишние подозрения, барон запретил Жоржу обсуждать в обществе обе эти книги. Но Дантес находил такую осторожность чрезмерной. Произведения эти действительно были новинками, и заподозрить, что он заговаривает о них по иному поводу, было бы странно. Вот о книгах маркиза де Сада, из которых барон нередко чер-

пал аргументы в пользу дозволенности своих содомских ласк, действительно лучше не упоминать.

Как раз накануне, все еще надеясь отвлечь Жоржа от его страсти к Наталии Николаевне, барон обратился к авторитету этого писателя.

— Пойми, мой мальчик, — тактично и нежно объяснял барон. — Наслаждения, связанные с прямой кишкой — это наслаждения особого рода. Некоторые называют людей вроде нас с тобой третьим полом, но я бы назвал его вторым полом, вторым — по отношению к двум первым, столь этот наш пол своеобразен. Позволь, я прочту тебе одно место из романа Де Сада «120 дней Содома»... «Таковы, читатель мой, все четыре развратника, вместе с которыми ты, с моей помощью, проведешь несколько месяцев... Что можно сказать о них вместе и о каждом в отдельности, так это то, что все четверо были удивительно восприимчивы к содомии и, регулярно ею занимаясь, получали от этого наивысшее удовольствие».

Ты видишь? Те, кто знакомы со всеми видами будуарных радостей, невольно выделяют кишечные наслаждения в лигу высших. Ты знаешь, я не возражаю против твоих легких увлечений женщинами, но когда ты приносишь в отношения с ними слишком много пыла, это меня начинает беспокоить. Зачем?

— Ты прав, мой друг, я действительно слишком увлечен Пушкиной, но боюсь, что бороться с этим чувством сейчас уже поздно. Теперь меня может привести в равновесие только обладание ею!

— Что ж... — с грустью произнес барон. — Дай тебе Бог удачи, мой мальчик!

Неожиданное благословение барона подстегнуло Жоржа: в этот вечер он был в ударе и, как ему показалось, определенно очаровал Наталью Николаевну.

Впрочем, на этом празднике веселыми казались все за исключением Александра Сергеевича. Заметив это,

именинница подошла к Пушкину и попросила его поговорить с Натальей Строгановой.

— Что-то она не в настроении сегодня, развлекли ее, — сказала Софи, на самом деле стремясь добиться обратного, а именно развеять самого Пушкина, в юности питавшей к Строгановой — в девичестве Кочубей — самые нежные чувства.

— Непременно! — ответил слегка смутившийся Пушкин. Он было честно отправился выполнять поручение, но увидев, что Строганова сидит недалеко от Дантеса, решительно развернулся.

Наблюдавшая эту сцену Софи сделала брезгливую гримасу, а заметивший ее мину Александр Сергеевич покраснел.

Мюнхен

В тот же вечер на пороге шеллинговского дома появился Мельгунов.

— Мой супруг пока не вернулся, — сообщила ему Паулина. — Боюсь, что неделю вам еще придется подождать.

— Я уже виделся с вашим мужем в Аугсбурге. Сейчас мне бы хотелось задать несколько вопросов именно вам. Вы не откажете?

— Хорошо, — удивилась Паулина, — заходите и задавайте ваши вопросы.

— Гете пишет в «Поэзии и правде», что очень переживал разрыв со своей первой любовью. Это происходило, как можно понять, как раз в апреле 1768-го года, а потом уже в июне он смертельно заболел... Напрашивается связь между разрывом и болезнью, но сам Гете называет совершенно иные причины: купание в холодной воде, сон в неотапливаемом помещении, падение с лошади...

— Думаю, связь имелась... — согласилась Паулина. — Хотя сам Гете в этом никогда бы не признался, потому что на самом деле Анхен не была его первой любовью,

хотя и была его первой любовницей. Гордиться мучениями, связанными с этой девушкой у него особых причин не было.

— Тем не менее, мучения эти, судя по описанию, были немалые. Гете терзался, по-моему, не меньше, чем терзал Анхен.

— Согласна. Я только хотела сказать, что то были страдания не юного Вертера, а юного Фауста. Что же до связи между разлукой и болезнью, то она напрашивается сама собой.

— Как вы это верно подметили — страдания юного Фауста! Поэтому-то, наверно, и работа над Фаустом исцелила его! Подобное лечится подобным. Я ведь, знаете, удивительную вещь обнаружил. Оказывается, вскоре после болезни, то есть в том же 1768 году, Гете начал писать пьесу «Совиновники», в которой не только впервые прозвучала сама тема «Фауста», но присутствовал тот самый пассаж, с которого все последующие версии начинались: «Я богословьем овладел, Над философией корпел»...

— И в этом вы правы. Во всяком случае, однажды Гете сам признал эту связь...

— Сам? В каком месте? В какой главе? Как я мог не обратить внимание?

— Этого нет в «Поэзии и правде». Это я услышала от него самого...

— Умоляю, расскажите, как это было?

— Лет шесть назад у Гете умер его единственный сын, и мы с мужем решили, что нам стоит навестить его в этот горький час... Но Фридрих никак не мог оторваться от своих лекций, и мне пришлось поехать в Веймар одной. Там я и простилась с Гете, это было чуть более чем за год до его смерти.

Я пришла вовремя, его что-то тревожило, и он хотел поделиться. Мы проговорили около часу, и Гете рассказал, что он чувствует приближение смерти, что к нему вернулась та самая болезнь, от которой он чуть не умер в юно-

сти, что совсем недавно у него, как тогда в юности, горлом пошла кровь.

— Если обошлось тогда, может быть обойдется и сейчас. — решила я приободрить Гете. — В «Поэзии и правде», насколько я помню, вы пишете, что исцелились с помощью герметизма...

И вот тогда он сказал мне, что, как ему кажется теперь, более чем герметической медицине своему исцелению он обязан работе над «Фаустом», которого именно тогда и начал писать!

— Вы хотите сказать, что вас исцелил Мефистофель, чтобы вы написали «Фауста»? — спросила я в ужасе.

— Мефистофель или не Мефистофель, но на то время пока я писал «Фауста», болезнь отступила, и вот теперь, когда осталось доработать всего несколько небольших фрагментов... горлом снова пошла кровь! Невольно, кажется, что то была лишь отсрочка, отсрочка длиною в жизнь!

На том мы расстались, а через год с небольшим Гете умер. Шесть лет минуло после того разговора.

20 сентября (1 октября)

Ольденбург

С заходом солнца наступил седьмой, последний день праздника Кушей.

Вернувшись из синагоги, рав Шимшон Гирш вошел со своим семейством в пристроенный к дому шалаш, увенчанный еловыми ветвями, и произнес полагающееся благословение.

Семь Пастырей, семь Странников, открывших миру Семь Божественных ликов, один за другим посещают в эту праздничную неделю шалаши сынов Израиля. В последний седьмой день приглашается царь Давид.

«Я приглашаю на свою трапезу небесных гостей, — произнес слова молитвы рабби Гирш, — Авраама, Ицхака,

Иакова, Моше, Аарона, Йосефа и Давида, и прошу Давида, чтобы рядом с тобой и со мной расселись небесные гости».

Помимо Ханы и трех детей на сей раз за скромно накрытым столом сидел также и отец рава Шимшона — рав Рафаэль, приехавший из Гамбурга.

— Ну и как у вас восприняли мои «Письма с севера»? — поинтересовался рабби Гирш после того, как отец пересказал последние гамбургские новости.

— Хвалили, но больше гадали, кто скрывается за именем Бен Узиель? Многие поначалу думали на раввина Ицхака Бернайса. Но потом открылось, что это твое сочинение. Книга имеет успех, но думаю, что издавать ее на немецком было ошибкой.

— Отец, те люди, к которым я обращаюсь, до которых хочу докричаться, отказываются читать на идиш.

— Да и некоторые понятия, к которым ты прибегаешь, совершенно чужды нам.

— Но они работают, отец. В идеях просвещения человечество, наконец, отказалось от сказок, сопровождающих любое язычество. Просвещенное человечество достигло того состояния трезвости, которое для него предусмотрел Господь. Наш увлекающийся народ, впечатленный правотой рационализма, отнес к сказкам также книги Торы. Но миф — это миф, а история — это история. В какой-то момент все установится на свои места. Скоро уже не только евреи, а все народы осознают, что идеи просвещения, имеющие дело с миром будничного, просто обязаны быть дополнены идеями святости, которые хранит Израиль!

— Рав Моше Софер из Прессбурга так не считает. Он видит в просвещении лишь продолжение христианства, — покачал головой рав Рафаэль. — Соглашаясь с идеями просвещения, мы только сильнее подпадаем под пяту Эдома.

— Но в Торе сказано: «Не гнушайся эдомитянином, потому что он брат твой». Да и согласись, наконец, что власть Эдома необычна. Помнишь, что пишет Магараль в книге «Нецах Исраэль»? В лице Эдома — Рима мы имеем

дело не с отдельным народом, а с человечеством как таковым. С ним важно попытаться найти общий язык.

— Какой общий язык? Эдом нес и продолжает нести только смерть. Ты их не знаешь, этих европейцев. Они говорят «Творец», но ненавидят тех, кого Он избрал, они говорят «Бог», а в сердце своем обращаются к Ангелу смерти.

— Но и культ Ангела Смерти может быть очеловечен. Ведь в конечном счете и Ангел Смерти подотчетен Создателю. Приняв еврейские ценности, европейцы строят в наше время какой-то параллельный Израилю мир, они его называют Новым миром. Чего стоит только охватившая европейские умы идея истории, идея развития! Шеллинг утверждает, что даже животный мир развивается!

Рав Рафаэль с сомнением качал головой.

21 сентября (2 октября)

Мюнхен

Два следующих дня Мельгунов провел в университетской библиотеке. Определенных целей у него не было. Он бродил между стеллажами и вглядывался в корешки книг, в надежде, что сами названия подскажут ему направление поиска. Как подступиться к этому загадочному 1768 году? Как узнать, что примечательного в ту пору случилось?

Открытие, что год этот оказался судьбоносным для Гете, что в нем обозначилась творческая задача великого поэта, глубоко поразило Николая Александровича.

Его волнение было, конечно, усугублено и его собственной апрельской историей, той его двойной встречей с призраком Гете в Пасхальную и Вальпургиеву ночи, которые Мельгунов удивительным образом «перепутал», то есть воспринял как единое событие! Он либо сходит с ума, либо действительно проник за кулисы Истории, увидел какую-то ее загадочную внутреннюю пружину!

Вытянув с полки исследование по германской поэзии, Николай Александрович уселся за стол, открыл книгу, но не в состоянии был сосредоточиться. Взгляд его упирался в книжный шкаф со стеклянными дверками, мысль лихорадочно металась в догадках.

Шеллинг безусловно прав. Они, конечно же, связаны, эти ночи. Если Мефистофель дерзнул явиться Фаусту именно в Пасхальную ночь и даже умудрился купить его душу в этот самый святой праздник, то и наоборот, Христос вполне может ворваться на первомайский шабаш ведьм и перевернуть там все вверх дном! Это битва. Вечная битва, которая, по-видимому, яростно разгорается в ту пору, когда праздники эти сталкиваются своим дополнительным уподоблением!

После каждой такой схватки, которой управляет Мировой дух, что-то происходит, что-то меняется, низвергаются догмы, рождаются свободы... Мы переживаем сегодня крушение чего-то ветхого, векового. Мы в ожидании чего-то неслыханно нового! Шаги Мирового духа не слышны только уже совсем глухим. Даже по науке, по технике это заметно. Паровые машины используются уже не только на воде, но и на земле! Это первые вестники! Эти машины примчались к нам из будущего, которое уже не за горами. В газетах пишут, что скоро люди сумеют мгновенно сообщаться по медному проводу, соединяющему далекие страны! Говорят даже о нерукотворных изображениях, возникающих в камере обскура!

Но как мы, современники, чувствуем сегодня эти пертурбации Духа, также, видимо, что-то схожее чувствовали люди и тогда — в 1768-м. Не иначе как это совмещение двух весенних полнолунных ночей в истории порождает какие-то великие вехи, какие-то зоны...

Конечно же! Так оно и есть! Как раз после 1768 года в мир явились революции, атеизм, скептицизм... Суды перестали рассматривать дела против ведьм. Метафизика перестала быть наукой. Это период духа, который разви-

вался под знаменем «Критики чистого разума». Книга эта была написана Кантом в 80-х годах, но любопытно проверить, что происходило с философом именно в этом мистическом 1768-м году.

Мельгунов подошел к полке и разыскал среди сочинений Канта томик, содержащий его биографический очерк.

Николай Александрович оказался разочарован прочитанной биографией. Невольно вспомнились язвительные слова Гейне: «Трудно описать историю жизни Канта, ибо не было у него ни истории, ни жизни».

Однако у Канта имелись сочинения. Пролистав несколько книг, Мельгунов обнаружил, что в 1768-м году Кант написал и опубликовал последнюю свою «докритическую» работу «О первом основании различия сторон в пространстве», и начал работать над диссертацией «О форме и принципах чувственно воспринимаемого и умопостигаемого мира», явившейся первой его «критической» работой.

Итак, таинство зарождения критической философии совершилось в искомом 1768 году! Прижав к груди «Критику чистого разума», Мельгунов прислонился к полке, пытаясь справиться с охватившим его волнением.

26 сентября (8 октября)

Мюнхен

Рано поутру Мельгунов сел в дилижанс и покинул Мюнхен. Он направился в Ганау, чтобы пройти осмотр и определиться относительно дополнительного лечения у доктора Коппа. К осени, как всегда, невралгии обострились, а кроме того, его просто тянуло во Франкфурт, тянуло к его загадочным призракам.

Но перед выездом Мельгунов вновь посетил кафедру астрономии мюнхенского университета.

То, что 1768 год оказался значимым для Гете и Канта, так заинтриговало Николая Александровича, что он поже-

лал выяснить, в какие еще года происходило это таинственное спаривание пасхальных и вальпургиевых полнолуний. Какими событиями обозначатся эти загадочные грани не менее загадочных эпох? Какие гении окажутся современниками и даже участниками этих сражений Света и Тьмы на пути к вершине человеческой свободы? Ведь именно такова цель самораскрытия Мирового духа!

Профессор Груйтуйзен и на сей раз выразил готовность произвести соответствующий расчет — вплоть до рождения Христова, — однако уже не был настолько любезен, чтобы произвести его в кратчайший срок. Профессор пообещал ответить через месяц, переслав результат в Ганау.

5 (17) октября

Москва

15 номер «Телескопа» с первым «Философическим письмом», размещенным в отделе «Науки и искусства», был отпечатан в последних числах сентября. Через день после выпуска Шевырев рассказал Чаадаеву, как в трактире «Железный» половой Арсений поднес ему вместе с чаем последний выпуск «Телескопа» и объявил: «Вот, извольте ознакомиться, свежий номер-с, вчера только вышел. Все тут статейку одну читают, удивляются; много всякого разговора. Вам будет интересно».

Прошла всего неделя, и в Москве уже нельзя было встретить ни одного образованного человека, который бы не слышал о диковинной публикации, и не судачил бы о ней.

Главный редактор «Московского наблюдателя» Андров повстречался в те дни с издателем «Телескопа» Надеждиным. Он рассказал, что Чаадаев ранее пытался опубликоваться у него, и побился об заклад, что к 20 октября «Телескоп» будет запрещен, сам Надеждин посажен в острог, а цензор отстранен.

— Ну а Чаадаев? С Чаадаевым-то что будет? — кисло ухмыляясь, любопытствовал Надеждин.

— Этого я не знаю, — признался Андросов. — Чтобы знать, что правительство сделает с Чаадаевым, нужно быть пророком.

«Письма» были опубликованы анонимно, но тем не менее все почему-то определенно знали, что автором их является «басманный философ».

Прямо на улице к Чаадаеву подходили люди, некоторые хвалили за блеск мысли и мужество, жали руку, но в большинстве своем, напротив, смотрели странно, или вовсе отводили глаза.

Именно этого Чаадаев и ожидал, именно этого он и добивался, всеобщего потрясения, взрыва, переворота в умах. Пусть не сразу, но в какой-то момент это сработает, русский народ очнется. Телегу по имени Россия, застрявшую в непроходимом болоте истории, пора вытянуть на дорогу и установить в общую колею. И момент, безусловно, подходящий. История стремительно приближается к финалу!

Чаадаев подошел к столу, открыл номер и стал перечитывать свою статью, как бы становясь за спиной тысяч своих читателей, чьи глаза в этот самый момент впились в эти же строки: «В крови у нас есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс. Одним словом, мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его; пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке. Я не перестаю удивляться этой пустоте, этой удивительной оторванности нашего социального бытия...»

В этот момент вошел Тургенев.

— Послушайте, Петр Яковлевич, повсюду о вас только и толкуют. Мне кажется, ни одна другая публикация не производила такой бури... Да что там публикация, Вяземский сказал, что известие о вторжении наполеонов-

ских войск в Россию вызвало куда меньший переполох, нежели эти ваши «Письма». Когда они ходили в списках на французском языке, никто особенно не возбуждался. Вот что значит публикация по-русски!

— Что же говорят? Как в основном реагируют?

— Многие говорят, что это неслыханное оскорбление России, больше которого ей никогда никто не наносил. Да и сами посудите, вот вы пишете: «Чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера». Какой же русский такое стерпит? Возмущается публика, все только и спрашивают: на что смотрит цензура, на что смотрят власти?

— Вот именно, на что смотрят? Это такая наша русская болезнь, примечать куда смотрят власти, и уставиться в ту же точку. Не того мы русские боимся. Европейец не постыдится убежать от дикого зверя, но не станет унижаться перед начальством, а наш русский человек с рогатиной на медведя бросается, а перед городовым шапку ломает.

6 (18) октября

Ганау

С утра Николай Александрович явился в клинику доктора Коппа. После курса, начатого прошлой осенью и затянувшегося до весны, Николай Александрович ощутил явное улучшение. Однако к сентябрю приступы возобновились.

Щуплый доктор Копп, как и год назад, долго смотрел в рот Николаю Александровичу, уделив особое внимание его языку — «зеркалу желудка». Потом врач уложил больного на жесткую кушетку и принялся тщательно прошупывать его живот и простукивать грудь. Уже одним этим энергичным осмотром доктор Копп вернул Мельгунову веру в метод своего лечения и вселил ощущение того, что процесс выздоровления начался.

— Я предупреждал вас, что рецидив возможен, и теперь намерен несколько изменить схему лечения, — пояснил врач. — Успех зависит не только от правильного выбора лекарства. Не менее важна также и схема его приема. Доза и последовательность решают многое. Я составлю эту схему после того, как исследую вашу кровь и мочу.

— И сколько времени на сей раз займет лечение?

— Два-три, а то и все четыре месяца. Окончательно все станет ясно, когда мы увидим первые результаты.

Прогулявшись после визита по городу, Мельгунов вернулся в свой гостиничный номер, перекусил и провалился с книгой в мягкое глубокое кресло.

В его отсутствии в России был издан роман Лажечникова «Ледяной дом». Сочинение это вызвало немало споров, которые донеслись и до Мельгунова. Он выписал книгу и по приезду в Ганау обнаружил ее в числе прочих накопившихся корреспонденций.

В основе романа лежали подлинные события Российской истории столетней давности. Дворцовые интриги развивались на фоне выстроенного для потехи царицы Анны Иоанновны ледяного терема, в котором ее шут Кульковский должен был провести свою первую брачную ночь с предательницей Подачкиной.

Николай Александрович знал, что под именем Кульковского Лажечниковым был выведен князь Михаил Алексеевич Голицын, который в заграничной поездке принял католичество и женился на католичке. Брак этот был объявлен царицей Анной Иоанновной недействительным, а сам Голицын был превращен ею в дворцового шута: князь из рода Рюриковых должен был сидеть в лукошке на яйцах и кудахтать курицей в то время, пока императрица прилежно молилась.

— Как много осталось в России неизменным за эти столетия! — с горечью размышлял Мельгунов.

Но особо гнетущее ощущение оставила у него история первого российского академика поэта Василия Кирилло-

вича Тредиаковского, высмеянного Лажечниковым под его собственным именем.

Тредиаковский был одним из первых русских людей, получивших западное образование. Поначалу он воспитывался в астраханской капуцинской школе, а потом в славяно-греко-латинской академии в Москве. В 1726 году он самовольно отправился в Голландию, а затем во Францию, где слушал лекции в Сорбонне.

По возвращении в Россию в 1730 году Тредиаковский издал перевод романа Тальмана «Езда в остров любви», имевший бурный успех и ставший первым событием новой русской литературы. К изданию были приложены собственные стихи Тредиаковского.

В 1732 году поэт был принят в Академию наук в Петербурге, где прослужил до 1759 года.

Как только был построен ледяной дом, царица поручила Тредиаковскому написать стихотворное поздравление к дурацкой свадьбе и зачитать его молодоженам. Отказавшегося от этой миссии поэта два раза жестоко избили и продержали несколько дней под стражей. В конце концов сломленный Василий Кириллович составил шутовское приветствие новобрачным: «Здравствуйте женившись, дурак и дура...»

Вскоре после этого унижения звезда Тредиаковского закатилась. Он стал предметом всеобщего осмеяния. Его поэму «Телемахиды» для потехи заставляли зубрить провинившихся придворных. И вот эту подлую традицию осмеяния продолжил автор «Ледяного дома», выведший своего героя жалким и бездарным интриганом!

— А ведь Тредиаковский в сущности первый русский поэт, Ломоносов помладше будет! — подумал Мельгунов, закрывая книгу. — Ведь это же символ! Ох, не с той ноги встала Россия на свой западный путь!

Николаю Александровичу вспомнилось, как приходил он и на могилу Тредиаковского, нашедшего покой в Храме Гребневской иконы Божьей Матери на Лубянской площа-

ди. Он живо представил себе надгробие, под которым покоился стихотворец, и вдруг ясно вспомнил начертанные на нем годы жизни: 1703 — 1768.

— Вот так история! — опешил Николай Александрович. — Опять этот год! И что может значить смерть в таком году?

17 (29) октября

Петербург

Дантес все более изнемогал от страсти к Наталье Николаевне, и все более терял самообладание. В благоприятных дачных условиях Каменного острова в свиданиях недостатка не было. Но после возвращения в Петербург Дантесу за целый месяц лишь три раза удалась переговорить с Натали наедине.

Поручик чувствовал себя глубоко несчастным. Разыгрывать из себя платонического трубадура он больше не хотел и не мог. Желание обжигало его, не давая ни минуты покоя. Он был обязан ее добиться. Она сама призналась, что любит его, и должна понять, что с такими страстями, как его, не шутят.

Накануне, после того как Жорж провел подле Наталии Николаевны около часу, не имея возможности выразить всю глубину своей страсти, с ним случился нервный срыв. Жорж понял, что на арену пора выпускать «отца» с его недюжинными дипломатическими способностями.

Раньше они уже обсуждали с бароном такую возможность. По-видимому, время крупной артиллерии пришло.

Ни вчера вечером, ни сегодня утром переговорить с «отцом» Жоржу не удалось, и он написал ему письмо из казармы:

«Дорогой друг, я хотел говорить с тобой сегодня утром, но у меня было так мало времени, что это оказалось

невозможным. Вчера я случайно провел весь вечер наедине с известной тебе дамой, но когда я говорю наедине — это значит, что я был единственным мужчиной у княгини Вяземской почти час. Можешь вообразить мое состояние, я наконец собрался с мужеством и достаточно хорошо исполнил свою роль и даже был довольно весел. В общем я хорошо продержался до 11 часов, но затем силы оставили меня и охватила такая слабость, что я едва успел выйти из гостиной, а оказавшись на улице, принялся плакать, точно глупец, отчего, правда, мне полегчало, ибо я задыхался; после же, когда я вернулся к себе, оказалось, что у меня страшная лихорадка, ночью я глаз не сомкнул и испытывал безумное нравственное страдание.

Вот почему я решил прибегнуть к твоей помощи и умолять выполнить сегодня вечером то, что ты мне обещал. Абсолютно необходимо, чтобы ты переговорил с нею, дабы мне окончательно знать, как быть.

Сегодня вечером она едет к Лерхенфельдам, так что, отказавшись от партии, ты улечишь минутку для разговора с нею.

Спроси ее, не была ли она случайно вчера у Вяземских; когда же она ответит утвердительно, ты скажешь, что так и полагал и что она может оказать тебе великую услугу; ты расскажешь о том, что со мной вчера произошло по возвращении, словно бы был свидетелем: будто мой слуга перепугался и пришел будить тебя в два часа ночи, ты меня много расспрашивал, но так и не смог ничего добиться от меня. Скажи, что ты убежден, что у меня произошла ссора с ее мужем, а к ней обращаешься, чтобы предотвратить беду (мужа там не было). Это только докажет, что я не рассказал тебе о вечере, а это крайне необходимо, ведь надо, чтобы она думала, будто я таюсь от тебя и ты расспрашиваешь ее как отец, интересующийся делами сына; тогда было бы недурно, чтобы ты намекнул ей, будто полагаешь, что бывают и более интимные отношения, чем существующие, поскольку ты сумеешь

дать ей понять, что по крайней мере, судя по ее поведению со мной, такие отношения должны быть.

Она ни в коем случае не должна заподозрить, что этот разговор подстроен заранее, пусть она видит в нем лишь вполне естественное чувство тревоги за мое здоровье и судьбу. Ты должен настоятельно попросить хранить это в тайне от всех, особенно от меня. Еще раз умоляю тебя, мой дорогой, прийти на помощь, я всецело отдаю себя в твои руки, ибо, если эта история будет продолжаться, а я не буду знать, куда она меня заведет, я сойду с ума.

Если бы ты сумел вдобавок припугнуть ее и внушить, что ее семейные дела совсем расстроятся, если она не проявит благоразумие, то было бы совсем хорошо.

Прости за бессвязность этой записки, но поверь, я потерял голову, она горит, точно в огне, и мне дьявольски скверно, но, если тебе недостаточно сведений, будь милостив, загляни в казарму перед поездкой к Лерхенфельдам, ты найдешь меня у Бетанкура.

Целую тебя,

Ж. Де Геккерн».

18 (30) октября

Мюнхен

Прошел уже почти месяц, с тех пор как Шеллинг возвратился в Мюнхен.

Остаток отпуска в Аугсбурге он уже почти не прикасался к своим философским трудам. Там в унылой гостиничной комнате он начал набрасывать свой роман. Точнее, пока только одну единственную сцену из этого романа — сцену «пасхального шабаша», сцену единого сакрального события, свершающегося одновременно в двух параллельных мирах.

То, что не могло совпасть в жизни, могло и даже должно было совпасть в литературном произведении!

Он так описывал ночь, в которую его Фауст и его Мефистофель закручивали свою историю, что нельзя было точно сказать, о какой именно ночи идет речь. Он описывал, казалось бы, невозможное — пасхальную Мессу на Брокенских горах, в полнолуние!

То, что не может произойти в жизни, может, тем не менее, произойти в романе. То есть в романе может быть описано такое событие, которое в равной мере можно представить происходящим и в ночь на 3 апреля и в ночь на 1 мая. Точная дата календарного месяца оказывалась при таком изображении неопределенна, но из этой неопределенности вырастал вполне определенный — 1836 — год! А заданный самим Пятикнижием месячный зазор придавал дополнительную убедительность этому параллелизму.

Продолжая в Мюнхене выписывать отдельные детали этой сцены, Шеллинг чувствовал себя каким-то литературным алхимиком, прибегающим к загадочным формулам: полночь с субботы на воскресенье, полная луна, безжизненные скалы, порывы ветра, импровизированный алтарь.

Все это время Шеллинг почти совсем не задумывался над тем общим сюжетом, в который этой сцене предстояло вписаться. Он даже пока не был уверен, что ему нужен такой сюжет.

Зачем, в самом деле, писать второго «Фауста», если он уже написал «Ночные бдения»? Очень может быть, что эта сцена просто впишется в уже созданное им произведение.

Шеллинг написал эту книгу в 1804 году, вместе со своей первой женой Каролиной, «музой йенских романтиков». После разрыва со своим первым мужем Шлегелем Каролина получила от своих прежних поклонников прозвище «мадам Люцифер», или просто «дьявол».

Неудивительно поэтому, что в «Ночных бдениях» в пародийной форме содержалось немало выпадов против Шлегеля и Новалиса. Для нынешней цели это были совер-

шенно посторонние элементы, но в целом идея «ночных бдений» вроде бы соответствовала новому дерзкому замыслу.

Все это время написание центральной сцены казалось Шеллингу некоторым минимумом, некоторым пробным камнем, на котором можно было бы проверить весь замысел. И сегодня ему показалось, что сцена получается, что открытые им параллельные линии действительно совмещаются!

Его ошибка заключалась в том, что он воображал, будто бы возможна какая-то «философии тождества». Такой философии нет, есть лишь поэзия тождества! И это тождество теперь им как будто бы действительно достигается!

Франкфурт

В этот же день Николай Александрович, получил с утренней почтой долгожданное письмо от профессора Груйтуйзена.

В конверте лежал лист, на котором — почему-то в обратном порядке — были написаны следующие числа:

2140, 1988, 1836, 1768, 1616, 1569, 1474, 1379, 1295, 1132, 1048, 953, 858, 763, 679, 516, 432, 337, 242, 158, 63.

То были годы, в которые католическая пасха совпадала с еврейской, то есть с полнолунием нисана, а полнолуние ияра приходилось на воскресную вальпургиеву ночь.

Несколько минут Мельгунов завороченно вглядывался в эти загадочные числа. Что они таят в себе? Что могут поведать? Неужели это действительно какие-то врата, через которые каждое столетие Мировой дух прорывается в историю? Неужели эти года знаменуют собой начало каких-то эпох? Но каких? О Новом времени заговорили уже в ту пору, которую сегодня мы именуем эпохой Возрождения. Могут ли эти даты служить разграничительными маяками между Средневековьем, Ренессансом и Новым временем? Нет, это слишком грубая и внешняя разбивка? Не видно

среди этих годов также и дат каких-то важных событий... Теперь надо проверить, оказались ли эти годы судьбоносными для каких-то великих мастеров, или великих королей... Кроме Гете, в своей «Философии искусства» Шеллинг назвал в качестве творцов Нового мира Шекспира, Сервантеса и Данте. Начинать надо с них.

Можно было бы пойти в библиотеку, но Мельгунов прежде всего решил зайти в располагавшийся неподалеку от «Отель де Русс» книжный магазин. Если там найдутся подходящие книги, то можно будет начать исследование за своим письменным столом, без опасения прерываться в самое продуктивное ночное время.

Николай Александрович довольно быстро обнаружил на полке сборник шекспировских трагедий, сопровождавшийся подробным биографическим описанием. Не отходя от полки, он жадно углубился в чтение, а когда поднял голову, то на другом конце магазина увидел... Мадонну из собора Св. Варфоломея! Она так же, как и он, держала раскрытую книгу и чему-то в ней улыбалась.

Мельгунов робко подошел к девушке, и дождавшись, когда она оторвалась от чтения и взглянула на него, спросил:

— Простите, фройлен, не вас ли я однажды встретил возле дома Гете на Гроссер-Хиршграбен?

— Да, я бываю там иногда.

— Иногда? То есть вы не живете в этом доме?

— Нет, нет. Просто захожу...

— Это как-то связано с Гете? Или у вас там друзья? Извините, что я расспрашиваю, но ведь это не музей, а заглянуть туда так хочется.

— Прекрасно вас понимаю. По этой самой причине я туда как раз и заглядываю.

— И вас пускают? Впрочем, как вас не пустить с вашей внешностью.

— Да, пускают.

— Извините за дерзкую просьбу, но может быть вы меня в этот дом как-нибудь поведете? Очень хотелось бы

взглянуть. Я как раз недавно читал «Поэзию и правду» и обратил внимание на то, что заболев в юности смертельной болезнью, Гете вернулся во Франкфурт в родительский дом и именно в нем исцелился...

— Он и потом в этом доме жил, и подолгу, — уточнила Мадонна. — До 1775 года.

— Я ведь, представьте, был с ним знаком... — догадался похвалиться Мельгунов.

— Вот как?! — Мадонна с интересом взглянула на собеседника. — А кто вы? Чем занимаетесь?

— Я писатель, сотрудник российского журнала «Московский наблюдатель». С Гете же меня свела судьба совершенно необычным образом, и я питаю особенный интерес к его жизни и к его творчеству...

— Мне кажется, вы заслуживаете того, чтобы в этом доме побывать. Оставьте мне ваш адрес... Я соображу, когда удобнее заглянуть в гости к Гете, и сообщу вам.

— Как вас зовут?

— Регина.

Ну как же еще?! — подумал Мельгунов. — Регина — Царница, это одно из имен Богородицы.

* * *

Какой день! Какой день! И полный список этих загадочных лет, и знакомство с Мадонной, и приглашение к Гете — все в один день!

Отобрав еще пару книг, Мельгунов занес их домой и уже после того отправился в библиотеку.

Он взял с полки том энциклопедии на букву «S» и сразу же натолкнулся на глубоко поразившее его совпадение. Оказалось, что Шекспир и Сервантес умерли в одном и том же 1616 — избранном — году, более того в один и тот же день — 23 апреля!

Что это может значить? В том, что в 1768 году скончался Тредиаковский, имелась своя логика. Тем самым Миро-

вым духом была помечена его судьба, судьба оболганного и осмеянного первого русского поэта. В этом прозревалась, как ни горько это сознавать, символическая судьба самой России — одной рукой робко тянущейся к Западной Европе, а другой яростно отталкивающей ее.

Но ведь и Сервантес, и Шекспир вроде бы были признаны при жизни? Что тогда имел в виду Мировой дух, забирая их в свой год?

Впрочем, оба этих «гроссмейстера» застали так же и предыдущий — 1569 — год. Шекспир был тогда пятилетним ребенком, и найти в этот период в его биографии что-то примечательное можно было и не пробовать, а вот Сервантес был постарше...

Изучением его жизни и занялся в этот день Николай Александрович.

О юности писателя сведения попадались скудные, но после нескольких часов поиска, сильно утомивших его зрение, Мельгунову стало ясно одно — до 1568 года Сервантес жил там, где в 1547 году и родился — в Кастилии. Однако как раз весной 1569 он отправился в Рим в свите кардинала Аквавиве. С той поры он только странствовал, ни разу так и не приклонив головы. Уже через год Мигель принял участие в морском сражении с турецким флотом. Он был ранен и потерял руку. Между тем он продолжил участвовать в дальнейших походах, а когда в 1575 году вознамерился, наконец, вернуться домой, то по дороге попал в плен к алжирским пиратам. Несмотря на то, что побег из рабства карался смертью, Мигель предпринимал его трижды, каждый раз чудом избегая казни. Лишь через 5 лет Сервантеса выкупили, и он возвратился на родину. Здесь, однако, его ждала нищета, неудачная женитьба, удручающая работа сборщика податей и даже тюрьма, в которую он угодил по ложному доносу. Там, за решеткой, Сервантес как раз и начал писать свой роман о «странствующем рыцаре». Скончался скиталец в монастыре.

То что весной 1569 года Сервантес пустился в странствие, предопределило не только судьбу этого Великого Мастера, но также и стихию его главного произведения. Но что это дает нам с точки зрения понимания эпох? Человечество начало странствовать гораздо раньше. К 1569 году эпоха великих географических открытий почти завершилась.

19 (31) октября

Петербург

Геккern не стал разыскивать Наталию Николаевну в доме баварского посланника в тот вечер, который ему указал в своем письме Дантес. Барон счел необходимым предварительно переговорить с Жоржем с глазу на глаз, причем не в казарме, этой рассаднице городских сплетен, а в более приватной обстановке.

Его вмешательство, таким образом, отсрочилось. Между тем сам Жорж в тот день настолько раскис от своей любовной лихорадки, что врач дал ему освобождение, и больной уже не выходил из здания голландского посольства. Только теперь через день после нервного срыва, сопровождавшегося отправкой письма, «отцу» и «сыну» удалось все обстоятельно обсудить.

Жорж капризничал и умолял Геккерна сделать хоть что-то. Но, что? Как сломить сопротивление строптивой красоти?

Геккern согласился с тем, что ее можно попробовать припугнуть ревностью Пушкина, однако, сам предпочел другое: применив весь свой отцовский авторитет, предложить Наталье Николаевне серьезные отношения — развод с Пушкиным и брак с Жоржем.

— Пойми ты, — внушал барон своему любовнику. — Не важно, чем все это закончится на самом деле, важно прямо сейчас уложить ее с тобой в постель. Я боюсь за тебя, мой мальчик. Ты в ужасном состоянии.

— Ты прав, ты, как всегда, бесконечно прав. Если она не уступила до сих пор, то значит нужны новые неординарные средства, нужны неожиданные ходы. Я сделаю ей предложение!

— Нет, нет. В твоих устах это прозвучит как безумная фантазия, как жалкая истерика. Твоим предложением ее должен ошарашить я — умудренный опытом дипломат. Попытаюсь внушить ей, что брак между вами не только возможен, но и совершенно необходим для вас обоих. Надеюсь, это что-то изменит, и вот тогда уже на арену можешь выходить ты.

Теперь Геккерну оставалось только подыскать подходящий момент и подходящее место для своего плана.

* * *

В тот же день поутру Пушкин стал писать письмо Чаадаеву. Накануне он получил от него номер «Телескопа» с «Философическими письмами». С работой этой во французском оригинале он был знаком уже много лет, и уже много с Чаадаевым на эту тему спорил. Но на издание статьи счел своим долгом ответить письменно:

«Благодарю за брошюру, которую вы мне прислали. Я с удовольствием перечел ее, хотя очень удивился, что она переведена и напечатана. Я доволен переводом: в нем сохранена энергия и непринужденность подлинника. Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всем согласен с вами. Нет сомнения, что Схизма отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое

существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех...

Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератор — я раздражен, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал...

Наконец, мне досадно, что я не был подле вас, когда вы передали вашу рукопись журналистам. Я нигде не бываю и не могу вам сказать, производит ли статья впечатление. Надеюсь, что ее не будут раздувать».

Однако надежда была слабой, и посылать это письмо Пушкин не решился. Кто знает, как оно может использоваться недругами Чаадаева. Лучше подождать пока все уляжется.

Положив письмо в ящик стола, Пушкин заторопился к Яковлеву. В половине пятого первый выпуск Царскосельского лицея собирался у него, чтобы отпраздновать свою 25-летнюю годовщину.

* * *

— Господа, читал ли кто-нибудь из вас в последнем «Телескопе» «Философические письма» Чаадаева? — поинтересовался Александр Сергеевич.

— Я не читал, — отозвался Данзас, — но как раз вчера слышал, как отзывается об этом сочинении Софья Карамзина. Она сказала, что ничего более злобного и лживого о России никогда не слышала. Даже любопытно стало. Непременно прочту.

— По-своему подход его последователен, но очень уж односторонний... Ума только не приложу, как Чаадаев умудрился цензуру обойти?

Подошли Корф и Иличевский. Началось застолье, сопровождавшееся чтением письма Кюхельбекера, отбывавшего ссылку в Иркутской губернии, в городке Баргузин. Всеобщую радость вызвало известие о его помолвке.

Потом из архива Яковлева были извлечены протоколы и стихотворения, посвященные прежним встречам выпускников.

— Когда мы праздновали 20-летие, то помнится шестерых из нас не досчитались, — заметил хозяин дома. — Александр Сергеевич это даже в своем посвящении отметил, до которого мы, наконец-то, добрались. Вот слушайте.

Яковлев стал читать:

*«Шесть мест упраздненных стоят,
Шести друзей не узрим боле,
Они разбросанные спят —
Кто здесь, кто там на ратном поле,
Кто дома, кто в земле чужой,
Кого недуг, кого печали
Свели во мрак земли сырой,
И надо всеми мы рыдали.
И мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельви́г милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой»*

Обращаю внимание присутствующих, на то, что все мы, включая Александра Сергеевича, до сих пор, слава Богу, живы. Наши заздравные тосты явно помогают... И сейчас я предлагаю всем выпить за здоровье Кюхельбекера и прочих отсутствующих братьев.

Все выпили шампанского.

— Ах, Дельви́г, Дельви́г, — произнес Данзас. — Помните, что он сказал, когда после лица надел очки? —

— Нет! — разом ответило несколько голосов.

— Вот пусть Александр Сергеевич расскажет, я от него слышал.

Все посмотрели на Пушкина.

— Он сказал приблизительно так: в Лицее мне запрещали носить очки, зато все женщины казались мне прекрасными. Как же я разочаровался в них после выпуска...

— Знал бы он в ту минуту, каких степеней достигнет это его разочарование, — пробормотал Иличевский.

— Да уж, — согласился Яковлев. — С женой ему не повезло даже в большей мере, чем с третьим отделением.

— А что не так с его женой? — удивился Данзас. — Я кажется, что-то пропустил?

— Тебя не удивило, что уже через несколько месяцев после смерти Дельвига его Софья вышла замуж за брата Баратынского? — поинтересовался Иличевский.

— Положим, удивило. Но засчитать это за невезение в браке, извините.

— Ты, видимо, не знаешь всего. Вернувшись домой после разговора с Бенкердорфом, Дельвиг застал их вместе. То есть увидел свою Софью в объятиях Баратынского... Антона в тот день сразили две беды, а не одна. От одной он, может быть, еще и оправился бы, но двух не потянул.

Пушкин помрачнел.

20 октября (1 ноября)

Франкфурт

В этот день Мельгунов снова явился в библиотеку к самому открытию. Вчера он исследовал жизни Сервантеса и Шекспира, сегодня ему предстояло разобраться в судьбе того, кого Шеллинг называл «первосвященником нового искусства», в судьбе Данте!

Обложившись несколькими биографиями поэта, в том числе «Жизнью Данте» Боккаччо, Николай Александрович начал свое исследование, вращающееся вокруг 1295 года.

Картина довольно скоро вырисовалась следующая.

Родился Данте в 1265 году. В восемнадцать лет он встречал замужнюю женщину по имени Беатриче, которая в тот же миг стала «владычицей его помыслов». Оставалась она таковой и после своей смерти, наступившей ее в 1290 году. Через год Данте описал свою любовь в «Новой жизни», представив смерть Матроны как космическую катастрофу. Через некоторое время по настоянию родных он женился на Джемме Донати, однако через несколько лет оставил ее, и как свидетельствует Боккаччо, «уже никогда к ней не возвращался и, где бы ни находился, не допускал ее к себе, хотя прижил с ней несколько детей».

В 1307 году Данте начал писать «Божественную комедию», в которой Беатриче оказалась главной героиней.

Сам Данте относил свое видение, описанное в «Божественной комедии», к 1300 год. Однако, как понял Николай Александрович, вовсе не эта дата явилась для него переломной. Все говорило о том, что именно 1295 год фигурировал в жизни Данте как год роковой, как год, определивший всю его дальнейшую судьбу — судьбу человека и судьбу поэта.

Выяснилось, что в марте этого года во Флоренции поднялась смута, продолжавшаяся до середины лета, а что осенью Данте впервые вступил на политическое поприще.

Николаю Александровичу живо представилась картина начавшихся во Флоренции беспорядков. И на Пасху, и в день Св. Вальпургия смута была в разгаре, а значит, как раз в эти дни скромный флорентийский фармацевт решался, не взять ли ему ответственность за судьбу города, не пойти ли ему в политику?

После завершения беспорядков — 1 ноября 1295 года Данте принял пост одного из старейшин города. Сам Поэт связывает «начало всех своих бедствий» с облюбованным им для загробных странствий 1300 годом, годом в который он вступил в должность Приора. Однако Данте продолжал занимать этот пост еще почти два года. Только в 1302 году

он был изгнан из Флоренции, и даже заочно приговорен к смерти. Таким образом, началом дантовских бедствий следовало признать дату его вступления в общественную жизнь, а не какой-то промежуточный этап политической карьеры.

— Все верно, — размышлял Мельгунов, массируя утомленные от долгого чтения глаза. — Подтверждается, что Мировой дух — это дух Евангельский. Царствие мое не от мира сего! «Одиссея мирового духа» развивается по Шеллингу, а не по Гегелю, она совершается не столько в политике, сколько в искусстве.

21 октября (2 ноября)

Петербург

С раннего утра в голове государя зудел мучительный вопрос: что делать с Чаадаевым? Ну что с ним делать?

Надо было принимать решение. Самое простое — отдать под суд — и в Сибирь. Или может быть, как советует Уваров, предать богохульника церкви, сослать в монастырь, в Соловки и держать там на воде и хлебе пока ум не просветлеет?!

Вчера, потратив на чтение «Философических Писем» почти час своего драгоценного царского времени, Николай I склонялся именно к этому решению.

Он читал и не верил своим глазам. Откуда, каким образом может забрести в человеческую голову такая нелепица, такой немыслимый вздор? Ну вот хотя бы это: «Одна из самых прискорбных особенностей нашей своеобразной цивилизации состоит в том, что мы все еще открываем истины, ставшие избитыми в других странах и даже у народов, гораздо более нас отсталых. Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни

другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось. Дивная связь человеческих идей в преемстве поколений и история человеческого духа, приведшие его во всем остальном мире к его современному состоянию, на нас не оказали никакого действия».

— Как можно сказать о России такой вздор? О России, единственной стране направляющей к порядку все человечество! —

Выводило государя из себя и другое: ужасающая нерасторопность Третьего отделения. В Москве уже почти целый месяц люди с пеной у рта спорят о дерзкой статье, но на столе самодержца она — стыдно сказать — оказалась только 20 октября!

Сочинитель должен сурово поплатиться. Уж он придумает для него подобающее наказание.

Государь поднялся и стал расхаживать по кабинету. Немного успокоившись, он вновь заглянул в «Письма»:

«Опыт времен для нас не существует. Века и поколения протекли для нас бесплодно. Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили».

— Ну нет, — заключил государь, — это писанина — чистой воды безумие. Тут хлеб и вода не помогут! Это надо лечить! А журналистов и цензоров накажем примерно.

И Николай I «положил» свою резолюцию:

«Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного: это мы узнаем непременно, но не извинительны ни редактор журнала, ни цензор. Велите сейчас журнал запретить, обоих виновных отрешить от должности и вытребовать сюда к ответу».

Предвещая, что «Телескоп» будет закрыт к 20 октября, Андросов ошибся лишь на один день. Относительно пред-

сказания судеб издателя и цензора погрешность также оказалась невелика.

Франкфурт

В это же утро Николай Александрович получил письмо от Мадонны. Она предлагала встретиться у дома Гете вечером в четыре часа.

Весь день прошел в необычайном волнении. Николай Александрович не мог сосредоточиться ни над книгами, ни над собственными очерками, которые готовил для «Московского наблюдателя». По счастью, дождя не было, и можно было просто в свое удовольствие бродить по Франкфурту.

На Гроссер-Хиршграбен Мельгунов пришел за 10 минут до назначенного времени и стал прохаживаться перед домом. Регина пришла ровно в четыре, и одарив Николая Александровича своей очаровательной улыбкой, ввела его внутрь.

Они поднялись на четвертый этаж. Регина открыла одну из комнат имевшимся у нее ключом, и они вошли.

— Вот она — комната Гете, — пояснила девушка. — Сейчас ее снимает одна вдова, которая дает мне ключи, когда уезжает, и вот как раз она уехала.

В небольшой комнате находились круглый стол, три стула, небольшой буфет, комод и кровать. На стенах висели три старинные гравюры.

— Вещей Гете, здесь, конечно, не осталось, — пояснила Мадонна. — Но комната его. Это точно. Садитесь. Переживайте.

Мельгунов уселся, с трепетом обводя взором стены.

— Я очень люблю здесь бывать, — продолжала девушка. — Я ездила в Веймар. Там все превращено в музей, и возникает какое-то отстранение, а здесь ты как будто у Гете в гостях. Вы со мной согласны? Ведь вы тоже были в этом музее в Веймаре.

— Как вы знаете?

— Я видела вас там этим летом. Я проезжала в экипаже мимо гостиницы Слона, а вы как раз выходили...

Мельгунов был ошеломлен.

— Но как вы меня узнали? Как запомнили?

— Вы приметный, крупный. Я хорошо запомнила вас, когда мы столкнулись с вами перед этим домом...

— А еще раньше мы встречались?

— Да, на Пасху, в Соборе святого Варфоломея.

— Невероятно. Так оно и было! Итак, Пасхальную ночь вы встретили в соборе святого Варфоломея, а где вы провели Вальпургиеву? Не здесь ли случайно?

Теперь пришел черед удивиться Мадонне.

— Как вы знаете? Я действительно была здесь. Вдова как раз уехала на неделю, и я пришла сюда ближе к ночи... Пробовала читать «Фауста», но не смогла. Слишком страшно было. Но как вы меня заметили?

— Я не заметил, хотя, признаться, был тут совсем неподалеку. Я просто догадался. Вы ведь очень необыкновенная девушка, а значит, если Пасху 1836 года от рождения Христова вы провели в Соборе, то Вальпургиеву ночь этого года вы непременно должны были провести здесь!

— Признаться, я не вижу связи. И при чем здесь 1836 год?

— В этом году совершался небывалый парад светил, в этом году Пасхальная ночь оказалась приурочена к Вальпургиевой.

— Вот как? И что это значит?

— Это значит, что в этом году Вальпургиева ночь выглядела так же, как и Пасхальная. Обе эти ночи приходились на воскресенье и были полнолунными.

— Так, так, — протянула Мадонна, приподнимая брови. — Ну и что с того?

— Пока я и сам толком не знаю — что. Тем не менее, я уже подметил, что для великих мастеров эти даты оказываются судьбоносными. Таким годом был 1768 год, когда

Гете как раз смертельно заболел и лечился в этой комнате с помощью герметики, и когда он впервые пришел к теме «Фауста»...

И Мельгунов стал рассказывать Мадонне об идее Шеллинга и о том, как отметились эти года в судьбах Данте, Шекспира, Сервантеса и Гете.

Девушка слушала рассеяно, время от времени беспокойно вглядываясь в разгоряченное лицо Мельгунова. Похоже, что увлеченность ее собеседника всевозможными совпадениями казалась ей не очень оправданной.

— Действительно необычно, что Шекспир и Сервантес умерли в один день, — согласилась она. — Но что в этом такого судьбоносного для Одиссеи мирового духа? Вам не кажется, что со смертью эти писатели как раз прекратили свои творческие поиски и перестали оказывать какое-либо влияние на мир?

— Верно, в этом плане подобие Пасхальной и Вальпургиевой ночей на их творчество влияния не оказало, но я понимаю это так, что этим совпадением Мировой Дух как бы отдал им честь.

— Отдал честь? — кисло усмехнулась Регина.

— Ну, не знаю. Я до конца не продумал еще этот вопрос. Но случается, кстати, и наоборот. Например, с Джордано Бруно. Вы только послушайте: в 18-летнем возрасте он принял постриг и почти сразу стал увлекаться крамольными идеями, даже удалил из своей кельи статуи святых. Но в то же время он делал такие феноменальные успехи в учебе, что в 20-летнем возрасте его представили папе Пию V как самого перспективного юношу, чуть ли не как будущего Понтифика! Это случилось как раз в 1569 году...

— Я уже ничего не понимаю. Вы говорите о каких-то карьерных взлетах?

— Нет, что вы. Я лишь хочу заметить, что в том году церковь сделала на Бруно ставку, и только поэтому отомстила ему впоследствии. После разрыва с церковью в 1576 году, Бруно 16 лет скитался по Европе, где свободно

проповедовал свою «религию Разума». В 1592 году он прибыл в Венецианскую республику, где ему также ничего не угрожало. Но Рим оказал давление на Венецию и заподлучил крамольного философа. Семь лет инквизиция безуспешно добивалась от Бруно отречения от своей ереси, но в конце концов сожгла его так и «нераскаявшимся», в 1600 году... Вот и выходит, что Бруно повстречался с собственной смертью в 1569 году.

— Я не понимаю. Я не понимаю, как могут влиять на творчество и судьбы великих людей какие-то календарные совпадения. Это мне кажется по существу невозможным.

Мельгунов смутился. Возникло неловкое молчание.

— Но мы что-то тут с вами засиделись, — спохватилась Регина. — Пора уже.

— Я могу вас проводить? — робко спросил Мельгунов, когда они вышли на улицу.

— Нет, спасибо, — ответила девушка после некоторого колебания.

— В любом случае, спасибо вам за этот вечер. Я никогда его не забуду.

В ответ Регина улыбнулась Николаю Александровичу, но как ему показалось, как-то снисходительно.

Она привела в свое святилище не того человека, и теперь стыдится своей ошибки, — с горечью подумал Мельгунов, глядя вслед удаляющейся от него стройной фигурке.

24 октября (7 ноября)

Петербург

Все тщательно продумав, Геккерн стал каждый вечер появляться в доме Карамзиных, пока, наконец, не застал там Наталью Николаевну без сопровождения мужа.

Улучив момент, барон отозвал ее в сторону и вкрадчиво заговорил:

— Дорогая Наталья Николаевна. Мой сын болен, он уже пять дней как освобожден от службы и пребывает в очень скверном состоянии духа. Я серьезно опасюсь за его жизнь. Но главное, я вижу, что он что-то скрывает от меня, чего бы я хотел у вас выяснить.

— Что именно вас смущает?

— Он что-то не договаривает, и я весьма опасюсь за него. Вчера я видел вашего супруга, он не ответил мне на поклон, был явно не в себе. Я невольно связал эти обстоятельства и испугался, не могло ли между Жоржем и Александром Сергеевичем произойти какое-то столкновение? Я, признаться, очень опасюсь.

— Мне об этом ничего не известно, барон.

— Уже и то хорошо. Я бы хотел сказать вам еще кое-что... Не мне вам рассказывать, как мой сын глубоко почитает и любит вас. Ваши чувства к нему для меня также не секрет. Но почему бы тогда не попробовать расторгнуть ваш нынешний брак и не вступить в новый?

— Мне кажется, вы еще более больны, чем ваш сын, — вспыхнула Пушкина. — Это невозможно.

— Нет, это как раз очень даже возможно, Наталья Николаевна. Когда я решил усыновить Жоржа, многие говорили мне то же самое, но нет ничего невозможного для чистых и возвышенных чувств, для них открываются все двери. Навестите моего сына, скажите ему «да», и вы увидите, какие чудеса я сделаю для того, чтобы узаконить ваши отношения!

— Я не верю своим ушам...

— Жорж не может жить без вас... Это великое чувство заслуживает того, чтобы на него ответить всем сердцем. Подумайте, мадам.

— Я этого не сделаю, передайте это, наконец, и ему. При всех моих симпатиях, которые я действительно испытывала до последнего времени к вашему сыну, есть пределы. Если общение со мной причиняет ему такие страдания, то его следует избегать... Передайте вашему

сыну, что если все это будет продолжаться, я откажу ему в доме.

— Наталия Николаевна, вы делаете серьезную ошибку...

29 октября (10 ноября)

Москва

Рано утром слуга Петра Яковлевича Чаадаева доложил, что в дом пожаловали жандармы.

Подполковник Бегичев и полицмейстер полковник Брянчанинов представились хозяину и предъявили высочайший приказ об обыске и изъятии бумаг.

Чаадаев, конечно, был готов к такому повороту событий. Собственно большей крамолы, чем «Философические письма», в его доме не водилось, но кое-какие письма его близких друзей, содержащие неосторожные политические реплики, благоразумно вернул им заранее.

Жандармы забрали все оставшиеся в доме письма, все рукописные материалы, несколько книг. Зачем-то прихватили Брюлловский портрет Александра Ивановича Тургенева.

Заметив, что один из ящиков оказался доверху набит «Московскими Ведомостями», Чаадаев сухо заметил:

— Господа, вы явно переусердствовали, эти газеты — не бумаги, а бумага.

Уже не первый раз в его жизни власти бесцеремонно копались в его вещах. Как и прежде, были изъятые все рабочие материалы, так что он оказался не в состоянии продолжить свои заметки. Во время обысков Чаадаев всегда держался достойно, достойно он выглядел и на этот раз.

Однако, когда жандармы покинули его дом, Чаадаев неожиданно для себя ощутил тревогу и беспокойство, решительно выведшие его из равновесия. Что его ждет?

Страх оказаться до конца дней в Сибири медленно вползал в его душу.

Часа два Чаадаев вспоминал, что было писано в изъятых у него статьях, и пришел к выводу, что в некоторых из них можно было отыскать даже и какие-то оправдывающие его моменты. Но под лежащий камень вода не течет — ему следует проявить усердие, выказать знаки сотрудничества.

У писца и у еще одной дамы оставались экземпляры нескольких не изъятых у него при обыске статей. Надобно немедленно послать Ивана Яковлевича забрать эти статьи, чтобы самому передать их властям. Надо торопиться, надо успеть выказать себя законопослушным гражданином, прежде чем государь вынесет свой приговор!

Копенгаген

Этот долгий субботний день начался для Кьеркегора со свадебного завтрака одного из его знакомых.

На этом завтраке Сёрен, его ближайший друг Эмиль Безени, еще три неизвестных ему господина оказались за одним столом с Гансом Христианом Андерсеном, автором романа «Импровизатор» и, как недавно выяснилось, еще и оригинальным сказочником.

Кьеркегору этот писатель был не по душе: уже давно обласканный датской аристократией, но упорно не желающий распрощаться со своим образом обиженного судьбой нищего мальчугана, он казался ему пустым и самовлюбленным. Его же новый «почти законченный» роман «Всего лишь скрипач», о котором Андерсен стал всем громко рассказывать, Кьеркегор заранее невзлюбил.

Сёрен с облегчением вздохнул, когда разговор как-то перескочил на роман Мюссе «Исповедь сына века».

— Мне кажется, ключевая сцена этого романа, — сказал Эмиль, — это сцена, в которой Бригитта в первый раз отказывает Октаву под предлогом того, что тот желает ею

обладать, а это ни к чему хорошему привести не может. Все дальнейшее описание является просто доказательством этого тезиса. Но от чего это в самом деле так получается?

— Я не понимаю вопроса, — удивился незнакомый Сёрену собеседник. — Известно, что в этом романе Мюссе описал историю своей любви к Жорж Санд. И, как мы видим, целиком свою любовницу оправдывает. Так было.

— А я как раз не вижу особенного сходства между героем и автором, — заметил Андерсен. — Октав потому расстался с Бригиттой, что разочаровался в самой любви; потому что убедился в ее внутренней неосуществимости. Это действительно открытие нашего века... Но причина неуживчивости самого Мюссе с Жорж Санд совершенно в другом.

— В чем же?

— В том, что любовные утехы Мюссе познал раньше самой любви.

— Поясните.

— Видите ли, если мужчина в свежем возрасте начал с того, чем принято заканчивать, он постоянно потом стремится вернуться к исходному ощущению, и это, конечно, не может не портить его отношений с порядочными женщинами.

— Да с чего вы это взяли? С чего вы взяли, что Мюссе — именно такой случай?

— В пору их романа я как раз находился за границей, и волею случая знаю об этом достоверно. По понятным причинам я не могу назвать свои источники, но ручаюсь, что причина именно в этом. Мюссе начал с публичных женщин, а не перешел к ним из-за сердечных разочарований.

Если бы Андерсен назвал свои источники, его бы просто неправильно поняли.

Когда в четырнадцатилетнем возрасте он приехал в Копенгаген, то обнаружил, что его тетка Кристина, у которой

он намеревался остановиться, содержит бордель! Позже он узнал, что проституцией занимается и его сводная сестра. С этими женщинами Андерсен никаких отношений не поддерживал, и квартал красных фонарей в Копенгагене тщательно обходил. Однако сама тема продажной любви занимала его.

Та страстность и экзальтированность, с которыми он пытался завязывать свои отношения с порядочными женщинами, их определенно пугали и отталкивали. Их привлекал Ганс — друг, даже Ганс — брат, но определенно не Ганс жених.

Как бы то ни было, путешествуя два года назад по Германии, Франции и Италии, Андерсен нанес немало — чисто платонических — визитов в бордели.

Томясь мечтой о любви, мечтой о близости с далекой женской душой, Андерсен видел эту душу как бы стоящую на другой стороне глубокого ущелья, к которому можно было перебраться лишь по одному узкому канатному мосту, которым являлось... ее тело. От сложности предприятия кружилась голова и замирало сердце. Что делать, он не родился акробатом!

Но в присутствии продажных женщин это головокружение проходило, напряжение спадало, и боль как будто смягчалась. Бездна исчезала, прочный гранитный мост женской прелести никуда не вел, но и не пугал; дверь открывалась внутрь, а не во вне, и, хотя тело писателя в эту минуту терзалось, душа успокаивалась.

В Венеции одна из жриц любви была совершенно очарована 30-летним сказочником. Именно она рассказала Андерсену и о Мюссе, который периодически у нее появлялся, и об общей особенности мужской сексуальности, заключающейся в неискоренимом желании вернуться к первому, остро пережитому ими в юности, или даже в отрочестве наслаждению.

Андерсен не стал вдаваться в эти подробности, однако убежденностью своего тона полностью покориł слушате-

лей, которые вдруг заинтересовались, а не сообщали ли его источники такого рода подробности также и о других знаменитостях?

Андерсен смутился. Он заглядывал и в Парижские бордели, и действительно, кое что почерпнул и там. Сплетничать он не намеревался, однако не удержался.

— Что вам сказать? От других еще может быть, но от Стендаля я этого не ожидал.

Прозвучало это столь многозначительно, что и Кьеркегор оказался поражен этим известием. Как? Автор мудрого и глубокого исследования «О Любви» посещает бордели? Возможно ли такое?

Мучимый схожими с Андерсеном томлениями, Кьеркегор в отличие от Андерсена с публичными женщинами никогда не заговаривал. Но иногда он все же с великим трепетом — заслуживающим куда лучшего применения — проходил по улице Остергаде. Раз за разом все глубже осознавая неосуществимость любви, Кьеркегор, как и Андерсен, испытывал волнующее облегчение при виде доступной женской плоти, облегчение от самой возможности запросто к ней прикоснуться.

С обострения этого переживания и начался этот злополучный для Сёрена день.

* * *

Верный своему решению сблизиться с отцом и отдаляться от пустого общения, Сёрен в этот день все же оказался увлечен своими прежними легкомысленными товарищами, и после свадебного завтрака отправился с ними пить пиво.

Во второй половине дня компанию занесло в портовой ресторан, где было немало иностранцев — в основном офицеров с заходивших в Копенгаген кораблей.

От одного французского офицера, подсевшего к их столу, до Кьеркегора донеслось следующее откровение:

— В любви женщины играют всеми цветами радуги. Наши мужские чувства черно-белые. Нам тяжело, в те минуты, когда мы не обладаем женщиной, и легко — когда это происходит. Однако простота нашего устройства не должна нас обманывать, мы не должны воображать, будто бы женщины испытывают хоть что-нибудь похожее. Женщины испытывают гамму чувств. Именно гамму, то есть семь последовательных ощущений. Женщина способна испытывать радугу чувств.

Когда женщину берут грубой силой, она протестует и окрашивается в красный цвет. Если она уступает психологическому напору, то цвет ее ощущений оранжевый. Когда муж вяло тискает ее на супружеском ложе, она желтеет. Таков обычный цвет замужних женщин. Когда ласки мужчины становятся женщине приятны, и путь открывается, она зеленеет, ей становится интересно все, что мужчина с ней делает. Наконец, когда она сама оживает и идет навстречу мужчине, то ее цвет голубой. Можно сказать, что в пике наслаждения она становится синей. Однако пик этот способен заостриться и тогда она входит в фиолетовое состояние. Редкие женщины его достигают, но в этом состоянии они очень желанны мужчинам. Я знаю, что многие, как это описывает маркиз Де Сад, предпочитают овладевать женщинами в красном состоянии, но мне самому это представляется низким. Если кому-то интересны фиолетовые девушки, я могу дать свои рекомендации. В Копенгагене их очень немного, но они есть.

Слова француза произвели впечатление, и друзья Кьеркегора заторопились в бордель.

Охмелевший Кьеркегор также воспламенился речами французского гостя, он испытал острое желание, и главное, определенную готовность его удовлетворить. Этим редким моментом захваченности жизненным потоком следовало воспользоваться.

Не то чтобы Сёрен действительно потерял голову. Он ни одной минуты не переставал сознавать неприемле-

мость самого этого шага, но он решил, что в свете всего услышанного сегодня, в силу пришедшего порыва, он готов простить себе это приключение, готов вкусить этот плод, игнорируя привычный свой голос. В конце концов ведь сам он появился на свет в результате уступки такому зову. Стоит ли быть к себе столь суровым и строгим? Если он извинил отца, то может извинить и себя.

Желая поддержать свое приподнятое состояние, Сёрен глотнул бокал рома и полез в набитый экипаж, отправлявшийся на улицу Остергаде.

30 октября (11 ноября)

Копенгаген

Бокал оказался лишним. На другой день Сёрен проснулся в своей постели с раскалывающейся головой и характерным желанием уйти из жизни. Сразу сделалось тошно. Но по-настоящему Сёрена затошнило, когда он не просто вспомнил, что побывал накануне в борделе, но и то, что это была единственная припомнившаяся деталь. В его памяти, хотя и с небольшими провалами, сохранилось все, что происходило в ресторане: он помнил французского гостя и его экскурс в природу женской чувственности. Но то, что произошло в самом борделе, выпало у него из памяти целиком. Всплывали какие-то обрывки: как он вывалился из экипажа, как вошел в один из домов, мимо которого изредка с трепетом проходил, но заглянуть в который прежде так никогда и не решался. Напрягаясь, он вспомнил, как покачиваясь и хватаясь за перила, поднимался по лестнице. Вспомнил склонившиеся над ним насмехающиеся женские лица; вспомнил какую-то постель с красными простынями. Это было все. Сёрен не смог вспомнить, совершил ли он то, ради чего в том доме появился.

Ужас и отвращение переполняли его. Что он наделал?!

Петербург

В вечер того дня Наталия Николаевна отправилась к Идалии Полетике, которая специально пригласила ее к себе, чтобы продемонстрировать изменения, произведенные ею в гостиной: по случаю присвоения мужу чина полковника Идалией была приобретена новая мебель.

Уже в дверях Пушкина ощутила какую-то странность. Горничная впустила ее в дом, но вместо того, чтобы доложить хозяйке о посетительнице, отвела глаза и молча последовала на кухню. Оттуда немедленно раздался какой-то нарочито громкий звон посуды.

Несколько удивленная таким приемом и тем, что Идалия к ней не выходит, Наталия Николаевна прошла мимо детской, подошла к спальне и постучалась в полуприкрытую дверь.

— Идалия, ты здесь?

Ответа не последовало. Пушкина приоткрыла дверь и к великому своему изумлению увидела посреди комнаты несколько исхудавшего и бледного Дантеса.

— Жорж, что вы тут делаете? — изумленно воскликнула Пушкина. — Где Идалия?

— Натали, умоляю, выслушай меня, мы должны быть вместе. Поверь, наш брак вполне возможен!

— Какой брак? Где Идалия? — Пушкина все еще не понимала, что происходит, и продолжала звать кузину. — Идалия, где ты?! Идалия!

Только в этот момент до нее стало доходить, что Идалии нет дома, что кузина заманили ее в ловушку.

— Какая низость! — воскликнула Пушкина. — Она подстроила мне свидание, и, на всякий случай, прямо в своей спальне!

— Натали, умоляю, не отталкивай меня!

— Оставьте меня, Жорж...

— Натали, сжался надо мной! — С этими словами Дантес упал перед Пушкиной на колени, драматическим

жестом выхватил пистолет и приставил его к своему виску.

— Твои безжалостные речи жмут сейчас на этот курок! — воскликнул он. — Умоляю, спаси меня, стань моею!

Несколько мгновений Наталия Николаевна стояла как будто бы ее кто-то сковал, ее колени дрожали. Однако замешательство длилось недолго. Пушкина инстинктивно почувствовала, что истерика кавалергарда может получить самое неожиданное развитие, если она примет в ней хоть какое-то участие, и, напротив, не будет иметь никакого продолжения без участливых зрителей.

Преодолев накатившуюся на нее слабость, Наталия Николаевна резко повернулась и выбежала из комнаты.

1 (13) ноября

Москва

С утренней почтой Чаадаев получил предписание незамедлительно явиться к местному обер-полицмейстеру генерал-майору Льву Михайловичу Цынскому, для объявления ему меры наказания, назначенного правительством согласно Высочайшему повелению.

Чаадаев уже слышал, что и издатель Надеждин, и цензор Болдырев были вытребованы в Петербург, и шел с немалым волнением, пытаясь подготовить себя к худшему. Что его ждет? Сибирские рудники? Соловки? Просто ссылка в какой-нибудь Симбирск?

С трепетом вошел он в кабинет. В горле пересохло.

— Вот, извольте ознакомиться, Петр Яковлевич, — величаво произнес Цынский, протягивая лист, в котором он — Чаадаев — объявлялся умалишенным, за состоянием здоровья которого требовалось надзирать дважды в день.

От неожиданности Чаадаев не на шутку смутился, сильно побледнел, и некоторое время стоял безмолвный, с намернувшимися на глаза слезами.

Наконец срывающимся голосом он забормотал:

— Справедливо, совершенно справедливо... Я ведь и впрямь, когда сочинял эти письма — был нездоров. Сумасбродные эти письма только по настоянию издателя «Телескопа» я и решился опубликовать.... Но что сие означает, что я оказался вроде бы как поврежден умом? Что со мной теперь будет?

— На этот счет имеется четкое предписание. — пояснил обер-полицмейстер. — Частный штаб-лекарь, из известных по познаниям своим в медицине, каждое утро и даже раза два в сутки будет посещать вас на дому. Если же окажется нужда в особенных для вас процедурах, то в сем случае будет приглашен доктор Саблера, известный своими успехами в лечении сумасшедших. Кроме того, согласно Высочайшей воле предписано, чтобы вы не подвергали себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха, и по возможности восстановили свое здоровье. Мы со своей стороны каждый месяц будем докладывать Государю Императору о результатах лечения. Кроме того, вам не разрешается ничего записывать.

— Справедливое, очень справедливое решение... Но все же прошу о возможности переговорить с графом Строгановым — университетским попечителем. Мне думается, ему я бы смог объяснить, что некоторые из трудов моих вполне бы могли послужить к пользе отечества.

— Хорошо, я передам вашу просьбу графу.

Чаадаев возвращался домой со смешанным чувством. С одной стороны его охватила невыразимая радость: наказание его вполне условно, он остается в Москве, остается жить в своем «пансионе», но с другой — в душе расплозлось легкое чувство гадливости.

Все существо «басманного философа» в ту минуту было охвачено выстоянным на страхе любоначальственном трепете. В нем как будто бы жило два разных человека, и в какой-то момент безусловные холопские рефлексy

полностью подавили все его благоприобретенное человеческое достоинство.

Не так давно он объяснял Тургеневу, что западный человек не стыдится убежать от зверя, но не станет унижаться перед начальством, в то время как русский бросается с рогатиной на медведя, а перед городовым ломает шапку, но теперь ему было не до этой мысли.

Самым краем ума своего Чадаев еще замечал, что страшный на Бородинском поле, в кабинете Цынского он лебезил, как последний лакей. Однако углубляться в этот феномен мыслитель отказывался. Он как будто не замечал, как европейское существо подменялось в нем существом русским.

2 (14) ноября

Петербург

После истерики, устроенной Дантесом в спальне Идалии Полетики, Наталия Николаевна заключила, что ее отношения с кавалергардом вполне определились, и никакого продолжения уже не последует.

Она ошибалась. Через день у Вяземских к ней подошел барон Луи Геккерн, и отозвав в сторону, заговорил тоном оскорбленного достоинства.

— Наталья Николаевна, насколько я понял, вы отказали Жоржу. Вы отказались ответить на его возвышенное чувство, отказались стать его женой...

— Что за нелепая фантазия? Я не намерена даже слушать об этом...

— Ваше поведение все это время говорило совершенно обратное. Жорж, да и я, признаться, тоже, совершенно не понимаем, почему вы до сих пор не вместе. Многие в обществе испытали бы то же самое удивление, если бы могли вообразить, что этого до сих пор действительно не произошло. Все обо всем давно «догадываются», любез-

ная Наталья Николаевна и, если вы не будете благоразумны, то эта догадка очень скоро превратится в глубокую уверенность.

— О чем вы говорите?

— Я выражусь яснее. Если вам дорого ваше имя и благополучие вашей семьи, то приезжайте сегодня к Жоржу. В противном случае вы очень пожалеете... Общество будет осведомлено о вашем романе с моим сыном.

— Какая мерзость, как вы смеете мне этим угрожать?!

— У вас имеется несколько часов, Наталья Николаевна, на то, чтобы принять правильное решение, в противном случае пеняйте на себя...

3 (15) ноября

Москва

Через два дня после того, как обер-полицмейстер Лев Михайлович Цынский известил Чаадаева о постигшем его безумии, тот был принят университетским попечителем графом Строгановым.

Петр Яковлевич очень надеялся встретить в этом уважаемом чиновнике должное к себе сочувствие.

Основания к тому, как будто имелись. Граф Сергей Григорьевич Строганов был ровесником Чаадаева, так же, как и Чаадаев, он был героем Отечественной войны, по завершении которой был произведен в поручики, а после того — уже в сражениях с турками — дослужился до кавалерийского генерала. Он был человеком всесторонне образованным, почти специалистом в археологии, и к тому же меценатом. В 1825 году граф Строганов основал в Москве художественное училище.

Однако Чаадаев застал Попечителя не в самый подходящий для заступничества момент. В эти дни Строганов всецело был поглощен историей профессора Печерина, который не вернулся в Россию к началу учебного года,

не вступал ни в какие сношения, и похоже решил навсегда остаться за границей.

Весной на заседании Университетского совета граф Строганов рекомендовал разрешить Печерину заграничную поездку, и теперь оказался в двусмысленном положении. Как раз в данную минуту он занимался тем, что изыскивал соблазнительные литературные поприща, способные увлечь мятежного филолога и составлял ему послание, в котором обещал: «Я сделаю все, от меня зависящее, чтобы обеспечить вам карьеру литератора, в которой вы можете быть полезны».

Но время работало против Попечителя. С каждым днем перед ним все категоричней вставал вопрос: как и когда доложить государю о Печерине? Срочно объявить о нем как о беглеце, или продолжать заманивать в родные пенаты, рискуя остаться в дураках?

Сейчас, когда он тягася с Уваровым по поводу того, кто из них первым ударил в набат после публикации «Философических писем», было совсем не подходящее время для того, чтобы эти «Письма» выгораживать.

Граф лично сочувствовал Чаадаеву, и пытался смягчить атмосферу, сложившуюся вокруг его безрассудной публикации среди московских профессоров и студентов, но открыто заступаться за Чаадаева перед государем Сергей Григорьевич находил совершенно немыслимым.

Итак, Строганов исходно не был расположен ходатайствовать за опального автора, однако, желание это еще более ослабло после того, как тот появился у него в кабинете.

Строганов, привыкший видеть Чаадаева независимым невозмутимым европейцем, человеком, которого невозможно было не уважать, был неприятно поражен встретить его в роли почтительного челобитника.

— Я писал этот пасквиль на русскую нацию немедленно по возвращении из чужих краев, во время сумасшествия, в припадках которого я даже посягал на собственную жизнь... — слышал Попечитель суетливое бормотание

просителя. — Теперь я вижу, что дурно поступил, стараясь свалить все на издателя и на цензора: на первого — потому, что он очаровал меня и убедил отдать в печать этот пасквиль, а на последнего — за то, что пропустил оный.

— Они отвечают за свои дела. Вы были бы бессильны как-то отяготить их положение, даже если бы того и захотели.

— Граф, меня мучит мысль, что скажут о признании меня умалишенным мои знаменитые друзья из Европы, такие ученые как Баланш, Ламене, Гизо, наконец, сам Шеллинг! Как объяснить им?

— Уверен, что лучшие европейские головы способны разобраться в ситуации, особенно учитывая, что диагноз вам был поставлен на основании публикации, с которой они при желании могут ознакомиться.

4 (16) ноября

Петербург

В девятом часу утра по городской почте Пушкину было доставлено письмо. Александр Сергеевич распечатал конверт. Незнакомым поэту почерком на французском языке было написано:

«Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадьютером великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена.

Непременный секретарь граф И. Борх».

Кровь прилила к лицу Пушкина. Несколько минут он сидел неподвижно, пытаясь осмыслить значение произо-

шедшего, затем встал из-за стола и проследовал в гостиную, где находилась в эту минуту Натали.

— Душа моя, — сказал он, протягивая пасквиль. — Взгляни, что я получил по городской почте. Возможно, ты мне что-нибудь объяснишь.

Пробежав взглядом пасквиль, Наталья Николаевна сильно побледнела, сжала руками виски и, наконец, произнесла:

— Последнее время Дантес настойчиво добивался меня... я отказала, и позавчера барон Геккерн заявил, что из мести оповестит свет о моей якобы неверности тебе. Думается, это его послание.

— Но как это возможно! — взорвался, наконец, Александр Сергеевич. Те вопросы, которые на протяжении нескольких месяцев он мысленно задавал жене, наконец, прорвались наружу: — Что между вами было? Я признаться, не понимаю. Я всегда доверял тебе и не вмешивался, но теперь, видимо, пришло время объясниться. Что все это было? Что происходило между вами? Каковы твои чувства к нему?

Наталья Николаевна вспыхнула:

— Я очень виновата перед тобой. Мне льстили его ухаживания. Нет, не то... Я действительно была увлечена им... Поверь, у меня и в мыслях не было изменить тебе, но мне нравилась его восторженность, я желала его общества, и он знал это. Кто-то, по-видимому, вправе назвать это романом.

— Были и письма?

— Мне очень стыдно... Были.

Наталья Николаевна подошла к своему секретеру и, краснея, извлекла из него любовные излияния Дантеса.

Пробежав несколько строк, Пушкин отложил довольно внушительную пачку посланий.

Жалость к жене и искренность ее раскаяния превозмогли оскорбленную гордость поэта. Привычка снисходительного обожания прекраснейшей женщины Петер-

бурга сработала и на сей раз — он бросился утешать жену.

— Не убивайся, Натали, ты ни в чем не виновата... Ты не знаешь мужчин, воображаешь, что они, как и женщины, способны довольствоваться платоническими отношениями... Может быть, кто-то и может, но во всяком случае не этот фат. Дантес — не Данте.

Оставшись наедине, Пушкин стал обдумывать ситуацию. Оказалось, что в определенном отношении пасквиль отражал действительное положение дел! Его жена была влюблена в Дантеса. Составители пасквиля, по-видимому, рассчитывали, что, проведя дознание с пристрастием, ревнивый муж не поверит, что последняя черта не была перейдена...

Но по большому счету пасквиль представлял собой грубую ложь, в которой с головой просматривалась месть Геккернов.

Послание это не мог составить никто иной кроме этой парочки. Достаточно уже и того, что барон угрожал Натали именно скандалом. На что он рассчитывал? На то что он — Пушкин — не поверит своей жене? Вообразит, что эта пачкотня сострепана какими-то случайными кавалергардами, соседями Дантеса по казарме?

Пушкин все еще продолжал анализировать ситуацию, как выяснилось, что пасквиль получил не только он один.

Через три часа такое же точно письмо в двойном конверте было доставлено с посыльным от Елизаветы Михайловны Хитровой, полагавшей, что по ошибке получила письмо, направленное Пушкину, а еще через час третий список принес Владимир Соллогуб.

— Я получил сегодня по почте письмо в двойном конверте. — сказал он, войдя в кабинет. — На внутреннем конверте указано, что это для вас.

— Я уж знаю, что это такое, — сказал Пушкин, распечатывая конверт. — Я такое точно письмо получил сегодня же от Елизаветы Михайловны Хитровой: это мерзость

против жены моей. Впрочем, понимаете, на безыменное письмо я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя — ангел, никакое подозрение коснуться ее не может.

К вечеру Пушкин пришел к окончательному выводу, что составителем пасквиля могут быть только Геккеры, и тотчас послал по почте вызов Дантесу без указания причины.

5 (17) ноября

Петербург

Отправленное накануне письмо Пушкина было доставлено в дом нидерландского посланника около девяти часов утра.

Дантес уже удалился на службу, и должен был вернуться в первом часу. В полку у него возникли осложнения. В день отправки пасквилей Жорж был сам не свой, и во время инспекторского смотра Кавалергардского полка, по рассеянности совершил немало промашек. Он так нерадиво командовал взводом, что генерал-майора Гринвальд распорядился назначить поручику пять дежурств вне очереди и поутру Дантес заступил на первое из них.

Увидев в утренней почте на конверте адресованному Жоржу письма имя отправителя, барон Геккерн немедленно распечатал послание, и онемел.

Он опасался каких-то ответных ходов, однако, все же не такого!

Уже одно то, что Пушкин решился принять сторону неверной жены, вместо того чтобы устроить ей мерзкую сцену ревности, было крайне неожиданно, а тут еще дуэль! Россия — не Франция. Дуэли здесь были строжайше запрещены государем и то, что обремененный семьей Пушкин решится на такой шаг, ожидать было никак невозможно.

Барон был потрясен: как бы дуэль ни кончилась, она означала прекращение его дипломатической службы в России, и разлуку с Жоржем. Столь сложное и трудоемкое предприятие с усыновлением, в случае дуэли полностью разваливалось. Теперь барон видел перед собой только одну задачу — во что бы то ни стало предотвратить поединок.

Первым делом Геккерн решил отправиться на Мойку, чтобы добиться отсрочки, ну а дальше... дальше он со своим богатым дипломатическим опытом наверняка изобретет что-нибудь более долговечное.

В полдень Нидерландский посланник выехал к «историографу ордена роносоцев» с официальным визитом.

— Господин Пушкин, я по ошибке распечатал письмо, адресованное сыну, и теперь от его имени принимаю вызов, так как сам Жорж Геккерн находится на дежурстве в полку. Я приехал просить у вас отсрочки на 24 часа.

Пушкин дал согласие.

На выходе Геккерн столкнулся с Натальей Николаевной, и как бы поясняя свой неожиданный визит, бросил в сторону:

— Александр Сергеевич вызвал на дуэль моего сына. Он в полку и пока ничего не знает, я приехал просить об отсрочке.

Со слезами Наталья Николаевна вбежала в кабинет мужа, который подтвердил ей, что намерен стреляться с Дантесом.

* * *

Когда барон вернулся в посольство, Жорж сидел у себя в комнате и стриг ногти.

— Ты получил вызов от Пушкина. Вот взгляни. Безо всякого объяснения, просто вызов.

— Только не это!.. — протянул Жорж.

— Я только что от него. Дело отложено на сутки.

— Ты же уверял меня, что он ей не поверит, что гнев падет на ее голову... — обиженно заныл Жорж.

— Оставим упреки. В конце концов, ты получил несколько нарядов... ты занят, я попробую это использовать, а когда страсти улягутся, посмотрим...

Мюнхен

В тот же день Шеллинг сидел за столом своего кабинета.

Обращаться к задуманному им роману получалось лишь урывками. Но сегодня он специально выделил целый день, чтобы хоть как-то продвинуться, и это случилось.

Все время Шеллингу подспудно мешало, что его герой слишком напоминает Фауста, напоминает своей пресыщенностью и разочарованностью. Но это не последняя правда о человеке! Сегодня во время работы над диалогом между его героем с Мефистофелем, Шеллинга посетила светлая мысль.

Отныне его герой — имя ему Шеллинг пока еще не дал и называл просто Мейстер — не только, как и Фауст, магистр теологии и философии, но также и священник. Он несет задатки души более высокой нежели душа Фауста, он подлинный Гроссмейстер, в личности которого коллизия Фауста, перекликается с коллизией Христа, выстоявшего искушения в пустыне и пытающегося отвести злую судьбу в гефсиманском борении. Это последний синтез. Этот последний «штрих» к образу человека Нового мира, которого, как Шеллинг почувствовал три года назад, не хватало в драме созданной Гете.

Мефистофель будет служить Мейстеру, но не по договору, не в обмен на его душу, а покоряясь его мужеству, покоряясь силе и красоте его духа!

К этой мысли Шеллинга подвел его студент Макс Лилиенталь, рассказавший в случайной беседе, что в иудаизме сатана не обладает свободой выбора. Как и все прочие ан-

гелы, сатана — в понимании евреев — послушный исполнитель воли Создателя, а потому при встрече с истинным праведником может покориться ему, как покоряется самому Богу. Лилиенталь уверял, что в Талмуде содержится несколько историй, в которых Ангел Смерти прислуживает мудрецам.

Это неожиданный взгляд пришелся Шеллингу по сердцу, и его Мейстер заговорил с Мефистофелем несколько иным тоном.

Остальные детали были уже в основном прописаны так, как он задумал с самого начала: действие происходило весной, в полнолунную ночь с субботы на воскресенье, и при этом в подробностях празднества можно было опознать как пасхальную мессу, так и вальпургиевый шабаш!

Но именно поэтому названия самих этих сакральных дат никак в романе не звучали, и звучать не могли. Имя празднества могло быть только нарицательным, его можно было бы назвать или «праздником весеннего полнолуния», или «весенним праздником полнолуния».

На весну приходится как минимум три полнолуния. Одно из них — еврейская Пасха, за ним следует полнолуние второй еврейской Пасхи, которое иногда выпадает на первомайскую ночь. В конце концов, две эти — разделенные месяцем — ночи отождествила сама Библия! Она отождествила их, обе назвав «пасхальными»!

Шеллинг ничего не придумал, в его романе дается описание, которое в равной мере может быть отнесено и к Пасхальной, и к Вальпургиевой ночи, то есть так, как оно и случилось весной 1836 года, когда он, Шеллинг, Гроссмейстер Мирового Духа и его первое доверенное лицо, осознал, что призван написать этот роман — Роман, последняя точка которого, совпадет с последней точкой Великой Поэмы!

Замечательный день! — отметил Шеллинг, закрывая папку с рукописью романа.

День этот оказался по-своему замечателен не только для Шеллинга, но и для Мельгунова: этим утром он получил письмо от Мадонны.

Уже две недели прошли с того дня, как в ее обществе он посетил комнату Гете. И две эти недели были ужасны. Во-первых, мучали стыд и обида, что он показался глупцом прекраснейшему в мире существу, а во-вторых, что он таким глупцом, пожалуй, действительно являлся.

За вычетом пары дней, проведенных в Ганау, Николай Александрович не выходил из франкфуртской библиотеки, и... не находил больше никаких подтверждений своей теории!

Прежде всего, он решил выяснить, как сказались наложение Пасхальной и Вальпургиевой ночей на судьбах других великих людей, на судьбах духовных и в первую очередь политических фигур, и был обескуражен скудостью результатов: годы указанные профессором Груйтуйзенем, сторонились каких-либо политических событий и, соответственно, «творящих историю» земных владык!

Беглая, но достаточно широкая проверка показала, что в эти годы не происходило никаких значительных битв, не провозглашалось никаких смелых реформ, не заключалось никаких впечатляющих союзов. Даже войны, которые, казалось бы, всегда повсюду ведутся, как будто нарочно избегали завязываться или заканчиваться в эти годы.

То же касалось и судеб сильных мира сего. Из нескольких десятков произведенных Мельгуновым проверок положительной оказалась лишь одна, да и та очень мало была связана с политикой. То была Маргарита де Валуа, о которой Мельгунов как раз недавно читал в романе Мериме «Хроника времен Карла IX».

Маргарита вошла в историю благодаря тому, что ее свадьба с лидером гугенотов Генрихом де Бурбоном завершилась Варфоломеевой ночью.

Сопоставив исследование Мериме с другими историческими сочинениями, Мельгунов обнаружил, что в октябре 1569 года между 16-летней Маргаритой де Валуа и Генрихом де Гизом начался бурный любовный роман, продолжавшийся всю их жизнь. Но роман этот, столь занимающий литераторов, был полностью лишен политического смысла.

Загадочные годы обходили стороной не только королей, но и подвижников, они никак не сказались на судьбах Франциска Ассизского, Терезы Авильской, Игнатия Лойолы. Миновали они и реформаторов — Лютера и Кальвина.

Мельгунову становилось жаль потраченного времени. И вот теперь вдруг письмо от Мадонны!

Николай Александрович с поспешностью разорвал конверт, и вскрикнул от радости. Мадонна снова приглашала его встретиться с ней в комнатке Гете!

* * *

— Поначалу я отнеслась к вашим расчетам как к совершенной нелепости, — призналась девушка. — Но вы знаете, на днях я кое-что проверила и была поражена... Вы исследовали биографию Лоренса Стерна?

— Нет, как-то не пришло в голову. Я в последние дни искал гроссмейстеров среди политиков.

— А я вот вспомнила, что писатель этот имел огромное влияние на Гете, и решила, что если теория ваша верна, и ваши даты действительно как-то связаны с созданием Великой Поэмы Мирового Духа, то Стерна они миновать не могли... Вы знаете, оказывается, Стерн скончался в 1768 году, как раз незадолго до Пасхи.

— Интересно... но я никогда не слышал о том, что Стерн влиял на Гете.

— Неудивительно, Гете и сам этого влияния не замечал.

— То есть?

— Где-то он пишет, что мы часто забываем о том, кому обязаны первыми впечатлениями, кто впервые влиял на нас. То есть, что мы этих авторов в такой мере впитали, в такой мере подразумеваем, что почти уже не размышляем о них вслух. Ну и дальше изливает свои благодарности Стерну.

— Вот как? Интересно. Но вы же сами сказали, что смерть в данном случае никаким значением не обладает, так как никакого влияния на автора при этом не оказывается, и он не приносит никаких творческих плодов.

— Подумайте, что вы говорите?! — усмехнулась Мадонна. — Как час нашей смерти может не влиять на нас? Тот, на кого он не влияет — грешный, по меньшей мере, пустой человек. Для поэта же, который в своем творчестве отталкивается от смерти, смертный час должен являться как раз его звездным часом!

Шекспир был именно таким поэтом. Он ведь жил смертью, жил на острие ее ожидания. Вспомните, в финале почти всех его трагедий непременно вырастает гора трупов, и пока она растет, они все разговаривают. Герои Шекспира произносят свои монологи уже будучи смертельно ранеными! Так он жил — жил умирая. Таким образом, год смерти Шекспира — это точка его творческого отсчета. Вы сказали, что Шекспиру выпал еще один «звездный год».

— Да, 1569.

— Вы не возражаете, если мы назовем эти ваши годы — «звездными»?

— Конечно, нет! Прекрасное название!.. Итак, в 1569 звездном году Шекспиру исполнилось пять лет. Едва ли это о чем-нибудь говорит.

— Напротив, это льет воду на ту же мельницу! Наверняка именно тогда он впервые испытал ужас смерти, ужас ее неизбежности!

— Как вы это все подметили? — Мельгунов восхищенно смотрел на свою собеседницу. — Ну, а как все же быть

со Стерном? В его творчестве, вроде бы, не звучит эта трагическая тема.

— А в чем его тема? Что бы вы сказали о природе его вдохновения?

— У Стерна тонкий, неподражаемый юмор. Чего стоят только одни его потешные проповеди священника Йорика — потомка того Йорика, над черепом которого философствовал Гамлет. Если не ошибаюсь, персонаж этот впервые появляется в его романе «Жизнь и мнения Тристрама Шенди»?

— Я как раз сделала для вас выписку из авторского посвящения, которым этот роман начинается. Тут Стерн все ясно излагает относительно своей музыки. Послушайте: «Досточтимому мистеру Питу. Сэр. Никогда еще бедняга-писатель не возлагал меньше надежд на свое посвящение, чем возлагаю я; ведь оно написано в глухом углу нашего королевства, в уединенном доме под соломенной крышей, где я живу в постоянных усилиях веселостью оградить себя от недомоганий, причиняемых плохим здоровьем и других жизненных зол, будучи твердо убежден, что каждый раз, когда мы улыбаемся, а тем более когда смеемся — улыбка наша и смех кое-что прибавляет к недолгой нашей жизни».

Как видите, смех Стерна — это преодоление смерти, а значит и для Стерна смертный час был точкой его творческого отсчета. Так что 1768 — это его год.

— Вы возвращаете меня к жизни, Регина. Признаюсь, те две недели, что мы не виделись, я копался в биографиях королей и ничего примечательного не обнаружил.

— Но если идти по Шеллингу, а не по Гегелю, то в них и не должно быть ничего примечательного для Великой Поэмы. Вы же сами мне сказали, что политические опыты Данте это в полной мере показывают. Показывают, что Мировой дух — это дух Евангельский. Царствие мое не от мира сего! Дайте мне список этих ваших лет.

Мельгунов взял лист, на котором Регина сделала выписку из Стерна, и на обратной его стороне написал помнившиеся ему годы: 2140, 1988, 1836, 1768, 1616, 1569, 1474, 1379, 1295, 1132.

Регина с любопытством просмотрела их и спросила.

— Вам не кажется, Николай, что эти годы — не просто «звездные», но что это и какие-то заголовки, что мы с вами смотрим сейчас на оглавление Великой Поэмы?

— Своим вопросом, Регина, вы очень точно выразили также и мое чувство. Но чтобы прочитать эти главы, нам следует сначала разыскать всех ее главных героев, всех Гроссмейстеров...

— Я попробую поискать вместе с вами... Хотя, признаюсь, что люблю заглядывать в конец книг, так что в первую очередь меня интересует происходящее прямо сейчас, в наши дни...

— Я бы то же не отказался узнать, что и с кем из великих сейчас происходит, но как это сделать?

— Я через два дня уезжаю с матушкой Париж. Там живет ее сестра, и она хочет повидать ее и своих племянников. Не хотите к нам присоединиться? Не хотите узнать, над чем работают французские литераторы, как протекает посещение Мировым Духом Парижа? Ведь вы же писатель, вас там хорошо примут.

— Вы сделали мне удивительное предложение! От него невысказанно отказаться. К тому же, я и сам собирался в Париж. Конечно, я буду рад составить вам компанию. Надо только отпроситься у доктора.

— А как часто вообще «звездные» годы выпадают?

— Раз в столетие, примерно.

— А точнее? Промежутки ведь между годами, как я заметила, не постоянные.

— Промежутки как раз постоянные. Их четыре: 68, 84, 95 и 152 года. В среднем — это как раз век.

6 (18) ноября

Петербург

Получив поутру известие Наталии Николаевны, что Пушкин будет стреляться с Дантесом, Жуковский немедленно распорядился заложить экипаж и около полудня явился на Мойку.

Пушкин в старом потертом халате сидел в своем кабинете — узкой комнате, уставленной книжными полками.

— Что я слышу, дорогой! — воскликнул Жуковский порывисто обняв Пушкина. — Наталья Николаевна сообщила мне, что ты намерен драться с Дантесом. Объяснись.

— Право, мне бы не хотелось касаться причин... — пробормотал Пушкин, немного раздосадованный тем, что дело предается огласке.

— Что случилось? На прошлой неделе у Вяземских, когда ты читал «Капитанскую дочку», ты выглядел прекрасно, и сказал мне, что дела твои идут наилучшим образом... Что такое в эти несколько дней произошло?

Пушкин морщился, обдумывая, что ответить Жуковскому, но в эту минуту горничная Лиза доложила о приходе Геккерна.

— Посланник представляет своего сына? — спросил Жуковский.

— Не вполне, но уверен, что он прибыл по этому самому поводу. Скоро будем знать подробности.

— Хорошо, я удаляюсь, но вернусь через час.

В дверях Геккерн и Жуковский раскланялись.

Посланник подгадал время, когда Дантес снова отправился в полк на свое внеочередное дежурство, куда он должен был явиться к 12 часам. Это давало Геккерну формальный повод вести переговоры вместо самого Жоржа и вместо его секунданта.

На этот раз разговор затянулся. У барона уже возник некий замысел, для осуществления которого требовалось

время, и он стал умолять Пушкина о новой более длительной отсрочке.

— Александр Сергеевич, мой сын в полку и должен оставаться там и завтра, он не уполномочил меня вести эти переговоры, я до сих пор даже не имел возможности передать ему ваш вызов. Я приехал к вам, как убитый горем отец.

На глазах посланника проступили слезы...

— Я прошу отложить поединок. Дайте мне две недели.

Поверить в то, что Дантес до сих пор ничего не знает о вызове, Пушкин, разумеется, не мог, тем не менее, он не увидел ничего предосудительного в еще одной отсрочке, чем бы она на самом деле, не была вызвана.

— Признаюсь, я не очень понял причину задержки, но как вам будет угодно, господин барон. Вернемся к этому вопросу через две недели.

* * *

Ровно через час Жуковский был у Пушкина.

— Ну, что?

— Дело отложено на две недели.

У Жуковского отлегло от сердца.

— Отложено, ну и славно. Но хоть скажи, чем тебе так насолил Дантес... О его ухаживаниях за супругой твоей я, положим, наслышан. Но ведь не может же быть это причиной?

— Главное не это, любезный Василий Андреевич, главное, что натолкнувшись на непреклонность Натали, Дантес стал порочить ее. Его подлые и трусливые оскорбления я терпеть не намерен.

Убедившись, что Пушкина в своем решении тверд и обсуждать подробности не очень расположен, Жуковский, который лето провел в отпуске, а сейчас редко отлучался из Царского Села, решил нанести ряд визитов, чтобы выяснить эту историю во всех возможных подробностях.

Остаток дня он провел у Вяземского и Виельгорского, также получивших пасквили и бывших ближайшими свидетелями Дантесовских ухаживаний за Пушкиной.

В целом картина вырисовывалась теперь для Жуковского более отчетливо.

7 (19) ноября

Петербург

Утром Василий Андреевич отправился в нидерландское посольство. Он намеревался выяснить, можно ли добиться от Дантеса каких-либо гарантий пристойного поведения в будущем, с которыми было бы прилично отправиться к Пушкину и начать переговоры с целью отменить дуэль.

Дантеса дома не оказалось, его внеочередное суточное дежурство заканчивалось в четыре часа. Однако, барон находился на месте и предложил Василию Андреевичу предварительно обсудить все вопросы с ним.

— Что ж, — подумал Жуковский. — Может, оно и к лучшему. Зрелый, опытный человек. С ним скорее сговоришься, чем с молодым повесой, у которого ветер в голове.

Между тем «зрелый опытный» человек начал разговор как раз с внедрения того плана, который накануне согласовал с «молодым повесой», и который состоял в женитьбе Жоржа на сестре Натальи Николаевны — Екатерине Гончаровой.

Выразив свою глубокую любовь к «сыну», барон расчувствовался и назвал всему виной себя.

— В чем же ваша вина, господин барон? — удивился Жуковский.

— Любезный, Василий Андреевич, вы не все знаете. Жорж влюблен вовсе не в Наталию Николаевну, как здесь многие полагают, а в ее сестру — мадемуазель Гончарову. Он давно просит моего разрешения на этот брак, но я от-

казывал. Вы ведь, наверно, знаете, она без приданого. Я тянул время, мне эта девушка казалась не вполне подходящей парой для такого блестящего жениха, каковым является мой сын. Но вот к чему это привело!

Следует отметить, что Геккерн накануне не сразу выбил из «сына» готовность жениться на Екатерине.

На своих дежурствах Жорж уже успел войти в воинственное состояние. Он заявил, что совершенно убежден в том, что убьет Пушкина, а что дальше с ним могут делать, что вздумается: могут посылать на Кавказ, могут заключать в крепость — ему все равно, он ко всему готов.

— Нет, хватит, подумай и обо мне, наконец, — возмущился Геккерн. — Вспомни, сколько я для нас сделал, а ты хочешь за одну минуту все разрушить!

Чертыхаясь и проклиная все на свете, Жорж согласился жениться на Екатерине.

— Я ничего не слышал о его любви к Александрине! — ошарашенно пробормотал Жуковский, не сразу сообразивший, о какой из сестер идет речь.

— Нет, нет, — поправил его Геккерн. — Речь идет не об Александрине, а о младшей сестре, Екатерине.

— Так Дантес влюблен в Екатерину?

— Да, в Екатерину. Видя, к чему это привело, вчера я дал ему свое согласие, но теперь эта дуэль.

— Как странно, мне никто об этом не говорил. Я ничего о Екатерине не слышал...

— И как видите, не вы один — это моя вина. Александр Сергеевич оказался в таком же неведении. Это ужасное недоразумение, ужасное!

— Все еще можно исправить, главное теперь — не допустить эту дуэль.

— Но ужас ситуации состоит в том, что сватовство моего сына теперь будет воспринято, как предлог избежать дуэли. Это какой-то порочный круг!

— Мы его разорвем, я в этом уверен.

— Дорогой друг, на вас вся надежда. Надо постараться, чтобы Пушкин сам отозвал назад свой вызов. Тогда мой сын сможет сделать предложение Екатерине Гончаровой, ничья честь не будет задета. После свадьбы Пушкин и Геккерн станут родственниками, и мир придет в оба дома.

Пораженный услышанным, Жуковский тотчас отклонялся и помчался на Мойку. Ему казалось, что примирение наступит немедленно.

* * *

Однако новость, принесенная Жуковским, привела Пушкина в ярость.

До сих пор поэт держался по отношению к своим противникам с должным уважением и даже снисходительно, но этот новый ход «четы» Геккернов полностью вывел его из равновесия.

Ухаживания Дантеса за Екатериной он наблюдал с августа, видел, что они служили лишь неуклюжей ширмой, точнее даже не ширмой, а поводом лишний раз потоптаться возле его жены. И вот теперь, на голом месте сплести целый роман, и все это ради того, чтобы предотвратить дуэль!

Этот трусливый маневр окончательно убедил Пушкина в том, что он метил в цель, что составители пасквиля — именно эти низкие люди.

Неделю назад Дантес был якобы готов застрелиться ради «великой любви» к Наталии Николаевне, и вот он уже готов жениться на ее сестре, только бы избежать дуэли!

Между тем Пушкин столь громогласно выражал Жуковскому свое возмущение, что пробудил любопытство Наталии Николаевны, и вечером вынужден был рассказать ей о новом маневре барона.

— Геккерн внушил Жуковскому, что на самом деле Дантес влюблен не в тебя, а в Екатерину. Хочет на ней жениться и на этом основании отменить дуэль.

8 (20) ноября

Петербург

На другой день утром, к своему великому огорчению, Александр Сергеевич обнаружил, что новая — казалось бы, заведомо вздорная выдумка барона — обладает неимоверной живучестью и силой!

Наталия Николаевна поспешила поделиться брачными планами Дантеса со своими сестрами, что вызвало у Екатерины целую бурю чувств.

Пушкин был ошарашен и подавлен сценой, которой невольно оказался свидетелем.

Сестры были не на шутку взволнованы и как будто бы ревновали друг к другу.... Или ему только показалось?

Неожиданный и поразительный по своей точности и низости брачный ход нидерландского посланника не просто смешал карты, но вскрыл также разлад между сестрами Гончаровыми.

Сердцу не прикажешь. Восторг, написанный на лице Екатерины, резко контрастировал с выражением смятения в глазах Натали.

Сомнений не было, его жена, его Натали испытывала ревность! Как случилось, что это мерзкое чудовище влезло в его семью? Как два этих отвратительных паука умудрились оплести его судьбу?

Нет, он должен стреляться! Он должен сорвать эту паутину! Необходимость дуэли этот последний ход барона только усилил.

9 (21) ноября

Петербург

Рано утром барон Геккерн явился к родственнице сестер Гончаровых — фрейлине Екатерине Ивановне За-

грязской, которая по своему положению и возрасту вполне могла представлять интересы семейства Гончаровых и заместить проживающих в провинции родителей Екатерины.

Геккерна повторил ей то, что уже сказал два дня назад Жуковскому, а именно, что Дантес давно хотел просить руки Екатерины, что он, барон, наконец, согласился, но официальное предложение может быть сделано только после дуэли, или в том случае, если Пушкин откажется от своего вызова.

Жуковский со своей стороны зашел к Пушкину и известил его об этом визите Геккерна к Загряжской.

Не заметив особых изменений в настроении поэта, он не стал ни на чем настаивать и в чем-то Пушкина переубеждать, но заторопился к Геккерну.

Барон был в прекрасном расположении духа.

В течение полчаса он вкрадчиво внушал почтенному поэту, как страстно его сын влюблен в Екатерину, и какое нелепое недоразумение представляет собой этот вызов Пушкина, лишаящий Жоржа возможности официально просить руки своей возлюбленной.

Жуковский заверил, что в этой ситуации он целиком с Геккернами, и готов продолжить свое посредничество.

— Давайте предложим Пушкину встретиться с Жоржем в вашем присутствии, или в присутствии кого-либо еще, кого выберет сам Пушкин, чтобы выяснить их отношения, — предложил Геккерна.

— Я готов к такому посредничеству, и отчасти уже в нем участвую, — ответил Жуковский. — Хотя судя по предыдущей реакции, примирить стороны будет непросто.

— Вы должны настоять на встрече, вы должны убедить Пушкина, что она необходима. В конце концов господин Пушкин никак не мотивировал свой вызов. Мой сын его принял, но так ведь не делается... Должна быть хоть какая-то попытка примирения сторон... Жорж как раз должен

сейчас вернуться с дежурства. Давайте вместе составим письмо к господину Пушкину. Я полагаю, что он должен объясниться, а мой сын оправдаться.

Геккерт сел за стол, и периодически справляясь у Жуковского, не возражает ли он против того или иного выражения, принялся составлять письмо.

Пока шла работа, с дежурства вернулся Дантес. Он внимательно прочитал послание.

— Я готов со своей стороны заверить господина Пушкина, что мои чувства к Екатерине Николаевне давние, и что я намерен просить ее руки.

Уже через час Жуковский был у Пушкина и вручил ему послание Геккерта, суть которого сводилась к тому, что Пушкин погорячился и должен теперь в этом признаться.

— Ну и господин барон! Ну и шельма! — вспыхнул Александр Сергеевич. — Самому передо мной извиниться у него, я вижу, и в мыслях нет.

— Да что тебе не так? Ты что, не погорячился, хочешь сказать?

— Передай барону, что вместо того, чтобы делать мне нелепые предложения, одно оскорбительнее другого, он бы лучше занялся поиском секундантов.

— Я-то ему передам, что ты не согласен, будь уверен, но ты-то что себе думаешь? У тебя красавица жена — я понимаю, тебе естественно ее ревновать, однако со стороны все это выглядит нелепо.

— Уверяю тебя, никто никогда не замечал влюбленности Дантеса в Катерину. Любого спроси. Это вранье, на которое от меня требуют закрыть глаза.

Жуковский ушел от Пушкина, ничего не добившись, и тотчас же направился на Михайловскую площадь к Вильгорским.

Пушкин, похоже, был прав. Здесь тоже никто не приметил, чтобы Дантес всерьез волочился за Катериной. Может быть, совсем немного, для отвода глаз, но так это всеми и воспринималось.

Однако в остальном Жуковский встретил полное понимание и вскоре отослал Пушкину записку: «Я не могу еще решиться почитать наше дело конченным. Еще я не дал никакого ответа старому Геккерну; я сказал ему в моей записке, что не застал тебя дома и что, не выдавшись с тобою, не могу ничего отвечать. Итак, есть еще возможность все остановить. Реши, что я должен отвечать. Твой ответ невозвратно все кончит. Но ради Бога, одумайся. Дай мне счастье избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления. Жду ответа. Я теперь у Вьельгорского, у которого обедаю».

Получив эту записку, Александр Сергеевич понял только одно — дело приобретает огласку, и с учетом двухнедельной отсрочки дуэль может не состояться из-за вмешательства властей. Он снова пригласил Жуковского, который поспешно явился.

Усадив гостя в плетеное кресло напротив своего письменного стола, Пушкин принялся его отчитывать.

— Благодаря твоему усердию в дело, кажется, скоро вмешаются жандармы. Ты споспешествуешь делам людей, истинных планов которых не знаешь. Они хотят только отменить дуэль, и ради этого подличают, а ты им в этом содействуешь.

— Выдумка. Я видел Дантеса, он так же как и ты, намерен драться и так же боится, чтобы тайна не была нарушена.

Он бы и дальше продолжал убеждать Пушкина, но по приглашению императрицы вынужден был направиться в Аничков дворец.

Вернувшись из дворца ночью, Жуковский написал Пушкину письмо, в котором отказывался от посредничества, и которое завершал словами: «Этим свидетельством роль, весьма жалко и неудачно сыгранная, оканчивается. Прости. Ж.»

10 (22) ноября

Петербург

То же самое объявил Жуковский и Дантесу, который заехал к нему поутру.

— Я не в состоянии организовать вашу встречу с Пушкиным. И более того, видя его состояние, не нахожу в такой встрече никакого смысла. Он твердо намерен драться...

Однако придя к Пушкину на обед, Жуковский не удержался и снова принялся его корить и увещевать.

— Ну чего ты уперся. Это объявление о браке будет в то же время и репарацией, будет восстановлением того, что было сделано против твоей чести перед светом.

— Оставь...

— Я не один так считаю. Виельгорский того же мнения.

— Ты не заставишь меня поверить в искренность Дантесовских чувств. Если ты хочешь, чтобы я остался за столом и доел это жаркое, пообещай больше не возвращаться к этой теме.

— Прости, дорогой. Я действую из лучших чувств...

* * *

Вечером Пушкин сам заговорил с сестрами Гончаровыми о предложении Геккерна, и сказал, что сватовство Дантеса — это низкий и постыдный маневр, затеянный для того, чтобы избежать дуэли и, что брак этот не состоится.

— Слухи о сватовстве только ославят Екатерину, — убеждал он. — Репутация всех вас еще больше пострадает.

— Даже попробовать ты не хочешь? — чуть не расплакалась Екатерина. — Почему?

— Катерина, я вижу, что ты вроде бы веришь в то, что он ухаживал за тобой. Допустим. Но между ухаживанием

и браком — пролегает целое море. Как ты не понимаешь, что он играет тобой. В конце концов он найдет способ расстроить свадьбу.

— Мне тоже так кажется, — поддержала Пушкина Александрина. Но Катерина и Натали оставались в полном смятении. Заявление Дантеса им обоим представлялось совершенно искренным.

Париж

В тот же день под вечер Мельгунов прибыл в Париж и остановился в гостинице, в которой, как он заранее выяснил, уже две недели проживал Гоголь.

Пять дней назад Доктор Копп отпустил Мельгунова на две-три недели, строго наказав четыре раза в день принимать его таблетки, и назначив следующий осмотр на 12 декабря.

Мадонна уже неделю была в Париже, и Мельгунов обещал отправить ей весточку, как только ему доведется организовать встречу с какой-нибудь знаменитостью.

Итак, первой знаменитостью, встретившейся Мельгунову в Париже, прямо на гостиничной лестнице, был Гоголь. Он тут же затащил Николая Александровича к себе в номер, так что Мадонну не удалось заблаговременно уведомить об этой встрече.

Николай Васильевич был впечатлен французской столицей, но совершенно не был ею очарован.

— Неплохая собака — этот Париж, — заметил Гоголь. — В Лувре есть на что взглянуть, по Елисейским полям приятно продефилировать. На каждом углу лавки, и главное журналы, газеты — все ими завалено: политика, политика, сплошная политика. Подавляет. Кроме того, здесь невозможно согреться. Представь, в Париже нигде нет печей, которые прогревают дом! Одни каминь, перед которыми приходится сидеть часами, чтобы не окоченеть от холода...

Обменялись новостями. Услышав, что у Гоголя, по его собственному ощущению и заключению местных медицинских светил, включая доктора Маржолена, «желудок перевернулся вверх дном», Мельгунов посоветовал ему обратиться к доктору Коппу. Потом разговор плавно перешел на тему путешествия Мельгунова по Германии и его встречи с Шеллингом. Рассказал он и о своих пасхально-вальпургиевых наблюдениях.

— Представь, Шеллинг обнаружил в этом году некоторую игру небесных светил, которая — если применить к ней оригинальный натурфилософский подход — позволяет ожидать в этом году финального явления Мирового Духа. Другими словами, возможно, именно сейчас кем-то создается произведение, которое явится последней главой Великой Поэмы. Я, во всяком случае, так это интерпретирую, и отчасти затем прервал лечение и приехал в Париж, чтобы постараться узнать, что происходит в здешних литературных кругах.

— Что еще за поэма?

— Шеллинг показывает, что Мировой Дух раскрывается прежде всего в поэзии, в литературе Нового мира. Поэма эта создается всеми гениями, но в первую очередь «величайшими мастерами» среди которых Шеллинг называет Данте, Шекспира, Сервантеса и Гете, иногда он упоминает также Гомера, и, так или иначе, всегда подразумевает Христа. Сейчас ведущие литераторы творят в Париже... Хотя мне порой сдается, что следующий великий Мастер зарождается ныне именно в России.

— Я определенно уже где-то слышал об этой идее Шеллинга, и про Россию с тобой совершенно согласен, — кивнул Гоголь, который сам мало знаком был с французскими писателями. — Нашу страну ждет великая будущность, она, несомненно, встанет еще во главе всех народов.

— Самыми блестящими российскими творцами я считаю Пушкина и Гоголя, — продолжал между тем совершен-

но искренне Мельгунов. — Признайся, ты что-то пишешь сейчас?

— Пишу, — важно ответил польщенный Гоголь. — И как раз по совету Пушкина. Но вообще-то я не очень пока это афиширую.

— Замечательно! Я чувствую, что присутствую при каком-то таинстве... Может быть ты все же покажешь мне что-нибудь?

— Уговорил, — согласился Гоголь. — Он достал из ящика стола рукопись «Мертвых душ» и зачитал избранную после некоторых раздумий главу.

— Блестяще! Блестяще! — восхитился Николай Александрович. — Уже по одному этому фрагменту смело скажу, что это настоящее литературное событие... Только вот знаешь, что мне подумалось: ты над своим героем смеешься, как над «европейцем». Как ты там пишешь, где он гвоздику в нос совал, можешь найти это место?

Гоголь прочитал: «Нужно знать, что Чичиков был самый благопристойный человек, какой когда-либо существовал в свете.... Читателю, я думаю, приятно будет узнать, что он всякие два дни переменил на себе белье, а летом во время жаров даже и всякий день: всякий сколько-нибудь неприятный запах уже оскорблял его. По этой причине он всякий раз, когда Петрушка приходил раздевать его и скидывать сапоги, клал себе в нос гвоздичку».

— Вот что странно, — заметил Мельгунов. — Здесь в Европе все следят за собой, и это никому не кажется забавным. А над Чичиковым ты будто бы смеешься.

— Тут не совсем то. Я насмехаюсь скорее над тем, как русский человек рядится под европейца... Однако и по поводу твоего замечания вызов принимаю. То, что французу впору, то русского — при известной широте его характера — теснит. Это то, что я и хотел про Париж сказать. Все пристойно, все великолепно, но сухо как-то, безжизненно.

— Мне только что сообщил Андросов, что Чаадаеву удалось опубликовать свои «Философические письма». Го-

ворит, что статья эта произвела фурор. Так там есть место прямо о том, что я сейчас сказал. Подожди, я сейчас принесу свои записи, у меня выписка имеется из французского текста...

Мельгунов вышел в свой номер и вернулся с тетрадью, в которую делал всевозможные выписки:

— После того как я побывал в Европе, меня наше русское презрение к жизненным удобствам стало удивлять и я поэтому из Чаадаева это место переписал, послушайте: «Мы живем в стране, столь бедной проявлениями идеального, что если мы не окружим себя в домашней жизни некоторой долей поэзии и хорошего вкуса, то легко можем утратить всякую деликатность чувства, всякое понятие об изящном. Одна из самых поразительных особенностей нашей своеобразной цивилизации заключается в пренебрежении удобствами и радостями жизни».

Вот скажи мне на милость, к чему мы придем, если даже в поэзии нашей, в нашем искусстве станем высмеивать удобства?

— Тебе удобства кажутся столь важными, Николай Александрович? Я тоже предпочитаю, чтобы меня ничего не стесняло. Я хочу, например, иметь в доме нормальную печь вместо камина... Однако в погоне за удобствами видится приземленность, в то время как неудобство — сестра аскезы.

В это момент в дверь раздался стук. К Гоголю в гости пришел Адам Мицкевич, давно покинувший Российскую империю, и уже четыре года живший в Париже.

— О чем так страстно беседуете, господа? Я уже за дверьми голоса ваши слышал....

— О русской душе, конечно, — усмехнулся Гоголь. — По поводу чего еще так можно горячиться.

— Но начали мы с Шеллинга, — уточнил Мельгунов, которого эта тема занимала несколько больше, и которому не терпелось поделиться своими открытиями с гостем. — Шеллинг обнаружил некий код, с помощью которого мож-

но подобраться к секрету создания Великой Поэмы Мирового Духа!

— Звучит интригующе. О чем идет речь?

Николай Александрович вкратце изложил шеллинговскую идею параллелизма Пасхальной и Вальпургиевой ночей.

— Что-то в этом есть, — согласился Мицкевич. — Наверно, не случайно Мефистофель соблазнил Фауста именно в пасхальную ночь.

Однако идея «звездных» лет показалась поэту неубедительной.

— Интересно у вас получается: если бы я со своим «Паном Тадеушем» до нынешнего года провозился, то возможно, угодил бы в Великие Мастера, а поскольку я закончил свой труд в 1834, то значит, нет мне части в Великой Поэме! Что за странная теория? Да и совпадения ваши не очень убедительны. Что особенного в том, что Сервантес покинул свой дом, а Данте ушел в политику?! Я тоже когда-то ушел из дома и пришел в политику.

— Ну как же вы не видите? Для Сервантеса покинуть дом было судьбой: с той минуты он навсегда превратился в странника. Опыт скитальчества лежал в основе его личности: его герой не мог быть домоседом, его странный рыцарь не мог не быть странствующим! А для Данте именно уход в политику предопределил его откровение: в «Божественной комедии» он воздал и своим друзьям и своим недругам. Без этой пружины он, возможно, не взялся бы за свой труд. А Гете, который в том году пришел к теме «Фауста» и получил шестидесятилетнюю отсрочку! А Кант, перевернувший в этом году сознание человечества! А побратавшиеся смертью Шекспир и Сервантес! Причем ведь все это величайшие гении, маяки! Других столь же весомых имен попросту нет!

— Но я в любом случае не понимаю, как сочетания дней недели с полнолунием, или с чем там еще, могут влиять на творчество? Что это за натурфилософия такая?

— Я думаю, это подобно вдохновению, — пояснил Мельгунов. — Когда Пасха и Первомайский шабаш друг другу уподобляются, Покровитель искусства Мировой Дух приходит в волнение и навещает своих избранных! Это его час, его праздник.

— Я тоже не нахожу в таком влиянии ничего странного, — поддержал Мельгунова Гоголь. — Луна и звезды несомненно влияют... Даже черные кошки и зайцы влияют. Или вы и в этом сомневаетесь?

— В такое влияние я, отчасти, верю, — согласился Мицкевич. — Пушкин однажды доказал мне надежность некоторых примет, как Ньютон доказал закон всемирного тяготения. Про то, как его заяц от Сибири спас, слышали?

— Я слышал, — улыбнулся Гоголь.

— А я нет, — заинтересовался Мельгунов. — расскажите.

— Охотно. Когда умер император Александр, Пушкин находился в ссылке в Михайловском. Он страшно скучал по Петербургу и решил его в эту минуту посетить, так как по его мысли, из-за суматохи связанной с похоронами и коронацией нового царя, никто не станет заниматься его незначительной персоной.

Пушкин велел слуге готовиться к отъезду, а сам тем временем отправился проститься со своими соседями. И вот на пути в Тригорское дорогу ему перебежал заяц. На обратном пути — снова заяц! Только Пушкин вернулся, ему докладывают, что слуга его ничего не сделал и мечется в белой горячке. Пушкин поручил заложить повозку другому слуге. Только он собрался трогаться, глядь — а в воротах священник, который шел с ним проститься.

— Да я уже никуда не еду, — сказал ему в сердцах Пушкин.

Так и не поехал. А через несколько дней он понял, что бы с ним случилось, если бы он не испугавшись примет, отправился бы тогда в Петербург. Он бы угодил прямо на совещание к Рылееву, вместе со всеми отправился бы

на Сенатскую площадь, а оттуда в Петропавловскую крепость, и далее в Сибирь. До сих пор писал бы нам письма вместе с Кюхлей из какого-нибудь Баргузина.

Вот и подумайте, если два зайца оказались так глубоко связаны с судьбой Пушкина, то две полные луны в Пасхальную и Вальпургиеву ночь, неужели ни на что не влияют?

— Вы правы, — впечатлился Мельгунов. — Очень интересное соображение! Приму к сведению.

— Как вы здесь согреваетесь, Адам Микойлович, в этом Париже? — раздраженно воскликнул вдруг Николай Васильевич. — Меня просто колотит от холода.

Гоголь завернулся в одеяло и прилег на кровать, прикрыв глаза.

— Спасибо еще, что у них в номерах не одни только простыни...

Мельгунов и Мицкевич переглянулись и направились к выходу.

— Он, похоже, действительно сильно болен... — прошептал Мельгунов, осторожно закрывая за собой дверь. — Мне совсем не кажется, что у него в номере холодно. А что у него с желудком? Все действительно так серьезно?

— Он уже и вам успел пожаловаться? Весь мир вращается вокруг его внутреннихностей!

— Я его понимаю, я и сам сильным здоровьем не отличаюсь.

— Ему бы поучиться отношению к жизни у своих героев-жидов, которых в «Тарасе Бульбе» казаки в Днепре топят. Как легко они у него уходят под воду, весело мелькая пятками.

— Извините, я не понял.

— Отправлять на тот свет жидов ему легко и забавно, потому что, как ему кажется, они в этой жизни лишние. А здоровье православного писателя — высшая ценность, которая должна оберегаться лучшими светилами мировой медицины. Все болезни Гоголя — следствие его нездорово-

го патриотизма. Мы ведь с ним по-малоросски общаемся! Он так предпочитает! Но при этом с потрохами предан русской короне! Вот они у него, эти потроха, и ворочаются от внутреннего неудобства.

12 (24) ноября

Петербург

Натолкнувшись на решительный отказ Пушкина, барон Геккерн снова пригласил к себе Жуковского, чтобы выяснить, на каких условиях, по его мнению, Пушкин согласился бы отозвать свой вызов.

— Вы сняли с себя посредническую миссию, — начал барон, усадив своего гостя на одно из роскошных кресел в приемной Нидерландского посольства. — Я прекрасно вижу, что вы не можете уже ничего больше предпринять. Но что бы вы посоветовали мне?

Жуковский задумался. Он стал вспоминать все свои беседы с поэтом и, наконец, сообразил:

— Пушкин не верит, что этот брак состоится. Так как намерение Дантеса пожениться на Екатерине выявилось только после получения им вызова на дуэль, Пушкин убежден, что оно только этим вызовом и обусловлено.

— Да, но как разубедить его в этом?

— Я бы посоветовал вам напрямую объявить самому Пушкину, что вы не только даете согласие на брак, но также и гарантируете, что свадьба будет сыграна. Но конечно, историю с вызовом следует держать в секрете, сколько это возможно, чтобы не вышло никакого бесчестия.

— Я готов дать такие гарантии, — обрадовался барон. — Но и мы со своей стороны нуждаемся в гарантии. Пушкин должен написать официальный отказ от вызова.

— Мне кажется это здравым, — оживился Жуковский, и незамедлительно отправился на Мойку.

На сей раз предложение барона застало Поэта врасплох.

Услышав, что брак Дантеса с Екатериной будет гарантирован специальным письмом, Пушкин смутился. Этот ход голландского дипломата определенно лишал его всякого права как-либо препятствовать Екатерине вступить в брак с Дантесом.

Скрепя сердце Пушкин дал свое согласие на встречу с бароном Геккерном. Совет Жуковского пришелся в точку.

Мюнхен

В этот день Шеллинга посетила еще одна идея, связанная с его творческим замыслом.

Вернувшись из университета, он в который раз перечитал сцену «пасхального шабаша». После того как изменились некоторые первоначальные акценты, и Мефистофель выразил готовность прислуживать Мастеру, сцена на его взгляд существенно выиграла.

Но до сих пор оставалась совершенно незадействованной еврейская Пасха, точнее, вторая еврейская Пасха. А ведь она, по сути, была ключевой!

Шеллинг вскочил и заходил по комнате, не в силах усидеть от нахлынувших мыслей.

Кажется, что у Пасхи и шабаша нет ничего общего, но если вдуматься, то смысл шабаша совпадает со смыслом одного важного момента Пасхи — момента сошествия Христа в ад. Вот это был праздник для темных сил! Ведь не было там никакого «пришел, увидел, победил». Христос провел в царстве тьмы целых две ночи!

Но благодаря второму еврейскому Песаху, который, в этом году совпал с вальпургиевым шабашом, этот парадоксальный смысл христианской Пасхи, совпавшей с первым еврейским Песахом — решительно углубился!

Похоже, это совпадение было тем последним недостающий ингредиентом, который ему так не доставало, который должен был привести к вспышке, привести к явлению Мирового духа!

Шеллинг наконец присел за стол и пододвинул к себе чернильницу. Однако перо застыло в руке. Он неожиданно вспомнил слова Макса Лилиенталя, что второй Песах никак в современном еврейском мире не отмечается. В память об этом празднике некоторые в тот день едят мацу, но даже и эта малость обязательной не является.

В древности в Пасхальные дни, то есть и 14 нисана, и 14 ияра в Храме закалывались барашки, которые съедались вечером вместе с опресноками и горькими травами. В ту пору первый и второй Песах внешне ничем не отличались. Однако после разрушения Храма, козь скоро барашек исчез из пасхального рациона, урезанная пасхальная трапеза проводилась только в Нисане.

Просто упомянуть о времени еврейской пасхи, не вставив соответствующей детали, уже только по одним художественным требованиям было невозможно.

— По-видимому, следует параллельно описать также и какой-то «1836» год древности, когда Храм существовал! — осенило вдруг Шеллинга. — По-видимому, следует ввести в роман какие-то «древние главы», описать сцены суда над Иисусом, описать Пилата, Каиафу! Действие романа должно развиваться в двух параллельных мирах — древнем и настоящем! Тогда его литературная гремучая смесь непременно сработает!

Париж

На другой день после своего приезда в Париж Мельгунов совершил волнующую прогулку со своей Мадонной по Елисейским полям, а на третий явился с ней к Просперу Мериме.

— Сколько лет, сколько зим! — произнес Мериме по-русски, усаживая своих гостей за изящно сервированный стол.

— Так вы, я вижу, стали учить русский? — обрадовался Николай Александрович.

Впечатленный Пушкиным, о котором он был наслышан в первую очередь от любомудра Соболевского, Мериме еще в прошлый приезд Мельгунова грозился выучить этот дикий язык.

— Кроме нескольких приветствий и выражений я пока ничего, к сожалению, не освоил, но желание заговорить по-русски не угасает. В литературном отношении вы нация многообещающая. Как ваши успехи, Николай?

Николай Александрович принялся было рассказывать о своем «Московском наблюдателе», однако, при первой же паузе, Регина его прервала и обратилась к Мериме:

— Расскажите нам, что знаменательного произошло в этом году в литературной жизни Парижа?

— Знаменательного? — переспросил Мериме, окинув Мадонну почтительным взглядом. — Самым знаменательным событием литературной жизни этого года я нахожу издание «Исповеди сына века», в котором Мюссе отчитался о своем романе с Жорж Санд, вызвавшем столько переудов.

— Да, это, действительно, событие, — согласилась Регина. — Но о нем мы уже наслышаны.

— В этом году с большим успехом стала издаваться литературная газета «Пресса», — продолжил Мериме, не отрывая взгляда от Регины. — В ней печатаются все лучшие наши авторы — Бальзак, Эжен Сю, Дюма... Кстати, о Дюма. Прямо сейчас в Варьете с триумфом идет его пьеса «Гений беспутства». Даже язвительный Гейне отозвался о ней с большой похвалой. Очень рекомендую. Не далее как вчера я услышал такой анекдот: дирекция обещала Дюма премию в тысячу франков, если сборы от первых 25 спектаклей составят 60 000. Дюма явился к началу последнего представления и узнал, что до требуемой суммы не хватает всего 3-х франков. Что вы думаете, он сделал? Бросился в еще открытую кассу, приобрел за 5 франков билет и явился с ним за премией к директору!

— Браво! — засмеялась Регина. — Какой находчивый автор!

— Шатобриан, на мой взгляд, нашелся еще успешнее. Он заложил свои обращенные к отдаленным потомкам «Замогильные записки», и теперь обеспечен до самой смерти...

— Ну, а в жизни самих писателей, происходило ли в нынешнем году что-либо драматическое? — поинтересовался со своей стороны Мельгунов.

Драматическое? — задумался Мериме. — Летом из жизни ушла та, которую Бальзак называл своей Беатриче, Генрих Гейне женился на уличной торговке... Что еще?

— Беатриче Бальзака? — переспросила Мадонна. — Кто это?

— Лора Берни. Вы не слышали? Он не раз ее так и называл «моя Беатриче». То была его первая любовь. Ему было чуть за двадцать, ей сорок-пять. Да что я говорю, Бальзак ведь сам все описал в «Лилии долины». Мадам Берни получила только что отпечатанный экземпляр, когда лежала уже на смертном одре.

— «Лилия долины»? Непременно прочту.

— Главное литературное событие 1836 года, насколько я понимаю, произошло не во Франции, а в туманном Альбионе. Имя Диккенс вам что-нибудь говорит?

— Никогда не доводилось слышать, — признался Мельгунов.

— Внезапно прославился. У меня есть Британский журнал, в котором о нем имеется статья.

Мериме зашел в кабинет, из которого вернулся с журналом в руках.

— Вот. Сейчас, найду... Так, «Корабль Бигль вернулся из пятилетнего кругосветного плавания».... Это не то. А, вот про Диккенса. Взгляните. Публикация первых глав «Посмертных записок Пиквикского клуба» была приурочена к пасхальному выпуску ежемесячника. Летом к автору приходит слава, а к осени, как тут написано, Диккенс ста-

новится «более известен, чем премьер-министр». Все им написанное расходятся в течение нескольких дней тиражами по 50 000. Каково?!

— Диккенс, насколько я понимаю, значит «черт». — заметила Мадонна, когда они с Мельгуновым покинули дом Мериме. — Похоже, что этот автор пополнит ряд англичан причастных к Великой Поэме: Шекспир, Стерн, Милтон. Уверена, что вы не проверяли Милтона! Так ведь?

— Не проверял. То есть я заметил, что в 1616 году он был ребенком, и уже не вникал особенно в его биографию.

— Вы правы. В том году ему исполнилось восемь лет. Но именно в этом возрасте он как раз и начал писать стихи. В девять лет он уже приобрел в семье репутацию необыкновенно одаренного поэта. С той поры он так и продолжал: равномерно и прямолинейно, переживая немало драм, но ни разу не оступаясь. Поэт пробудился в Джоне Милтоне в 1616 году. Неужели это недостаточное свидетельство того, что он избран Мировым Духом?

— Если первое творческие шаги засчитывать за посвящение, тогда и Декарта можно в этот орден включать...

— А что с ним приключилось в 1616-ом?

— В том году Декарт с блеском завершил свое образование, получив степень бакалавра. Тогда же он и написал свое первое сочинение — «Трактат о музыке». В свое время я большим интересом его прочитал. Но я как-то не подумал, что это можно вменить в посвящение...

— Я бы засчитала. Как его иначе Мировому Духу отметить, если не творческой инициацией?

14 (26) ноября

Петербург

Встречу Пушкина с Геккерном было решено провести в доме фрейлины Загряжской, представлявшей семью Гончаровых.

— Бесконечно рад встрече, — почтительно кланяясь, произнес барон. — Я даю согласие на то, чему так долго по некоторой предубежденности противился, я разрешаю своему сыну вступить в брак с Екатериной Николаевной.

— Семья наша, — заговорила немедленно после этих слов Загряжская, — согласна выдать Катрин за поручика Геккерна. О ее воле вы наверняка наслышаны больше моего.

Все повернулись в сторону Пушкина, который сидел, сложив руки на груди, и небрежно помахивал правой ногой.

— Что ж, все согласовано, — ответил поэт. — Ввиду предстоящего брака я прошу рассматривать мой вызов как не имевший места.

— Не считите за труд, Александр Сергеевич, подтвердить ваши слова письменно, — засуетился Геккерн.

— Как изволите.

— Сегодня в Аничковом дворце бал, — заговорил Жуковский. — У меня имеются неотложные дела. Но завтра я заеду к Александру Сергеевичу, и мы составим такое письмо.

— Не возражаю, — кивнул барон.

Внешне Пушкин выглядел спокойным, но это спокойствие далось ему твердым решением отомстить Геккерну-старшему.

Пушкин нисколько не сомневался в том, что внезапное предложение Дантеса Екатерине было продиктовано его — Пушкина — вызовом. Его впутали в очередную низость, его вынудили скоморошествовать, ему навязали участие в позорном спектакле. Да, он согласился отозвать вызов Дантесу, это он выполнил. Но в отношении главного интригана он никаких обязательств не давал, и он ему отомстит!

Сразу от Загряжской Пушкин направился к Вяземским, одним из получателей грязного пасквиля.

Княгиня Вера Федоровна была одной из немногих, кого Пушкин посвятил в свое решение стреляться с Дантесом.

Александр Сергеевич не находил поэтому ничего предосудительного в том, чтобы поделиться с ней последними новостями, поведать ей, как развиваются дальнейшие события.

— Я отозвал сейчас вызов, — сообщил он княгине. — Дантес может жить и даже жениться, но его так называемого отца я уничтожу... О его низости скоро заговорит весь свет.

План мщения сложился у Пушкина не вчера, а в те дни, когда он уверился в своих подозрениях.

— Но ведь это вернет все на свои круги! — резонно возразила Вера Федоровна. — Свадьба будет расторгнута, а вы с Дантесом будете драться!

— Мне все равно. Это он желает избежать этой дуэли. Я знаю одно — я не позволю этой ядовитой змее продолжать отравлять мою жизнь. Он будет опозорен, а если пожелает драться, меня это не смутит.

* * *

Этот разговор в тот же вечер стал известен Жуковскому, которого повстречал на бале в Аничковом дворце Петр Андреевич Вяземский.

Придворному поэту потребовалось привлечь все свое искусство царедворца, чтобы на протяжении нескольких часов танцевать, улыбаться и раздавать поклоны, в то время как сердце его переполнялось возмущением против Пушкина.

Самого поэта на балу не было. Императрица не пригласила Александра Сергеевича, так как ей хотелось считать, будто бы он все еще продолжает носить траур по матери, но Наталья Николаевна присутствовала, и еще как!

Явившись одна, первая красавица Петербурга не чувствовала себя стоящей в тени первого поэта России, и блистала на сей раз ярче обычного, по праву ощущая себя принцессой бала.

— Наталия Николаевна, — подскочил к ней князь Трубецкой. — Вы несомненно первая здесь и по красоте и по туалету!

— Эта Пушкина выглядит прекрасной волшебницей в своем белом с черным платье, — заметила императрица.

Сплетни об анонимных письмах уже проникли во дворец, что вызывало повышенный интерес к особе первой русской красавицы.

15 (27) ноября

Париж

*Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному суждению знатоков.
В простом углу моем, средь медленных
трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный спаситель —
Она с величием, он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.
Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.*

Этот стих Пушкина, посвященный его невесте за полгода до свадьбы, живо припомнился Мельгунову, когда в воскресное утро он вошел с Региной в Собор Парижской Богоматери.

После службы Регина подошла к центральному алтарю, преклонила колени и стала молиться.

Николай Александрович последовал ее примеру, однако не смог сосредоточиться. В конце концов, он отошел в сторону, и, как и в день первой их встречи, с восхищением стал наблюдать за своей спутницей.

Ощущение повторилось. В своей молитве Регина уносила ввысь, и глядя на нее, Мельгунов следовал в том же направлении гораздо успешнее, чем самостоятельно молясь на мраморный лик Богородицы.

Николай Александрович не раз в жизни испытывал влюбленность, но всякий раз вынужден был признать, что то было лишь замаскированное вожделение. Теперь впервые в жизни все было по-другому, впервые в жизни вожделение отсутствовало, а вместо влюбленности было какое-то религиозное чувство восхищения.

*Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец, —*

прошептал Николай Александрович.

— Николай, я бы хотела пойти с вами сегодня в Лувр, — сказала Регина, когда они вышли на улицу. — Я хотела бы там с вами кое-что посмотреть и обсудить.

— Что именно?

— Некоторые женские портреты... Я прочла на днях, что Леонардо Да Винчи всю жизнь желал написать портрет Беатриче, но так и не сумел сделать этого. Это так странно, так непонятно. Почему именно с этим образом его постигла неудача? Почему Мадонну у него изобразить получалось, а вот Беатриче нет? Хочу приглядеться к этим портретам. А вы мне поможете.

— Охотно.

— Встретимся тогда сегодня в кафе «Режанс» в три часа. Устраивает?

— Вполне.

Мельгунов вошел в расположенное рядом с Лувром престижное кафе «Режанс» за полчаса до назначенного времени. Ему не терпелось поделиться с Мадонной пришедшими ему в голову соображениями относительно неудачи Леонардо с изображением Беатриче.

Уже при входе он сразу заметил Проспера Мериме, играющего в шахматы с каким-то неизвестным Мельгунову господином.

Николай Александрович уселся за свободный столик, заказал себе кофе и стал ждать, когда закончится партия. Заметив, что Мериме с досадой махнул рукой и оба партнера оторвали свои взоры от доски, Мельгунов подошел к их столику.

Увидев Николая Александровича, Мериме встал ему навстречу и представил своему партнеру:

— Николай Мельгунов, несколько дней как прибыл из Германии.

— Генрих Гейне, — представился соперник Мериме, — уже пять лет, как моей ноги в этой стране не было.

Оказалось, что благодаря Тютчеву Гейне был наслышан об обществе Любомудров не менее Шеллинга, и даже само имя Мельгунова оказалось поэту знакомо.

— Как я вижу, вы не очень жалуете свою родину? — заметил Николай Александрович. — Любопытно, за что?

— Германия не очень ласково со мной обходится. Я понимаю, что это может показаться чем-то личным, чего прочие люди вправе не брать в расчет. Но кое-что в германском духе касается, как я думаю — всех. Немецкое буйство еще о себе заявит, поверьте мне.

— Мне, напротив, германцы представляются весьма рациональной нацией. Я уже не говорю о том, что в сфере философской мысли они на корпус впереди всей Европы.

— Но их философия ужасна! Последователей Канта, Фихте и натурфилософии следует остерегаться как разбойников с большой дороги!

— Позвольте, да вы же сами, если не ошибаюсь, писали:

*«Французам и русским досталась земля,
Британец владеет морем.
А мы — воздушным царством мечты,
Там наш престиж бесспорен».*

Гейне поморщился.

— Занесите эти слова на счет евреев, я ведь и к этому племени принадлежу... Господин Мериме подтвердит, я уже не первый год предостерегаю французов от германцев. Этот народ когда-нибудь еще взорвет Европу. Христианство лишь поверхностно смягчило его воинственный пыл, но оно не уничтожило его. Когда крест потеряет свою силу, старые божества воскреснут и жестокость старых воинов вновь выплеснется наружу. Бешеное неистовство насильников, которое поэты Севера воспевают и в наши дни, когда-нибудь себя еще проявит. Поверьте, я знаю немцев. Их Тор еще поднимет свой гигантский молот и разрушит соборы...

Мериме с интересом слушал.

— Наверно, что-то подобное я бы мог сказать и о России... — заметил Мельгунов. — Герой народных былин, богатырь Илья Муромец сбивает кресты с киевских соборов. Народ русский не образован и дик, в момент мятежа жесток и неуправляем, а власти косны и нетерпимы.

— Насчет русских никого в Европе предостерегать не приходится. То, как вы обошлись с Польшей, всех здесь глубоко возмутило. Между тем даже и поэты ваши рукоплескали душителям свободы! Что это вообще было? Искренний державный восторг или придворное раболепство?

— Вы имеете в виду Пушкина? В ту пору мне действительно показалось, что он угодничает перед царем, но я

ошибался. Думаю, что даже Мицкевич его в этом больше не обвиняет... Пушкин просто остро чувствует особенность, даже можно сказать, обособленность русского пути. Мы ощущаем себя не просто народом среди народов, мы охвачены странным зудом представлять собой все человечество.

— Вот как? — Гейне с удивлением взглянул на своего собеседника. — Признаюсь, у меня самого порой такое впечатление возникало. По-видимому, народ, расположившийся на одной шестой части суши, просто не может не чувствовать себя космополитом!

— Вы правы! Какая мысль! — обрадовался Мельгунов. — Прибавьте сюда своеобразие нашей религии, восходящей не только к древнему Израилю, но и к древней Элладе, и вы поймете природу нашего своеобразия. Наша беда в небывалой косности режима. В старину мы, возможно, не выделялись на общем фоне, но монгольское иго сломило нас. Победенная нами Орда по-прежнему правит нами. Представьте, как раз сегодня — из утренней почты — я узнал, что самая светлая русская голова, Петр Яковлевич Чаадаев, объявлен сумасшедшим!

— Чаадаев?! — переспросил Мериме. — Я определенно слышал это имя. И от Шатобриана, и от Соболевского.

— Представляете?! — возмутился Николай Александрович. — Первый по яркости российский ум — и объявлен умалишенным! Возможно ли такое в Германии?

— Такое возможно даже и во Франции! — возразил Мериме.

— Что вы имеете в виду?

— Вы слышали о писателе по имени Донасьен де Сад? В свое время он у нас то же был объявлен сумасшедшим, а книги его уже двадцать лет как запрещены.

— Никогда не слышал этого имени. Он жив?

— Нет. Романы его были запрещены уже после его смерти.

— Романы?! Вы уверены? За что же можно запретить романы?

— За аморальность и атеизм, точнее антихристианство... А ведь при том, что многие сочинения его действительно шокирующие, он был в такой же мере вменяемым человеком, в какой и сносным литератором.

— Признаюсь, вы разбудили во мне определенное любопытство, — усмехнулся Мельгунов. — Я не знаю страну более свободную, чем ваша. Что же в ней надо такое написать, чтобы прослыть сумасшедшим и попасть под запрет?

— Почитайте. У каких-нибудь букинистов его книги наверняка еще можно разыскать.

Гейне вскоре отклонялся, пригласив русского путешественника к себе в гости, а через несколько минут появилась Мадонна.

* * *

Просидев с Мериме за столом четверть часа и выпив по чашечке шоколада, Мельгунов с Региной направились в Лувр в надежде выяснить, почему Леонардо Да Винчи мог быть недоволен своими портретами Беатриче.

Остановившись у его картины «Благовещение», Мельгунов не удержался и сказал:

— Глядя на вас, Регина, мне кажется, что и этот портрет ему не очень удался.

— А мне, кажется, что вполне удался, — улыбнулась Регина. — Но вот Беатриче, он считал, у него не выходила. Почему?

— Я, кажется, знаю ответ. Я размышлял вчера над вашим вопросом, и вот что подумал: Леонардо был убежден, что изобразительное искусство — это вершина искусства как такового, он утверждал, что живопись представляет чувству с большей истинностью и достоверностью творения природы, чем слова или буквы. Но при всем этом, он очень высоко ставил «Божественную комедию» и видимо

чувствовал превосходство дантовского пера над своей кистью. Я читал, что однажды Леонардо стал спорить с Микеланджело о каком-то темном месте «Божественной комедии», Микеланджело не знал как ответить, и заявил: «Зато ты не умеешь отлить из бронзы коня!». Так вот, Леонардо покраснел и почувствовал себя совершенно оплеванным. Понимаете, для него написать портрет Беатриче было делом чести, этот портрет обязан был стать прекраснейшей литературной образ. Леонардо не просто хотел изобразить прекраснейшую из Женщин, он мерялся силами с ее Поэтом, он бросал вызов «Божественной комедии».

— Bravo! Это действительно все объясняет. А вы знаете, когда он прочитал «Божественную комедию» и задумал написать тот портрет? — лукаво улыбаясь, спросила Мадонна.

— Неужели в звездном году? —

— Представьте себе, да. Я на днях это обнаружила. Мировой дух, как можно видеть, очень ясно выразил свою позицию по этому вопросу. Он пишет именно Поэму, а не Портрет.

— Согласен. Но одного портретиста он все же отметил.

— Вот как? Кого же?

— Боттичелли. Вы, конечно, помните его «Портрет молодой женщины», выставленный в галерее Штеделя во Франкфурте?

— Конечно! И что же?

— Под картиной значится дата — 1475 год, то есть год следующий после «звездного» — 1474. Так вот, я покопался в архивах музея и выяснил, что на полотне изображена Симонетта Веспуччи, умершая в 1473 году. Из того, сколько ее посмертных портретов, включая «Рождение Венеры», написал Боттичелли, очевидно, что то была его муза.

— Даже если эта муза и впрямь вдохновила Боттичелли в «звездный» год, это решительно ничего не меняет. Мировой дух пишет Поэму.

— Итак, круг сужается, — улыбнулся Мельгунов. — Первыми отпали политики, вторыми святые угодники, а теперь вот еще и художники отпадают. Музыканты представлены очень минорно, я среди них хорошо искал. Остаются только поэты и философы. Они служат основными каналами Мирового Духа...

— Этого можно было ожидать, Бог действительно творил мир словом. Постойте, Николай, а ученые? Естествоиспытатели вам попадались?

— Не очень. Галилей впервые отрекся от идеи движения земли вокруг Солнца в марте 1616 года... Вот, кажется, и весь улов.

16 (28) ноября

Петербург

Было условлено, что утром Жуковский передаст барону Геккерну письмо Пушкина с отказом от поединка. Однако то, что ему стало известно накануне от Вяземских, снова спутало все карты.

Ранним утром Жуковский написал Пушкину возмущенное письмо. Он написал, что тот поставит его в немыслимое положение, и что он — Жуковский — не вправе брать на себя роль посредника после того, что узнал накануне от Вяземских.

«Скажи мне, — писал Жуковский, — какую роль во всем этом я играю теперь и, какую должен буду играть после перед добрыми людьми, как скоро все тобою самим обнаружится, и как скоро узнают, что и моего тут меду капля есть? И каким именем и добрые люди, и Геккерт, и сам ты наградите меня, если, зная предварительно о том, что ты намерен сделать, приму от тебя письмо, назначенное Геккерну, и, сообщая его по принадлежности, засвидетельствую, что все между вами кончено, что тайна сохранится и что каждого честь останется неприкосновенна? Хорошо,

что ты сам обо всем высказал и, что все это мой добрый гений довел до меня заблаговременно».

Послание Жуковского несколько отрезвило Пушкина.

Он был непоследователен, невозможно мириться с одним из Геккернов и враждовать с другим. Нет, с местью придется повременить. Момент, подходящий для того, чтобы предать огласке подлость этой парочки, еще придет, но сейчас, по-видимому, для этого не лучшее время.

Когда Жуковский приехал к Пушкину, тот готов был воздержаться от мести, и прямо пообещал ему это.

Примирительное письмо было написано, и уже через час барон прочитал следующие слова: «Господин барон Геккерн оказал мне честь принять вызов на дуэль его сына г-на барона Ж. Геккерна. Узнав случайно, по слухам, что г-н Ж. Геккерн решил просить руки моей свояченицы мадемуазель К. Гончаровой, я прошу г-на барона Геккерна-отца сообразоваться рассматривать мой вызов как не бывший».

* * *

Однако Геккернам пушкинское послание по вкусу не пришлось.

Пока барон пытался связаться с Жуковским для того чтобы вместе с ним как-то отредактировать лаконичную пушкинскую записку, Дантес вошел в свое исходное самонадеянное состояние и решил сам указать поэту, что и в каких выражениях тому следует высказать.

Он записал свои замечания и отправил их к Пушкину с атташе французского посольства виконтом д'Аршиаком, которого еще раньше облюбовал себе в секунданты.

«Милостивый государь, — хорохорился Жорж в своем послании. — Барон де Геккерн только что сообщил мне, что он был уполномочен уведомить меня, что все те основания, по каким вы вызвали меня, перестали существовать и что

поэтому я могу рассматривать это ваше действие как не имевшее места.

Когда вы вызвали меня, не сообщая причин, я без колебания принял вызов, так как честь обязывала меня к этому; ныне, когда вы заверяете, что не имеете более оснований желать поединка, я, прежде чем вернуть вам ваше слово, желаю знать, почему вы изменили намерения, ибо я никому не поручал давать вам объяснения, которые я предполагал дать вам лично. — Вы первый согласитесь с тем, что прежде чем закончить это дело, необходимо, чтобы объяснения как одной, так и другой стороны были таковы, чтобы мы впоследствии могли уважать друг друга.

Жорж де Геккерн».

На словах Дантес поручил д'Аршиаку передать Пушкину, что в виду окончания двухнедельной отсрочки он «готов к его услугам» и не хочет представлять дело так, будто он стоит перед выбором жениться или драться. Необходимо констатировать, что он делает предложение не в качестве сатисфакции или для улаживания дела, а только потому, что м-ль Екатерина ему нравится и это решено по его собственной воле!

В довершении ко всему Дантес заготовил образец письма, которое Пушкин по его мысли должен был переписать своей рукой и вернуть ему. Упоминания о сватовстве из этого послания волшебным образом исчезло: «Ввиду того, что г. барон Жорж де Геккерн принял вызов на дуэль, доставленный ему при посредстве барона де Геккерна, я прошу г-на Ж. де Г. сообразоваться рассматривать этот вызов как не бывший, убедившись случайно, по слухам, что мотивы, которыми руководствовался в своем поведении господин Ж. де Г., не были оскорбительны для моей чести, единственная причина, по которой я счел себя вынужденным сделать вызов».

Все снова перевернулось. Прочитав «свое» письмо, Пушкин не стал вступать в дальнейшие объяснения,

а лишь сказал д'Аршиаку, что завтра придет к нему своего секунданта, для того чтобы условиться о дуэли.

* * *

Вечером Пушкин столкнулся с Дантесом на рауте в Австрийском посольстве, где собрался весь петербургский свет.

— Если после нашей скорой встречи, — в бешенстве обрушился Пушкин на поручика, — вы по какому-то недоразумению останетесь в живых, то возьмите себе за правило сочинять письма только от собственного имени!

Из-за траура по случаю смерти Карла X все дамы на этом рауте были в черных платьях, лишь одна Екатерина Гончарова в честь своей — еще не объявленной — помолвки с Дантесом догадалась явиться в белом.

Взоры всех присутствующих с недоумением то и дело упирались в силуэт этой странной белой птицы, затесавшейся в стаю черных сородичей.

Увидев эту неожиданную картину, Александр Сергеевич окончательно рассвирепел.

— Вы слишком поторопились, Катрин, вырядившись в это платье, — отрывисто произнес Пушкин. — Этой свадьбе не бывать. Я уже дал ему понять, что поединок состоится. Так что не смейте заговаривать с этим павлином.

Пушкин метнулся вниз, и на лестнице столкнулся с д'Аршиаком.

— Очень хорошо. Я вас как раз искал. Завтра к вам явится мой секундант — Владимир Сологуб.

— Буду рад обсудить с ним все детали этого дела, — ответил виконт, ясно увидев, что Пушкин в бешенстве, и сейчас совсем не время заговаривать с ним о примирении.

— «Все детали» обсуждать незачем. Достаточно коснуться лишь материальной стороны дуэли, — как бы читая его мысли, съязвил поэт. — Я сказал секунданту, ни в ка-

кие посторонние объяснения не вдаваться. Вы, французы, всегда очень любезны. Все вы знаете латынь, но когда вас припрет стреляться, вы становитесь в 30 шагах. У нас, русских, иначе: чем меньше церемоний, тем поединок беспощаднее.

17 (29) ноября

Петербург

Однако Сологуб, вопреки просьбе Пушкина, отправился не во французское посольство к д'Аршиаку, а в нидерландское — к Дантесу.

Пушкин находился в таком возбужденном состоянии, что расспрашивать его о каких-либо подробностях Сологуб не решался, с д'Аршиаком же он не был знаком. Поэтому прежде чем что-то предпринять, он пожелал выяснить все обстоятельства нового скандала из первых рук — у Дантеса, с которым был коротко знаком по карамзиновскому кружку.

С самого утра мела сильная метель, так что путешествие заняло время.

Дантес встретил Сологуба настороженно. Наученный горьким опытом, он боялся проявлять инициативу и напрямую иметь дело с секундантом Пушкина. Дантес уходил от вопросов, отсылал Сологуба к д'Аршиаку, и лишь признал, что собирается жениться на Екатерине Гончаровой.

— Пушкин взял назад свой вызов, но я не хочу, чтобы дело выглядело так, будто я женюсь, чтобы избежать поединка. К тому же я не хочу, чтобы при этом произносилось имя женщины. Вот уж год как старик не хочет разрешить мне жениться.

Сологуб был поражен. Он не замечал ранее, чтобы Дантес питал к Катрин какие-то чувства. Но это значило лишь то, что он их умело скрывал, что прекрасно согласовывалось с его нынешним амплуа защитника женской чести.

Только теперь Сологуб вдруг понял причину вчерашнего белого платья Екатерины Гончаровой на траурном рауте; понял причину двухнедельной отсрочки, и главное, — понял причину ухаживания Дантеса за Натальей Николаевной!

Пораженный благородством своего собеседника, Сологуб решил, что не может выполнить поручение Пушкина, предварительно не попытавшись его переубедить.

Под завывания продолжающейся метели Сологуб вернулся на Мойку.

Услышав, что вместо того, чтобы направиться к д'Аршиаку, его секундант стал выяснять отношения с Дантесом, Пушкин пришел в негодование.

— Не хотите быть моим секундантом? Так и скажите. Я найду себе другого. Клементия Россета, например, чтобы далеко не ходить.

Понуриив голову, Соллогуб отправился выполнять поручение.

* * *

Д'Аршиак представил Соллогу всю дуэльную переписку, а именно вызов Пушкина, письмо о двухнедельной отсрочке и, наконец, собственноручную записку Пушкина, в которой тот объявлял, что берет назад свой вызов на основании слухов, что Дантес женится на его невестке.

— Я не очень понимаю, зачем вы показываете мне это. Пушкин намерен драться — неуверенно произнес Сологуб. — Мне поручено обсудить условия дуэли, а не примирения.

Но Д'Аршиак был настроен совсем не по-бойцовски, и продолжал настаивать.

— Уговорите Пушкина безусловно отказаться от вызова. Я вам ручаюсь, что Дантес женится, и мы возможно, предотвратим большое несчастье.

— Напрасный труд. Мы имеем дело с человеком совершенно одержимым, — пробормотал Соллогуб, вспоминая свое недавнее объяснение с Пушкиным.

Но д'Аршиак отказался обсуждать условия дуэли, предложив сделать перерыв и еще раз встретиться снова в 3 часа дня. Он был твердо настроен на мировую и вознамерился посоветоваться с Геккернами.

В 3 часа Соллогуб вернулся в Нидерландское посольство.

Совещание носило довольно странный характер. На нем присутствовал Дантес, никак не участвовавший в переговорах, но при этом отсутствовал барон, указаний которого д'Аршиак тщательно придерживался.

Условия дуэли были оговорены за несколько минут: Поединок должен был состояться 21 ноября, на Парголовской дороге в 8 часов утра. Противники должны были стреляться на расстоянии в десять шагов.

Теперь, после того, как задание Пушкина было благополучно выполнено, Соллогуб мог расслабиться и с чистой совестью развивать предложенную секундантом Дантеса тему примирения.

Однако особых идей и усилий от самого Соллогуба не потребовалось, так как с противоположной стороны посыпались самые щедрые предложения.

Соллогуб явно повеселел. Он взял лист бумаги и резюмировал на нем все услышанное от д'Аршиака в следующих выражениях:

«Я был, согласно вашему желанию, у г-на д'Аршиака, чтобы условиться о времени и месте. Мы остановились на субботу, ибо в пятницу мне никак нельзя будет освободиться, в стороне Парголова, рано поутру, на дистанции в 10 шагов.

Г-н д'Аршиак добавил мне конфиденциально, что барон Геккерн окончательно решил объявить свои намерения относительно женитьбы, но что, опасаясь, как бы этого не приписали желанию уклониться от дуэли, он

по совести может высказаться лишь тогда, когда все будет покончено между вами и вы засвидетельствуете словесно в присутствии моем или г-на д'Аршиака, что считая его неспособным ни на какое чувство, противоречащее чести, что вы не приписываете его брака соображениям, недостойным благородного человека.

Не будучи уполномочен обещать это от вашего имени, хотя я и одобряю этот шаг от всего сердца, я прошу вас, во имя вашей семьи, согласиться на это условие, которое примирит все стороны. — Само собой разумеется, что г-н д'Аршиак и я, мы служим порукой Геккерна. Соллогуб. Будьте добры дать ответ тотчас же».

Д'Аршиак прочитал письмо, удовлетворительно кивнул и произнес: — Я согласен. Можно посылать.

Жорж попросил, чтобы и ему дали прочесть послание, но секунданты сочли это излишним.

Соллогуб запечатал конверт, и надписав на нем «Господину Пушкину, в собственные руки», отдал письмо извозчику, специально дожидавшегося у подъезда.

Через 20 минут послание появилось на Мойке.

На сей раз Пушкин был доволен. Стоило пригрозить, и вот уже павлиний хвост поручика снова собран в жгут. Упоминание о помолвке во всей этой истории — дело ключевое.

Ответ Пушкина гласил:

«Я не колеблюсь написать то, что могу заявить словесно. Я вызвал г-на Ж. Геккерна на дуэль, и он принял вызов, не входя ни в какие объяснения. И я же прошу теперь господ свидетелей этого дела соблаговолить считать этот вызов как бы не имевшим места, узнав из толков в обществе, что г-н Жорж Геккерн решил объявить о своем намерении жениться на мадемуазель Гончаровой после дуэли. У меня нет никаких оснований приписывать его решение соображениям, недостойным благородного человека.

Прошу вас, граф, воспользоваться этим письмом так, как вы сочтете уместным.

Примите уверения в моем совершенном уважении. А. Пушкин.

17 ноября 1836 года».

Получив ответ, секунданты немедленно отправились на Мойку, чтобы официально сообщить Александру Сергеевичу об окончании дела. Они застали его обедающим с Клементием Россетом, привлеченным Пушкиным в качестве дополнительного секунданта, на тот случай, если Соллогуб опять сделает что-нибудь не то.

Слуга вручил визитные карточки. Извинившись перед дамами, Пушкин вышел из-за стола, и прошел в кабинет, куда уже провели посетителей.

Д'Аршиак чинно поблагодарил Александра Сергеевича за решение отозвать вызов.

— С моей стороны, — вставил Соллогуб, — я позволил себе обещать, что вы будете обходиться со своим зятем как с добрым знакомым.

— А вот это, напрасно, — возмутился Пушкин. — Этому не бывать. Никогда между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может. — И обращаясь уже к д'Аршиаку, добавил: — Впрочем, я признал и готов повторить, что господин Дантес действовал как честный человек.

— Большого мне и не нужно, — обрадовался д'Аршиак и поспешно вышел из комнаты.

Вернувшись в столовую, Пушкин пристально взглянул на Екатерину Николаевну и объявил:

— Поздравляю вас, вы невеста! Дантес просит вашей руки.

Екатерина бросила салфетку и выбежала из-за стола. Наталья Николаевна поспешила за нею.

— Каков! — сказал Пушкин Россету.

Узнав от д'Аршиака, как закончилась история, Дантес и Геккеры тотчас же отправились к Загряжской, где барон

от имени Дантеса сделал формальное предложение Екатерине Гончаровой.

Новость сразу же облетела все залы и гостиные. В лицо жениха и невесту поздравляли, но за спиной перешептывались и недоуменно покачивали головой.

Пушкин торжествовал. Ему казалось, что он полностью раздавил и опозорил своего врага, что сватовство Дантеса, до той поры волочившегося за его женой, откроет обществу его истинное лицо.

18 (30) ноября

Париж

После последней своей беседы с Проспером Мериме Николай Александрович оказался настолько заинтригован историей объявленного сумасшедшим маркиза Де Сада, что в тот же день, прогуливаясь по набережной Сены, спрашивал произведения этого писателя в каждом книжном ларьке.

Торговцы посматривали странно, но один, запросив хорошие деньги, пообещал достать к завтрашнему дню первый роман маркиза — «120 дней Содома».

Завладев основательно потрепанным раритетом, Мельгунов вернулся в гостиницу и с любопытством открыл книгу. Четверть часа он посвятил перелистыванию вводной части, в которой автор знакомил читателей со своими героями, не отделявшими будуарные радости от самого жестокого насилия. Усвоив, что «все четверо были удивительно восприимчивы к содомии и, регулярно ею занимаясь, получали от этого наивысшее удовольствие», Мельгунов заглянул еще в пару мест в середине романа, и тяжело дыша, захлопнул книгу.

Трудно было понять, что в большей мере переполняло его в эту минуту — отвращение, возмущение или изумление.

Ошарашивало то, что это была именно литература. Газетное сообщение о тяжком преступлении, или даже подробные материалы его следствия, но все же заведомо не художественно изложенные — не задевали бы в такой мере. Допустим это часть жизни, допустим, и она заслуживает освещения, но не такого же! Самой детализацией описания автор оказывался не на стороне жертв, а на стороне негодяев, наслаждающихся их мучениями. Для чего еще ему могло потребоваться так глубоко проникаться всеми движениями их патологической похоти?

— Нет, это что-то подлое, страшное и по естественно-му праву запрещенное, — кипел Мельгунов. — Гейне верно сказал, что там где жгут книги, будут жечь и людей. Но эта книга не заслуживает аутодафе. Это не книга вообще, не роман... это лишь на растопку годится!

И трясущимися руками Мельгунов швырнул сочинение маркиза в камин.

Прошло три дня, Николай Александрович несколько успокоился, но сегодня в полдень, вновь повстречав в кафе «Режанс» Мериме, сказал, что не понимает, зачем тот рекомендовал ему читать Де Сада.

— Это не писатель, это подлый человек. Он лицемерно сочувствует жертвам, но при этом наслаждается их страданиями вместе с теми, кого сам же называет «негодьями»!

— Да разве ж я вам его рекомендовал? — удивился Мериме. — Я упомянул Де Сада к слову. Литература его сомнительна, но это все же литература. Отчасти я даже могу его понять... Энергия, хотя бы и в дурных страстях, всегда вызывает у нас удивление и какое-то невольное восхищение. ... И примите во внимание еще один важный момент. Де Сад — поэт насилия, но все же не насильник... В его романах вы имеете дело исключительно с его воображением. Вы, правы, он сочувствует «негодьям», но сам все же не из их числа. Все, что он проделывал с живыми, а не воображаемыми женщинами, он проделывал с их согласия, пусть даже порой и за плату. Де Сад чуть ли не тридцать

лет провел за решеткой, но, насколько мне известно, лишь первый его арест был произведен за дело, а не за слово.

— То есть?

— Насколько я помню, он заманил к себе на виллу женщину, связал ее, отстегал плеткой, и втер в раны раздражающую мазь. Причем все это он совершил еще и в Пасху, что придало истории дополнительную скандальность.

— Как вы можете быть уверены, что маркиз никогда больше не повторял таких проказ?

— Просто потому, что его никогда больше ни за что подобное не судили, а поводов для арестов искали постоянно... Он оказывался за решеткой за атеизм и аморальность. И тут, кстати, опять усматривается связь с литературой. До тех пасхальных истязаний, он в общем-то не обращался к перу, а после них больше не обращался к плетке. После того случая все преступления совершались маркизом исключительно в его литературной фантазии.

— А в каком году, интересно, была эта Пасха? — опомнился вдруг Николай Александрович. Он так уже привык к своим звездным «попаданиям», что не удивился бы и этому. — Не в 1768-ом ли году, случайно? Не 3-го ли апреля?

— Не представляю, как это можно проверить. Я читал об этом давно, в каком-то старом журнале.

* * *

Заинтригованный Мельгунов незамедлительно направился в Королевскую библиотеку.

— Если это произошло в 1768 году, если Мировой Дух этого морального уродца отметил, то что все это значит?

Но ничего связанного с Де Садом в библиотеке Мельгунов не обнаружил. По всей видимости, все действительно было изъято.

19 ноября (1 декабря)

Петербург

Два дня после объявления помолвки между Дантесом и Катрин петербургское общество недоумевало, два дня оно было озадачено одним единственным вопросом: каким образом блестящий и завидный жених, зарекомендовавший себя пламенным поклонником Натальи Николаевны, вдруг надумал жениться на ее бесприданнице-сестре?

Однако уже на третий день головоломка разъяснилась. В этот день барон под большим секретом раскрыл жене министра иностранных дел графине Нессельроде «истинную подоплеку» скандальной истории.

Барон был давно обласкан в доме министра, и хорошо знал о неприязненном отношении его супруги к Пушкину. Он имел все основания ожидать, что здесь ему поверят.

— Не так давно рано поутру заехал ко мне в посольство Пушкин и попросил переговорить с Жоржем, — поведал графине барон. — Просидел у него всего минут пять, удалился, и вот что мне рассказал после этого Жорж.

Пушкин предъявил ему несколько писем, как можно было понять любовного содержания, написанных рукой Дантеса, и спросил:

«Каким образом, поручик, в моем доме могли оказаться эти письма? Ведь они писаны вашей рукой?».

И тогда Жорж нашелся. Он ответил:

«Вам не о чем беспокоиться. Ваша жена приняла у меня эти письма только затем, чтобы передать их своей сестре, на которой я хочу жениться».

— «В таком случае — женитесь».

— «Мой отец не дает мне согласия».

— «Тогда добейтесь его».

«Чтобы замять скандал, — печально завершил барон свой рассказ, — я вынужден был придумать эту историю с давнишним желанием Жоржа жениться на Екатерине,

и представить себя несговорчивым отцом... Но только умоляю, графиня, никому не слова!»

В тот же день, ту же историю и под тем же строжайшим секретом Дантес поведал паре своих приятелей в кавалергардском полку.

Со своей стороны Идалия Полетика внесла в мутный поток измышлений свежую струю, «проговорившись» в том же кругу, будто бы Пушкин сам без ума от Александрины Гончаровой, и ревнует свою Натали только из вредности.

В считанные дни весть о том, что Дантес ради спасения чести своей возлюбленной был вынужден просить руки ее сестры, нарастая как снежный ком новыми подробностями, пронеслась по Петербургу. Ее повторяли во всех аристократических салонах столицы: в домах Строгановых, Трубецких, Белосельских, Барятинских. Но что самое печальное, в нее поверили также и в доме Карамзиных, где Дантес стал в эти ноябрьские дни желанным гостем.

20 ноября (2 декабря)

Париж

Герман Гейне уже пять лет жил в Париже, и уже скоро год как объявил своей женой прекрасную Матильду — продавщицу из башмачной лавки, в которой и произошло их знакомство.

37-летний поэт и 20-летняя торговка стали встречаться, ходить на танцевальные вечера, и остававшаяся непреступной Матильда не на шутку вскружила Генриху голову.

Ухаживания за строптивой простушкой, сопровождавшиеся приступами взаимной ревности, казалось бы, завершились летом 1835 года. Однако через полгода Гейне вдруг ясно почувствовал, что он не просто готов бросить якорь подле этой взбалмошной и, как он убе-

дился, ни на кого не похожей особы, но даже и не изменять ей!

Поверив, что это не шутка, Матильда отдалась поэту, резюмирую свой поступок словами: «Анри! я тебе отдала все, что может дать честная девушка любимому человеку и чего он не может вернуть ей. Но если я согласилась стать твоей любовницей, то лишь потому, что из всех людей, которые ухаживали за мной, ты единственный мне понравился, и потому что все говорят, что немцы вернее французов. Но купил ли ты меня или нет, я не продаюсь, и никогда тебя не оставлю».

Матильда не знала ни одного немецкого слова и не читала произведений своего суженного, но Гейне это не смущало. Напротив, он высоко оценил, что минуя шелуху его литературной славы, столь деформирующей отношения с прочими женщинами, Матильда полюбила в нем мужчину и человека.

Смущало его поначалу лишь одно — необразованность его избранницы. Его угнетало опасение, что его супругу повсюду будут принимать за служанку.

Поэтому прежде чем объявить Матильду своей женой, Генрих решил предварительно обучить ее хотя бы чему-то. Так в феврале 1836 года его любовь была сослана на пару месяцев в пансион благородных девиц.

Заполучив любимую обратно, Генрих решил проэкзаменовать ее вдали от посторонних глаз, в загородном доме. Результаты разочаровывали, но независимо от них весной Матильда была объявлена в кругу друзей Генриха его супругой.

Вопрос, когда был совершен соответствующий визит в мэрию, и имел ли он место вообще, в парижском обществе мало кого волновал.

Хорошо наслышанные об этом необычном союзе, Николай Александрович и Регина с любопытством взглянули на стройную брюнетку, восседавшую с вышиванием на мягком диване.

Матильда немедленно прониклась симпатией к молодым гостям, и стала демонстрировать, какими словами овладел ее попугай.

Гейне со своей стороны был явно рад возможности поговорить на родном языке с очаровательной гостьей, но хорошо зная норы своего «домашнего Везувия», не стал этой возможностью злоупотреблять.

Он говорил, обращаясь преимущественно к Мельгунову.

— Так вы приезжали в Мюнхен знакомиться с Шеллингом?

— Да, я давно слежу за его мыслью... И в последнее время, как мне кажется, понял секрет его бесплодия двух последних десятилетий...

— Интересно...

— Та площадка, на которой Шеллинг пытается решать философские вопросы, это площадка искусства. Шеллинг должен писать романы, а не трактаты.

— Вполне с вами согласен. Господин Шеллинг давно расстался с философским путем и пожелал, посредством некоей мистической интуиции, достигнуть созерцания самого абсолюта. Он стремится созерцать его в средоточии, в его существе, где нет ничего идеального и где нет ничего реального — ни мысли, ни протяжения, ни субъекта, ни объекта, ни духа, ни материи, а есть... кто его знает что!

— Но ведь и Бога часто пытались определить апофатически, отрицательно. Разве это не ожидаемо?

— Бога, может быть. Но кто вам сказал, что «абсолют» Шеллинга — это Бог?

— Кто же он еще?

— Да мало ли кто? Тютчев в свое время мне рассказывал, что одна из ваших книг именуется «Кто же он?». Вы могли бы себе вообразить, что одним из ответов будет — «Бог»?

Изумленный Мельгунов молчал.

— Вот и я не могу ни на Шеллинговский, ни на Гегелевский абсолюты подумать, будто бы это Бог. Бог Израиля, я

имею в виду. Я думаю, что при таких установках определить, «кто же он?», не способна ни только философия, но даже и литература, на которую наш философ делает свою главную ставку, но которой сам действительно не занимается.

— О чем вы говорите? — вернувшись в салон, спросила Регина, отвлеченная ранее Матильдой на осмотр гераней.

— О том, что искусство не может являться последним пределом. О том, что имеются ценности и повыше, — улыбнулся Гейне, бросая нежный взгляд на свою молодую жену.

— Какая удивительная пара, эти Анри и Матильда, — произнесла Регина, когда они вышли на улицу. — Вы думаете, их союз может быть долговечен?

— Не знаю. Он оставляет странное впечатление.

— Своей женитьбой Гейне сказал именно то, что мы от него сейчас слышали: человеческая близость дороже творчества, дороже искусства. Вопрос лишь в том, можно ли такую женитьбу признать посвящением?

— Признали же мы Посвященными Абельяра и Элоизу, хотя они вообще разошлись по монастырям.

— То другое, — возразила Мадонна. — Абельяр может с Элоизой не соглашаться, но она в 1132 году в своих письмах со всей несомненностью доказала, что они навеки остаются супругами.

— Хорошо. Но разве брак Гейне препятствует его творчеству? Восхищаясь Матильдой, он не прекратил служить искусству. ... Своей любовью к жене Гейне оказался посвящен в Гроссмейстеры не в меньшей мере, чем Лопе де Вега своей любовью к Марте.

Историю Лопе де Вега Мельгунов и Мадонна открыли для себя еще во Франкфурте. Они пришли тогда к выводу, что Лопе Де Вега оказался отмечен Мировым Духом тем, что его собственная любовная история превзошла по драматизму все им сочиненные. Да и можно ли было рассудить иначе? В 1616 году 53-летний Де Вега познакомился

на поэтическом состязании в Мадриде с 20-летней замужней Мартой и влюбился в нее. В тот момент он был не только прославленным драматургом. Незадолго до этого он был рукоположен, более того — стал служителем инквизиции! Но все препятствия оказались преодолены любовью! Лопе умудрился добиться для Марты развода по суду, и жил с ней счастливо до самой ее смерти.

— Похоже, что Мировой Дух покровительствует влюбленным, — заключил Мельгунов.

— Разве могло бы быть иначе? — горячо заговорила Регина. — Как великая Поэма может обойтись без великой любви? Я бы не удивилась, если бы «звездные годы» вообще в первую очередь отмечались романтическими историями...

При этих словах Мадонна странно взглянула на Мельгунова и у того замерло сердце. Неужели это намек? Намек на их отношения, на их знакомство? Неужели она думает о том, о чем сам он думать не смеет?!

Николай Александрович растерялся. Что тут скажешь? То что он не такой уж выдающийся писатель, чтобы Мировой Дух отметил его вклад в Великую поэму романом с Мадонной?

Писателя выручил проезжавший мимо свободный экипаж, который он бросился останавливать.

21 ноября (3 декабря)

Петербург

В полдень на Мойке появился барон Геккерн.

Пушкина дома не было, но, как оказалось, барон явился вовсе не к нему, а к Наталье Николаевне — с официальным письмом от Дантеса.

— Это послание, — объяснил дипломат. — Которое выражает стремление моего сына положить конец этой связи.

В кратком письме, продиктованном самим же бароном, поручик заявлял, что «отказывается от каких бы то ни было видов на госпожу Пушкину».

Быстро пробежав письмо, Наталья Николаевна вспыхнула:

— Но я замужем, на меня в общем-то и нельзя никак претендовать... Претензии эти я сама в какой-то момент решительно отвергла... Да и связи между нами никакой не было, вам ли, барон, этого не знать?

Произнеся с многозначительным видом несколько поучений на тему, как следует себя вести великосветской даме, барон удалился, а Наталья Николаевна вынуждена была показать «прощальное» письмо Дантеса мужу.

— Это еще что? — взорвался Пушкин. — Чего на сей раз добивается этот подлый интриган?

Пушкин совершенно вышел из себя. Он немедленно удалился в кабинет, где написал два письма.

Первое, адресованное барону, называло вещи своими именами. Пушкин решил освежить в памяти Геккерна все те выходки, которые тот менее всего хотел бы признавать своими, и в завершении открыто обвинил посланника и его «сына» в составлении анонимных писем.

Письмо заканчивается угрозой: «Поединка мне уже недостаточно, и каков бы ни был его исход, я не почту себя достаточно отомщенным ни смертью вашего сына, ни его женитьбой, которая совсем имела бы вид забавной шутки... ни, наконец, письмом, которое я имею честь вам писать и список с которого сохраняю для моего личного употребления».

В этом и состояла та самая месть, которую Пушкин задумал с самого начала, но которую решил отложить до лучших времен: вывести сановитого интригана на чистую воду.

Теперь ничто не спасет этих ничтожеств от позора, каков бы ни был исход дуэли, которая теперь становилась уже совершенно неизбежной.

Написав это письмо, Пушкин принялся за второе, официальное — адресованное графу Бенкендорфу, в котором разъяснял причины дуэли и среди прочего писал:

«Я убедился, что анонимное письмо исходило от г-на Геккерна, о чем считаю своим долгом довести до сведения правительства и общества. Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены и не требуя вследствие этого ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательства того, что утверждаю».

Это письмо Пушкин не собирался отсылать. Оно должно было попасть в руки министра после дуэли, каким бы ни был ее исход.

Закончив письма, Пушкин отправил записку своему секунданту с просьбой подойти к нему как можно скорее.

В восьмом часу Владимир Соллогуб появился на Мойке. Пушкин немедленно пригласил его в кабинет, запер за собой дверь и сбивчивым голосом заговорил:

— Все это время вы были скорее секундантом Дантеса, чем моим, однако я все же не хочу ничего делать без вашего ведома... Я написал письмо к старику Геккерну. С сыном уже покончено, теперь мне старичка подавайте... Вот слушайте.

Пушкин начал читать. Губы его дрожали, глаза налились кровью, и он стал похож на африканца.

Соллогуб был в ужасе от того, что все вернулось на свои круги, но видя, в каком неистовстве находится Пушкин, возражать не стал.

— Я все понял, Александр Сергеевич, я как всегда к вашим услугам, — ответил Соллогуб, а про себя добавил: — Жуковского! Срочно разыскать Жуковского!

* * *

Первым делом Соллогуб направился в Мошковый переулок, к Одоевскому. Субботними вечерами — как это по-

велось еще со времен Любомудров — Одоевский обычно собирал у себя гостей.

Жуковский действительно был там, и услышав о новом повороте событий, немедленно выехал на Мойку.

— Что я слышу?! Теперь ты, оказывается, собираешься вызвать старика? Надеюсь, ты еще не отправил письма?

— Я согласился игнорировать этих мерзавцев, но Геккерн распространяет о моей жене мерзкие слухи. Давеча он явился оскорблять ее в ее собственном доме. Ты ожидаешь, что я это потерплю?

— Остынь. Все можно решить по-другому.

— Как по-другому? Ты просил, чтобы я не нарушал договоренности, никому ничего не говорил о вызове, чтобы Дантес не выглядел трусом. Но почему ты не потребовал того же и от барона? Не потребовал, чтобы он прекратил клеветать на мою жену и выставить Дантеса рыцарем?

— Ты прав, это не дело, я согласен с тобой... До меня самого доходили уже эти сплетни. Но не пори горячку, не отправляй своего письма... Дай мне возможность попробовать все уладить.

— Сколько можно улаживать?! Ты же сам видишь, он одержимый...

— Я согласен с тобой, он повел себя бесчестно, но это не значит, что ты должен вести себя безрассудно... Уверен, имеются менее радикальные способы остановить барона... Дай мне возможность все обдумать, и в ближайшие же дни дать тебе полный отчет. Ты же пообещай письма пока не отправлять.

— Будь по-твоему, — ответил начинающий уже остывать Александр Сергеевич.

23 ноября (5 декабря)

Петербург

На сей раз Жуковский решил действовать иначе.

На другой же день сразу после воскресной обедни он имел краткую беседу с государем.

— Ваше Величество, вы, должно быть, слышали о памфлетах, полученных Пушкиным?

Государь кивнул.

— Ваше Величество, Пушкин уверен, что анонимные письма были отправлены из Нидерландского посольства, и вызвал на дуэль поручика Дантеса. Он отказался от своего намерения, когда узнал, что Дантес намерен свататься к Екатерине Гончаровой. Но сейчас все снова находится под угрозой, так как из посольства продолжают исходить лживые сплетни, бесчестящие Наталью Николаевну.

— Вот это новость? Все так серьезно?

— До такой степени серьезно, что только Ваше вмешательство, государь, может предотвратить трагедию.

Николай I назначил своему камер-юнкеру аудиенцию на другой же день.

* * *

В понедельник 23 ноября в четвертом часу Александр Сергеевич был принят императором в его рабочем кабинете в Аничковом дворце.

— Мне стало известно, что ты намеревался стреляться с поручиком Геккерном, и отозвал свой вызов, после того, как он посватался к Екатерине Гончаровой.

— Вы верно все слышали, Государь.

— И еще я слышал, что слухи, бесчестящие твою жену, вновь побуждают тебя думать о поединке.

— И до вас эти слухи уже доходят, я вижу?

— В нашу обязанность входит знать все, что происходит в государстве, чтобы предупреждать незаконные замыслы. Дуэль является действием, запрещенным государством, и я не могу ему потворствовать.

Пушкин пристально взглянул на Николая. Таким же взглядом он смотрел ему в глаза в день коронации, когда

услышал от царя вопрос: «Где бы ты был, окажись в Петербурге 14 декабря?».

Сейчас бунтарство Пушкина проявилось в частной сфере.

— Бывают ситуации, государь, когда государство не справляется, и гражданину приходится самому защищать свою честь.

— На сей раз государство целиком на твоей стороне... Смею тебя заверить, что репутация твоей супруги не подлежит никакому сомнению. Тебе следует быть выше этих сплетен... Я же постараюсь, чтобы слухи, оскорбительные для жены твоей, прекратились, но и ты должен мне обещать, что ни под каким предлогом не станешь стреляться ни с кем из Геккернов. Я твоему слову верю... обещай мне...

— Обещаю, коли вы, государь, пообещали остановить клевету... Или мне только показалось?

— Царское слово уже тебе было дано. Его два раза не повторяют. Договоримся так. Если опять вздумаешь драться, приходи, я приму тебя немедленно. Доложи, что по срочному делу от Пушкина.

27 ноября (9 декабря)

Мюнхен

Поздно вечером Шеллинг и Паулина сидели у камина. Они слушали, как потрескивают дрова, и попивали приготовленный по тютчевскому рецепту чай.

— Как тебе работается? — поинтересовалась жена.

— Как раз собирался рассказать тебе, что уже два месяца я не столько правлю свои философские труды, сколько пишу роман.

— Роман? — обрадовалась Паулина. — Прекрасно! Что за роман?

— Что-то мистическое, но в то же время и реальное.

В завуалированном виде в нем описывается текущий 1836 год.

Шеллинг стал рассказывать о Пасхальной и Вальпургиевой ночах и о том, что в действительности он связывает этот роман с явлением Мирового Духа!

— Представляешь, у меня такое чувство, что это роман-заклинание, что я вызываю им Мировой Дух, что при каком-то нажиме пера порыв ветра распахнет окна, и...

Шеллинг запнулся.

— И тебе явится тень Гете? — шутя спросила Паулина.

— Ты думаешь? — улыбнулся Шеллинг.

— Ну не Гегеля же.

— К такому кошмару я определенно не готов.

— Что ж, подождем, чем это кончится... Я уже с нетерпением предвкушаю чтение.

— Это так удивительно, Паулина. Мы столько лет в браке, и до сих пор во всем согласны, понимаем друг друга с полуслова.

— Ты удивительный муж...

— А ты удивительная жена. Ты живое опровержение слов Экклезиаста: «Чего еще искала душа моя, и я не нашел? — Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ними не нашел».

На первый взгляд слова эти кажутся вздорными. Ведь на свете так много любящих, преданных умных женщин! Да и сам Соломон, говорит в другом месте, в Притчах: «Многие жены добродетельны, ты же — превосходишь их всех». ... Но в Притчах также сказано: «красота обман». Видимо в первом изречении речь идет не просто о женщинах, а о красивых женщинах. Женская красота слишком великая сила, чтобы не деформировать душу, за этой красотой скрывающуюся. Красивая женщина, это все равно как мужчина, обладающий несметным богатством. Им трудно войти в Царствие небесное.

— Ты думаешь? А мне кажется, что красивой женщине как раз наоборот, проще быть хорошей. Она как будто бы

вынесена за скобки хищных человеческих отношений, она почти вне той жестокой повседневной игры, которую ведут прочие люди. Я кое-что знаю об этом, я обратила на это внимание еще в девичестве, и с той поры многократно тому получала подтверждения. Красивым легче быть хорошими, поскольку весь мир улыбается им. Они постоянно ощущают его доброту к ним, и сами оттого добры к нему.

— Не все, Паулина, далеко не все. Многие красавицы возбуждают жестокие страсти, и сами становятся жестокими. Но ты и дала на все ответ. Редка та красавица, которая добреет и умнеет от своей красоты. И ты — такая, ты одна на десять тысяч. И этой драгоценностью я обладаю.

— Ну будет уже... А как ты назовешь свой роман?

— Точно пока не знаю. Наверно, «Мейстер и Магдалина». У меня задуманы два исторических плана — современный, и древний. В современном — события развиваются в Германии, в древнем — в Иудее времен римской оккупации. Но любовь — такая, как наша с тобой — будет и там, и там.

28 ноября (10 декабря)

Петербург

С утра на Мойке появился Александр Иванович Тургенев, он два дня как прибыл из Москвы, и один из своих первых визитов нанес Пушкину.

— Ну, наконец! — обнял Тургенева Пушкин. — Заждался я вас тут, Александр Иванович.

— Я в Москве время не терял, готовил тебе материалы о Гете.

— Погодите о делах. Как там Петр Яковлевич?

— Что сказать, поначалу перетрусил, и было с чего, но сейчас вполне оправился, много гуляет, принимает гостей. Лекаря себе хорошего вытребовал — г-на Гульков-

ского. Тот при мне прямо заявил: «Не будь у меня старухи жены и огромного семейства, я бы им сказал, кто здесь сумасшедший».

Вот только писем от него не ждите, писать ему запрещено: из дома удалены чистая бумага, чернила и перья.

— А я вот Чаадаеву письмо написал, но не отправил. Сообразил, что ему и без меня критиков хватает.

— Я поначалу тоже его журил, но когда увидел, как вся Москва от мала до велика на него опрокинулась, то жаль его стало. Да и перетрусил он тогда не на шутку. И перед Цынским и перед Строгановым лебезил сверх меры.

— Как странно. Я не могу представить, как он это делает... Благородный, полный собственно достоинства дворянин, в присутствии которого хочется встать — только таким я способен его себе вообразить.

— Я тоже удивлен. Я слышал, что граф Поццо ди Борго говорил, что он бы показывал Чаадаева на людных площадях Европы как диковинку, как пример подлинно благородного русского человека. Но оказалось, что и Чаадаев способен превращаться в обычного государева холопа.

— Он мне престранную вещь сказал при нашей последней встрече. Я отметил как раз, что более благородного кавалера чем он в жизни не встречал, но в то же время никогда не слышал, чтобы был у него роман с какой-либо женщиной. Словом, полюбопытствовал у него, любил ли он когда-нибудь?

— Никогда его ни о чем подобном не спрашивал, но горю от нетерпения услышать, что он вам поведал.

— Никогда не угадаете, Александр Иванович. Он ответил, что после его смерти..., я сам все узнаю! Каково?! Я не догадался ему тогда возразить, что вполне могу раньше, чем он, в иной мир отправиться. В последнее время я, признаться, часто стал этого опасаться.

— Вот оно что? Как ты поживаешь, Расскажи? — спросил Тургенев, пристально всматриваясь в хмурое лицо Пушкина. Он был уже у Вяземских и узнал, что какой-то

кавалергардский поручик полгода приударял за Натальей Николаевной, чем немало нервировал поэта, однако теперь вдруг посватался к ее сестре.

— Как моя жизнь? — помрачнел Пушкин. — Слышали уже что-то о моих делах семейных?

— Слышал, но хотел бы, конечно, из первых рук получить сведения.

— Из первых рук? Мерзкая ядовитая змея вползла в мою жизнь, и я не знаю, как ее вытравить.

3 (15) декабря

Франкфурт

Мельгунов вернулся в Ганау, как было условлено с доктором Копптом, к 12 декабря.

Возвращение превратилось в длинный четырехдневный праздник — Мадонна не захотела задерживаться в Париже с матушкой еще на две недели и пожелала вернуться во Франкфурт в одном дилижансе с Мельгуновым.

Четыре дня они сидели рядом, вместе любовались горными пейзажами, перекусывали за одним столом, а на ночь останавливались в одних и тех же гостиницах.

Регина была девушкой необыкновенной. Ее женская прелесть как будто бы заключалась в какой-то вдохновенной ангельской броне. Она не умела кокетничать. Напротив, в каждом ее движении, в каждом слове проступали величественное достоинство и строгое целомудрие, которые не позволяли мужчинам засматриваться на нее как на вожденный кусок женской плоти.

Николай Александрович был человеком к женской красоте достаточно чувствительным, и если проводил с барышней какое-то время, то непременно ею увлекался. Однажды, шесть лет назад, такое увлечение завело его слишком далеко. Осознав, что они с Катей не пара, Мельгунов с ней расстался, и хотя и по сей день помогал ей,

как мог, и дружески поддерживал, считал своим тяжелым грехом обман ее женского сердца.

Знакомство с Мадонной явилось поэтому для Николая Александровича каким-то новым очищающим душу опытом, каким-то избавлением от тяжелой зависимости. Рядом с Мадонной можно было чувствовать себя достойным мужчиной, не испытывающим в общении с женщиной никакой любовной корысти. Не раз гулял он с Региной по Парижу, рассуждая о земном и небесном, но различие их полов не создавало обычного в таких случаях напряжения.

Первая трещина в этих платонических отношениях проступила после посещения Анри и Матильды, но по дороге в Германию что-то изменилось бесповоротно.

Во время долгих часов, проведенных вместе, броня ее целомудрия как будто истончилась, и сердцу Николая Александровича неожиданно предстала самая обворожительная и самая желанная на свете женщина.

До сих пор они лишь живо обсуждали все на свете, теперь же Регина вдруг стала расспрашивать Мельгунова о нем самом, о его родных, друзьях, наконец, о его сочинениях.

Это неожиданное внимание невольно плавило сердце. В одной из гостиниц Мельгунов спел Регине несколько русских романсов, и оказался на верху блаженства, когда услышал, что лучшим ей показался романс «Я помню чудное мгновение».

— Это мой романс, — с гордостью признался Мельгунов. — Слова Пушкина, но музыка — моя.

— Просто великолепно! Как обидно, что мне совершенно не доступны ваши сочинения! Вы должны перевести для меня какие-нибудь ваши рассказы. Обещайте, что когда мы приедем во Франкфурт, вы сделаете это!

— Конечно, обещаю...

И вот сегодня, наконец, пришло время исполнить обещанное.

Мадонна сама пришла к нему в его гостиничный номер, и Николай Александрович показал ей свою книгу «Рассказы о былом и небывалом». В сборник входили повести «Кто же он?», «Зимний вечер», «Вещий сон», «Любовь-воспитатель», и «Да или нет?».

Мельгунов выбрал историю покороче, и прочитал ее Мадонне, переводя с листа. В повести под названием «Вещий сон» рассказывалось о молодой женщине, ожидавшей на подмосковной даче приезда мужа. Женщине приснился сон, в котором седовласый старец предрек ей смерть к концу лета. Сон повторился три раза, и женщина восприняла его как вещий. Она смирилась, согласилась принять судьбу, принять преждевременную смерть. Лишь одно мешало ей, лишь с одним она внутренне не соглашалась: она не соглашалась умереть, не простившись с мужем. Но вот он приезжает, и смерть отступает. Мрачное предсказание оказалось не в силах сбыться из-за бунта, из-за отказа покориться року лишь в одном, казалось бы, второстепенном вопросе.

История Регине очень понравилась.

— А о чем остальные повести? — спросила она.

— Все, что здесь собрано, объединено общей идеей взаимопроникновения фантазии и действительности. В этом переплетении я вообще вижу основу литературного творчества. Впрочем, я подробно пишу об этом в предисловии, вот послушайте.

И Мельгунов перевел следующий фрагмент из своего предисловия:

«Издаваемые ныне повести были писаны не для печати. Автор отдыхал за ними в минуты досуга, не имея притязаний на талант и славу литератора. Но некоторые из этих безделок случайно попали в руки друзей, которые благосклонно их одобрили и тем побудили автора выйти из златой неизвестности. Может быть, его ожидает неизвестность менее завидная, но он полагается на благосклонность

публики, всегда столь снисходительной ко всякому началу, и почитет себя вполне счастливым, если она обратит на эти повести хотя минутное внимание. В противном случае, автор вечно будет рассказывать, что извлек из портфеля скромные плоды своей фантазии».

Так водится говорить в предисловии. Но ведь это рассказ о небывалом; кто ему поверит?

«Нет, издаваемые ныне повести были писаны для печати, и автор отнюдь не думал беречь их в портфеле. Он не отдыхал, но в поте лица трудился над ними. Если бы он не находил повести свои достойными внимания публики, то, конечно, не подумал бы издавать их; но надеется основать на них свою известность и от всего сердца желает, чтобы его имя осталось неразделенно с творением. Автор клянется и божится, что друзья его ни душой, ни телом не виновны во всем этом, и в случае если критик его похвалит, он на себя одного принимает всю ответственность. Если же его раскритикуют, чего он крайне боится, то постарается утешить себя мыслью, что личность и пристрастие управляли его строгим судьей, и что потомство отдаст ему полную справедливость».

Так про себя все думают. Но кто эту быль решится сказать вслух?

Во всем нужна мера, и в скромности, и в искренности. Уравняйте одну другую, будьте вместе и искренни, и скромны: вот задача жизни, вот тайна предисловий. То же и в искусстве: ни голой правды, ни голого вымысла. Правда стыдлива и носит покров; но этот покров должен не скрывать, а только прикрывать ее строгие формы. Задача искусства — слить фантазию с действительной жизнью. Счастлив автор, если в его рассказах заслушаются былого, как небылицы, а небывалому поверят как были».

— Как это вы все верно и остроумно подметили! — рас-
смеялась Мадонна, окинув Николая Александровича дол-
гим восхищенным взором. — Вы замечательный писатель!
И как? Вы действительно прославились у себя на родине?
Вы более известны, чем Пушкин, или менее?

— Пожалуй, что менее.

— Вот как. Расскажите мне теперь о Пушкине, вы, ка-
жется, наконец, сумели заинтересовать меня русской ли-
тературой...

— Пушкин даже и как человек необычен, одержимость
истиной в нем удивительно сочетается с убийством време-
ни за самыми пустыми занятиями. Он сам пишет о том:

*«Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботы суетного света
Он малодушно погружен».*

Когда он женился, поступил на дворцовую службу
и написал антипольские вирши, я было решил, что он
предал свой талант, но к счастью, ошибся. Пушкин остал-
ся прежним, живым и противоречивым... Его поэзия —
это чистейший камертон русской души... — Мельгунов за-
пнулся. — А может быть, не только его поэзия, может
быть, и сам он — такой камертон. Вы знаете, в моей
стране очень трудно быть независимым, а Пушкину это
как будто бы удается. Его поэзия — она как воздух для
нас. Если его, не дай Бог, не станет, мы ведь, пожалуй, за-
дохнемся.

Николай Александрович замолчал, невольно оказав-
шись под впечатлением от этой неожиданно пришедшей
ему мысли.

— Ему что-то угрожает?

— Кто знает. Не так давно мне стало казаться, что Пуш-
кин как будто бы играет со смертью.

— Каким образом?

— Он слишком откровенно пишет о приближении смерти, о ее неизбежности. И дело тут не только в «теме», не только в том, что из-за этого Бог может призвать его в 1836 году, как призвал Шекспира в 1616-ом. Дело в том, что Пушкин, как я недавно узнал, очень суеверен. Он должен был бы избегать подобных высказываний, он должен был бы бояться «накликать беду». А он что пишет? Вы только послушайте: «Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина».

— Не беспокойтесь, 1836 год уже почти кончился. — пошутила Мадонна. — Интересно, а Пушкин разделяет ваше литературное кредо относительно смешения былого с небывалым?

— Пушкин виртуозно этим приемом владеет. Скажу больше, я как раз для себя этот принцип открыл, ознакомившись с наброском одного пушкинского рассказа, посвященного его чернокожему прадеду Абраму Ганнибалу...

— Что за рассказ?

— Пушкин написал, что Ганнибал вступил в любовные отношения с парижской аристократкой, которая родила от него ребенка. Я долго оставался под впечатлением от этой истории, воображая будто у Пушкина во Франции, имеются, такие же, как и он, смуглые губастые родственники. Когда был в Париже, то мечтал даже с ними повстречаться... Но все это оказалось чистой выдумкой! Пушкин сам мне в том признался... Представляете, про родного прадеда и такое сочинить!

— И чего же в этом хорошего? Вы бы разве хотели, чтобы про вас что-нибудь в таком роде придумали?

— Про меня? — Мельгунов задумался. — Все зависит от того, какова будет история, в которую меня вплетут! Если она интересна и поучительна, то я совсем не возражаю в ней поучаствовать!

— Интересный у вас подход. Но этак, по-вашему, величайшим литературным гением окажется барон Мюнхаузен, во всяком случае, в переложении Бюргера.

— Какой барон?

— Как! Вы не знаете? Быть того не может!

— Не припомню, чтобы слышал это имя. А Бюргер этот — тот самый, который «Ленору» написал?

— Тот самый. Так слушайте. Это как раз и с вашим литературным кредо, и с вашей страной связано... В молодости барон нанялся в русскую армию, прослужил в ней пятнадцать лет и, переполненный впечатлениями, вернулся в свой родной Боденвердер. Во всяком случае, он без усталости рассказывал о своих приключениях, причем столь остроумно и столь преувеличенно, что снискал этим широкую известность. Однако все перешло на совершенно другой уровень, когда Готфрид Бюргер собрал и переработал эти его истории, фактически превратив живого человека в литературный персонаж. Кончилось тем, что герой подал в суд на своего автора и, кажется, проиграл. Тут, как видите, немало жизненных и литературных слоев завернулось.

— Литературный рулет какой-то, — улыбнулся Мельгунов. — Непременно отведаю. Спасибо, что посоветовали.

19 (31) декабря

Франкфурт

Неделю после этого разговора Николай Александрович провел в сладком томлении, вспоминая дружелюбный и нежный взгляд Мадонны.

Это воспоминание было столь упоительно, что Николай Александрович даже не торопился получать новые впечатления, и не искал встречи с Региной. Это был тем более естественно, что до следующего свидания с ней ему было чем заняться: уже на другой же день Мельгунов купил книгу Готфрида Августа Бюргера — «Удивительные путешествия на воде и на суше, походы и веселые приключения барона Мюнхгаузена, как он сам их за бутылкой вина имеет обыкновение рассказывать».

При иных обстоятельствах Николай Александрович одним чтением бы и ограничился. Однако теперь его ожидал ставший уже привычным экскурс в историю, результатами которого он надеялся порадовать Регину.

— Не могли они — Мюнхгаузен и Бюргер — как-то не отметить в 1768 году, — бормотал Мельгунов, листая журналы и книги франкфуртской библиотеки.

Барон Мюнхгаузен покинул Россию в чине ротмистра в 1752 году, и с той поры безвыездно жил в Боденвердере, занимаясь главным образом охотой, после которой имел обыкновение сидеть с друзьями в павильоне, увешанном головами диких зверей, и вспоминать о былом и небывалом.

Однако куда более широкий круг слушателей образовался у барона все же не в Боденвердере, а в соседнем Геттингене, где он останавливался в гостинице «Король Пруссии». Здесь в гостиничном трактире он обыкновенно и рассказывал свои правдивые истории, послушать которые собирались и гости Геттингена, и его горожане.

Так барон жил на протяжении, по меньшей мере, трех десятилетий, пока в 1786 году профессор местного университета Готфрид Бюргер не издал книгу «Удивительные путешествия на воде и на суше, походы и веселые приключения барона Мюнхгаузена».

Книга немедленно произвела такой фурор, что в Боденвердере стали стекаться паломники, так что барону потребовалось выставить специальных слуг, преграждавших путь досужим визитерам.

Мельгунов ничуть не удивился, обнаружив, что в Геттингенский университет юный Готфрид Бюргер поступил в 1768 году. Судьбы автора и героя пересеклись в нужном месте в соответствующее тому время!

На другой же день после этого открытия Мельгунов получил приглашение от Мадонны вместе встретить Новый Год.

В указанный час, в девять вечера, взволнованный Мельгунов вошел в дом Мадонны, которая встретила его и представила своим гостям и домашним.

Отец Регины занимался адвокатской практикой. Узнав, что у него с Мельгуновым имеются общие знакомые — профессор юриспруденции Эдуард Ганс и литератор Генрих Кёниг, он принял гостя по-приятельски, и усадив в кресло рядом с собой, четверть часа расспрашивал о России.

После того как адвокат покинул Мельгунова, тот продолжал сидеть какое-то время всеми забытый. Однако за час до полуночи Регина отозвала Николая Александровича в свою комнату, и с усмешкой наблюдая за его растерянностью, сказала:

— Все собрались тут сегодня с одной целью — встретить Новый год, но у нас с вами имеется и другая задача, не правда ли?

— Какая же? — смущенно спросил Николай Александрович, не совсем понимая, к чему клонит его очаровательная собеседница.

— Я пригласила вас сюда, разумеется, не только затем, чтобы встретить 1837 год, а главным образом для того, чтобы проститься с 1836-ым. Он завершается, и мы просто обязаны это отметить, подвести с вами какой-то итог, разгадать, наконец, замысел Великой Поэмы.

— Мне кажется, Шеллинг его уже вполне ясно указал. В основе Поэмы лежит идея противостояния Пасхальной и Вальпургиевой ночей, противостояния света и тьмы.

— Но это как-то слишком абстрактно, вам не кажется?

— Верно. Дело тут не просто в Пасхе и Шабаше, а в их приватизации. Вопрос Свободы из космического вопроса превращается в вопрос человека. Человек Нового мира, и Данте первый из них — воспринимает это противостоя-

ние как свою внутреннюю дилемму, и одновременно весь мир видит вовлеченным в ее решение.

— Это интересно. Мы к этому вопросу непременно вернемся. Но мне бы хотелось в первую очередь понять, что в 1836 году произошло? Завершилась ли, по-вашему, в этом году Великая Поэма? Что вы скажите?

— Может быть, и завершилась. Но я не понимаю, как мы сегодня вечером сможем решить такую трудную задачу?

— Вы не поняли. Я не предлагаю решать этот вопрос прямо сейчас. Сейчас я предлагаю просто проститься с уходящим годом. Все остальное мы сделаем в будущем году. Постарайтесь на досуге все обдумать, а когда комната Гете будет свободна, встретимся там и все обсудим. Будьте готовы. А пока простимся с этим удивительным годом.

И Регина указала рукой на стоящую на столике бутылку вина. Мельгунов наполнил бокалы, и они чокнулись.

— У меня предчувствие, — заметила Регина. — Что мы что-то откроем, что-то захватывающее.

— Хорошо, я обещаю подумать, а пока в качестве новогоднего подарка открою вам, что Мюнхгаузен и Бюргер пересеклись в 1768 году.

— Могло ли быть иначе?!

— Я не знаю, познакомились ли они тогда, но именно в том году Бюргер прибыл в Геттинген, куда постоянно наезжал со своими историями Мюнхгаузен. Их судьбы в любом случае сплелись именно тогда.

— Потрясающе! Вы молодчина, Николай. А за жизнь Пушкина можете не беспокоиться — звездный год сегодня завершился.

— Не торопитесь с этим выводом. В России Новый год встретят еще через 12 дней, и еще минимум только через неделю после этого мы здесь узнаем, как прошла его встреча.

24 декабря (6 января)

Петербург

Вечером в сочельник Александр Иванович Тургенев навестил Пушкина на Мойке.

В доме шли приготовления к свадьбе, и поэт был взвинчен.

— Чего ты такой раздраженный? — поинтересовался Тургенев, уже видевшийся с Пушкиным утром в своем гостиничном номере и не заметивший в нем тогда никаких признаков неуравновешенности.

— Вы же видите, во что мой дом превратился... — устало ответил Пушкин. — Это какая-то модная бельевая лавка. Шитье приданого на свадьбу сильно занимает и забавляет мою жену и ее сестер, но меня, признаться, все это приводит в бешенство. Повсюду эти лоскуты. А вчера весь мой стол рулонами сукна завалили.

За два дня до того вышел в свет четвертый том «Современника», в котором была опубликована «Капитанская дочка»:

Тургенев не скрывал своего восхищения.

— Я уже почти все прочитал. Сегодня кончу, но уже смело могу отнести этот роман к лучшей прозе на русском языке. Какой плодородный год выдался для литературы! Бальзак написал «Утраченные иллюзии», Мюссе «Исповедь сына века», и вот вы теперь в этом же году — «Капитанскую дочку». А Диккенс?! Вы вообще слышали это имя?

— Нет. Что за птица?

— Несколько Гоголя нашего напоминает. А Гоголь так в этом году «Ревизора» поставил! Какой-то взрыв, какая-то вспышка литературного вдохновения...

— Вы уже видели миниатюрное издание моего «Евгения Онегина»? — спросил Пушкин, несколько успокоившийся в присутствии своего добродушного гостя.

31 декабря (12 января)

Петербург

В канун нового года был большой вечер у Вяземских. Пушкины, конечно, заглянули.

Александр Сергеевич заговорил было с Тургеневым, но смолк и насупился, как только в гостиную под руку с невестой вошел Дантес.

После аудиенции, данной Пушкину Николаем I, все как-то улеглось. Жуковский не только организовал эту встречу, но и дал знать о ней Геккерну, намекнув, что в их противостоянии Поэт находится под покровительством Царя. Подтверждение этому Геккерн получил также и со стороны графа Бенкендорфа.

В результате Дантес не только перестал появляться в доме поэта, но даже прекратил наносить визиты к Карамзиным и Вяземским, когда там бывали Пушкины. Со своей невестой Жорж встречался только по утрам у ее тетки — фрейлины Загряжской.

Однако ближе к новому году Дантес вновь осмелел. Время действия любого человеческого испуга ограничено, и без регулярного грозного окрика быстро притупляется, а тут еще приближалась свадьба, в свете которой Пушкинский бойкот все более казался Дантесу нелепым и неосуществимым.

Как бы то ни было, в приближении Нового Года Дантес стал бывать на вечерах у Карамзиных, Вяземских и Мещерских, не принимая во внимание, ожидаются ли там чета Пушкиных, или нет.

В новогодний вечер у Вяземских Дантес не только назойливо вертелся возле Наталии Николаевны, но и несколько раз кряду бросил на нее грустный и нежный взгляд.

Пушкин сделался сам не свой. Говорил отрывисто, отвечал невпопад.

Наблюдавшая за ним графиня Наталья Викторовна Строганова сказала княгине Вяземской:

— У него такой страшный вид, что, будь я его женою, то, пожалуй, не решилась бы вернуться вместе с ним домой.

— Взгляни, — заметил Александр Карамзин своей сестре Софье. — Только появился Дантес, и Пушкин уже скрежещет зубами и его лицо принимает выражение тигра.

— Настоящий африканец! — ответила Софья Николаевна. — Он просто не умеет собой владеть. Дантесу ведь тоже приходится не сладко, посмотри, как он истощал, как бледен. Но при этом как держится! Сколько самоуважения, ко всем внимателен, со всеми нежен! А Пушкин!

Пушкин между тем отошел в сторону и нелепо встал один у портьеры, насупившись и нервно подергивая ногой.

— А помнишь, как три дня назад Тургенев все время пытался разговаривать Пушкина, а он оставался мрачный, как Юпитер во гневе, и прерывал молчание лишь желчными выпадами или демоническим смехом?

— К сожалению, он совершенно не замечает, как он выглядит со стороны, как смешон со своей ревностью.

Пушкин не слышал, что о нем говорят, но замечал, что вызывает снисходительную жалость, и что свет на стороне Дантеса.

11 (23) января

Петербург

10 января состоялась, наконец, свадьба Жоржа и Екатерины. Молодые венчались дважды, сначала по католическому обряду в храме Св. Екатерины, и повторно по православному — в Исаакиевском соборе.

Александр Сергеевич ни в одной из церквей не появился, Наталия Николаевна на обряде венчания присутствовала, но не участвовала в последующем застолье.

11 января, на другой день после свадьбы Жоржа и Екатерины, в нидерландском посольстве состоялся свадебный завтрак. Геккерн старший потрудились на славу.

Организованный им прием представлял собой шедевр дипломатического искусства, искусства демонстрации полного торжества в ситуации дурно пахнущего, даже скандального провала.

За внешним убранством комнат, изысканностью блюд, сиянием лиц — по преимуществу молодых и красивых — скрывались недоумение и беспокойство.

Присутствующие, живо обсуждали отсутствие Пушкиных.

Когда Александр Сергеевич заверял, что не пустит Дантеса к себе на порог даже после того, как с ним породнится, все ближайшие его друзья только качали головами: кто спорил, кто просто не верил, считал бравадой. Теперь обнаружилось, что пушкинский бойкот — не блеф. Впрочем, смущало гостей не столько отсутствие Пушкина, сколько сами виновники торжества.

Эти странные отец и сын присоединили к своему загадочному семейству теперь еще и не менее странную жену и невестку!

Что все это значило? С одной стороны все вроде бы верили версии Геккерна, но с другой, никого не оставляло чувство какого-то подвоха, какой-то ненатуральности всего происходящего.

Многие гости покинули Голландское посольство, так и не решив для себя, что собственно они наблюдали, и кто же они, эти Геккерны? Кто же они в самом деле: благородные рыцари или искусные мистификаторы? Святые люди, умеющие с достоинством принимать любые удары судьбы, или циничные мошенники? При всем том, что общепризнанным считался первый ответ, второй присутствовал в неустрашимом осадке легкого недоумения.

— Не может быть, чтобы все это было притворством, — поделилась своими сомнениями с братом Софья Карамзи-

на. — Для этого понадобилась бы нечеловеческая скрытность, и притом такую игру им пришлось бы вести всю жизнь! Мыслимо ли такое?

— В чувства Дантеса к Екатерине я, признаться, не очень верю, — отвечал Александр. — Сегодня он собрался с силами, но вспомни, как он выглядел на свадьбе. Однако его благородство у меня сомнения не вызывает, и это благородство оказывает свое благотворное воздействие на всю ситуацию.... А вот Пушкин не умеет с этим справиться, и выглядит смешно и жалко.

Франкфурт

В тот же день Мельгунов и Мадонна встретились, наконец, в комнате Гете.

Все это время Мельгунов старательно обдумывал задание, полученное в новогоднюю ночь от Регины. Он прочел «Серафиту» Бальзака, в надежде на то, что это появившееся в 1836 году мистическое произведение прольет какой-то свет на загадку Великой Поэмы, но ничего полезного для себя не извлек.

Несколько дней назад Николай Александрович проглотил «Капитанскую дочку». Он пережил настоящий восторг, но как можно связать Гринева с Гамлетом, Дон Кихотом и Фаустом, совершенно себе не представлял.

— Так что же в минувшем году произошло? — спросила Регина. — Начнем с главного вопроса: завершилась ли в 1836 году Великая Поэма, или это случится еще только в 1988?

— Ничто из того, что было опубликовано в минувшем году и приобрело достаточно широкую популярность, не может встать в один ряд ни с «Гамлетом», ни с «Дон Кихотом», ни с «Фаустом». Это очевидно. Если же за конец Поэмы взять «Исповедь сына века» или «Капитанскую дочку», то придется признать, что завершает эту Поэму не точка, а многоточие.

— Я прочитала «Записки Пиквикского клуба», и тоже ничего символического для нас в этом сочинении не усмотрела. Давайте, Николай, подумаем, что мы вообще с вами имеем? Вы обещали, что когда мы отыщем всех героев, всех Гроссмейстеров, то с легкостью прочитаем Поэму и предугадаем конец.

— Я не обещал, что с легкостью...

Регина тем временем достала из сумочки карандаш, лист бумаги и стала записывать:

— Наши философы — это Декарт, Кант и Шеллинг. Эти имена очерчивают вам какую-нибудь картину?

— Я бы добавил к ним Джордано Бруно и Марселио Фичино.

— А чем Фичино отличился? Вы мне о нем не говорили?

— Он написал в 1474 году книгу о христианской религии, в которой отождествил ее с платонизмом. Можно сказать — программный труд. Но если Фичино отождествил христианство с платонизмом, то Бруно сделал следующий шаг: он объявил ложью все, что в христианстве от платонизма отличается. «Религия Разума» — это его патент, его находка. Причем это действительно религия, которую впоследствии стали исповедовать не только революционеры, но и философы. И у Гегеля, и даже у Шеллинга отношение к Разуму вполне культовое. Да и к «философии тождества» Шеллинга подвел все тот же Джордано. В этой интеллектуальной интриге он фигура ключевая. Впрочем, Шеллинг, как первооткрыватель Мирового Духа и провидец «звездных» лет, по-видимому, все же главный герой Великой Поэмы. Он вместе с Бруно, Декартом и Кантом формируют ее философский, смысловой хребет — прямой и жесткий хребет. Но все же не ее плоть, которую создают литераторы. И вот с ними все гораздо интереснее.

— Хорошо. Давайте теперь выпишем всех обнаруженных нами поэтов и романистов. Это Данте, Сервантес, Шекспир, Мильтон, Вега, Стерн, Гете. Кого из современников можно вписать? Гейне, Диккенс.

— Я бы еще и Бальзака добавил.

— Что с ним такого необычного произошло?

— Распростился все же в прошлом году со своей Беатриче. Да и в творческом отношении плодотворный год для него был.

— Хорошо, пусть будет Бальзак, не возражаю. И еще, вы говорили, что какой-то ваш друг — писатель пережил какую-то драму в Вальпургиеву ночь.

— Гоголь. Запишите его обязательно. Он начал писать в минувшем году, как мне кажется, весьма любопытный роман.

— А Пушкин? Он что-нибудь стоящее в минувшем году написал?

— Написал. Как раз «Капитанскую дочку» и написал. Не знаю вот только, достаточно ли этого для посвящения в Гроссмейстеры.

— Хорошо, Пушкина предварительно тоже запишу, — сказала Регина. — А теперь расскажите, наконец, об идее Поэмы. В чем она, по-вашему, состоит?

— Она просматривается уже в линии наших философов, которые ясно показали, что человек ничего толком не знает, да и не может знать о мироздании, но в то же время составляет его сердцевину... Главный сюжет Великой Поэмы состоит в обретении человеком свободы, полной свободы. Но бремя ее очень велико, поэтому самое подходящее название для этой Поэмы дал, как мне кажется, Мильтон — «Потерянный рай».

— Вы даже о названии подумали! Bravo! «Потерянный рай». Продолжайте!

— Итак, в основе сюжета лежит наращивание свободы. При обретении каждой ее новой степени разыгрывается своя драма. Первую степень задает Данте. В «Божественной комедии» он, пусть и со зримой опорой на христианский канон, предлагает все же свое, заведомо неканоническое, авторское видение Вечности. Тем самым Данте создал Новый мир, в котором человек за-

жил на свой страх и риск. В этой первой части Великой Поэмы три главы — 1295, 1379 и 1474, это Ренессанс развивавшийся под сенью Данте. Вторая часть, в которой я бы выделил две главы — 1569 и 1616, знаменуется завязкой Нового времени. В эту эпоху зазор, возникший между каноном и творчеством полностью осознается. Рвется связь времен. С одной стороны, человек по-прежнему стремится к вере и идеалам, но с другой — он на каждом шагу обнаруживает их зыбкость, чувствует, что отчасти сам их создает. Но одновременно происходит раздвоение: Гамлет совершает свои открытия в трагическом ракурсе, Дон Кихот — в комическом. Гамлет и Дон Кихот — это углубление дантовской рефлексии, это вторая производная открытой Данте свободы. Но в пору расцвета Нового времени, в третьей части Поэмы — в главе 1768 — снова происходит объединение, Гамлет и Дон Кихот объединяются в Фаусте.

— Очень интересно. Теперь помолчите. Про эту третью производную свободы, про Фауста я попробую сама продолжить!

— Я весь внимание.

— Новизна Фауста по отношению к Гамлету и Дон Кихоту состоит в его усталости и цинизме. От скуки наш изверившийся трагикомический герой начинает экспериментировать.

— Вы правы. Вы нашли верное слово — экспериментировать. Фауст просто все наугад пробует, ни во что до конца не веря. Но это значит, что следующий, финальный, герой должен завершить эксперимент.

— Не герой, а герои, — поправила Регина. — Свобода в своей четвертой производной наверняка также должна раздваиваться. Один герой призван пройти до конца путь экспериментирования во зле, а другой — в добре!

— Какая неожиданная мысль! Вы совершенно правы, Регина. Героев нашего времени должно быть два. С точкой Великой Поэмы должно быть связано два имени.

— Но таких литературных «естествоиспытателей» пока что-то не видно. Мюссе в своей «Исповеди сына века» новых глубин все же не открывает.

— Но кое-кто уже и до него их открыл.

— Кто?

— Есть такой романист — маркиз Де Сад. Его главный герой — это именно такой вырожденный Фауст.

— Де Сад? Никогда не слышала.

— Я до недавнего времени тоже. Мне про него Мериме рассказал. Я достал одну его книгу, но не смог читать. Он описывает в своих романах немыслимых негодяев, явно наслаждаясь их мерзостями вместе с ними. Но при этом сам он лишь однажды поступил так, как поступают его герои. На пасху 1768 года он связал и до крови высек женщину. Я это в Париже еще выяснил, разыскал в архиве газеты того времени.

— И из-за этой гадости вы хотите произвести его в Гроссмейстеры?! Что за дикость! Выбросите это из головы.

— Попробую. Я бы тоже очень хотел без него обойтись.

Николай Александрович и Регина еще долго обсуждали возможные ходы развития четвертого этапа свободы, и в конце концов стали склоняться к тому, что третья часть Поэмы также включает в себя две главы — 1768 и 1836, и что точка в Великой Поэме появится только в неопределенной дали 1988 года.

Весь этот вечер Регина была оживлена и, как никогда прекрасна, но к великому своему сожалению Мельгунов не замечал в ней того внимания к своей особе, которым девушка одарила его месяц назад. Весь вечер Регина оставалась той небесной сестрой, которой стала для него в первый же день их знакомства.

Однако при прощании она все же бросила на Мельгунова долгий нежный взгляд и сказала:

— Ну что же до встречи, Николай. Вы очень интересный человек. С вами узнаешь столько нового!

— Надеюсь, нам найдется, о чем поговорить, даже если мы окончательно убедимся в том, что Поэма завершится еще через полтора столетия.

— Не сомневаюсь.

18 (30) января

Петербург

Когда на другой день после венчания Жорж и Катерина появились на Мойке со свадебным визитом, Пушкин отказался их принять. Однако он не считал возможным проигнорировать приглашение на свадебный обед, устроенный 14 января в честь молодых графом Строгановым.

В течение всей трапезы Пушкин уклонялся от какого-либо общения с Геккернами, был напряжен и скован.

Однако, когда все встали из-за стола, барон подскочил к Пушкину и вкрадчиво заголосил:

— Теперь, дорогой Александр Сергеевич, после того как поведение моего сына совершенно объяснилось, вы, вероятно, забудете все прошлое и измените свое к нему отношение на более родственное?

— Я не понимаю, господин барон, — вспыхнул Пушкин, — зачем вы уже в третий раз заставляете меня повторять: между моим домом и домом господина Дантеса никогда не будет никаких отношений.

Сам барон, между тем, вполне сознавал смысл своих повторяющихся увещеваний. Он пытался продемонстрировать присутствующим именитым гостям, с каким одержимым нетерпимым человеком ему приходится иметь дело. Теперь, наконец, и сам граф Строганов убедился в беспричинной пушкинской злобе.

Когда Пушкины удалились, со всех сторон полились севотования:

— Как ужасно, однако, ведет себя с вами Пушкин, — сказал граф Геккерну.

— Когда Александр Сергеевич предупреждал, что он и после свадьбы останется вашим врагом, я, признаться, не верил, — с горечью заметил Вяземский.

— Какое упрямство! Какая фанатичная непримиримость! — качал головой граф.

* * *

Встречи Пушкиных с Геккернами происходили почти ежедневно. Так, на другой день — 15 января они оказались вместе у Вяземских, 16 января — на бале в Дворянском собрании. 18 января Дантес и Пушкин столкнулись у саксонского посланника Люцероде.

Почти везде Геккерт не упускал случая выставить Пушкина в глупом свете, выказывая ему всяческие знаки внимания и наталкиваясь на отчуждение.

Особенно повезло ему в Дворянском собрании.

Когда Пушкин обронил запонку, Геккерт немедленно подскочил, подобрал пропажу и вручил Пушкину. Но вместо того чтобы сказать «спасибо», Пушкин, бросил запонку обратно на пол и язвительно воскликнул: — Напрасно трудились, господин барон!

Что же касается Жоржа, то и он на всех этих встречах старался задеть бойкотирующего его Пушкина, то и дело заговаривая с Наталией Николаевной и бросая на нее влюбленные взгляды.

Всего неделя прошла после его свадьбы с Екатериной, но несколько не смущаясь ни своей жены, ни широкой публики, Дантес принялся ухаживать за Пушкиной с тем же постоянством, с которым увивался за ней на Каменном острове.

Эта резкая и неожиданная перемена в поведении молодожена озадачила многих. Между тем секрет послесвадебной раскованности имел одну простую причину.

В брачную ночь Катрин открыла Жоржу один важный, но как ей казалось, теперь уже совершенно потерявший

силу секрет. Она поведала мужу, что государь взял с Пушкина слово «не драться ни под каким предлогом».

Эта весть немедленно вскружила Дантесу голову, он вновь почувствовал себя на коне, почувствовал над собой счастливое водительство судьбы: вопреки всем пушкинским козням его любовные проекты опять оказались на грани осуществления! Но идя напролом к вожаемой цели, Дантес парадоксальным образом только усиливал репутацию благородного рыцаря, пожертвовавшего своим счастьем ради чести женщины. Теперь все вокруг с каждым днем все больше убеждались, что этот брак был жертвой — жертвой благородного Жоржа, принесенной по безрассудности и мелочности Пушкина.

— «Бедный Дантес...», — восклицали одни. «Он принес себя в жертву...», «Пушкин, определенно, сошел с ума», — качали головами другие.

Сойти с ума у Пушкина между тем имелись все основания. Ох, если бы все ограничивалось наглостью Дантеса! Куда мучительнее Пушкину было видеть, что происходит с его Натали, видеть, как сестры ревнуют друг друга к расфуфыренному павлину, как пытаются разобраться, кого из них он «любит по-настоящему». Видеть это было всего ужаснее, и против этих страстей Пушкин был совершенно бессилен. Его семья оказалась поглощена «четой» Геккернов, его мир рушился.

С горечью смотрел Александр Сергеевич на свой талисман: его каббалистический перстень как будто перестал хранить его любовь...

19 января (1 февраля)

Петербург

Эти события и отношения самым живым образом обсуждались не только во всех особняках и квартирах, но и в царском дворце.

Во вторник император Николай I присутствовал на премьере оперы «Бронзовый конь» в Большом Каменном театре.

Государь находился в ту минуту как раз под впечатлением от очередной сплетни, касающейся семьи Пушкина, и заметив в антракте Наталию Николаевну, подозвал ее.

— Вы, как всегда прекрасны, Наталия Николаевна, — заметил царь.

— Благодарю, государь.

— Но я слышу, что в последнее время ваша красота составляет вам немало хлопот.

— Что вы имеете в виду, государь?

— Она привлекает поклонников, а поклонники привлекают осложнения. До меня доходят о вас некоторые светские сплетни. Я бы посоветовал вам быть как можно осторожнее и беречь свою репутацию, сколько для нее самой, столько и для счастья мужа, что очень важно при известной его ревности.

— Благодарю, Ваше Величество, за добрый совет. Я постараюсь к нему прислушаться.

— О чем вы говорили? — тотчас спросил Пушкин, когда они вернулись в ложу.

— Государь давал мне наставления, как мне правильно держаться с поклонниками.

— Как он, однако, оригинально сдерживает свое слово, — скривился Пушкин.

22 января (3 февраля)

Петербург

В этот день Александр Сергеевич отправился на Васильевский остров навестить соседку по поместью Евпраксию Николаевну Вревскую, прозванную близкими Зизи.

Он уже виделся с ней несколько дней назад, но обсуждали они в ту встречу только дела, только подробности, связанные с возможностью продажи Михайловского.

Однако обнаружив в Зизи расположенную к нему дружескую душу, на сей раз Пушкин не только рассказал ей о том, что происходит в его семье, но и расспросил, что поговаривают о нем на псковщине.

— Противно повторять все это, дорогой Александр Сергеевич.

— Мне надобно знать. Расскажи.

— Ну говорят, что Дантес с твоей супругой любовники, — неуверенно начала Зизи. — Говорят, что он женился на сестре ее, чтобы и к Натали быть ближе, и чтобы вас запутать...

— И что? Получилось у него это?

— Тут разные пересуды. Одни говорят, что если бы не этот брак, вы бы Наталию Николаевну в порыве ревности задушили, что были уже попытки. Ну и что вы за ними и сейчас шпионите, подглядываете, прячетесь за ширмами и слушаете, как они целуются.

Пушкин побледнел, но промолчал и сделал жест, чтобы Зизи продолжила.

— Другие, напротив, говорят, что вы за всей этой историей совершенно интерес к собственной супруге утратили, и увлеклись ее сестрой — Александрinou, благо она под одним с вами кровом живет. Ох, зря это все рассказываю! — воскликнула Зизи, заметив искажившееся лицо Пушкина.

— Не зря, Зизи, не зря. Я должен знать, что вокруг меня происходит.

Вернувшись в это день домой, Пушкин машинально взял с полки Библию, случайно открыл ее на псалмах Давида и с изумлением и облегчением стал читать: «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне; иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях; изнемогла от грехов моих си-

ла моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих; видящие меня на улице бегут от меня.. Яви светлое лицо Твое рабу Твоему; спаси меня милостью Твоею».

Чувство одиночество отступило, к поэту стали возвращаться силы и решимость бороться.

23 января (4 февраля)

Петербург

Тургенев проснулся рано. Всю ночь ему сильно докучали клопы. Эти насекомые являлись напастью российских гостиниц, равно как и многих частных домов. Гостиница Демута исключения из себя не представляла.

В Европе Тургенев отвык от этих тварей, и вернувшись в Россию, поначалу очень страдал, но один человек научил его ставить ножки кровати в наполненные водой миски, и это средство действительно помогало. Но вчера Александр Иванович забыл подлить воды и под утро проснулся покусанный с ног до головы.

Раннее пробуждение, однако, пошло на пользу. Тургенев закончил переписку «Веймарского дня», так что когда к обеду к нему заглянули Пушкин и Плетнев, то материал был уже полностью готов.

Пушкин тут же с интересом углубился в представленный Тургеневом отчет.

— Отлично, Александр Иванович, отлично. Личность Гете для всех загадочна и интересна... Его «Фауст» — вершина немецкой литературы. Это особый мир, как «Божественная комедия». Я бы сказал, что это в изящной форме альфа и омега человеческой мысли со времен христианства!

— Когда-то я бы целиком присоединился к вашим словам, — покачал головой Тургенев. — Однако вижу теперь,

что он соблазнил слишком много малых сих, веровавших во Христа. Многие юноши, вдохновленные «Вертером», покончили с собой, и все же это то сумасбродство, которое подтверждает Священное Писание — «Сильна как смерть любовь». Но Фауст несет для творческого существа какой-то глубинный разлад, какой-то последний искус. Я бы не решился написать «Фауста». То есть, не написал бы, если бы имел гений Гете. Гете — это поэт холодных сомнений. Когда-то он казался мне доверенным лицом Мирового духа, но сейчас он мне начинает казаться доверенным лицом Мефистофеля.

— А может быть, Мировой дух и Мефистофель — просто одно лицо? — смело предположил Пушкин.

— Одно лицо? —

— Философия, конечно, не самая моя сильная сторона, но мне кажется, что чисто логически вы должны такое допустить. Что же до меня, то мне это нашептала моя муза.

Франкфурт

В тот же день Мадонна пришла в гости к Мельгунову.

— У меня новости, — сообщила она.

— Вот как.

— После нашего разговора о Великой Поэме я написала письмо Мериме. Он так угодничал передо мной, помните? В общем, я решила, что не сильно обременю его, задав один вопрос. Я спросила его, как он относится к Де Саду, считает ли его писателем? Вчера я получила ответ.

— Очень интересно.

— Мериме мне ответил, что Де Сад, конечно, беллетрист, и привел всякие невразумительные доводы в его защиту, но главное, прислал несколько высказываний этого маркиза. Есть любопытные. Вот взгляните.

«Да, я распутник и признаюсь в этом, я постиг все, что можно было постичь в этой области, но я, конечно, не сделал всего того, что постиг, и, конечно, не сделаю никогда.

Я распутник, но я не преступник и не убийца..», и вот это: «Ты хочешь, чтобы вся вселенная была добродетельной, и не чувствуешь, что все бы моментально погибло, если бы на земле существовала одна добродетель».

— Интересная мысль, — кивнул Мельгунов.

— Интересная, но интересней другое.

— Что же именно?

— То, что эта мысль не нова, что ее высказывают также и весьма добронравные люди. Я вспомнила, что нечто похожее читала у Мильтона, и вот что разыскала в его «Речи о свободе слова». Посмотрите, я вот здесь для вас выписала: «Добро и Зло... произрастают вместе и почти неотделимы. Познание Добра так связано и сплетено с познанием Зла, что при кажущемся сходстве их не просто разграничить, их труднее отделить друг от друга, чем те смешанные семена, которые было поручено Психее очистить и разобрать по сортам. С тех пор как вкусили всем известное яблоко, в мир явилось познание Добра и Зла, этих двух неотделимых друг от друга близнецов. И быть может, осуждение Адама за познание Добра и Зла именно в том и состоит, что он должен Добро познавать через Зло».

— Тут что-то не то, — встревожился Мельгунов. — Добро и зло не симметричны. Где-то в писании сказано: «Горе тем, которые говорят, зло — это добро, и добро — это зло, кто подменяет тьму светом и свет тьмою, горькое сладким, и сладкое горьким». Когда я плыл из России в Германию, то спустился как-то раз в машинное отделение и наблюдал работу паровых двигателей. И вот что я там заметил: чтобы колесо, приводящее в движение винт, вращалось в одном направлении, поршень должен был совершать попеременные движения: то вперед, то назад. То же вроде бы и возрастание в свободе — чтобы прогресс шел, добро и зло должны одолевать друг друга. Но если движения поршня — вперед — назад не просто симметричны, но и сущностно равноценны, то о добре и зле этого сказать нельзя.

— Это я и имела в виду! Даже если маркиз сам так вы-

сказался о добродетели, а не украл эту мысль у Мильтона, он не вправе был ее использовать для оправдания зла. Оправдывать этой мыслью собственное зло нельзя, только чужое объяснять можно!

— Маркиз негодяй. Он не смел эти свои романы писать! Но написав, он задачу вырождения Фауста, похоже, честно выполнил. Теперь вопрос — кто писатель, взявший на себя противоположную задачу?

— Учитывая высказанную Мильтоном мысль, эта задача вообще невыполнима. Вы представляете себе героя положительного во всех отношениях?

— Скучнейший, должно быть тип.

— Поэтому, возможно, мы его и не замечаем.

24 января (5 февраля) Воскресенье

Петербург

В воскресенье утром Наталья Николаевна вошла в кабинет Пушкина и уселась на медвежьей шкуре у ног мужа, расположившегося в своем глубоком кресле.

Накануне они были на балу у графа Ивана Воронцова-Дашкова. Дантес в тот вечер был развязан как никогда. Он несколько раз продефилировал мимо Пушкиных, каждый раз отпуская какие-то шутки в адрес своей «законной» супруги. Взмешенный Александр Сергеевич отошел в другую часть зала. Торжествующий Дантес немедленно подскочил к Наталии Николаевне.

С тягостным чувством Пушкин наблюдал эту картину издали, и в какой-то момент заметил, что жена его как будто смутилась.

По дороге домой она отмалчивалась, но сегодня Пушкин вернулся к тому разговору и настойчиво требовал подробности.

— Екатерина порекомендовала мне своего мозольного оператора, и Жорж пошутил на этот счет.

— Представляю, что он мог сказать — тема мозолей такая животрепещущая в казармах.

— Ты прав, он ее обыграл, сказав: «Je sais maintenant que votre corps est plus beau que celui de ma femme» — «Теперь я знаю, что ваше тело намного красивее, чем тело моей жены» («сог» («мозоль») и «согр» («тело») звучат одинаково).

— Что? И ты не отогнала его? Ты все еще испытываешь к этому ничтожеству какие-то чувства?

— Нет, теперь нет.

— Помнишь, вчера ты высказала сомнение в том, что Дантес влюблен в Екатерину?

— Да, помню.

— Но на самом деле тебя занимало, любит ли он все еще тебя... Так ты при этом выглядела... Именно это было написано на твоём лице... Когда это уже кончится?!

— Тебе кажется! Все давно кончилось!

— Ты так говоришь и чувствуешь, когда сидишь подле меня, но стоит ему появиться, вся вспыхиваешь от волнения...

— Неправда...

— Ты ведь понимаешь, что этого каламбура я ему попустить не могу, что я буду с ним драться. И по кому из нас ты станешь плакать?

— Что за вопрос? По тому, кто будет убит, конечно.

В этот момент в кабинет постучались посетители: медик Сахаров и поэт Якубович.

Наталья Николаевна поднялась со skóry и покинула кабинет.

25 января (6 февраля)

Петербург

С утра Пушкин направился на встречу с Зизи. Три дня назад, а именно после разговора с ней, он понял, что черта

пройдена, что дышать в смраде окружающей его клеветы он просто не в состоянии. Мерзкий каламбур Дантеса окончательно вывел Пушкина из себя, сделал решение бесповоротным. Вчера как-то руки не дошли написать Геккеру обличительное письмо, но сегодня он сделает это.

Пушкин взбодрился — это решение явилось для него глотком свежего воздуха. Он чувствовал себя другим человеком.

Да, сегодня он сделает это. Вот встретится только, как обещал, с Зизи, проводит ее в Эрмитаж... Но сначала, конечно, надо решить неопределенную ситуацию с запретом царя на дуэль.

Ровно два месяца назад царь пообещал, что проследит за тем, чтобы скандал улегся, а в случае осложнения примет Пушкина незамедлительно.

Теперь, решив драться, он просто обязан был нанести государю императору прощальный визит. Нарушая свое слово, он должен дать понять государю, что тот не выполнил своего.

Царь был его последней линией обороны, именно его появление приостановило в ноябре отправку того письма, которое он отправит сегодня, письма, срывающего с Геккерна маску благопристойности.

Царю было бы достаточно выразить голландскому посланнику свое недовольство поведением Дантеса, чтобы тот снова стал тщательно следить за тем, чтобы не попадаться на глаза Пушкиным. Но вместо этого государь предпочел сделать выговор его жене!

Пушкин велел доложить о себе словами: «Пушкин, по срочному делу», и действительно был принят в кратчайший срок — через четверть часа его проводили в рабочий кабинет Николая.

В этом отношении слово царя — принять его немедленно — оказалось действительно царским.

— Ну что скажешь, Александр Сергеевич, слово свое ты, я вижу,держишь. Это хорошо, это очень хорошо.

— Как же мне его не держать, государь, коли, и вы свое сдержали? Ведь вы, государь дали такие важные, такие ценные советы моей жене. Предостерегли ее от легкомысленного поведения. Оградили от беды. Очень вам признателен, государь. Очень.

— Разве ты мог ожидать от меня иного? — спросил немного сбитый с толку царь.

— Не только мог, государь, но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моею женой.

— Вот как?! — не поверил своим ушам царь.

— Именно так, государь. Вашего совета нам, поэтому, очень недоставало. Теперь и умирать не страшно.

— Умирать?! С чего это ты умирать собрался? Ты же слово дал не драться.

— Мало ли чего может случиться. Все под Богом ходим. Вам ли, государь, не знать, как часто меня тревожат мысли о приближающейся смерти.

— Откуда же мне это знать?

— Мне казалось, что вы мой цензор.

— Верно. Ты прав! — расхохотался государь, и неожиданно продекламировал:

*День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать...*

— Вы помните наизусть! — изумился Пушкин. — Вот уж не ожидал!

— Помню, как видишь, — снова рассмеялся чрезвычайно довольный собой Николай. — И из «Евгения Онегина» тоже помню:

*«Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел Ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим».*

— Ого! Но тогда не удивляйтесь моим словам, государь. Я не сегодня к смерти готовиться стал. Я и место для могилы в Святогорском монастыре уже год назад выкупил. Но после совета вашего уже не столько за жену, сколько за детей своих беспокоиться стал. Как бы не пошли они по миру, кормильца лишившись.

— Ну уж если ты и впрямь перед Царем небесным предстать опасаясь, то насчет детей своих не беспокойся. Царь земной их своим покровительством не обделит.

— Премного благодарен вам, государь.

* * *

Выйдя в длинный дворцовый коридор, Пушкин невольно задумался над собственными словами, только что услышанными из уст царя:

*«Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна!»*

— Кто и как догадал меня такое написать? О чем я думал? Почему не боялся? Чем нынешний момент, когда я действительно иду на смерть, отличается от того, когда я писал эти строки? Почему я не стучал в тот миг по столу, а сейчас думаю, что пора уже надевать заговорный перстень Нащокина? Искусство делает меня бесстрашным. Когда я слышу голос муз, то любой другой расчет отступает. Я пишу, не опасаясь последствий. Ну а «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон»... Печально, печально

но. Но ведь имеется и какое-то иное искусство, искусство царя Давида. Как он сказал: «На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?». Такое искусство делает бесстрашным и в жизни. Впрочем, искусство ли это?

* * *

Вернувшись домой после прогулки с Зизи, Пушкин несколько расширил то письмо, которое написал Геккерну в ноябре, но которое по настоянию Жуковского так и осталось не отправлено.

«Барон!

Позвольте мне подвести итог тому, что произошло недавно. Поведение вашего сына было мне известно уже давно и не могло быть для меня безразличным. Я довольствовался ролью наблюдателя, готовый вмешаться, когда сочту это своевременным. Случай, который во всякое другое время был бы мне крайне неприятен, весьма кстати вывел меня из затруднения: я получил анонимные письма. Я увидел, что время пришло, и воспользовался этим. Остальное вы знаете: я заставил вашего сына играть роль столь жалкую, что моя жена, удивленная такой трусостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха, и то чувство, которое, быть может, и вызывала в ней эта великая и возвышенная страсть, угасло в презрении самом спокойном и отвращении вполне заслуженном.

Я вынужден признать, барон, что ваша собственная роль была не совсем прилична. Вы, представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему сыну. Повидимому, всем его поведением (впрочем, в достаточной степени неловким) руководили вы. Это вы, вероятно, диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и глупости, которые он осмеливался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так

называемого сына; а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: верните мне моего сына.

Вы хорошо понимаете, барон, что после всего этого я не могу терпеть, чтобы моя семья имела какие бы то ни было сношения с вашей. Только на этом условии согласился я не давать хода этому грязному делу и не обесчестить вас в глазах дворов нашего и вашего, к чему я имел и возможность и намерение. Я не желаю, чтобы моя жена выслушивала впредь ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын, после своего мерзкого поведения, смел разговаривать с моей женой и — еще того менее — чтобы он отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он просто трус и подлец. Итак, я вынужден обратиться к вам, чтобы просить вас положить конец всем этим проускам, если вы хотите избежать нового скандала, перед которым, конечно, я не остановлюсь.

Имею честь быть, барон, ваш нижайший и покорнейший слуга.

Александр Пушкин.

26 января 1837»

Закончив письмо, Пушкин отправил его Геккерну по городской почте, после чего направился вместе с Жуковским в мастерскую к Брюллову, а оттуда ближе к вечеру к Вяземским, где помимо прочих гостей оказался опять же Дантес с женой.

Впервые за последние месяцы Пушкин был самым собой. Вместо желчного и напряженного, все увидели вдруг прежнего Пушкина — легкого, веселого, полного достоинства.

Глядя на Жоржа Геккерна, Пушкин сказал Вере Федоровне Вяземской:

— Что меня забавляет, так это то, что этот господин поселится, не подозревая, что ждёт его по возвращении домой.

— Что же именно? — спросила Вяземская. — Вы ему написали?

Он сделал утвердительный знак и прибавил: — Его отцу.

— Как? Письмо уже отправлено?

Пушкин кивнул еще раз.

— Сегодня?

Потирая руки, Пушкин снова сделал положительный жест.

— Неужели вы все еще помышляете об этом? Мы надеялись, что все позади.

— Разве вы принимаете меня за подлеца? — вскричал поэт. — Я ведь уже сказал вам, что с молодым человеком мое дело кончено. Но с отцом дело другое.

26 января (7 февраля)

Петербург

Утром Пушкин некоторое время провел у Тургенева в гостинице Демута — смотрел копии исторических документов, обнаруженных Александром Ивановичем в парижских архивах. Однако в полдень, почувствовав, что пора проверить, не появились ли какие-то вести от Геккерна, он решил вернуться домой.

Ждать пришлось недолго, в час дня в дом на Мойке явился виконт д'Аршиак, вручивший Пушкину вызов от Дантеса.

Владимира Соллогуба, который ранее уже согласился быть секундантом, в Петербурге в эту пору не было, и проведя остаток дня в обществе Тургенева и Зизи, вечером Пушкин отправился на бал к графине Разумовской, надеясь встретить там какого-нибудь подходящего кавалера на эту роль.

Его выбор пал на секретаря английского посольства Меджениса — иностранный подданный не пострадает от участия в дуэльной истории.

Медженис обещал подумать, однако уже полвторого ночи по почте он него пришел отказ: «Я вижу, — писал дипломат, — что дело вряд ли может окончиться примирением, — а только это и могло бы побудить меня принять в нем участие. Поэтому я прошу Вас не возлагать на меня тех обязанностей, о которых Вы говорили.

27 января (8 февраля) 1837

Франкфурт

Весь день Николай Александрович провел в библиотеке — сколько позволяли глаза читал о Кампанелле, о том, как весной 1616 года мужественный мыслитель писал в инквизиторских застенках «Апологию Галилея», спасал честь науки. Взмолнованный прочитанным, Мельгунов вышел прогуляться по городу и сами ноги принесли его на бульвар Гроссер-Хиршграбен.

Летом здесь было живо и зелено, но сейчас все выглядело сумрачно черно-белым: тусклый подмокший снег, серые стены домов, черные стволы деревьев. Лишь черепичные крыши, словно шляпки подосиновиков, ярко пестрили за кронами голых каштанов.

Белый диск солнца, скрывающийся за плотными облаками, клонился к закату, но на обычно оживленных в этот час улицах не было ни души.

Что-то странное, даже пугающее было в этом внезапном запустении города. Мельгунов стал озираться по сторонам. Никого.

Вдруг дверь видневшегося вдали гетевского дома приоткрылась, из нее выскочил огромный черный дог, а следом за ним вышел чуть согбенный старик. Сердце Николая Александровича учащенно забилося, и неровной походкой он устремился навстречу загадочному незнакомцу. Их глаза встретились.

— Сегодня никак тот самый день, когда солнце можно

перепутать с луной, а луну с солнцем. Не правда ли? — произнес старик.

— Кто вы? — невольно вырвался у Николая Александровича давно мучающий его вопрос.

— Кто же я?! — с усмешкой переспросил старик — Возможно еврей, возможно алхимик? Или, может быть, духовидец, вечный жид, злой дух, привидение, вампир, Мефистофель или все вместе?

То были парафразы из повести «Кто же он?». Яснее ответить было невозможно. Старик читал мысли, он не был человеком из плоти и крови.

— Так вы — Гете?! — воскликнул Мельгунов.

— Отгадывайте, мой дорогой друг, отгадывайте. Вы же это предложили своему читателю.

— Жестокий ответ.

— Мы вообще живем в жестоком мире, дорогой Николай Александрович. Но вы сами прекрасно справляетесь. Должен сообщить, что вами очень довольны.

— Кто доволен? Чем?

— Вашими изысканиями довольны. Шеллинг немного разочаровал нас, а вы порадовали. Вы были единогласно избраны историографом ордена Великих мастеров. Я пришел уведомить вас об этом.

— Благодарю, — пробормотал Мельгунов.

— Ну что ж, прощайте, дорогой Николай Александрович, надеюсь, потомки вас не забудут. — Старик отвесил Мельгунову легкий поклон и двинулся по бульвару, который в тот же миг начал наполняться людьми.

Ошеломленный историограф растерянно смотрел ему вслед. Черный дог медленно оглянулся и бросил на писателя осмысленный взор.

— Боже, как же я не догадался раньше! — схватился за голову Мельгунов. — Внешность пса сбила меня с толку! Если бы он выглядел как мелкий лохматый пудель, в образе которого Мефистофель явился Фаусту, я бы немедленно его опознал!

27 января (8 февраля)

Петербург

В 11 часов Пушкин возобновил поиски секунданта. Прежде всего он отправился к Константину Россету, жившему на Пантелеймоновской улице, но того дома не оказалось.

Сев в сани, Пушкин стал думать, к кому ему обратиться теперь, и вдруг увидел на другой стороне улицы Данзаса.

— Здравствуй Данзас, а я как раз к тебе. Садись со мной в сани, поедem во французское посольство, будешь свидетелем одного разговора.

Всю дорогу до самых дверей квартиры д'Аршиака на Большой Миллионной Пушкин весело болтал о самых посторонних предметах. Когда же они вошли и раскланялись с хозяином, поэт объявил Данзасу:

— Суть дела в следующем. Барон Геккерн и его так называемый сын оскорбляют меня и преследуют мою жену... Если дело это не закончится сегодня же, то в первый же раз, как я встречу какого-нибудь Геккерена — отца или сына, — я им плюну в физиономию.

Произнеся эти слова, Пушкин, указав рукой на Данзаса и решительно объявил:

— Вот мой секундонт.

Лишь после этого он поинтересовался у самого Данзаса:

— Надеюсь, вы согласны?

— Боюсь, что у меня нет выбора, — пробормотал старый лицейский друг.

— Прекрасно! — обрадовался Пушкин, и добавил, обращаясь уже к д'Аршиаку:

— Есть двоякого рода рогоносцы: одни носят рога на самом деле; те знают отлично, как им быть. Положение других, объявленных рогоносцами широкой публикой, затруднительнее. Я принадлежу к последней группе.

Во втором часу Данзас прибыл в дом Пушкина и сообщил, что дуэль состоится в 5 часов за Черной речкой у Комendantской дачи.

Пушкин положил в карман сюртука копию своего письма Геккерну, и указав на это Данзасу, сказал: — Если убьют меня, возьми эту копию и сделай из нее какое хочешь употребление.

— Надеюсь, что мне не придется выполнять этого поручения.

— Ну а пока съезди в оружейный магазин Куракина, возьми там пистолеты, которые я вчера отобрал. Встретимся в кондитерской Вольфа и Беранже в 4 часа.

Данзас удалился. Наталия Николаевна с детьми отправилась в гости к Мещерским, дома оставалась только Александрина.

— Вы я, вижу, в добром расположении духа сегодня, Александр Сергеевич? — улыбнулась она, столкнувшись с Пушкиным в гостиной.

— Еще бы! Я написал письмо барону, в котором сказал все, что о нем думаю.

— Вот как?! — встревожилась Александрина, но не нашла, что сказать в ответ.

Пушкин между тем хорошенько помылся и сел за свой письменный стол. Он запечатал написанное еще в ноябре письмо Бенкендорфу, и стал просматривать полученную утром корреспонденцию.

«Сегодня я нечаянно открыл Вашу Историю в рассказах, и поневоле зачитался. Вот как надобно писать», — стал отвечать он на письмо Ишимовой.

Запечатав письмо, Александр Сергеевич взял с полки Библию, и открыл так полюбившуюся ему в эти дни книгу — книгу Псалмов Давидовых.

«Помилуй меня, Боже! ибо человек хочет поглотить меня; нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих

на меня, о, Всевышний! Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхваляю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои; все помышления их обо мне — на зло: собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятнами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?».

Чувство теплоты разлилось в сердце Александра Сергеевича. Создатель близок, Создатель ведет его. Имеют ли псалмы отношение к искусству, или не имеют — пусть решают премудры, но он в этот час положится на те «музы», которые хранили царя Давида.

Приняв решение, отослав Геккерну письмо, в котором он изобличал его низость, Пушкин почувствовал себя захваченным каким-то могучим валом свободы. Его как будто несло. Суд Божий свершится, если Бог пожелает, то покарает злодея, если захочет, то пострадает Его пророк, злодея изобличающий, но что бы не произошло — то свободное парение в волнах Его воли, а не прогибание под требованиями постылой необходимости. Пуды обязательств, компромиссов, повседневных забот и роковых пут, гнетущие поэта последние месяцы, вдруг разом перестали оттягивать его плечи.

Пишется великая Поэма, замысла которой он не понимает, но в которой он участвует все же не только как герой, но и как соавтор!

Пушкин был спокоен. Он почувствовал глубокое доверие небесам, почувствовал, что должно произойти именно то, что задумал Автор всего мира, что он в Его руках. Пришел час истины, час, в который все суетные ложные веры следует оставить позади.

Он помнил, конечно, о «счастливом» нащокинском фраке, но не стал его надевать. Он остался в том же сюртуке, в который облачился утром.

Он ни на минуту не забывал о специально заказанном для него Нащокином заговорном кольце, защищающем от насильственной смерти, но оставил его лежащим в ларце.

Да, совершится то, что желает Бог, чары же пусть будут посрамлены. Каббалистический перстень Воронцовой он специально снимать, пожалуй, не станет. Он и так уже проявил свою ненадежность, да и защита от смерти все равно вне его компетенции...

— Куда вы, Александр Сергеевич? — спросила встревоженная Александрина, увидев, что Пушкин направился к выходу.

— В кондитерскую, Александрина, — весело ответил поэт. — В кондитерскую. Сладкого захотелось.

Пушкин вышел из дома направился к саням, и тут вдруг заметил, что на улице похолодало. Нет ничего хуже, чем вернуться за забытым предметом, но Пушкин нарушил табу — он вошел в дом, забрал шубу и сел в сани.

— Если уж Бог ввернул в мою историю такой сюжет, если уж Он ввел в роман моей жизни пару этих мерзких слепней, то это для чего-то, и не следует делать вид, будто бы это решение было не Его. Как же это, право, со мной — «сочинителем» — в самой жизни приключилось такое, чего ни один романист пока еще не измыслил?

* * *

Данзас уже ждал Пушкина в кондитерской.

Выпив по стакану лимонада, Александр Сергеевич и его секундант вышли на улицу, сели в сани и погнали к Черной речке.

Небо было ясное, но дул сильный ветер.

Данзас и д'Аршиак выбрали подходящее место. Полянку с тремя березами скрывал плотный кустарник, так что с дороги извозчики ничего не могли разглядеть.

Снега было по колено, и оба секунданта вместе с Дантесом принялись вытаптывать площадку в 20 шагов.

Пушкин в расчистке участвовать не стал, и с нетерпением наблюдал за работой со стороны.

Вид топчущихся людей стал его утомлять. Поэт оглянулся. Саженьях в пятидесяти, там, где кусты редели, сидел крупный черный дог и внимательно взирал на происходящее.

— Откуда этот пес? — удивился Александр Сергеевич, который предыдущим летом снимал здесь дачу и в основном знал ее обитателей. — Такого здесь не было. Да и он вообще не дворовый...

Отмерив расстояние, Данзас и д'Аршиак обозначили барьер своими шинелями и принялись заряжать оружие.

Наконец Пушкин и Дантес встали по краям площадки.

Александр Сергеевич оглянулся на черного дога. Тот продолжал сидеть, пристально глядя на людей, застывших подле раскачивающихся под ветром берез.

Противники взяли в руки пистолеты и по мановению Данзасовой шляпы стали сходитьсь.

Пушкин подошел к барьеру первый и начал наводить пистолет. Но Дантес, не дошедший до отметки одного шага, выстрелил первым.

Пушкин испытал резкий удар в пах и услышал отрывистый лай пса. Ноги подкосились.

— Мне кажется, у меня раздроблена ляжка, — произнес он, оказавшись на земле. Однако заметив, что Дантес сделал движение приблизиться к нему, воскликнул. — Подождите, у меня еще довольно сил, чтобы сделать свой выстрел.

Дантес остановился у барьера и стал ждать, прикрыв грудь правой рукой.

Пистолет Пушкина при падении провалился в снег, и Данзас подал ему другой.

Немного приподнявшись и опершись на левую руку, Пушкин выстрелил.

Дантес упал.

— Кажется, я ранен в грудь, — произнес он.

— Bravo! — вскрикнул Пушкин и бросил пистолет в сторону.

Но Дантес ошибся: он стоял боком, и пуля, лишь слегка задев грудь, попала в руку. Пушкин же оказался ранен в живот.

Его усадили в сани и шагом подвезли к Комендантской даче, где поджидала присланная бароном Геккерном карета.

Не уточняя, откуда взялся экипаж, Данзас посадил в него Пушкина и, усевшись рядом, поехал в город.

* * *

Миновав столовую и гостиную, Данзас прошел без доклада в комнату Наталии Николаевны, где она сидела вместе с Александриной.

— Александр Сергеевич стрелялся с Дантесом, — сообщил он сестрам. — Он ранен.

Наталия Николаевна бросилась в переднюю, куда в это время как раз вносили Пушкина.

— Как я рад, что еще увидел тебя, — воскликнул Пушкин. — Будь спокойна, ты невинна в этом... Сейчас меня уложат в постель, и тогда потолкуем.

Вскоре приехал придворный доктор Арендт. Он осмотрел рану.

— Скажите откровенно, доктор, каково мое состояние? — попросил Пушкин. — Ответ, какой бы он ни был, меня не испугает. Но мне необходимо знать свое положение, чтобы успеть сделать некоторые распоряжения.

— Если так, — ответил Арендт, — то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды.

— Спасибо за откровенность, но по возможности избавьте пока мою жену от этой вести.

— Если вам так угодно, я постараюсь смягчить выражения, — ответил Аренд. — Но должен сказать, что обязан без прикрас доложить обо всем случившемся государю.

— Раз так, то передайте ему, пожалуйста, мою просьбу не наказывать моего секунданта. Я привлек его совершенно случайно, помимо его воли.

Через два часа, однако, Арендт снова вернулся на Мойку. Он привез Пушкину записку от государя, в которой говорилось: «Любезный друг Александр Сергеевич, если не суждено нам видеться на этом свете, прими мой последний совет: старайся умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свое попечение».

Доктору Аренду было вручено также и другое письмо — ему лично, в котором предписывалось дожидаться священника, и проследить принял ли поэт причастие.

За священником домашние собирались посылать утром, но после получения государевой депеши немедленно вызвали иерарха, которого назвал сам Пушкин — отца Петра из церкви в Конюшенной.

Пушкин поморщился. Шпицрутенами гонит его государь к святому причастию! И на смертном одре этот монумент не оставляет его со своими поучениями! Святые мученики умирали, когда римские кесари заставляли их поклоняться себе. Православный царь принуждает к Истине, но от этого все только гаже!

Ох уж это «попечение»! Им он больше всего на свете тяготился! На кого он оставляет женку свою! — подумал Пушкин-человек.

— Попросите государя, чтобы он меня простил, — произнес Пушкин-придворный. — И просите за Данзаса, он мне брат. Он не повинен, я схватил его на улице.

После того, как Пушкин принял святые дары, Аренд заторопился во дворец, сообщив о намерении государя оплатить все долги поэта.

Как только врач уехал, Пушкин позвал к себе жену. Он снова уверял ее в том, что она ни в чем не повинна, и просил, чтобы впредь не корила себя попусту.

Однако просьбу жены все время оставаться при нем, поэт отклонил.

— Я буду посылать за тобой, как только будут силы говорить.

Ближе к вечеру Пушкину сделалось хуже, а ночью по всем его внутренностям разлилась такая адская боль, что он захотел застрелиться. Он повелел слуге подать ему один из ящиков письменного стола. Тот исполнил поручение, однако зная, что в этом ящике хранится оружие, сообщил о том Данзасу.

Пистолеты были возвращены на место.

28 января (9 февраля)

Петербург

На другой день боли несколько уменьшились. Пушкин пожелал видеть жену, детей и Александрина.

— Прощусь с ними, пока я в состоянии это сделать, — объяснил поэт Данзасу. — Кто знает, что произойдет через несколько часов.

Наталья Николаевна вошла первой, без детей.

— Я умираю, женка... в том уже нет сомнения... Как это произойдет, отправляйся в деревню, носи по мне траур два года, а потом выходи замуж, но за человека порядочного.

Между тем, весть о дуэли Пушкина быстро разнеслась по городу, и утром на Мойке перед входом собралась огромная толпа.

Друзей и знакомых пропускали внутрь дома, но в комнату к самому Пушкину допускались лишь самые близкие его друзья: Тургенев, Жуковский, Вяземские, Карамзины, Даль.

— Мне было бы приятно видеть всех, — объяснял Александр Сергеевич, — но у меня нет силы говорить с каждым.

К полудню Пушкину сделалось легче, он несколько повеселел, что вызвало определенную надежду на благополучный исход, даже у некоторых присутствовавших в доме врачей.

В ответ на постоянные расспросы родных и близких доктора стали отвечать, что медицинские прогнозы иногда бывают ошибочными, что в целом нельзя исключить, что Пушкин может еще поправиться.

Доктор Аренд рекомендовал поставить пиявки, и Пушкин, глядя, как они принимались, приговаривал: «Вот это хорошо, вот это прекрасно».

29 (10) февраля

Петербург

Ночью Пушкину стало заметно хуже, он жаловался на слабость, спал урывками, то и дело просил пить, но делал лишь по несколько глотков.

— Скоро ли все это кончится? — спрашивал он с тоской у врача.

Тот же вопрос задавали и в гостиной. Прибывший утром доктор Арендт объявил, что Пушкину осталось жить не более двух часов.

Тем временем толпа перед домом так разрослась, что к двери стало невозможно протиснуться, и из Преображенского полка были вызваны солдаты, чтобы поддерживать хоть как-то порядок.

Ближайшие друзья поэта: Данзас, Жуковский, Тургенев, князь Вяземский с женой, князь Мещерский, Даль находились у его постели.

В какой-то момент Пушкин позвал за женой, и попросил, чтобы она покормила его морозшкой.

Он с удовольствием ел из ее рук, приговаривая после каждой ложки: — Ах, как это хорошо!

Как только кормление закончилось Наталья Николаевна покинула кабинет, и обнадеженная спокойствием мужа, сказала доктору:

— Вот увидите, он будет жить, он не умрет.

Но почти в ту же минуту Александр Сергеевич окинул блуждающим взором книжные шкафы, и прошептал:

— Кончена жизнь! Тяжело дышать, давит!

Данзас немедленно выбежал за Натальей Николаевной. Она стремительно вернулась в комнату, опустилась на колени перед постелью, и рыдая стала толкать мужа.

— Пушкин, Пушкин, ты жив?! — вскрикивала она.

Но поэт не отзывался. Часы в кабинете показывали 2 часа 45 минут.

* * *

Друзья усопшего столпились подле тела, склонив головы и потеряв чувство времени. Наконец, один за другим они стали молча выходить из кабинета.

Жуковский задержался дольше всех. Он сел поближе к ложу и стал вглядываться в лицо Пушкина, необычно преобразившееся и просветлевшее в ту минуту.

Это не походило ни на сон, ни на покой. Казалось, что на челе усопшего развивалась какая-то глубокая, величественная мысль!

Жуковский вспомнил, что это выражение как будто проскальзывало у Пушкина и прежде. Видимо какой-то ангел нисходил к нему. Теперь же определенно этот ангел посвятил поэта во все свои тайны!

Он — Жуковский оказался свидетелем какого-то великого посвящения!

Ему не дано постичь этой глубокой, великой и торжественной мысли, но он удостоился увидеть чело, которое этой мыслью проникалось!

Великая минута, которых почти не случается в нашей жизни!

Москва

Ближе к вечеру Нащокин задремал у себя в кабинете на диване. Внезапно он очнулся от явственно услышанных шагов, как показалось Нащокину — пушкинских. Как-никак, они жили несколько лет в одной квартире, и Павел Войнович безошибочно узнавал пушкинское скольжение по половицам.

Нащокин присел на диване и вдруг ясно услышал из-за двери голос Пушкина: «Нащокин дома?»

Несказанно обрадовавшись, Павел Войнович бросился к двери. Однако за ней никого не оказалось. Нащокин спустился в переднюю.

— Модест, — неуверенно спросил он камердинера, — Меня Пушкин ни спрашивал?

Слуга заверил его, что никто в дом не приходил.

Павел Войнович опросил всю прислугу, может быть Александр Сергеевич все же как-то незаметно в дом проник. Но все в один голос отрицали.

Нащокин вошел в гостиную, где жена с несколькими гостями играла в карты.

— Что случилось? — спросила мужа Вера Александровна.

— Каково это! Я сейчас слышал голос Пушкина. Я задремал в кабинете на диване, и вдруг явственно слышу шаги и голос: «Нащокин дома?» Я вскочил и бросился к нему навстречу, но нигде так и не нашел... Это не к добру, — заключил Павел Войнович. — С Пушкиным приключилось что-нибудь неладное!

В расстроенных чувствах Нащокин ушел в английский клуб, и там услышал, что три дня назад произошла дуэль Пушкина с Дантесом, что поэт опасно ранен и едва ли можно рассчитывать на благополучный исход.

— Неужели же он сегодня преставился? — содрогнулся Нащокин. — Как бы он иначе в дом мой явился, коли бы не умер?

Франкфурт

Около трех часов дня Мельгунов вышел на улицу, и по обыкновению своему, прогуливаясь без определенного плана, дошел до галереи Штеделя.

В музее было малолюдно. Мельгунов проходил залу за залой, пока не вошел в тупиковую, где висел «Портрет молодой женщины» Сандро Боттичелли.

В последние месяцы Николай Александрович стал здесь частым гостем. Сознание того, что кисть Мастера впервые коснулась этого завораживающего полотна в «звездном» году, дополнительно волновало воображение.

В зале находился человек. Он был обращен к портрету, и лица его Мельгунов не видел. Между тем фигура казалась знакомой.

Николай Александрович оторопел: неужели?!

Человек медленно обернулся.

— Александр Сергеевич! — вскрикнул Мельгунов, узнавший в посетителе Пушкина. — Здравствуйте, дорогой! Вот так встреча! Выбрались-таки, наконец, за границу!

— Да, представьте, выбрался. Причем совершенно неожиданно.

— Несказанно рад встрече, дорогой Александр Сергеевич, — просиял Мельгунов. — Несказанно! А я представляю, постоянно о вас в последнее время вспоминаю. Рассказываю о таланте вашем одному местному писателю — Кёнигу. Вам с ним непременно надо познакомиться... «Капитанскую дочку» вашу не так давно прочитал.

— «Капитанской точку»? Ну и как впечатление?

— Сильнейшее. Яркие характеры, блестящая зарисовка эпохи.

— И только? А идея-то понравилась?
— Какая идея?
— А вы что, сами не поняли?
— Почему же... — смутился Мельгунов. — Идея замечательная. Чистосердечие обезоруживает зло...

— Не просто обезоруживает, Николай Александрович. Сатана может оказаться для чистосердечного человека даже и ангелом-хранителем! «Капитанская точка» не так проста, как вам кажется.

— Мне все слышится будто вы не «Капитанская дочка», а «Капитанская точка» говорите.

— Ослышались наверно. Я «Капитанская точка» говорю.

— Вот и опять так послышалось. Это наверно оттого, что я все время про точку в Великой Поэме размышляю.

— В Поэме Мирового духа?

— Да. А где это вы о ней слышали? — удивился Мельгунов. — В Кривоколенном переулке что ли?

— И в Кривоколенном, и на Новой Басманной.

— Вот как. А я, видите ли, пришел к выводу, что последняя точка в Великой Поэме Мирового духа должна быть связана с минувшим годом.

— Почему именно с ним?

— Этого в двух словах не расскажешь.

— Так расскажите в стольких, сколько потребуется. Я совершенно свободен.

— Отлично. Допускаю, что вас это может заинтересовать.

Они сели на канапе, стоявшее напротив «Портрета», и Мельгунов принялся рассказывать об обнаруженном Шеллингом ключе к «звездным годам», подходящим для явления Гроссмейстеров Мирового духа.

— Минувший 1836 год был таким «звездным» годом. Он закончился, но уверен, что в нем или что-то важное произошло, или что-то важное было написано. Просто мы пока еще не знаем.

— Вы не правы. Год этот еще продолжается, — решительно возразил Пушкин. — Христианский — закончился, но еврейский, который начинается в пасхальный месяц Нисан, закончится еще только через два месяца.

— Вот как? — опешил Мельгунов. — Но почему, простите, именно еврейский год должен нами учитываться, а не христианский?

— Вы меня удивляете, Николай Александрович. Вы же сами сказали, что тут все строится на игре двух полнолуний. Но полнолуние — это еврейская, а не христианская деталь. Ни наша Пасха, ни наш Первомай к лунным фазам никакого отношения не имеют. К тому же два эти полнолуния — полнолуния первого и второго еврейских месяцев — пасхальные. Именно они затевают эту игру, которая, как мы убеждаемся, иногда затягивается на год.

— Да откуда вы такое знаете?

— Я ведь, голубчик мой, Николай Александрович, оказывается, мессианских кровей. Я отпрыск мудрейшего из людей — царя Соломона. Помните его слова: «Чего еще искала душа моя, и я не нашел? — Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел»...

— Вот как?

— А помните слова: «На Бога полагаюсь, не усташусь. Что сделает мне человек?» — Это слова царя Давида — пращура моего, от которого мне поэтический дар перешелся.

— Впервые слышу. Вы потомок царя Давида?

— Мне говорили раньше, что мой прадед Абрам Ганнибал, купленный за бутылку рома на невольничьем рынке — эмир, но это неверно. На самом деле, он царских иудейских кровей — потомок царя Соломона от царицы Сафской. Впрочем, я и сам только что о том узнал...

— Удивительная новость.

— Но я что-то заболтался, — сказал Александр Сергеевич, вставая с канапе, — мне пора.

Они вышли на улицу.

— А где же вы остановились, Александр Сергеевич?

— В гостинице «Парадайс». Но боюсь, мы с вами больше не увидимся. Во всяком случае, здесь. Во Франкфурте... А точка в Поэме, кстати, поставлена. Это определенно так.

— Что вы такое говорите, Александр Сергеевич? И что же сие значит?

— Ну, прощайте, голубчик, вы на верном пути. Сами все скоро поймете.

1 (13) февраля

Петербург

Вечером состоялась панихида, и тело Пушкина повезли на псковщину в Святогорский монастырь.

Наталья Николаевна находилась в столь тяжелом состоянии, что не могла сопровождать тело мужа. Она написала государю письмо, в котором просила позволить Данзасу — в тот момент находящемуся под стражей за участие в дуэли — проводить тело ее мужа до могилы.

Но Николай отказался нарушить государственный закон, и отпускать преступника до суда. Тело Пушкина было предложено сопровождать Александру Ивановичу Тургеву, что тот и счел за великую честь совершить.

10 (22) февраля

Мюнхен

Накануне Шеллинг вручил, наконец, Паулине две завершенные главы своего романа, и теперь, возвращаясь домой из университета, с волнением ждал ее суда.

— Я прочла. Все совершенно замечательно, — сказала Паулина. — Ярko и сильно написано, но... нет волшебства. А в таком романе, который ты задумал, оно должно все же присутствовать...

— Ты это верно подметила, в нем должно быть волшебство. И ты его не почувствовала?...

— Я почувствовала, что его недостает... То есть что-то есть, но хочется больше, гораздо больше... Я расстроила тебя?

— Немного.

— Это надо доработать, и получится действительно блестящий роман.

— Боюсь, это единственное, что невозможно доработать. Понимаешь, у читателя должно возникнуть чувство, что он появился, я имею в виду, Мировой дух появился, и что очень важно, что он появился литературными средствами, средствами слова, а не сценического или изобразительного искусства. Прочитав сцену пасхального шабаша, читатель должен начать озираться. А у меня, ты права, этого не получилось. Моя литературная алхимия не работала.

— В той книге, которую ты издал в год смерти Каролины, в «Философских исследованиях о сущности человеческой свободы», ты противопоставил эссенциальной философии Гегеля свою философию, которую назвал экзистенциальной. Ты оказался на пороге чего-то великого, но форма твоего философствования все же осталась эссенциальной. Экзистенциальная философия должна была как-то связаться у тебя с литературным поиском, но ты продолжал идти прежним путем. Ты оказался на перепутье еще тогда — в пору нашей с тобой переписки, завязавшейся после смерти Каролины. И мне горько, что ты по-прежнему находишься в том же месте. Что я могу тебе сказать, если ты чувствуешь, что можешь создать литературное волшебство, то бросай все и занимайся только этим. Если же ты чувствуешь, что просто напишешь еще один хороший роман, каких немало под солнцем, то не трать время и продолжай делать то, что делаешь — доводи до ума уже созданное тобой. Ты же понимаешь, даже если ты сам этих трудов не издашь, это сделают за тебя твои дети.

— Ты права, Паулина, — с грустью сказал Шеллинг. — Ты как всегда права. Мне нужно завершить труд жизни... Помнишь этого русского, который заходил к тебе, когда я был Аугсбурге?

— Помню. Господин Мельгунов, друг Тютчева.

— Верно. Так вот он сказал мне странную фразу, услышанную от какого-то старца: «Другой придет и Пасху приурочит к классической Вальпургиевой ночи». Поначалу я отнес эти слова к себе, но, похоже, ошибся.

11 (23) февраля

Франкфурт

Поутру Мельгунов спустился в трактир своей гостиницы и, как водится, вместе с завтраком попросил также свежие газеты.

Он стал листать последний номер берлинской «Цайтунг», и вдруг на одной из страниц натолкнулся на строки, от которых испытал легкий толчок:

«Россия. 10-го число этого месяца в возрасте 37 лет умер выдающийся поэт Александр Пушкин, а за несколько дней до того умерла любимая публикою драматическая актриса госпожа Шварц, урожденная Брейтер, 33 лет от роду».

Мельгунов перечитал сообщение снова, но не смог сделать этого в третий раз из-за застилавших глаза слез.

Не доев завтрак, Мельгунов вышел из гостиницы и зашагал по запорошенным снегом улицам к Генриху Кёнигу.

— Так Мировой Дух все же забрал его в свой звездный год! — бормотал Николай Александрович. — Все же отметил его! Все же вменил ему его думу о «грядущей смерти годовщине»!

* * *

Генрих Кёниг, по счастью, находился дома и, услышав печальную новость, немедленно взялся за дело.

— Я сегодня же напишу статью о Пушкине для местной прессы, я объясню нашим читателям, кого потеряла Россия, точнее даже, кого потерял весь мир.

— Вы ведь уже о нем что-то начали писать?

— Конечно. Я записывал практически все, что вы мне рассказывали. Я уже говорил вам, что начал писать целую книгу о русской литературе. Она будет называться «Русские литературные очерки», но теперь становится уже совершенно ясно, что глава, посвященная Пушкину, займет в ней главное место. Я прямо сейчас начну готовить статью для газеты, а вы сообщите мне, когда у вас появятся какие-то подробности относительно его смерти.

* * *

От Кёнига Мельгунов вышел уже несколько оправившимся после первого потрясения, и невольно стал связывать трагическую новость с другими событиями, прежде всего с посмертным явлением Александра Сергеевича в художественной галерее.

— Неужели Пушкин был специально послан мне сообщить о завершении Великой Поэмы? Кто это вообще был? Пушкин, или его Патрон — Патрон Великих Мастеров? И если да, то кто он, наконец, такой? Кроткий Бог христиан? Грозный Бог Израиля? Романтический дух, интегрирующий все живое от плесени до херувимов? Кто же он? Неужели же Пушкин действительно хотел сказать, что ангелом-хранителем искусства является сатана?!

Не замечая дороги, Мельгунов дошел до дома Регины и постучался. Регина приняла его в гостиной.

— Что случилось? — с беспокойством спросила она. — Вы сам ни свой, Николай!

— Умер Пушкин. И он являлся мне, как раз вскоре после смерти.

— Умер! Как это произошло?

— Я пока и сам не знаю.

15 (27) февраля

Париж

В шестом часу вечера в дом Адама Мицкевича в предместье Парижа влетел растрепанный Гоголь. Пальто писателя было распахнуто, шапка в руке, в глазах слезы.

— Я уже слышал... — вместо приветствия произнес Мицкевич.

Николай Васильевич прошел в гостиную и рухнул в кресло.

— Как это вместить? — отрывисто заговорил он. — Если бы моя матушка умерла, я бы не был в таком отчаянии! Как можно жить без Пушкина? Мне теперь будет страшно появиться в Петербурге.... Вы знаете, я отошел от него в последние месяцы... Он ведь так влиял на меня, так опекал. Я хотел добиться независимости, самостоятельно — и вот получил сполна.

— Не корите себя...

— А вы себя разве не корите?

— Не начинайте, Николай Васильевич, не время сейчас. Одно вам скажу. Потеря эта невосполнимая. Ни одной стране не дано, чтобы в ней больше, нежели один раз, мог появиться человек, сочетающий в себе столь выдающиеся и столь разнообразные способности.

Гоголь задумался. Он вдруг почувствовал, какое огромное бремя легло на его плечи. Он не просто должен завершить завещанный ему Пушкиным роман. Он должен сделать это так, что бы Пушкину перестало быть грустно...

— Вот что я подумал, — произнес Николай Васильевич. — Нельзя позволить этому убийству остановить лите-

ратурный рост России. В этом росте ее единственная надежда!

8 (20) марта

Франкфурт

Вечером Николай Александрович направился в еврейское гетто. Прошло почти три месяца после возвращения его из Парижа, где Мельгунов основательно потратился, и вот теперь он обнаружил, что ассигнации закончились, и пришло время продать специально прихваченные на этот случай бриллианты.

Однако ювелирная лавка, которую Мельгунову рекомендовали, оказалась закрыта. На улицах же то и дело встречались люди, ряженные в красочные пестрые костюмы. Они объяснили Николаю Александровичу, что как раз сейчас наступил еврейский карнавальный праздник Пурим.

Мельгунову стало любопытно, он свернул на соседнюю улицу, с которой доносилась громкая музыка. То была знаменитая Юденштрассе, вдоль которой при свете яркой полной луны и редких газовых фонарей повсюду танцевали и пели евреи.

Особенно внушительная толпа собралась перед домом 152, близ установленных недавно торговых рядов, и, по видимому, не случайно: из дома постоянно выносили новые угощения, а бедным раздавали еще и мелкие деньги.

Вот на пороге в сопровождении нескольких евреев, двое из которых были в лапсердаках, появилась легендарная Гуттели — вдова основателя банка Майера Ротшильда.

Ее громко приветствовали.

На сердце у Николая Александровича повеселело. Он с интересом наблюдал странные бесхитростные танцы и вслушивался в задорные незнакомые мотивы.

Незаметно для себя Мельгунов оказался рядом с двумя молодыми евреями в лапсердаках, вышедшими из дома вместе с Гуттели. Как раз в этот момент закончилось исполнение очередной песни, все стихло, и Николай Александрович явственно услышал слова:

— Вот и Пурим наступил. Через две недели рош-ходеш Нисан — начало нового царского года. Как быстро время бежит.

Предчувствуя, что он может узнать что-то для себя важное и неожиданное, Мельгунов обратился к стоявшему рядом с ним еврею:

— Извините, я случайно услышал ваши слова... Вы сказали, что через две недели истекает год... Что это за год, и почему вы называли его «царским»?

— Года, начинающиеся первого нисана, когда-то использовались для счета правления израильских царей, поэтому я и употребил такое название.

— Извините, я с религией вашей почти не сталкивался. Не могли бы рассказать об этом подробнее?

— Зачем вам это? —

— Видите ли, на протяжении этого года столько всего произошло. Мне начинает, казаться, что этот «царский», как вы его называли, год будто бы создан для вмещения в него драматических историй.

— Боюсь, вы даже не подозреваете, в какой мере правы. — ответил рабби Гирш с интересом оглядывая Мельгунова. — Сейчас нет хронологии, к которой можно было бы применить царский год, но изнутри себя этот год четко размечен, размечен как событиями Песаха, так и событиями Пурима. Да будет вам известно, что египетские казни продолжались ровно год, а значит, в царский год уложилась вся пасхальная история. Да, и события Пурима, по поводу, которого мы сегодня собрались, также продолжались год. С того момента, как Аман в начале Нисана задумал уничтожить еврейский народ и до того как в Адаре его план окончательно рухнул — также прошел царский год. Как семя со-

держит в себе задатки всего растения, так каждый царский год содержит в себе задатки всей священной истории. Я не удивлюсь, если услышу, что в оболочку царского года вместились истории каких-то выдающихся людей.

— Вы даже не представляете, до какой степени выдающимися были эти люди!

— Вот как? Теперь пришел ваш черед заинтересовать меня. Охотно побеседую с вами.

* * *

Через минуту Мельгунов оказался в каком-то помещении дома Ротшильдов, временно переоборудованном под гостиную, хорошо освещенную десятками свечей. За длинными накрытыми столами то тут, то там сидели полтора десятка празднующих людей.

Усевшись с Мельгуновым за одним из столов, его собеседник разлил по стаканам сливовую настойку и отрезал пирог.

— Я знал одного русского, — заговорил он, пристально оглядев Мельгунова. — У него был такой же акцент, что и у вас.

— Вы не ошиблись, я русский. А как звали вашего знакомого?

— Александр Тургенев. В свое время мы вместе с ним слушали один курс в Боннском университете.

— Как тесен мир! Тургенев — мой старинный друг. И он, представьте, тоже рассказывал мне о том, что учился с двумя евреями. Вы, видимо, один из них?

— Просто невероятно! И что же он вам рассказал?

— Дайте вспомнить... Он рассказал об одном споре, о том, что вы, иудеи, ставите Бога выше Разума, то есть не считаете, что Его требования обязаны быть универсальны и разумны.

— Это не совсем точно. Наша религия высоко ценит разум, и стремится к пониманию. Просто разуму отводится

свое место. «Исполним и поймем», — ответил наш народ при получении Торы. Порядок такой: сначала воля Бога принимается без рассуждений, а затем делается попытка ее осмыслить.

— Вы знаете, мы тогда сошлись с Тургеневым на том, что и Шеллинг разделяет ваш иудейский подход, что и у него Бог оказывается выше разума, о чем он недвусмысленно заявляет, критикуя Гегеля. Я, кстати, именно этим объясняю его творческий кризис. Нет философии тождества. Есть поэзия тождества, возможно теология тождества, но все же не философия. Шеллинг поносит гегелевскую философию, но при этом как будто бы соглашается, что другой философии быть не может.

— Вы правы, в чем-то подход Шеллинга близок иудейскому подходу. Ведь он считает, что Мировой Дух — Поэт, а не Философ, что история — это поэма, а не трактат. Но в отличие от вашей теологии, наша каббала именно так относится к Словам Всевышнего. Смысл Торы растет из речевых созвучий в не меньшей мере, чем из прямого значения слов. Однако в главном Шеллинг все же заблуждается. Он полагает, что открытый им Мировой Дух, абсолютное Я, в котором все тождественно, это и есть Творец Мироздания, Бог Израиля. Он ставит его, как и иудеи, как будто бы превыше всего, однако, заметьте, все же не превыше искусства, не превыше самой поэзии! Последнее тождество, по Шеллингу, достигается в искусстве, а не в абсолютном Я. Этот вопрос я в свое время специально выяснял. Другими словами, Шеллинг ставит над Богом поэзию, в той же мере, в какой Гегель ставит над Ним философию.

— То есть вы хотите сказать, что Мировой Дух — это не Бог, а кто-то другой. Кто же он тогда?

— Мировой Дух — это Князь мира, но все же не его Царь.

— Князь мира? Так иногда называют Сатану.

— Он сатана и есть. Провозглашая свою религию, древние христиане воображали, что освобождаются

от «ветхих еврейских предрассудков», сегодня просвещенные европейцы с тем же пафосом освобождаются от «предрассудков» всех вер. Они видят в философии, в учении о Мировом Духе, очищенную до полного блеска истину, но на самом деле Мировой Дух — нечистый дух. Вы думаете, почему образ Мефистофеля в последнее столетие ворвался в большую литературу? Он пришел принимать дела.

— Я все чаще сталкиваюсь с этим странным мнением, но не понимаю его! Если даже допустить, что Гете с этим образом заигрался, то какое отношение имеют к дьяволу Данте, Шекспир и Сервантес?

— Как это какое? Когда-то заповедь «не пожелай жены ближнего» считалась непререкаемой, но Данте возвел это желание в ранг добродетели. Возрождение в первую очередь оказалось возрождением древних пороков.

— Я не согласен с вами! Возрождение — это прежде всего уподобление Творцу, уподобление в основе своей праведное и благочестивое. Мастер в каком-то смысле ближе к Богу, чем святой.

— К кому ближе? Боюсь, что искусству покровительствует не столько Бог, сколько дьявол. Хотя не спорю, дьявол в этом амплуа может выступать и положительным героем.

— Как так положительным?

— Видите ли, согласно откровению, которое мы получили на Синае, сатана не является чисто негативным персонажем. Он такой же преданный слуга Создателя, как и прочие Ангелы. И хотя по преимуществу он, действительно, выискивает людские грехи и карает за них, праведников он иногда может даже и поощрять. Искусство, по большому счету, это также дело сатаны, но как раз то дело, которое раскрывает положительные задатки этого ангела... Между Царем мира и его Князем иногда действительно трудно становится различить, особенно в наше время, когда час избавления приближается, когда человеческой истории остались считанные века.

— Считанные века?

— Да. Согласно нашей традиции истории отпущено шесть тысячелетий, до конца которых осталось без малого четыреста лет. Суббота истории может наступить раньше, но не позже этого срока...

— Любопытная теория. Но ответьте, каким образом можно запутаться между Царем мира и его князем? Между светом и тьмой? Во всяком случае, запутаться добросовестно? Я помню слова пророка Исаяи: «Горе тем, которые говорят, зло — это добро, и добро — это зло, кто подменяет тьму светом и свет тьмою, горькое сладким, и сладкое горьким».

— Вы очень кстати привели эти слова пророка. В книге Зоһар сообщается, что в вышнем мире среди прочих небесных йешив имеется также и мессианская Йешива. Для того, чтобы быть принятым в эту Йешиву, нужно уметь превращать мрак в свет, а горечь в сладость. Зачем это нужно? Именно для того, что уметь вникать в эти тонкости, всплывающие в последние времена.

— Вы можете это как-то пояснить?

— Попытаюсь. Пора избавления, предрассветная пора — это момент самого густого мрака. Сначала исчезает солнце, потом все его отблески, затем исчезает и луна, но остаются еще звезды. И вот приходит момент, когда начинают исчезать даже и звезды. Человеку кажется, что наступает полная мгла, но это ошибка. Этот миг полной мглы, когда исчезают даже звезды, на самом деле является предвестником восхода солнца, гасящего их свет. Это и есть та точка, когда мгла превращается в свет. Многие сегодня считают и искусство, и даже нынешний научный прогресс — ведь они коренятся в безбожии — делом тьмы, но на самом деле то предвестники света.

— Вы знаете, но это очень близко к тому, что говорил мне Шеллинг, обнаруживший игру предрассветного мрака пасхальной ночи и ночи Вальпургиевой. Причем эта его

теория как раз связана с теми выдающимися людьми, истории которых вписались в царский год!

И Мельгунов, дорвавшийся, наконец, до любимой темы, стал рассказывать о своих удивительных открытиях.

Рабби Гирш с большим интересом выслушал Мельгунова.

— Насколько я запомнил из вашего рассказа, наиболее выдающиеся из перечисленных вами — это Данте, Сервантес, Шекспир, Кант, Гете, Стерн. Шеллинг, понятно, тоже в деле, как и мы с вами, впрочем. — Рабби Гирш подмигнул Мельгунову и на минуту задумался.

— Вы знаете, — заговорил он снова, — из этого складывается отличный пуримный драш, драш о семи пастырях христианской культуры! — рабби Гирш явно развеселился. — Ну, конечно, так оно и есть. Данте — очевидно, «красота», Шекспир и Сервантес — «милость» и «суд», Кант — явно «основание», Гете — «великолепие», Шеллинга я бы приписал к «торжеству», ну а «царство», по-видимому, ваш Пушкин, он ведь, как вы говорите, мессианских кровей.

— Вы не разъясните подробнее, то что сейчас сказали?

— Все просто. Согласно каббале, в ходе Священной истории Бог явил людям семь Своих «сфирот», семь Своих качеств, посредством которых Он творил мир. Эти семь качеств в нижнем мире были открыты посредством Семи Пастырей — все они действительно были пастухами. Так, в Аврааме открылась «Милость», в Ицхаке «Суд», в Якове «Красота», в Моисее «Торжество», в Аароне — «Великолепие», в Йосефе «Основа» и в Давиде — «Царство».

Но то, что Царь мира открыл в Священной истории посредством Семи Пастырей, то Князь мира, по-видимому, повторно явил в европейской культуре посредством ваших Гроссмейстеров.

— А то, что их больше чем семь, вас не смущает?

— Пастырей Израиля тоже больше семи — ими были, например, все родоначальники колен. Каждый из них от-

носился к какой-то сфере, однако открыли ее преимущественно названные семь.

— Тогда еще один вопрос. Имеет ли смысл присутствие в этом списке маркиза де Сада? Вам знакомо это имя?

— Никогда не слышал.

— Представьте себе, что Шарль Перро вместо коротенькой сказки «Синяя Борода» написал бы толщенный роман, в котором бы во всех подробностях описал истязания, которым главный герой подвергал перед смертью своих жен. Представьте это, и у вас получится верное впечатление о Саде. Вы находите ему какое-то место в вашей схеме?

— Я думаю, в этом Саде просматривается связь с собственнo сатанинскими сфирот, в которых нет никакого света — такие тоже имеются. Этот ваш Сад дополнительно свидетельствует, где в целом искусство коренится.

— А как же 1988 год? Думаете, на него ничего уже не осталось?

— Думаю, что нет. Думаю, что все завершиться гораздо раньше. Я почти уверен, что к 1988 году Царство Израиля будет восстановлено.

— С трудом себе такое представляю. Это противоречит всему, во что верит христианский мир. Если уже переходить на религиозную лексику, то я верю во Второе пришествие, а не в восстановление Израильского царства.

— Если Второе пришествие действительно произойдет, то неужели, вы думаете, оно не обернется восстановлением Израильского царства?

— С какой стати? Царство Христа не от мира сего...

— Но ведь при вашем Втором пришествии Мессия вроде бы должен, наконец, явиться в силе, то есть править как раз в мире сем. Да и подумайте сами, если он, как вы верите, действительно Мессия Израиля, то как, придя во славе, он может царство Израиля не восстановить? Откройте «Деяния Апостолов»: прощаясь, ученики спросили его: не пришло ли время восстановить царство Израиля?

После всего случившегося, они именно этого ждали. А он не отвечал им: «царство мое не от мира сего». Он сказал: «не вам знать времена и сроки, которые определяет Отец своею властью». Поверьте, не евреям надо бояться второго пришествия, а христианам... Вас он осудит, вам он скажет: идите от меня проклятые, все, что вы сделали братьям моим по крови — сделали мне!

Мельгунов озадаченно посмотрелся на своего собеседника. Он искал, что возразить, но Гирш его опередил.

— Шучу, шучу! Сегодня же Пурим! Привыкайте!

— Это у вас вышло не очень смешно... А когда, кстати, заканчивается этот королевский год?

— Вы спрашиваете, когда последний день месяца Адара — канун Нисана? Через две недели после Пурима. В этом году это 5 апреля. 6 апреля — это уже 1 нисана.

11 (23) марта

Брюссель

Печерин находился в Бельгии, когда до него, наконец, дошло ноябрьское письмо графа Строганова, с щедрыми карьерными предложениями и горячим призывом вернуться в Россию.

Почти год назад, незадолго до Пасхи, Печерин обратился к Университетскому совету с просьбой разрешить ему отлучиться в Германию, и вот теперь 23 марта 1837 года он впервые официально объявляет о своем намерении навсегда остаться за границей.

«Граф!

Письмо, коим вы меня почтили, дошло до меня лишь 21-го сего месяца. Спешу на него отвечать.

Я глубоко тронут участием, которое вы во мне принимаете, вашими великодушными намерениями относительно меня, вашими великодушными предложениями... О, если бы я

был еще достоин такой заботливости!.. Но, граф, я решился. Судьба моя определена безвозвратно — вернуться вспять я не могу...

Как я увидел эту грубо-животную жизнь, эти униженные существа, этих людей без верований, без Бога, живущих для того, чтобы копить деньги и откармливаться, как животные; этих людей, на челе которых напрасно было искать отпечатка их Создателя; когда я увидел все это, я погиб! Я видел себя обреченным на то, чтобы провести с этими людьми всю жизнь; я говорил себе: Кто знает? Быть может, время, привычка приведут тебя к тому же результату; ты будешь вынужден спуститься к уровню этих людей, которых ты теперь презираешь; ты будешь валяться в грязи их общества, и ты станешь, как они, благонамеренным старым профессором, насыщенным деньгами, крестиками и всякой мерзостью!

Относительно вас, граф, я поступил недостойно. Человек благородный и великодушный! Как я люблю и уважаю вас! Я готов отдать за вас жизнь — но... Вы лишь единичное лицо, и человечество имеет более прав, чем вы!

Забудьте, что я когда-либо существовал, и простите меня! Не доволен ли я поплатился за мой проступок, разорвав свой договор с жизнью и счастьем? Я извлек из своего измученного сердца несколько капель крови и подписал окончательный договор с дьяволом, а этот дьявол — мысль. Имею честь быть, с глубоким уважением и преданностью, которая кончится лишь с моею жизнью, ваш покорнейший слуга Владимир Печерин».

23 марта (4 апреля)

Москва

В полдень Тургенев вошел в «павильон» Чаадаева на Новой Басманной.

— Вы читали сегодняшние газеты? — с порога поинтересовался он у хозяина.

— Читал. Убийцу Пушкина помиловали и выдворили из России.

— Да, дорогой Петр Яковлевич, в России началась новая жизнь — жизнь после Пушкина.

— Эх, будь я в Петербурге, я бы ни за что не допустил этой дуэли, — вздохнул Чаадаев.

— Да как бы вы не допустили? — махнул рукой Тургенев. — Все допустили, хоть теперь и клянут себя за это, — а вы бы не допустили...

— Я сам себя до дуэлей не допускал, и Пушкина бы убедил этого не делать... Когда много лет назад Федор Толстой распустил слух, будто бы Пушкина высекли, и довел его этой клеветой до крайности, я нашел слова охладить его...

— Послушайте, дорогой Петр Яковлевич, — перешел Тургенев на другую тему. — Пушкин рассказал мне, будто бы вы пообещали ему, что после вашей смерти он как-то сам узнает природу вашего отношения к прекрасному полу. Что за загадки сфинкса?

— Такая вот загадка.

— Послушайте, я старше вас на десять лет, и едва ли вас переживу. Может быть, вы мне заранее откроете.... Откройте хотя бы, как вообще такое возможно? Как со смертью человека может обнаружиться что-то такое, что при жизни было задержано самыми плотными шторами?

— Все очень просто. Я завещаю похоронить себя возле могилы женщины, с которой уповаю разделить вечность.

— Ах вот оно что... И давно она умерла?

— Тому чуть больше года.

— Я с ней знаком?

— Не думаю. Но вы возможно знакомы с ее братом. Он как раз перевел на русский мои «Философические письма».

Копенгаген

Этот же вечер Сёрен Кьеркегор провел в гостях у юной и очаровательной Болетты Рердам, дальней родственницей его друга. Он познакомился с ней всего два месяца назад, но с каждым днем все более увлекался ею.

Сёрен мечтал раскрыть перед Болеттой свою измученную сомнениями душу, рассказать о своем родовом проклятии, о грехах отца, и наконец, о своих собственных — о своем цинизме, своем пьянстве и даже о том своем безумном срыве, который привел его на улицу Остергаде.

Эта исповедь, в зависимости от того, как ее приняла бы Болетта, могла стать прелюдией к предложению разделить судьбу.

Но и сегодня Сёрен так и не решился излить свою душу, но и сегодня он продолжал, неловко раскачиваясь на стуле, произносить резкие парадоксальные суждения и грубоватые шутки.

Однако, когда в очередной раз он явится в этот дом через месяц, желание раскрывать свое сердце перед Болеттой у него исчезнет. Через месяц он встретит у нее в гостях 15-летнюю Регину Ольсен, девушку, которой с годами сам он будет прочить горькую судьбу Элоизы, но которая предпочтет стать его Беатриче.

24 марта (5 апреля)

Франкфурт

Еще неделю назад Мельгунов предложил Мадонне встретиться 5 апреля, пообещав представить ей дополнительный отчет относительно тайн 1836 года.

В это день все дышало весной. Свежесть, поднимающаяся от реки, пьянящие запахи свежей листвы — все наилучшим образом отвечало моменту.

Мельгунов предложил Мадонне прогуляться по набережной, а потом провел в специально снятый им отдельный кабинет в ресторане.

— Эта роскошь с чем-то связана, или вы сегодня просто в таком настроении?

— Связана. Сегодня необычный день, Регина, сегодня как раз последний день того звездного года, в который все же была поставлена точка в Великой Поэме.

— По какому же это календарю 5 апреля оказывается последним днем года?

— По еврейскому. Об этом мне сообщил в своем явлении Пушкин, а потом подтвердил один человек по имени Шимшон Гирш. Оказывается, еврейский год, связанный с годами правления царей, начинается весной, в лунный месяц Нисан. Сегодня последний день такого года, завтра начало следующего. Я был уверен, что вы бы хотели проводить этот год, и пригласил вас сюда.

— Да вы волшебник, Николай! Вот так неожиданность!

Они ели, перебрасываясь шутками и заливаясь смехом.

— Ну ладно, а теперь серьезно, Николай. Так что там у вас имеется сообщить мне относительно Великой Поэмы?

— Она завершена. Во всяком случае, так это выглядит на наш с вами взгляд, и на взгляд иудейский, который мне, может быть и в шутку, а может быть и всерьез представил Шимшон Гирш. Ну и наконец, так мне сказал Александр Сергеевич Пушкин, который и поставил последнюю точку в Великой Поэме. Он поставил ее и своей литературой, и своей жизнью. Главная идея его последнего произведения, «Капитанской дочки», посвящена как раз образу Мирового Духа, в том понимании, которое принято у иудеев. Во всяком случае, по их вере, губитель рода человеческого может превращаться в ангела-хранителя достойных людей... В пушкинской повести самозванный царь и разбойник оказывает покровительство порядочному человеку, он приводит его под венец с его суженой и уста-

навливает поправленную справедливость. В конце же оказывается, что над всем возвышается истинная Царская власть, справедливость эту подтверждающая. Мировой Дух как его определил Шеллинг — это на самом деле не Бог, а Ангел смерти. Это теневая фигура, но как выясняется, все же способная, и даже более того, призванная воссоздать некий положительный духовный ряд. Так Ангел Смерти стал покровителем искусства, в первую очередь литературы, и в «Капитанской дочке» аллегорически эта идея провозглашена.

— Послушайте, Николай, но ведь это действительно все объясняет! Объясняет, почему «звездные годы» обходят стороной духовных лиц, но льнут к их светским «альтер эго» — ведь Бруно и Кампанелла мученики религии Разума! Да и все прочие наши философы с религией не в ладах.

— Это, заметьте, объясняет и то, почему «звездные годы» обходят также и композиторов. Ведь в музыке нельзя солгать! Музыка совершенно прозрачна для духа и не оставляет никакого простора для мистификации.

— Верно! Но, кажется, вы не закончили о Пушкине, о его месте в Великой Поэме. Продолжайте.

— Охотно. Шеллинг учил, что искусство выше морали, но Пушкин сказал, что «Гений и злодейство — две вещи несовместные». Пушкин отождествил мораль с искусством, он слил свой поэтический дар с даром человеческим, он оказался тем литератором, который прошел этим путем до конца. Он еще станет мифологической, можно даже сказать культовой фигурой.

Помните, Регина, мы предположили, что четвертая степень свободы Нового мира заключается в доведении до конца фаустовского экспериментирования, представляющего собой ее третью степень.

— Конечно, помню. Мы при этом еще предположили, что такое завершение должно осуществляться двумя героями, один из которых идет по линии зла, а другой по ли-

нии добра. Впрочем, напомните мне всю вашу диалектическую схему.

— Извольте. Первую степень индивидуальной свободы задает Данте, выявивший ее в рамках христианского канона. Вторая степень, знаменующаяся отчуждением от этих рамок, сопровождается двумя типами рефлексии — трагической и комической. Эту вторую степень свободы приносят в мир Шекспир и Сервантес. Неразрывность, спаренность этих Гроссмейстеров подчеркивается их смертью в один день. Но на третьем этапе освобождения снова происходит объединение, Гамлет и Дон Кихот объединяются в пресытившемся Фаусте, который начинает опасное экспериментирование, начинает поиск границ свободы, что является третьей ее степенью.

Четвертая степень освобождения характеризуется достижением этих границ, как в направлении зла, так и в направлении добра. Мы тогда с вами согласились, что фаустовские опыты до их логического завершения по линии зла доводит маркиз де Сад.

— А по линии добра получается — Пушкин?!

— Совершенно верно. Мы с вами напрасно опасались, что этот герой окажется скучным.

— Но какова тогда все же роль маркиза де Сада? Ведь он как будто бы тоже претендует послужить последней точкой?

— В этом-то и вся драма, вся суть последней сцены Великой Поэмы! Пушкин и Сад были обречены на смертельную схватку. Если Шекспира и Сервантеса объединил сметный час, то Пушкин и Сад встречаются на поединке. Нет, не случайно точкой в конце Великой Поэмы оказалась точка пули. Не случайно оказались напущены на Пушкина эти вампиры, эти жалкие похотливые обезьяны, достойные пера де Сада, устроившие Поэту 120 дней Содома и напоследок убившие его. Я не знаю, конечно, насколько Геккерны были знакомы с творчеством де Сада, но они определенно были его героями, то есть рабами похоти без

границ. Геккерны добивались от жены Пушкина, чтобы та изменила своему мужу, они бесчестили ее и его имя. В последнее время я получаю из России поразительные свидетельства. Оказывается, с помощью интриг и оговоров эта парочка проникла в самую Пушкинскую семью и разрушила ее. Пушкин отказывался идти с этими лицедеями на какой-либо компромисс, он вывел их на чистую воду, и согласно извращенному кодексу чести, поплатился за это своею жизнью.

Дуэль была неизбежна, как неизбежен был и ее результат! Ведь если бы был убит Дантес, точка бы оказалась смазанной. Справедливость была бы восстановлена, но обе стороны лишались бы тем самым своего первоизданного ореола. Теперь же, напротив, ореол одного засверкал с предельной яркостью, а второго безнадежно потускнел. Не забывайте, речь в этой истории идет не только о жизни, но и о Поэме, а в поэмах действуют законы жанра.

— Вы хотите сказать, что если бы Пушкин не был великим поэтом, то исход дуэли был бы иным?

— Думаю, да. При прочих равных условиях он должен был быть иным. Не забывайте, любой суд, творимый Мефистофелем, в конечном счете визирует Бог.

— Как интересно вы все представили, Николай! Но если Поэма действительно закончена, то что же нас ждет в дальнейшем? Что может поведать миру 1988 год?

— Не знаю. Знаю только, что вместе с жизнью Пушкина завершилась так же и история Нового мира. Невозможно догадаться, что принесут человечеству ни 1988, ни 2140 годы.

Регина с восхищением смотрела на Николая Александровича, сердце которого таяло под этим взглядом. В эту минуту он ясно видел, что перед ним сидит его суженая. Еще не сегодня, — не нужно смешивать все счастливые моменты бытия в один сумбур — но уже очень скоро он сделает ей предложение.

25 марта (6 апреля)

Ольденбург

В среду вечером в первый день весеннего месяца Нисана главный раввин Ольденбурга Шимшон Рафаэль Гирш сидел со своей женой Ханой за скромно накрытым столом и делился своими мыслями и впечатлениями.

— Сегодня начался месяц Нисан, начался очередной царский год. В этом году моя книга «Хорев», с Божьей помощью, должна, наконец, увидеть свет. Но ты знаешь, ушедший год, в который появились «Письма с Севера», оказывается, был очень необычным годом. На Пурим во Франкфурте я повстречался с одним русским писателем, который рассказал мне, что в этом году имело место редкое сочетание каких-то христианских дат. Это сочетание случается приблизительно раз в столетие, и каждый раз, когда оно происходит, в культуре Нового мира совершаются какие-то важные духовные прорывы...

— И какое отношение это имеет к нам?

— В том и вопрос. Вроде бы никакого. Но почему я тогда со своими «Письмами» в этот год угодил?

— В самом деле?

— Несколько дней назад я просматривал свой «Хорев» — делал незначительные правки, и подумал, что эта книга действительно в своем роде необычна. Она разъясняет наш Закон и нашу веру не только изнутри себя, но и с оглядкой на идеи просвещения. Но тем самым книга моя невольно втягивается в поле Нового мира.

— И тебя это беспокоит?

— В какой-то момент беспокоило. Ведь Мендельсон вроде бы пытался сделать что-то похожее, и как он кончил? Как кончили его дети? Но потом я понял, что все дело в акцентах. Мендельсон оправдывал иудаизм перед лицом того, что сам считал чем-то высшим, я же, принимая определенные ценности Нового мира, высшим продолжаю

считать Синайское откровение. Мой «Хорев» действительно может оказаться началом чего-то значительного, и то, что через «звездные годы» христиан он связался с такими произведениями, как «Гамлет» и «Дон-Кихот» — дополнительный знак его качества.

«1988»

Согласно предложенной в предыдущей книге («1836») литературной гипотезе, Николай Александрович Мельгунов установил, что «Великая Поэма» Мирового Духа завершилась гибелью Пушкина, а рав Шимшон Гирш предположил, что «Поэма» эта ознаменовала собой воссоздание того типа «современного человека», который хотя и совершенно иным образом, но издревле уже был явлен Израилем.

В этом автобиографическом очерке («1988») я бы хотел не только присоединиться к этим прозрениям своих героев, но и углубить их общие выводы.

АТТЕСТАЦИЯ ЗРЕЛОСТИ

«Греки — лишь красивые юноши. Евреи же всегда были мужи, могучие, непреклонные...». Эти слова Гейне, сказанные относительно древних эллинов, в значительной мере справедливы и по отношению к грекам средневековым. В определенном плане, в плане «аттестации зрелости», в плане «мужества быть», высшим духовным достижением христианской цивилизации явилась именно секулярная культура, которая в свою очередь оказалась конгениальна иудейскому опыту (чем иногда даже объясняют стремительность процессов еврейской ассимиляции XIX-XX веков).

Иудаизм основывается на идее партнерства: не только Бог вдохновляет человека, но и человек Бога, как сказано: «Я властвую над человеком. А кто властвует надо Мной? Праведник. Ибо Я выношу приговор, а он отменяет» ^[1]

Рамхаль пишет: «Господин, благословен Он, поставил исправление всего творения и его возвышение в зависимость от деяний Израиля. Он как бы подчинил Свое управление их действиям — освещать и воздействовать... Деяния же народов мира не прибавят и не убавят в сущности творения и раскрытии или сокрытии Всевышнего, но лишь повлекут самим себе пользу или убыток для тела или для души» ^[2]

Действительно, все религии народов мира озадачены исключительно спасением человека. Задача любого язычника никогда не поднималась выше духовного самосохранения и связанного с ним «самосовершенствования». Христианство, очень многое давшее народам в моральном отношении, ничего не изменило в обще-культовом плане: христианин не видит себя партнером Бога, он лишь «спасается», лишь «приобщается» к победе над смертью, осуществленной его «видимым божеством». Мистерия наполнилась насыщенным личностным содержанием, но осталась мистерией-причастием. В творимой Израилем Священной истории христианин довольствуется ролью статиста.

Однако секулярная культура привнесла в эту ситуацию решительное изменение. Подвергший сомнению свою традицию, не до конца верующий, но все же напряженно ищущий Бога человек «Нового мира», оказался в центре космической драмы, оказался субъектом истории, увидел в ответственности величайшую человеческую привилегию.

Образ этого «современного человека» начал складываться в Проторенессансе, то есть в самом начале Шестого Дня человеческой истории (1240). Этот образ завязался Данте и завершился Пушкиным, сразу же после смерти которого, историческая декорация полностью сменилась: загудели паровозы, застучал магнетический телеграф, защелкали фотоаппараты, затрещали капсульные револьверы, а в умы людей ворвалась эволюционная теория. Так завершилось Новое время, и началось Новейшее.

С гибелью Пушкина была завершена Великая Поэма, и человечеству был вручен аттестат зрелости.

И все же Мировому Духу оставалось кое-что дописать также и на бумаге — и это задуманный Шеллингом (персонажем «1836») роман «Мейстер и Магдалина». Его замысел наложения Пасхальной и Вальпургиевой ночей предстояло завершить, и это сделал Михаил Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита».

Именно Булгаков в художественной форме приурочил Пасху к Вальпургиевой ночи, и именно он подарил человечеству самый блестящий, самый реалистический портрет Мирового Духа, что ниже я еще попытаюсь подробно разъяснить.

Но когда в таком случае все же была поставлена «точка» — в 1836 или в 1988 году?

Как магнитный полюс земли и полюс ее вращения очень близки, но все же не совпадают, так же не совпадают и конфигурации Великой Поэмы, одна из которых создается лицами авторов, а другая — их литературными произведениями, лицами персонажей.

«Авторская» поэма завершилась в 1837 году, а «литературная» — в 30-х годах XX-го века, хотя и для ее актуализации все же потребовалась привязка к реальным событиям 1988 года.

Замечу попутно, что как 1836 год послужил водоразделом между Новым временем и Новейшим, так 1988 год разграничил Новейшее время и время с нелепым названием «постмодерн», которое я называю Сверхновым. Сверхновое время отмечено технологической сингулярностью, то есть стремительным ускорением развития прикладных наук, прежде всего компьютерной техники и геномной инженерии.

Некоторые связанные с 1988 годом жизненные обстоятельства открыли мне глаза на ту игру Вальпургиевой и Пасхальной ночей, которую, согласно моей литературной гипотезе, заметили также Шеллинг и Мельгунов, и которая самым неожиданным образом сопрягает иудейское и христианское видение Священной истории.

События 1988-го «звездного года», о которых пойдет речь в этой книге, и которые трудно объяснить иначе, чем вмешательством загадочных ангельских сил, подвели итог долгим религиозно-философским поискам, подтвердили и достроили их, а поэтому начать эту повесть следует с обзора этих исканий.

НА ОБЛОМКАХ САМОВЛАСТЬЯ

Ахматова заметила, что XX век начался не 1 января 1901 года, а 1 августа 1914 — с началом Первой мировой войны. Я бы добавил, что век этот был скоротечным и завершился значительно раньше своего календарного срока (иначе не спаслась бы никакая плоть). Но все же не 9 мая и даже не 30 апреля 1945 года, когда застрелился Гитлер, а 5 марта 1953 — в день смерти Сталина.

Я родился ровно за 10 месяцев до этой даты, на самом излете тех страшных времен, но тем не менее полностью в них оказался погружен. Ведь родился я у еврейской матери и поэтому подлежал готовящейся в ту пору депортации, приуроченной к «делу врачей».

Отец мой, Алексей Васильевич Никитин был, правда, человек русский, но, во-первых, также «меченый» (дед Василий выслужился в первую мировую из рядовых до штабс-капитана, а по возвращении с фронта нажил хозяйство из шести лошадей и десяти коров, так что с ГУЛАГом познакомился не по «Архипелагу»), а во-вторых, семья все же слыла еврейской, и соседи по дому, посмеиваясь, говорили моей бабушке: «Скоро вас всех здесь не будет».

Лишь с годами я узнал, что эти люди не выдавали желаемое за действительное, что именно на местах (при домоуправлениях) составлялись списки подлежащих высылке, что в феврале ко всем крупным городам уже были подогнаны сотни эшелонов, а суд над «врачами-убийцами», которых предполагалось повесить на Красной площади, был назначен на 6 марта. Но вместо приговора «врачам-убийцам» человек по фамилии Левитан зачитал в этот день по радио сообщение о смерти Сталина, а 3 апреля все арестованные по «делу врачей» были освобождены.

Умер Сталин 18 адара, однако апоплексический удар, после которого он полностью прекратил функционировать, случился именно в Пурим — 14 адара (1 марта) 5713 года.

Итак, «логический» XX век, начавшийся в траурную для еврейского народа дату — девятого ава 5674 года (1.8.1914), завершился в дату карнавала и веселья.

Я рос уже в совершенно иную эпоху, все еще тоталитарную, все еще бившую по «высовывающимся», но все же позволявшую осмотреться, позволявшую думать не только о выживании.

Мне, во всяком случае, в этом отношении неслыханно повезло. Мое раннее детство прошло без какого-либо соприкосновения с советской действительностью. Меня не отправили в детский сад, и первую половину дня я проводил в обществе пожилой пары, глубоко укорененной в XIX веке (к началу Первой мировой им уже перевалило за тридцать). Погожие дни мы проводили в Донском монастыре, где под вековыми клёнами среди старинных надгробий Александр Петрович делал экскурсии в историю, а Ольга Яковлевна рассказывала сказки. По дороге я, конечно, примечал висящие на зданиях гигантские портреты Вождей, замечал праздничные парады и салюты, но истинное значение этих образов не проникало в ту сказочную действительность, в которой я обитал.

В школе, в которую я как на казнь отправился в 1959 году, свою дозу индоктринации я, разумеется, получил. Особо много твердили о коммунизме в третьем классе: как раз тогда Хрущев пообещал его наступление в «нынешнем поколении советских людей».

Я рвался в пионеры, огорчился, что одноклассники обзывали пионерский галстук «селедкой», и мечтал усовершенствовать коммунистическую идею, распространив принципы справедливости также и на животный мир. Мне казалось, что Маркс сильно чего-то недодумал, допуская эксплуатацию животных. В ту пору я решил пойти в биологию.

О вреде религии учили много и обстоятельно. Но поскольку в семье слово «Бог» всегда использовалось в подобающем контексте, я, в отличие от многих своих сверстников,

все же никогда не представлял Его в виде прикорнувшего на облачке карикатурного Деда Мороза.

Напротив, я очень рано распознал в Боге главного, даже единственного гаранта собственного существования и чувствовал, что нет ничего важнее, нежели «разобраться в религии». История, изложенная в этой книге — это в значительной мере рассказ о том, как это «разбирательство» происходило.

Там, где от стройной системы религиозного образования остались одни обломки, становление религиозных идей может происходить под воздействием систематического вмешательства свыше. И оглядываясь назад, я невольно обнаруживаю в своей судьбе цепочку таких вмешательств.

Мой дед, отец моей мамы Давид Мосель (Карташов) был расстрелян в 1938 году как «троцкистский заговорщик». Через десять лет бабушка — Рахель Барац вторично вышла замуж за дворянина шведского происхождения Вячеслава Рикмана. У него была богатая библиотека.

Кроме Библии, в которую я стал заглядывать еще в отрочестве, собственно религиозной литературы в его собрании не было. Но имелось немало сопутствующих книг, вроде «Истории моих бедствий» Пьера Абеляра, или «Мыслей» Паскаля; были книги по индуизму, но особенно много было русских богоискателей: Соловьев, Бердяев, Франк, Леонтьев, Мережковский, Трубецкой, много было Розанова. Был и Лев Шестов, на шеститомник которого я наткнулся вскоре после своего двадцатилетия — в июле 1972 года.

УМОЗРЕНИЕ И ОТКРОВЕНИЕ

Менее чем за сутки я проглотил «Философию трагедии», и меня как будто обдало потоком озона. «Мораль», «идеалы», все «высокое и прекрасное» были представлены Шестовым духовными протезами, но между строк ясно просматривалась истинная альтернатива — вера в Бога Живого!

К концу июля я прочел «Добро в учении Толстого и Ницше» и «Шекспир и его критик Брандес», а в августе «Апофеоз беспочвенности» и «Начала и концы». Я старался как можно дольше растягивать чтение, но в октябре все же закончил последний том — «Великие кануны».

Что было делать дальше?

Из «Философской энциклопедии» я узнал, что в эмиграции Шестов написал еще шесть книг и пустился в их поиски на черном рынке.

Некий подпольный букинист, на которого я вышел только зимой, привел меня в свой заваленный книгами дом возле метро «Октябрьская» и предложил изданный в Париже в 1966 году сборник статей «Умозрение и откровение».

Приобретение оказалось бесценным. Эта столь своевременно попавшаяся мне книга (на следующее западное издание Шестова — «Sola fide» — я вышел только через десять лет!) донесла до меня насквозь иудейскую идею, что Бог не подчиняется доводам разума, но Сам определяет, что хорошо и разумно, а что нет!

Разбирая сочинения самых разнообразных мыслителей христианского мира, Шестов неизменно приходит к одному и тому же выводу: декларативно опираясь на тексты Библии, все они в конечном счете шли за истиной к «греческому симпозиону». Шестов противопоставлял «Афины» и «Иерусалим» на интеллектуальном уровне весьма близко к тому, как на уровне собственно религиозном это делает практическая галаха, восходящая к иррациональным в своей основе приказам Создателя, а не к здравому смыслу, которым, по убеждению многих, Бог непременно должен руководствоваться.

«Давно уже, — читал я в статье «Умозрение и апокалипсис», — в самом начале нашей эры, среди христиан появились люди, «свободный дух» которых отказывался принять пришедшее с востока Откровение или, лучше сказать, соглашался принять лишь то, что соответствовало его представлению о добре и истине. Это были гностики. С них начинается

та эллинизация христианства, о которой так много говорили протестантские историки — т. е. свободное исследование, зовущее на суд разума Откровение. Это значит: в Библии написано, что Бог, создавший небо и землю, Бог, создавший и самого человека, сказал Адаму и Еве, что хотя дерево познания добра и зла красиво на вид, но есть плоды его нельзя — от них придет смерть. Змей, бывший умнее всех зверей, сказал первым людям другое: нет, не умрете. Бог вас обманывает, потому что знает Бог, что если вкусите от этих плодов, то откроются глаза ваши и вы будете, как Боги, знающие добро и зло.

По Библии выходит, что Бог сказал правду, а змей — солгал. Но «свободный исследователь» спрашивает: а что, если было совсем другое, что, если правду сказал змей, а обманщиком был Бог. Возникает вопрос: кого спросить, кто рассудит между змеем и Богом. Для еврейских пророков такой вопрос не существовал, еврейские пророки именно потому и были пророками, что их вдохновение возносило их в области, куда уже никакие вопрошания не доходят. Но эллинские философы и те, кто на эллинской философии воспитался, думали иначе... И вот, когда гностики пошли к эллинскому судье спрашивать, кто был прав, Бог или змей, судья им сказал, что прав был змей, что библейский Бог — дурной Бог, и что мир, который он сотворил — дурной мир. Другого ответа эллинский судья, конечно, и не мог дать — ибо он судил собственное дело». ^[3]

МИАЗМЫ АТЕИЗМА

Однако в том же 1972 году, когда я заболел Шестовым, мои кустарные поиски Живого Бога стали подвергаться серьезному испытанию со стороны «эллинского судьи».

Если на первом курсе мозги студентов промывались «Историей КПСС», а на втором — политэкономией, то на

третьем пришла очередь марксизма, который нам преподавал блестящий 33-летний Леон Семенович Черняк.

На его лекциях и семинарах речь шла не только о «диалектическом материализме», но постоянно совершались экскурсии в историю философии. Кроме того, Черняк вел философский кружок, где изучались классические философские тексты.

У меня не было особой склонности к любознательности. Но Черняк умел заинтересовать, умел представить философию как дисциплину, организующую любое мышление, как «хребет» любого мировоззрения. И за время учебы в его кружке я худо-бедно научился как-то ориентироваться в просторах отвлеченного мышления.

Однако в первые годы нашего общения Черняк подвергал мои богоискательства немалым соблазнам.

В ту пору он, казалось бы, совершенно чистосердечно укоренял Бога в «общественных отношениях», представлял Его какой-то проекцией жизнедеятельности древних кочевников-скотоводов.

Услышь нечто подобное от других людей, я бы только посмеялся, но в устах Черняка эти слова заставляли содрогаться.

Здесь следует напомнить, что в ту пору человечество еще чувствовало на себе замогильное дыхание атеизма, еще жило тем мироощущением, которое Ницше нарек «смертью Бога». В ту пору человечество еще только выходило из той долины смертной тени, которой явилась первая половина XX-го века.

Еще в XIX веке вопрос бытия Бога превратился в центральный вопрос бытия человека. Этим вопросом были озадачены все европейцы от мала до велика, от простолюдинов до аристократов. Достоевский (с присущим ему размахом «всечеловека» представивший озабоченность этим вопросом как русскую черту) писал в «Братьях Карамазовых»: «Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Иные то-есть?

Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет опять не будут знать друг друга, ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли бог, есть ли бессмертие?... И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековых вопросах говорят у нас в наше время»^[4]

Время моей молодости, 70-е годы XX-го века, находилось на излете того самого «нашего времени», времени Великой Божественной депрессии. Во всяком случае, свои студенческие годы я проводил именно за решением «вековых вопросов», то есть с утра до вечера выяснял с каждым встречным, есть ли Бог? Есть ли бессмертие?

Главными моими собеседниками стали сокурсники Костя и Олег.

За спиной Черняка мы вели долгую кропотливую работу: обсуждали Кьеркегора и Шестова, уточняли классические доказательства бытия Божия и, наконец, однажды решились. Я дал Черняку почитать свой катехизис — шестовское «Умозрение и откровение». Забирать книгу пришли все вместе. Час истины пробил.

Черняка не проняло. Напротив, он остался недоволен Шестовым, недоволен тем, что тот монотонно бьет в одну точку и выставляет философию в глупом свете. Что-то опять было сказано об особенностях «еврейского скотоводческого коллектива».

Роковых слов произнесено не было, но все как будто бы было ясно и без них.

— Все. Нет никакого Бога, — резюмировал Олег, когда мы вышли на улицу.

— Похоже, что так, — буркнул Костя.

— Да вы что! — вспыхнул я. — Быстро же вы отступились! Но самого меня мутило от ужаса.

Немало времени ушло у меня на войну с ветряными

мельницами атеизма. Но не только на это попусту утекали годы. Обидно было и то, что дискуссии наши действительно обыкновенно происходили в «трактирах».

Мы вели наши беседы повсюду: в «каморке Димыча» — холодильной комнате при институтском морге на 2-ой Пироговке, где подрабатывал оператором наш сокурсник Дима; в доме у Кости, располагавшемся в десяти минутах ходьбы от кафедры патологической анатомии на Ленинском проспекте, где нас, своих студентов, жестоко терзал профессор по фамилии Пыцкий. Мы вели наши беседы на пустырях, в кафе, в скверах, но, как правило, со стаканом водки или кружкой пива в руках.

И Костя, и Олег натурами были порывистыми, и дискуссии наши спорадически прерывались поисками приключений, которые меня несколько нервировали. Помню, однажды, выйдя из «каморки Димыча», Костя заметил пожарную лестницу и полез по ней на крышу здания родного института, угрожая сбросить красующийся там фанерный орден Ленина. Не помню, как все это закончилось (кажется, операция была сорвана прибытием в морг очередного покойника), но сама по себе история характерная.

Как бы то ни было, ни Костя, ни Олег не представляли себе других организационных форм для наших дискуссий, кроме экстремальных возлияний. Поначалу мне это мешало и даже претило, но в какой-то момент я принял этот поведенческий код, оценив его неформальный и бессистемный характер как глубоко соответствующий характеру экзистенциальной философии, которая сторонится не только академических рамок, но и вообще всякой институализации.

Спонтанный, можно даже сказать деконструктивный стиль кабацкой жизни показался мне вдруг подходящей формой стихийной экзистенциальной религиозности.

Я полюбил просиживать в пивных залах, представляя их истинными храмами человеческого общения, я стал проводить время в довольно пустых и праздных компаниях.

Впрочем, без бутылки в ту пору не обходилось почти

никакое собрание, почти никакая «неофициальная часть». Доводилось мне выпивать с автором и некоторыми героями книги «Трепанация черепа», прекрасной повести, по которой можно составить неплохое представление об эпохе «позднего застолья». В этой книге Сергей Гандлевский воспел свою любимую женщину, а из песни слова не выкинешь. У меня по счастью нет столь веской причины вспоминать времена своей юношеской нетрезвости. Скажу лишь, что эпитафией к этим опущенным главам я бы взял слова Высоцкого: «Если правда все это хотя бы на треть, остается одно — только лечь помереть».

Однако не менее чем на треть в той моей жизни присутствовала все же и вполне трезвая правда. Окончание института в июне 1976 года я отметил трехнедельным уединением в импровизированном «скиту» на берегу безлюдного карельского озера. Читал Библию, Шестова, «Византийские легенды», пробовал молиться. Этот опыт оказался очень своевременным и полезным.

По возвращении мы с Костей навестили Черняка в Гурзуфе, где он отдыхал с друзьями.

Там за стаканом кальвадоса я, наконец, в лоб спросил Учителя:

— Как же вы, Леон Семенович, говорили, что Бога нет, когда Он на самом деле есть?

— Я говорил, что нет Бога?! — возмутился Черняк. — Я такого никогда не говорил. Вот найти Его — это действительно непростая задача!

В ПОИСКАХ КУЛЬТА

До той поры мне казалось, что убедиться в Его существовании — значит решить все проблемы. Но по окончании института я все более стал замечать, что этого мало, что найти Бога умом совершенно недостаточно, что искать Его следует всем существом, всей своей «крепостью».

Однако, как это делается, я совершенно себе не представлял: главными духовными авторитетами для меня выступали в первую очередь секулярные, а вовсе не религиозные фигуры, во всяком случае, те из них, творчество которых было сопряжено с экзистенциальными поисками.

Сартр определил человека как предмет, существование которого предшествует сущности: «человек сначала существует, встречается, появляется в мире, и только потом он определяется»^[5]

Для меня в этих словах заключалась вершина религии Откровения; я слышал в них окончательное истолкование слов Торы: «И сказал Бог: да произведет земля существа живые по роду их, и скот, и гадов, и зверей земных по роду их. ... И сказал Бог: создадим человека по образу Нашему, по подобию Нашему»^[6]

Если животные творились «по роду их», по некоему возвышающемуся над ними закону, то созданный по образу и подобию Всевышнего человек уникален. Он не подчиняется какой-то внешней по отношению к нему необходимости, он сам творец, он сам задает свой закон. «Род человеческий» — особый род, в нем каждый индивид не повторяет другого, как сказано: «Адам был создан единственным... Поэтому каждый должен говорить: Ради меня создан мир»^[7].

Я был, однако, не просто «религиозным экзистенциалистом», но в известном смысле также и «антикредикалом». Я заведомо не мог представить себя членом какой-либо «внешним образом» задающей меня конфессии.

Не я первый занял такую позицию. Еще американский просветитель Томас Пейн (1737-1809) писал: «Я верю в единого Бога, и не более, и надеюсь на счастье за пределами этой жизни. Я верю в равенство людей и полагаю, что религиозные обязанности состоят в справедливости поступков... Но для того чтобы не предположили, что я вдобавок к этому верю еще во что-то, я... сказал, во что я не верю... Я не верю в религии, исповедуемые еврейской, римской, греческой, ту-

рецкой, протестантской или какой-либо другой известной мне общиной. Мой собственный ум — моя церковь»^[8]

Мне казалось очевидным изречение Канта: «все, что человек сверх доброго образа жизни предполагает возможным сделать, чтобы стать угодным Богу, есть лишь иллюзия религии и лжеслужение Богу».^[9]

Поэтому, когда в разгаре моих кабацких откровений меня спрашивали: «Ну, а в церковь/синагогу-то ты ходишь?», то я испытывал лишь досаду. Какое отношение к поиску Бога имеют сегодня все эти просфорки и филактерии? Заниматься тем, чем занимаются в церкви, как говорил Кьеркегор, — значит «принимать Бога за дурака».

Внутренней неприязни не было. Напротив, я охотно заглядывал во все попадававшие мне на глаза православные церкви, а когда еще в школе обнаружил на Лубянке костел Св.Людовика, то стал там частым гостем. Я усаживался на галерку и жадно обозревал происходящее. Латынь, звуки органа, рукопожатие дьякона, сопровождающееся приветствием «рах tecum!» — все это поражало мое подростковое воображение. Находящуюся неподалеку синагогу я также навещал при каждом удобном случае.

Но на сознательном, на собственно духовном уровне я культ ни во что не ставил, и казалось, не было силы, способной сдвинуть меня с моего экзистенциалистского «на сём стою». Истинная религиозная жизнь могла быть в моих глазах исключительно вне-конфессиональной.

МИСТИЧЕСКИЙ АБОНЕМЕНТ

Когда в 1977 году Олег крестился у священника Дмитрия Дудко, я испытал только тупое недоумение. Мог ли я вообразить, что через несколько месяцев сам стану кланяться в пояс батюшкам, обдающим меня клубами дымящегося ладана?

Произошло все в высшей степени случайно. Как-то осенью того же 1977 года я заметил на столбе возле метро «Ки-

ровская» написанное от руки объявление: кто-то продавал книги, среди авторов значился Кьеркегор.

Я позвонил. Молодой человек по имени Веня, оказывается, собирался эмигрировать в Израиль и продавал свою библиотеку. Он так никуда и не уехал, и впоследствии — главным образом по тем же букинистическим делам — я иногда его навещал. Года через три после нашего знакомства Веня принял православие, а в перестройку, уже из СМИ, я узнал, что он нарекся «Архиепископом Иоанном» и возглавил некий «Богородичный центр».

Итак, знакомство это было совершенно случайным, и в то же время в нем с легкостью опознавалось то «систематическое вмешательство свыше», о котором я упоминал.

После обретения шестовского «Умозрения и откровения» я неоднократно поражался своевременному появлению в своих руках какой-то важнейшей для себя книги. Я жил так, словно получил абонемент в какую-то мистическую библиотеку.

Агент Мосада Виктор Граевский, благодаря которому речь Хрущева на XX съезде КПСС попала на Запад, поведал в каком-то интервью об одном интересном опыте. Долгие годы, выполняя различные задания, полученные от совершенно незнакомых ему людей, он испытал необычное волнение, когда, наконец, однажды встретился с ними.

Все мы — как выразился Кьеркегор, «агенты на службе Господней» — переживем, наверно, нечто подобное, когда в грядущем мире нам откроется, как подстроилась для нас та или иная встреча, чьими молитвами перед нами открылась та или иная возможность.

Кое-что в моей судьбе, как ниже я еще попытаюсь это показать, подстроил «Мировой дух». Возможно, не обошлось без него и при знакомстве с будущим «архиепископом».

«Кьеркегором», упомянутым в объявлении приведшим меня к нему, оказался машинописный текст, посвященный жертвоприношению Ицхака. Отрывок этот был знаком мне

наизусть по изданию «Антологии философии» и мало заинтересовал. Но зато я приобрел книгу, которая тогда — в 1977 — на мгновение выбила меня из моего экзистенциального седла и принудила в упор заглянуть в лицо традиционной веры.

Я абсолютно убежден, что, по крайней мере, в ту пору — а возможно, что и вообще в любую другую — ничто кроме этой книги не могло бы развернуть меня в сторону практической религии. И вот эта книга в нужный момент оказалась у меня в руках, причем только-только выскочив из типографского станка!

То был свежий 17 номер «Богословских трудов», издававшихся при Московской патриархии (но для открытой продажи не выставлявшихся даже в церквях) и содержащий работу священника Павла Флоренского «Философия культа».

Книга задела за живое. В ней отрицалось все, что ценил я, и восхвалялось все, что я презирал. Я разделял просветительский взгляд, согласно которому культ в примитивной форме (уровень представления) дает то же самое, что с куда большей отдачей дает опыт содержательный (уровень понятия). Мне было очевидно, что секулярное сознание произвело с христианством ровно то же самое, что само христианство еще раньше проделало с иудаизмом, а именно все свело «к сути».

«Не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на теле», — учил апостол Павел. Кант, Гегель и прочие просветители с «религиозным уклоном» фактически сказали следующее: «не тот христианин, который таков по крещению, но тот, кто по поступкам таков».

Но Флоренский все развернул на 180 градусов. «Не вещи святы так, как святы люди, — поучал он в своей книге, — а люди святы так, как святы вещи!»

По нему выходило так, что религия была и остается религией только «на уровне представления», что «на уровень понятия» сублимируется что-то незначительное и жалкое, во всяком случае, что-то совершенно другое!

Я не очень знал, в чем состоят христианские таинства, но понимал, что это как-то связано с толкотней старушек перед алтарем, и совершенно не мог представить себя в этой компании. Флоренский же писал: «Таинства — Богочеловеческая действительность, где земное просветлено и от Света небесного получает собственное свое содержание. Таинство — это изъятые из повседневности участки повседневности, вырезки жизни.»^[10]

Флоренский утверждал, что в любом культе, начиная со службы в Иерусалимском храме и кончая сатанинскими оргиями, имеется смысл: «Храм Иерусалимский... Трудно было вынести ИСТИНУ высшей реальности, открывающуюся в культе. Прикосновение к ковчегу убивало, осквернение культа каралось смертью... Но если страшно это, то сколь страшнее языческие культы, с их человеческими жертвами, с бросанием в разженные недра идолов—детей, с закланиями, с вырыванием сердца у живого человека, со священными истязаниями и т. п.»^[11]

Этот подход: больше крови — больше духовности — не на шутку шокировал, но что-то в нем все же определенно имелось.

Обескураженный и заинтригованный, я перечитал «Философию культа» еще раз, и в конце концов решил, что мне стоит на деле проверить состоятельность этих парадоксальных тезисов.

Так я стал вместе с Олегом заезжать в Гребнево к священнику Дмитрию Дудко, посещать церковные службы и читать церковную литературу.

Я ощущал угловатость и вымученность своих новых опытов, но в то же время определенно заметил, что положительная религия способна преобразовывать, менять человека, и продолжал свое воцерковление.

Научившись представлять перед Создателем, я одновременно научился обнаруживать в себе те грехи, которые были совершенно незаметны для меня прежде, в ту пору, когда я парил в высотах автономного мышления.

ПОЛУЧЕЛОВЕК

Тут резонно задаться вопросом: почему, согласившись отвеждать духовных яств религиозного культа, я предпочел блюдо христианской, а не еврейской кухни?

Во-первых, иудаизм смущал меня своим партикуляризмом, своим, как мне тогда казалось, игнорированием духовных запросов всего человечества. Во-вторых, работала инерция: с раннего детства я слышал от своей русской бабушки Фроси, что она крестила меня, и исходно чувствовал определенную принадлежность.

Но главное заключалось все же не в этом. Христианство выглядело единственно истинной религией прежде всего потому, что именно оно породило универсальные экзистенциальные формы духовности.

За годы, проведенные в философском кружке, я твердо усвоил, что на базе прежде всего христианской теологии, на базисах схоластики были сформированы все интеллектуальные парадигмы, которые предопределили развитие секуляризма с его философией, наукой и демократическими институтами. Как справедливо отметил Чаадаев: «искали истины — нашли свободу и благоденствие».

Секулярное мышление уходит своими корнями в первые церковные соборы, и уже поэтому христианский выбор был для меня в ту пору само собой разумеющимся, единственно мыслимым выбором.

Еврейский религиозный мир, тем не менее, также влек меня и в качестве фона присутствовал постоянно. Достаточно сказать, что свою «тшуву», свое покаяние я приурочил к Рош-Ашана — на новый 5739 (1978) еврейский год я бросил курить и на пять лет отказался от спиртного. Следующие пять лет, т.е. до самого «звездного» 1988-го, я употреблял вино исключительно в рамках культовой необходимости.

Как бы то ни было, в тот момент религия волшебным образом помогла мне выкарабкаться из вязкой трясины повсе-

местного советского застолья. А ведь эта проблема не была единственной.

В ту пору, когда мои религиозные искания ограничивались чисто интеллектуальной сферой, на душе постоянно было скверно. Тошнота, вызываемая советской властью, проступавшей с каждого дорожного плаката, с каждого сумрачного милицейского лица, и повсюду слышавшейся трескотни радиостанции «Маяк», усиливалась тошнотой экзистенциальной — то есть внутренней подавленностью и неуверенностью ни в чем.

Но вот теперь все куда-то отступило! Я почувствовал, что преобразился, стал самим собой. Теперь, когда порой на сердце приходила тоска, я встряхивал головой и с удивлением вспоминал: «Надо же, и ведь с этим чувством я когда-то жил постоянно!»

Но особенно следует отметить улучшение, наступившее в романтической сфере.

У всех подростков просыпается могучее либидо, способное сильно отравить им жизнь, однако меня в пору моей юности тревожило и еще что-то, что у среднего человека проявлено значительно слабее — либидо, так сказать, «духовное».

Я не был знаком в ту пору с талмудическими изречениями: «Человек без жены — не человек» и «Когда человеку исполняется двадцать, Бог спрашивает: когда уже он женится, наконец?», но все мое существо было способом существования этих изречений: каждый Божий день я не мог поверить, что прожил его без жены. Я не чувствовал себя человеком. Второе значение русского слова «холостой», в моем случае, как ничто лучше раскрывало значение первое: холостой мужчина — холост точно так же, как выстрел.

Во всяком случае, когда я вошел в возраст Адама, и Божественный вопрос «когда же уже этот человек, женится, наконец?» прозвучал во мне со всей своей мощью, меня словно подкосило. Я не на шутку влюбился в девушку, с которой

был знаком не один год, но которая ничем меня раньше не привлекала. Не привлекала она меня и никогда после того, но в тот момент драма разразилась нешуточная: вокруг нее увивались два поклонника 24-х и 28-и лет, и мои ухаживания были мягко отклонены.

Слушая в философском кружке, как страстно обсуждаются студентами идеи Платона или категории Канта, я часто озадачивался вопросом Камю: о чем они спорят? Как можно во все это вникать, не выяснив для себя, прежде всего, вопрос бытия Бога, не выяснив того, стоит ли вообще жизнь того, чтобы ее прожить?

Между тем, сам я забегал еще на один шаг перед Камю, и спрашивал: как я могу ответить на вопрос «быть или не быть?» без той единственной души, в паре с которой я был призван решать все на свете вопросы? Как быть, если быть я еще и не начал?

Я ощущал себя получеловеком, полуфабрикатом, не годным по-настоящему ни на одно дело. Как обычный человек томится от неразделенной любви, так я страдал от отсутствия ее предмета.

Я периодически испытывал влюбленность к какой-либо случайно оказавшейся в поле моего зрения сверстнице, но развития чувства эти не получали никакого, так как с одной стороны, я распугивал всех своей тяжеловесностью, а с другой — и сам стопорил развитие отношений: моему пониманию было недоступно, каким образом можно овладеть женщиной без твердого намерения разделить с нею вечность.

В АЛЬБОМ ВЕРТЕРУ

Моя брачная одержимость, разумеется, имела под собой твердую духовную почву. Слова благодарения «Благословен Ты, создавший человека по Своему образу» произносятся не тогда, когда человек родился, и не тогда, когда ему делают

обрезание, а когда он становится со своей нареченной под свадебный балдахин. Только в это мгновение возникает человек, только в это мгновение создается его «критическая масса». И все же до того как это произошло, он не вправе раскисать.

Я вполне сознавал, что моя недоделанность — это род зависимости, что состояние мое унижительно. Я понимал, что человеческое достоинство требует от каждого состояться даже и в одиночестве. Но мне очень мешали стандарты той религиозной культуры, в которой я сформировался: я имею в виду светский культ любовных отношений, основывающийся на европейском романе.

Любовь между мужчиной и женщиной должна быть адекватной, иными словами, она должна быть сбалансирована со всеми прочими чувствами и привязанностями, и в первую очередь — с любовью к своему Создателю. Если Его присутствие ежесекундно не ощущается, то возникает «перекос», вспыхивает та «безумная любовь», которая стала бурно культивироваться внезапно расцветшей в XIX веке европейской литературой. На насиженном религией святом месте вальяжно расселась посвященная любовным отношениям «изящная словесность». На смену великим теологам и проповедникам пришли литераторы, показывающие, что для человека нет ничего более значимого, чем любимая женщина. Ради нее он жертвует жизнью, карьерой, родиной и т.д., и при этом испытывает даже определенное моральное удовлетворение.

Европейский роман превратился в своеобразную квазирелигию, и как ничто другое способствовал распространению веры в то, что Бог находится не на стороне моралистов и религиозных ригористов, а на стороне живых людей, защищающих право на свои чувства, на свою личную жизнь.

Начало этой новой религии положил Данте. Куртуазная лирика возникла двумя веками ранее, но она оставалась локальным явлением и не колебала устоев. Именно Данте, то-

ном, не допускающим никаких возражений, заявил, что по отношению к женщине, в которой «Господь нездешний мир являет», заповедь «не пожелай жены ближнего» теряет силу.

Когда же смерть Беатриче развела ее с мужем, Данте полностью вошел в права ее служителя, и на страницах «Новой жизни» и «Божественной комедии» возвел преклонение перед женщиной в статус религии.

Предельным выражением этой общей тенденции абсолютизации любовной страсти можно признать небольшое, но очень нашумевшее произведение Гете «Страдания юного Вертера»: отвергнутая любовь приводит к самоубийству, подтверждающему ее предельную, абсолютную ценность.

Почему Вертер не смог правильно ответить на предварительный вопрос Камю («стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить?») без близости с Лоттой? Чем отличались муки Вертера от мук, описываемых тем же Данте?

Усмотрев в Донне нечто «божественное, явившееся с неба, чтобы уделить земле луч райского блаженства», о самом Божестве Данте ни на секунду не забывал, и утешался не только философией. Но в условиях нарастающего духовного голода, в условиях приближающейся «смерти Бога», Гете представил Женщину единственным божеством, единственным существом, которое «нездешний мир являет».

Я прочитал его книгу, когда был юн почти как сам Вертер, и страдания ее героя произвели на меня неизгладимое впечатление. Но концовка решительно не понравилась, и я написал четверостишие, озаглавленное «В альбом Вертеру»:

*Самоубийца перед Богом опозорен
Тому подобно, как перед девицей
Ее вздыхатель, не убивший себя с горя,
А вместо этого решивший оскотиться.*

Итак, умом я давал верный ответ на предварительный вопрос Камю, даже оставаясь один, но существо мое при

этом надрывалось. Найти такой баланс любви, который бы позволил быть человеком, даже оставаясь получеловеком, мне удалось лишь прибегнув к поддержке практической религии.

НА ТРЕХ СТУЛЬЯХ

Однако на месте прежних отсеченных проблем, как головы дракона, выросли новые, связанные со значительной искусственностью и зашоренностью традиционной религиозности. Я упорно искал открытых верующих, но не находил их.

Одним из редких исключений был Сандр Рига, называвший себя «экуменическим христианином».

Яркий человек и подлинный подвижник, дававший понять, что принял обет безбрачия, он жил один в небольшой комнатке коммунальной квартиры, целиком посвятив себя проповеди и молитве. Покаявшись в 30-летнем возрасте, он пробовал наладить свою религиозную жизнь в церквях разных направлений, однако вскоре пришел к идее создания экуменической общины.

Сандр стал печатать на машинке журнал «Призыв» и собирать домашние молитвенные собрания. В одно из таких организованных им собраний пригласил он и меня, и в конце 1979 года я согласился поучаствовать в его «Экумене».

То было счастливое незабываемое время, однако продлилось оно всего год. Вопросы, которые смущали меня еще в самом начале, так и остались неразрешенными. Сандр видел в экуменизме не союз разномыслящих общин, а некую дополнительную общину, мыслимую им довольно невнятным образом. Мне, во всяком случае, казалось, что экуменизм Сандра был логически недоработан, а «вливаться» в него на «все сто» меня не тянуло.

Со своей стороны Сандру пришлось не по душе мой сионизм и мой экзистенциализм. В моей идее партнерства

религиозного и секулярного опытов он видел лишь незавершенное покаяние, а в сионизме — национализм.

Несмотря на наши разногласия, Сандр издал в одном из номеров своего «Призыва» мою статью, и на ее основе в том же 1980 году я стал писать книгу «Здесь и теперь», в которой отстаивал паритетность религиозной и секулярной духовности. Бездумная религиозность представлялась мне такой же тщетой, как и горделивый лишенный смирения интеллектуализм.

Иногда хотелось просто выть: встречавшихся в жизни религиозных людей отличали опасливое скудоумие и хамоватая поза. Открытость агностиков выглядела подлиннее, но платить за нее приходилось духовной неадекватностью, а нередко даже и аморальностью. Принцип неопределенности.

Трудно исчислить часы, проведенные мною в спорах с философской паствой Черняка о пользе религии, и в спорах со множеством верующих — о пользе экзистенциализма. Причем с обеих сторон я часто слышал тот же упрек: ты сидишь на двух стульях.

— Пусть так, — отвечал я, — зато вы сидите на своем единственном стуле на одной ягодице. Мое положение куда устойчивее.

Мир был расколот на мир секулярных людей и людей религиозных, раскол этот проходил и через мое сердце: я живо нуждался в обоих мирах, заведомо принадлежал двум враждующим станам, и более того, не видел альтернативы их союзу: мыслящие люди все равно как-то верят, а верующие все равно как-то думают.

Потребность в Боге удовлетворяется в практической религии, но та в свою очередь нуждается в интеллектуальном подтверждении своей осмысленности. Эта герменевтическая проблема («верю, чтобы понять; понимаю, чтобы поверить» Августин) упирается в гегелевское разделение между практической религией, как «уровнем представления», и просветительской духовностью как «уровнем понятия». Но я все более убеждался, что эти формы должны были вступить

в диалог на равных, то есть не как этапы, а как суверенные партнеры.

Однако в действительности схема оказалась сложнее. Все более я сознавал, что в спор этот совершенно на равных вторгается также и третий субъект — еврейство, сионизм. Голос еврейской традиции, с которой в ту пору я был знаком не лучше любого христианина, тем не менее, постоянно заявлял о себе, — в первую очередь духовной осмысленностью еврейских родовых отношений.

ГОЛОС ЕВРЕЙСКОЙ КРОВИ

Я давно отличил свои чувства к еврейским родственникам от аналогичных чувств к русской родне. Я обожал и отца, и деда, но чувства к ним уходили в стихию, которая сама по себе была способна обходиться без Бога — в родные леса, бревенчатые избы, народные сказки и песни.

В то же время в еврейские родственные отношения с материнской стороны неявно было вмонтировано религиозное влечение, позволяющее, мгновенно пробежав пунктир сотен поколений, ощутить тепло того очага, который поддерживали Сара, Ривка, Рахель и Лея.

Еврейское происхождение ежесекундно напоминает о Боге, требовательно призывает к Нему, а потому и все семейное, все «фольклорное» в еврейском мире духовно притягательно и религиозно осмысленно.

Время от времени я порывался что-то из этого «еврейского фольклора» усвоить. Так в 1982 году я начал изучать иврит; а в 1983 — впервые побывал на пасхальном седере, затем стал ходить на чтение комментариев РаШИ. Я разучивал «нигуны» и песни, читал все, что попадалось мне по иудаизму, но при этом еврейская религия так и не стала для меня религией на уровне мировоззрения. Иудаизм относился к внутренним семейным переживаниям, но никак не тянул на религиозную истину.

Вместе с тем сами эти «семейные переживания» на поверку оказывались непомерно могущественны. Прежде всего эта «непомерность» сказывалась в потребности жениться непременно на еврейке.

Порой я начинал ненавидеть себя за это. Ведь это чувство, казалось, находилось в прямом противоречии с моими общими моральными установками, согласно которым происхождение считалось пустым бременем, а выбор супруги по ее природным и национальным свойствам — расизмом. Зачем мне так важно было чувствовать себя евреем, если все мое мировоззрение чистосердечно сводилось к «общему»?

Корень этого чувства я в какой-то момент усмотрел в «акеде» — т.е. в жертвоприношении Ицхака. Подвигнув Авраама на убийство сына и под занесенным ножом неожиданно, чудесным образом вернув ему жизнь, Всевышний тем самым вошел в их отношения, врос между ними. Важно быть человеком, и это единственное, что важно, но рождение евреем обязывает к человеческому бытию, и поэтому оно по-человечески значимо. Голос еврейской крови — это голос крови Ицхака, пролитой на горе Мориа под видом крови ягненка!

Происхождение от Ицхака воспитывает жертвенность, сообщает чувство посвященности Создателю. Отсюда и «непомерность» желания не разбавлять эту кровь.

Состояться как личность, осознать себя человеком можно, разумеется, по самому разному поводу, но коль скоро в каком-то роде укоренен мощный источник, пробуждающий к такому сознанию, то как можно во имя своей человечности от рода этого отказаться, как можно променять его на какой-то другой род, такого источника лишенный?

Итак, свой еврейский род я променять не был готов, но свою еврейскую религию — да.

Я не понимал иудаизма, точнее, не понимал, как можно выбирать религию, заведомо распространяющуюся не на всех людей. Сартр сказал: «выбирая для себя, я выбираю для всего человечества». Разве можно выбирать иначе?

ЗАВЕТ АВРААМА

Вопрос этот действительно трудный, допускающий даже, что ответа на него может и не быть.

Дело в том, что так повелел Бог. А Богу доверяют, то есть, Его слушаются еще до того, как Его поняли, рискуя при этом не понять никогда.

Так поступил первый еврей — Авраам. В Харане он пришел к идее Единого Бога всех людей. Но когда этот Единый Бог, казалось бы, вопреки Своей собственной логике, повелел ему «уйти из земли твоей, от родни твоей», чтобы произвести от него отдельный народ, Авраам послушался. Послушался, хотя поначалу явно ничего не понял, так как привел с собой в Кнаан «души, которые приобрел в Харане» — т.е. прозелитов.

Прошли десятилетия, пока Авраам осознал, что Бог задумал произвести от его сына Ицхака альтернативное человечество, чтобы только это человечество сделать Своим.

Однако Авраам не только не отверг этот загадочный план, но даже прогнал своего первенца Ишмаэля! Так же он поступил и другими своими детьми, рожденными после смерти Сары: «И отдал Авраам все, что у него, Ицхаку. А сынам наложниц, что у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Ицхака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю Кэдэм».

Итак, в землю Кнаан Авраам пришел вместе с посторонними его семье единоверцами. Теперь же, на закате дней, он отсылает из Святой земли собственных детей, лишь бы они были подальше от избранного Богом Ицхака и не примешивались к его миссии!

Но зачем понадобилось это загадочное разделение? Что имел в виду Создатель, когда избирал Израиль и давал ему особый закон, отличный от (полученного после потопа) закона всех людей?

В мидраше «Берешит Раба» говорится, что с тех пор как мир сотворен, «Святой, благословен Он, сидит и сочета-

ет пары: дочь такого-то человека — с этим мужчиной». Под «сочетанием пар» в первую очередь мудрецами понимается сочетание вообще «противоположностей». Уже в основе творения лежит пара — «бытие» и «ничто». Всевышний «сократился», создал «ничто», и, взаимодействуя с ним, породил все многообразие мира. Это подобно тому, как, используя всего два знака — «ноль» («ничто») и «единицу» («бытие»), программист кодирует ими не только все цифры и все буквы, но и все цвета и все звуки. Однако не нужно быть Фрейдом, для того чтобы заметить, на что похожи ноль и единица.

В основе мироздания еврейская традиция усматривает брачный «синтез», согласно которому противоположности сохраняются в качестве изолированных субъектов: соединяясь, супруги порождают не андрогин, а таких же, как они, мужчин и женщин.

Создав человека по Своему «образу и подобию», Всевышний сказал: «нехорошо быть человеку одному». Он отделил от человека часть, и превратив ее в такое же целое суверенное существо, как и сам человек, «привел ее к человеку». Тем самым Всевышний заложил основание некоторой особенной, брачной логики, которая впоследствии как раз и проявилась в избрании Израиля, в разделении мира на святое и будничное.

Осуществленная Богом операция по рассечению человека («взял одно из ребер его, и закрыл плотию то место. И перестроил Господь Бог ребро, которое взял у человека, в женщину») — это в первую очередь удвоение личности, а не просто раздвоение организма.

Но то, что Всевышний совершил с первым человеком, отделив от него женщину, Он впоследствии совершил и со всем человечеством, отделив от него Израиль (согласно традиции, Израиль уподобляется жене, а народы — мужу). ^[12]

ИСКРЫ И СКОРЛУПЫ

В начале 80-х годов я и помыслить себе не мог такой диалектики, и, соответственно, не замечал в иудаизме какой-либо религиозной истины.

В ту пору я был по-прежнему сосредоточен на проблеме сопряжения церковной веры и экзистенциальной философии, предоставляя последней множество полномочий.

Погрузившись по совету Флоренского в традиционную религиозность, через какое-то время я отпустил вожжи. Я выработал для себя правило строго придерживаться лишь тех церковных обычаев, которым находил экзистенциальную интерпретацию.

Я убедился, что хотя религии властно поучают, они за что не отвечают; что окончательная ответственность за выбор того или иного пути к Богу лежит на человеке. Он и только он должен будет объяснить Создателю, почему направился к Нему именно такой дорогой.

Да и, кроме того, традиционная религия — любая традиционная религия — неизбежно содержит в себе много постороннего и наносного.

За множеством общественных и религиозных начинаний стоят идеалисты, стремления и методы которых чисты и безупречны, все они дарят миру какую-то искру, приносят в него еще один луч Божественного света. Но вскоре вокруг них появляются «секретари» и «последователи», возникает «движение», дело ставится на широкую ногу... и искра тускнеет под нарастающей над ней организационной скорлупой.

Даже хасидизм, зародившийся как свободный порыв по извлечению «искр», очень скоро стал закостеневать. Он умудрился загнать в «скорлупу» семью — самое неформальное образование из всех возможных, — установив институт «цади́ков», передающих свою «искру» по наследству вместе с фолиантами и посудой.

Однако до сего дня так и не нашлось эпигонов, пожелавших запечатать в скорлупу учреждений искру религиозного экзистенциализма; не нашлось людей, попытавшихся монополизировать экзистенциальную философию и тем самым в какой-то мере скомпрометировать ее в глазах человечества.

Удивительно, но в природе не встречается экзальтированных приверженцев Кьеркегора или Шестова, насаждающих их учение средствами агрессивного маркетинга!

Чудесным образом экзистенциальная философия избежала присущего всем духовным движениям перерождения. Экзистенциализм был и остается неформальным учением, которое все на свете привлекают для собственной рекламы, но которое никто не способен оседлать в собственных интересах.

Как это произошло? Как Кьеркегору и другим мыслителям его школы, пришедшим после него, удалось избежать даже самого легкого, косметического «оскорупления»? В чем секрет заданного Кьеркегором «тона», не дающего людям кучковаться вокруг него и позволяющего общаться с ним лишь наедине?

Во-первых, сам он не стремился создать какое-то на широкую ногу поставленное движение, а во-вторых говорил о поиске религиозной истины как об исключительно частном, даже интимном деле: «Я не намеревался писать книгу, говорящую от имени миллионов и миллиардов». «Существует мировоззрение, согласно которому повсюду, где масса, там и правда... Но есть и другое мировоззрение, согласно которому повсюду, где масса, там и неправда»^[13]

«Заброшенность в мир», о которой заговорили экзистенциалисты 40-х — 50-х годов, подразумевает выброшенность из общего.

Вот что говорит о вновь открывшейся природе религиозной истины Лев Шестов в завершении своей книги «Только верой»: «Если Бог со мной — мне никого не нужно. Не нужно даже, чтобы люди признавали, что Бог со мной. Не нужно,

чтобы Бог ополчался на тех, кто против меня. Не нужно, чтобы все были как я, чтобы были у меня средства вести за собой людей. Вести и объединять людей для человеческого дела может человек. Но к Богу приходит человек лишь тогда, когда Бог его позовет, когда Бог приведет его к Себе. Последняя истина рождается в величайшей тайне и одиночестве. Она не только не требует, она не допускает присутствия посторонних...»^[14]

Стоит ли удивляться тому, что «учение» Шестова и ныне остается чистой и яркой искрой, подле которой мне, во всяком случае, с самого начала хотелось налаживать свою религиозную жизнь.

ЭКЗИСТЕНЦИОНАЛ

Но разве можно построить общину из монад? Из одиночек,двигающихся каждый своим путем? Разве возможно хоть сколько-нибудь видимым образом построить невидимую церковь? Разве это не заведомая профанация?

Такое предприятие требует большого запаса самоиронии. В 2012 году я опубликовал роман «Мессианский квадрат», в котором позволил своему герою заявить об учреждении... Экзистенционала!

Слово, с одной стороны несущее однозначную смысловую нагрузку, а с другой, язвительную насмешку над своей организационной неосуществимостью. Причем ироническая составляющая этого слова заведомо исключает какое-либо его серьезное использование.

В 1980-м году я попытался, тем не менее, предпринять нечто подобное. В «Экумене» я не прижился. Однако к тому моменту, когда я ее покинул, я уже многому научился у Сандра в практическом плане, и главное, повстречал нескольких молодых людей, готовых строить неформальное религиозное братство, поднимающееся на экзистенциальной закваске.

Все мы были либо студенты, либо выпускники Медико-Биологического Факультета (МБФ), и все в той или иной степени участвовали в работе философского кружка, который как раз в 1980 году прекратил свое существование: в июне Черняк подал на выезд в Израиль — и на другой же день был изгнан с работы. В ОВИРе он довольно скоро получил отказ, занялся репетиторством, и общение поддерживал только на частном уровне.

Первым я сдружился с Юрой — вдумчивым и благодарным собеседником, охотно поддерживающим тему дополнительности традиционной веры и частной религиозности. Он и его жена Лена жили в студенческом общежитии на улице Волгина, где в 1979 году я бывал частым гостем.

Там же в общежитии я сошелся с Ирой — робкой, ни в чем неуверенной девушкой, задающей неожиданные въедливые вопросы и повсюду забывающей сумки. Когда мы познакомились, она увлекалась йогой, но за год нашего общения всерьез заинтересовалась также и Библией. Во всяком случае, заинтересовалась настолько, чтобы решиться принять участие в планирующемся начинании.

С Витей, закончившим в 1980 году МБФ, мы сошлись весной — разговорились как-то в книжном магазине. Человеком он казался искренним, ищущим, равнодушным, но скептицизм одолевал. Я пытался расширить его впечатления, завез как-то в Новую деревню к Александру Меню, привел, разумеется, и в гости к Сандру. В какой-то момент хозяин вышел вскипятить воду.

— Вот что значит молодость! — отметил сорокалетний Сандр, вернувшись с чайником. — Вы так страстно спорите! Я на кухне отлично вас слышал.

Наши молодецкие споры продолжались до осени, и в конце концов Витя также согласился поучаствовать в религиозном «общении».

Первую встречу мы провели у Юры и Лены. Я истолковал какое-то место из Библии, кто как умел, попробовали молиться, сели пить чай. Условились встретиться через неделю.

Но через несколько дней после того нашего собрания Витя пропал. Сказал, что уезжает куда-то на ноябрьские праздники, однако через день родные нашли его предсмертную записку.

Вместе с Витиным сокурсником Женей мы отправились в милицию, где нам предложили опознать только что обнаруженное тело молодого человека. Мы оказались в том самом морге, где когда-то учили анатомию, и при котором некогда располагалась гостеприимная «каморка Димыча». На носилках лежал скептик Витя, уверовавший полной верой в то, что со смертью все его сомнения и терзания завершатся. Позже Женя написал воспоминания о своем друге, названные им «Витя — Московская повесть»^[15]

Мы с Женей как-то быстро сошлись, и он вместе со своей женой Аллой присоединились к нашему хрупкому начинанию. В следующем 1981 году наше общение пополнили также надежный и обстоятельный Шура и яркая энергичная Леночка. К концу учебы в институте они поженились.

Чуть позже на вечера наши стал заглядывать также и ветеран философского кружка Алеша: молчаливый и сдержанный в бытовом разговоре, он удивительно оживлялся по мере того, как начинал излагать какую-либо философскую мысль.

Мы молились, обсуждали книги, толковали Св. Писание, ну и конечно, каждый сам по себе, как того хотел, участвовал в церковной жизни.

Меня в ту пору все более тянуло к ее Западной ветви.

С подачи Сандра я еще в 1980 году завел некоторые контакты с рижскими католиками, но первое настоящее «погружение» в католический мир произошло в апреле 1982 года, когда мы довольно большой группой (человек 7 или 8) отправились в Вильнюс.

Мы познакомились с ксендзом Казимиром Василяускасом и с моей сверстницей — монахиней Терезой, приютившей нас в своем катакомбном монастыре.

Отец Казимир — полный, улыбчивый, вечно подшучи-

вающий, отмечал в те дни своё шестидесятилетие. Обитал он там же, где и служил — в небольшой комнатке в костеле Рафаила, подниматься в которую приходилось по винтовой лестнице. Он пригласил нас к себе, угостил оставшейся после юбилея выпечкой, и стал делиться воспоминаниями о своем «сибирском периоде»: почти двадцать лет он провел в советских лагерях, и полгода — в нацистском.

С того дня я стал принимать участие в католической мессе, формально оставаясь православным, а через три года и вовсе перешел в римскую веру, прочитав соответствующий чин, извлеченный отцом Казимиром из шкафчика в закристии.

Через месяц после первого визита я вновь отправился в Вильнюс, на этот раз, чтобы крестить Иру. Уже полтора года продолжались наши молитвенные встречи, но она по-прежнему держалась неуверенно, а по отношению к традиционной религии так даже и отчужденно. Креститься совсем не торопилась.

Однако теперь нечто произошло: Ирина оказалась в положении от одного из светил философского кружка, категорически отказавшегося на ней жениться.

Невозможно не уважать женщину, которая не пытается исправить собственные просчеты, лишая ребенка жизни, и вместо этого готовится посвятить ему свою. Впрочем, я до конца не верил, что отец не одумается.

Как и в первый раз, мы остановились в терезином католическом монастыре — ухоженном одноэтажном домике с тенистым садом и с пианино в центральной комнате.

Крестилась Ира под именем Жанна, а ее попечителями стали я и Тереза.

Помимо обязательств воспитывать в вере своего крестного ребенка, поручительство за новообращенного является у христиан также и разновидностью монашеского обета, ибо налагает запрет на браки как между крестными родителями

и их детьми, так и на браки между самими крестными родителями. И я помню, Тереза несколько раз шутливо напомнила мне об этом.

ИУДЕО-ХРИСТИАНСКИЙ СИНТЕЗ

Когда я появился в Вильнюсе еще раз осенью, предостережение это было повторено уже безо всякой игривости. Оказалось, месяцем раньше без каких-либо видимых причин Терезу выгнали из монастыря. Она находилась в угнетенном состоянии, искала поддержки, советовалась с духовниками.

Мы много общались с ней в тот мой приезд и коротко сблизились. Постепенно выяснилось, что Тереза — духовидица, что на протяжении многих лет ее молитвы сопровождались мистическими явлениями. Историю Терезы я подробно описываю в другой книге — «Лики Торы», и не стану здесь повторяться.

Я сочувствовал возникшей у нее идее собрать вокруг себя девушек с монашеским призванием, но сам был озадачен противоположной задачей.

В том году мне исполнилось тридцать, но, как и десять лет назад, вопрос «когда же этот человек женится, наконец?» оставался открытым. Во всяком случае, рядом со мной не появлялась привлекательная еврейская девушка, которая бы в равной мере и глубоко верила, и глубоко сомневалась.

Но так ли уж, действительно, важно, чтобы она была еврейской? — иронизировала моя совесть. — Может быть, все же достаточно лишь двух первых требований?

Решив, что особенность «голоса еврейской крови» связана с происхождением евреев от жертвенно связанного Ицхака, я спрашивал себя: Как такое высокое призвание может не касаться всех людей? Неужели это призвание невозможно каким-то образом передать так же и другим народам?

Ответ, казалось бы, лежал на поверхности. Если Церковь

называет себя Израилем, то пусть и ведет себя соответственно, пусть почувствует свою кровную связь с Патриархами.

Так летом 1982 года я написал книгу «Единый завет», в которой утверждал, что если христиане честны с собой и действительно верят, что с крещением и причастием становятся единокровными Иисусу, то пусть тогда докажут это пробуждением собственного семейного самосознания, пусть почувствуют себя сынами Авраама именно по крови. Для себя же в этой теологии я усмотрел определенное оправдание возможной женитьбы на нееврейке.

Однако вскоре я заметил, что расчет мой содержал грубые погрешности. Подводные камни один за другим стали выходить на поверхность. Чем больше я стремился к универсализации иудаизма, чем больше пытался привить христианству отсутствующие в нем иудейские элементы, тем больше убеждался, что сам иудаизм навсегда останется за скобками Вселенской Церкви, что сам он никогда не согласится иметь к этому «последнему синтезу» хоть какое-то отношение.

По мере обсуждения с друзьями своей книги, по мере ознакомления с еврейской традицией я все больше стал сознавать, что объединить иудаизм с христианством невозможно. Невозможно именно потому, что таким объединением уже является само христианство, и любые «иудео-христианские» синтетические формы оказываются его разновидностью. Именно его, но ни в коем случае не иудаизма.

Однако альтернативный путь предназначался сам собой. Так ведь и мужчина, в отличие от женщины (являющей собой чистую сущность — Х Х хромосомы) всегда представляет собой синтез мужчины и женщины (Х и У хромосомы), и тем не менее, сам не превращаясь в женщину, умеет вступить с ней в весьма продуктивные отношения!

Иудео-христианский «синтез» — фиктивное и деструктивное явление, однако диалектический союз между «привитой» и «эталонной» формами еврейства виделся мне теперь вполне возможным. Более того, такая диалогическая форма

стала казаться мне предустановленной свыше. Израиль навсегда остается сам по себе, а Церковь сама по себе, но обе стороны способны оценить и осмыслить свои взаимоотношения как партнерские, как брачные.

В 1983 году я разжился еврейским молитвенником с параллельным переводом и стал тщательно изучать как сами молитвы, так и пояснения к ним.

Скоро стало ясно, что у иудаизма имеются точки несовместимости не только с церковным христианством, но и с его порождением — внецерковным благочестием. Выяснилось, что метод отделения «плевел», которым я успешно пользовался в отношении церковных обрядов, а именно: держаться лишь тех из них, которым удастся выявить экзистенциальный смысл, в случае иудаизма решительно буксовал. Вполне имманентный христианству аршин содержательного мышления в иудаизме не мог разметить и половины деталей.

Оказалось, что позицию «частного верующего», которую без труда можно было отстоять с Библией в руках перед лицом ксендза или патера, совсем непросто, а по сути, так даже и невозможно было защитить перед лицом раввина в руках с ТАНАХОм!

Если живущий «в духе и истине» христианин просто не вправе увлекаться «обрядом» и призван искать ту суть, тот «дух», которые за этим обрядом скрывается, то еврею не дано достичь ни духа, ни истины, минуя «букву» Закона.

Эти навалившиеся на меня в ту пору прозрения я развил в книге «Час Чаши»: «Бог дан Израилю посредством Закона и только в строгом соблюдении Закона, в том специфическом ригоризме, который сам Израиль выработал — смысл иудаизма. Для иудея возможность духовной жизни неразрывно сопряжена со строгой формальной исполнительностью. Если идея Реформации (с вытекающим из нее экзистенциализмом) заключена в самой христианской традиции, глубоко коренится в ее духе, то аналогичные движения в иудаизме —

хотя и достаточно распространенные в наше время — в своей основе чужды ему».

К таким выводам пришел я в 1983 году: оставаясь христианином, я признал свою подотчетность законам Торы.

По соображениям кашрута я полностью отказался от мясной пищи; стал произносить по утрам «Шма»; с наступлением субботы читать соответствующие псалмы, а с осени 1983 года даже стал делать кидуш: т.е. освящать субботу над бокалом вина. Причем этот новый опыт немедленно натолкнул меня на идею создания «кидуша» экзистенциального.

С изумлением обнаружив, что в церковной литургии обыгрывается литургия еврейская, т.е. праздничный кидуш, совершенный иудеем Йешуа, я невольно испытал желание проделать нечто подобное, но только в индивидуальном, а не в соборном пространстве.

Кьеркегор любил называть себя «частным мыслителем», но в еще большей мере он был «частным верующим». Я же почувствовал осмысленность выработки литургии этой частной веры, испытывал потребность в частном «кидуше», в равной мере приемлемом, как для христианской, так и для иудейской традиции.

Этот «кидуш» — его замысел и воплощение — идеально вписались в исторический ландшафт, связанный с приближением легендарного 1984 года.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 1984-ый

К году этому человечество морально готовились десятилетиями. Еще в 1969 году известный диссидентский автор Андрей Амальрик написал книгу «Просуществует ли Советский союз до 1984 года?»; а с конца 70-х по «Вражьи Голосам» периодически велись передачи об Оруэлле и его романе.

Но лучше всех подготовился советский режим, встретивший идеологически-неблагонадежную годину полным раз-

громом диссидентского движения. Хельсинская группа была окончательно ликвидирована в 1982, а в 1983 были отправлены в лагеря две последние знаковые фигуры — Владимир Альбрехт и Сергей Ходорович. Тогда же начались преследования того религиозного круга, к которому принадлежал и я.

Осенью 1983 года дали пять лет лагерей Зосе Беляк из сандровской Экумены. Вслед за ней арестовали священника Владимира Никифорова, а в январе 1984 — религиозного активиста Сергея Маркуса. Тогда же взялись за о.Александра Меня, которого допрашивали чуть ли не ежедневно. То и дело слышалось об обысках; многих, в том числе мою сестру, стали таскать на допросы и беседы. ^[16]

8 февраля арестовали Сандра. Через несколько месяцев его объявили сумасшедшим и отправили в страшную спец-психбольницу в Благовещенске, где «лечили» от христианства инсулиновыми шоками.

26 января 1984 года мне самому позвонили из КГБ — пригласили на беседу, от которой я уклонился. Через два дня был проведен обыск у православного активиста Андрея Бессмертного. Я навестил его в тот же вечер, и определенно помню, что приехал со свежее испеченным текстом своей «литургии», хотел предложить ему вместе помолиться.

В те дни я как раз доводил до ума свой частный «ки-душ» — молитву, совершаемую над чашей, символизирующей судьбу, врученную в руки Всевышнего. Некоторое время я еще продолжал подбирать подходящие библейские стихи, но ключевые слова были составлены именно тогда:

«Да будет эта чаша знаком моей преданности Тебе, Господи. Да будет она знаком моей готовности испить ту чашу, которую Ты определил мне от создания мира, знаком готовности испить ее до конца, не вопрошая наперед скорбь, или радость она несет мне. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Даруй же мне во всех обстоятельствах зреть Твою отчую руку и с любовью и бла-

годарностью принимать все Тобой ниспосылаемое. Даруй мне идти, как записано обо мне в Твоей Книге. Избавь меня от власти случая, бессмысленности и человеческого расчёта, чтобы ничто не владело мною помимо Твоего достоинства и Твоей славы, чтобы я усмотрел в исполнении Твоей воли высшее и последнее свое благо. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?»

Далее следовало обычное благословение на вино.

С одной стороны эту «частную литургию» можно было воспринимать как своеобразную проекцию литургии храмовой (как введение чаши в сферу собственно сакраментальных предметов), а с другой — видеть в ней легитимную иудейскую молитву, использующую символы — в данном случае Чашу, о которой Магараль пишет: «Все, что человек принимает на себя, именуется «Чашей»... Так же и бедствия зовутся «чашей», и они обращаются в «чашу спасения»^[17]

Статус чаши в «экзистенциальном кидуше» ничем не отличается от статуса других образных предметов, используемых еврейской традицией («симаним»), как, например, зерен граната, знаменующих множество заслуг во время праздничной трапезы Рош-Ашана.

Я не мог нарадоваться своей находке. Я обрел культ, дружественный как христианству, так и иудаизму, но принадлежащий при этом исключительно частной сфере; культ, казалось бы, по самой своей сути не поддающийся «оскорблению»!

В те тревожные зимние дни 1984 года мы с моими друзьями прекратили собираться для совместной молитвы. Первая за несколько месяцев встреча произошла только в мае — в мой день рождения. Тогда я впервые представил свой «Кидуш» моим ближайшим друзьям, и с той поры мы стали молиться им всякий раз, когда собирались в дальнейшем.

Каждый из нас пил свою отдельную чашу. Символизируя уникальность и неповторимость каждой человеческой судьбы, чаша могла быть выпита только тем, кто ее держал. Исключение представляли собой лишь супруги. Но тем самым Чаша невольно оборачивалась брачной литургией: для супругов она должна была служить напоминанием их союза, а для холостых — молитвой встретить суженую, при общей готовности оставаться «получеловеком».

Еще весной звонки из КГБ прекратились. В целом мне нечего было опасаться, если бы как раз в это самое время — к осени 1984 года — я не завершил свою книгу, включающую мой экзистенциальный кидуш, и не стал подумывать о ее издании.

В ту пору на Западе печатному станку предавалась практически любая переправленная из Союза словесная продукция. Грех было не воспользоваться.

Для начала я решил посоветоваться по поводу публикации с Александром Менем, издавшим в Брюсселе уже с десятков книг.

Во избежание прослушивания (его таскали на допросы чуть ли не ежедневно) мы вышли прогуляться по церковному кладбищу.

«Не делайте этого! — резко осадил меня священник, когда я изложил свой план. — Ограничьтесь скромным самиздатом. Вас сгноят в лагерях и ничего больше». И видимо, выговаривая уже какие-то свои мысли и чувства, добавил: «И никакой Запад за вас пальцем не пошевелит. У них спокойная сытая жизнь, и единственное доступное им чувство — это страх этой спокойной сытной жизни лишиться. А что книга? Там этих книг компьютеры учитывать не успевают. Мой долг предостеречь вас».

Но я был настроен по-боевому. Открыть культовое лицо экзистенциализма, и оставить его при себе? Наметить путь примирения Церкви и Израиля и утаить его от человечества?

ЗОВ СИОНА

Осенью 1984-го в нашем кругу появилась стажерка из Франции — Эммануэль, католичка, собиравшаяся дать монашеский обет и проявляющая интерес к религиозной жизни советских христиан. Говорила, что западных людей это вдохновляет. Мы приглашали ее на наши молитвенные собрания.

Эммануэли моя «частная литургия» приглянулась, и я посвятил ее в свои издательские планы. Летом 1985 года, прихватив с собой мою книгу, Эммануэль вернулась во Францию. Мы договорились, что я дам ей знать, когда придет пора относить рукопись издателю, а сам тем временем стал «укреплять тылы».

По совету диссидентского адвоката Аксельбанта, я заявил о потере портфеля с рукописью: если где-то что-то в Западной печати появится, моего злого умысла в этом не было.

Но самое главное, я решил заказать себе приглашение в Израиль, чтобы подать на выезд и пополнить тем самым ряды отказников. Делалось это для того, чтобы у властей появлялась альтернатива: в случае подачи документов на выезд в Израиль опального советского гражданина можно было не только посадить, но также и выдворить.

Однако, как только я все это предпринял и просигналил Эммануэли, что пришло время нести рукопись Никите Струве, грянула Перестройка. 19 декабря 1986 года был освобожден Сахаров, а в феврале 1987 первые 42 политзаключенных. Горбачев запустил побивающий все рекорды воображения и выпадающий из всех рациональных рамок процесс самороспуска КПСС!

События развивались стремительно. В Москву прибывали освобожденные узники, на частных квартирах стали собираться правозащитные семинары, на всех фронтах наступала «гласность».

К лету 1987 года преследований за издание религиозной книги уже можно было не опасаться. Тем не менее, вызов в Израиль, само его — затянувшееся уже более чем на год — ожидание произвели во мне переворот, которого я поначалу не ожидал. Сион овладел моим воображением и повлек неотвратимо!

Россия всегда была моим домом, который я никогда прежде не собирался покидать. Я восхищался Израилем и видел в его возрождении величайший проект Истории. Я сознавал, что место еврея только в этой стране, и верил, что в своих детях я непременно в нее вернусь. Но сам я при этом чувствовал себя слишком погруженным в российскую жизнь, чтобы всерьез помышлять репатриироваться.

Однако, когда в 1986 году в ожидании вызова я возобновил изучение иврита и почувствовал себя в зоне притяжения Сиона, все стало развиваться и выглядеть иначе. Человек надеется на лучшее, и, морально готовясь к заключению, я в еще большей мере стал готовиться к алие.

Я искал новых знакомств среди религиозных евреев, стал заглядывать на уроки, посвященные талмуду и еврейской традиции. Я медленно дрейфовал в сторону завета Авраама. Однако, по мере этого продвижения, я стал все чаще наталкиваться на неожиданные странности, связанные, прежде всего, с каббалой.

Незадолго до своего отъезда в США весной 1985 года Леон Черняк всерьез увлекся иудаизмом, и с оглядкой на свои недюжинные познания в эллинской философии, часто приводил мысль Гейне: «Греки — лишь красивые юноши. Евреи же всегда были мужи».

Мысль о том, что партнерский союз Израиля с Богом представляет собой взрослый тип религиозности (сравнительно с инфантильным по своей сути причащением христиан), я впервые услышал от Черняка. Образ показался верным и четким. Но вот теперь я, как будто, стал наталкиваться на свидетельства чего-то прямо противоположного.

Начало 1987 года ознаменовалось для меня не только новыми надеждами, но и новыми сомнениями в истинности намечавшегося пути.

НА ПЕРЕПУТЬЕ

В том кругу, где я возобновил изучение иврита, очень почиталась каббала, подававшаяся в комплексе с индуизмом, густо приправленным сказками о переселении душ.

От рассказов о древе Сфирот веяло механицизмом и гностицизмом, а от теологических схем — пантеизмом. Но более всего озадачивала вера в реинкарнацию.

Поначалу я просто не верил своим собеседникам, не верил, что иудаизм действительно признает перевоплощение душ. Ведь представление это, казалось бы, никак не увязывается ни с верой в воскресение, ни с экзистенциальной концепцией человеческой личности.

Я донимал своими расспросами свежeweпеченных московских талмудистов. Они подтверждали, что реинкарнация («гильгуль») входит в арсенал еврейских представлений. Тем не менее ни у кого из них не находилось ответа на мои недоуменные вопросы. Лучшим был: «Если вам это так мешает, считайте, что перевоплощения нет».

Прошло много лет, прежде чем я понял, что в подавляющем большинстве случаев под «гильгулем» иудаизм понимает эстафету призваний; что говоря о «перевоплощении», он подразумевает перевоплощение миссий, т.е. жизненных задач, кочующих от человека к человеку на протяжении поколений. Это подобно тому, как одна и та же операционная система «гильгулирует» из компьютера в компьютер и, работая в каждом из них по-разному, обретает свое частное компьютерное «лицо», которое уже никаким «гильгулям» не подвержено. В основном, представление о реинкарнации в иудаизме именно такое.

Если же кто-то из иудеев — что также встречается — бу-

дет настаивать на том, что «гильгуль» ничем не отличается от «самсары», что перевоплощается именно индивидуальная душа, то я отвечу ему: «Если вас это почему-то успокаивает, верьте в это. Этого нельзя исключить».

Нельзя исключить, что люди, не нашедшие в своей жизни смысла, перевоплощаются в индуистском значении этого слова. Но реинкарнацию в этом случае я бы скорее представил не как «кармическую расплату», а как возможность обратного самоубийства, то есть, как возможность «покончить с собой» на том свете.

Но тогда в 1987 году я не находил каббалистическим странностям никакого объяснения, недоумевал и донимал своими вопросами всех хоть сколько-нибудь осведомленных в традиции евреев.

По-настоящему заразить своим смущением мне удалось лишь одного из них — Дова Конторера, с которым мы познакомились на субботе, проведенной на какой-то даче в Быково.

Двадцатичетырехлетний Дов, представившийся скромным преподавателем иврита, был кроме того, как вскоре выяснилось, еще и всесоюзным координатором еврейских активистов. Он с 16 лет соблюдал Тору, блестяще владел ивритом, и помимо ТАНАХа освоил на языке оригинала также немало и иных священных источников.

Я сразу же вывалил перед Довом свои наболевшие вопросы, которые явно озадачили также и его.

В ту субботу мы заинтересовали друг друга и стали встречаться при всяком удобном случае. Беседы наши были долгие и оживленные. Я казалось, скинул лет десять-пятнадцать. Ничего подобного мне не приходилось испытывать со студенческой поры, когда, казалось, нельзя разойтись, нельзя жить, не выяснив вопрос до конца.

Почти все субботы я стал проводить у Дова. Иногда мы на все сутки оставались в его однокомнатной квартире у метро Полежаевская, где Дов жил с женой, дочкой и новорожден-

ным сыном. Но чаще мы совершали утренний двухчасовой марш-бросок до синагоги в Мариной роще, там встречались с нашим общим другом Леней, жившем у Белорусского вокзала, и завершали субботу у него.

Чтобы разобраться в обсуждаемых нами вопросах, Дов разыскивал разные книги. В какой-то момент к нему, наконец, прибыло фундаментальное исследование Гершона Шолема «Основные течения в еврейской мистике». В этой книге «гностические» образы каббалы интерпретировались в первую очередь как неизбежная дань мистической образности, а не как генетически обусловленный «пантеизм». Картина стала проясняться.

Но прошли годы, прежде чем я понял, что каббала — это совсем не та особа, за которую она выдает себя в облачении общих теологических суждений. Если христианская теология «по-гегелевски» усматривает в основе Божественного творчества рациональную мысль, то еврейская каббала «по-шеллинговски» видит в ней поэзию. Поэтические образы коренятся в первую очередь в ритме, в аллитерациях, в музыке слова, и лишь во-вторую в его прямом смысле. Но именно таким словом творил Всесвятой Свой мир.

Разумеется, делился я с Довом также и всеми своими мыслями и сомнениями, связанными с христианством. А в ту пору я как раз подбирался к сердцевине некоей новой идеи.

То, что иудео-христианство — это такое же немислимое образование, как муже-женщина, я осознал давно. Теперь же эта интуиция вступила, наконец, в ассоциацию с теорией дополнительности Нильса Бора.

Среди книг, своевременно полученных мною по «мистическому абонементу», я до сих пор не назвал книгу Библера «Мышление как творчество», изданную в 1975 году, и с той поры многократно мною перечитываемую. В книге этой демонстрировалась внутренняя двойственность, внутренняя диалогичность мышления и бытия. При этом особый упор

делался на теорию дополнительности, согласно которой электрон ведет себя в соответствии с двумя взаимоисключающими друг друга научными идеализациями — континуума (волна) и рационального числа (корпускула).

«Квантовая «теория» — писал Библер — уже не есть теория в классическом смысле слова. Ее единство не выдерживает формально-логического критерия. Оно не обеспечивается логикой непрерывного, последовательного выведения, доказательства, не опирается на единый, цельный, тавтологический, аксиоматический фундамент. Это — единство взаимобратимости... Теоретическое единство, спаянное принципом дополнительности, — это единство субъекта, переводящего одну ипостась квантовой теории в другую, одно определение в другое...: речь идет именно о двух логиках, поскольку различные теории исходят из различных коренных идеализаций: точки «causa sui» и точки «действия на другое»».^[18]

Я перечитывал эти строки из года в год, но в ту пору, о которой идет речь, все чаще стал примерять библеровскую интуицию к иудео-христианской коллизии, все яснее стал замечать в столь ненавистных друг другу Талмуде и «Новом Завете» закономерное раздвоение ТАНАХа, его внутренний диалог, его соотнесение с самим собой.

Когда через полтора года я узнал, что Церковь — и шире, вообще вся христианская цивилизация — отождествляются традицией народа Израиля с его братом-близнецом — Эсавом, все подтвердилось и улеглось окончательно.

В начале XXI века я выставил в интернете книгу «Теология дополнительности», в которой подытожил свои идеи, связанные с иудео-христианским диалогом, но название пришло тогда — в 1988, как тогда же был заложен и общий подход.

Согласно этому подходу, даже «уверовавшему во Христа» еврею нечего было делать в его церкви, но надлежало держаться поближе к синагоге.

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТОРОНА

Как бы то ни было, в начале «звездного» 1988 года, к событиям которого мы наконец вплотную приблизились, я стал серьезно задумываться о том, чтобы покинуть церковь.

Сомнения, конечно, не оставляли. Даже продолжая общаться с Довом, продолжая проникаться сознанием необходимости соблюдения Торы, я все еще до конца не знал, готов ли на самом деле к такому прыжку.

Смушала, наконец, и практическая сторона, связанная как с обращением, так и с алией. Лишиться всех своих близких, шутка ли?

Мама и сестра, за год до того вышедшая замуж, совсем не стремились за границу, но за меня по инерции беспокоились и сами подгоняли эмигрировать. Горько было бы прощаться и со своими христианскими друзьями, ближайшими моими жизненными сотоварищами.

Но с другой стороны, они были осведомлены относительно моей сионистской одержимости и понимали мои устремления. Их собственная религиозная жизнь была налажена, да и кто знает, скоро «железный занавес» совсем откроется: будем как-нибудь общаться то в России, то в Израиле. Даже веселее.

Моя крестная Жанна-Ира была, пожалуй, единственной душой, которая во мне нуждалась, и более того, на меня рассчитывала. Жила она в дальнем Подмоскowie, в Дубне, в весьма тягостной атмосфере советского быта. От необходимости помногу работать с микроскопом в больничной лаборатории у нее уже год был воспален глаз. Связанная ребенком, она находилась в значительной зависимости от родителей, запрещающих ей общение с религиозными людьми, «крамольные» чтения, слушания западных радиопередач и прочие вольности.

Мы находились в постоянной связи со времен ее крещения, и особенно сблизились после рождения ребенка. При-

знаться, я был ошарашен тем, что его отец не пошел на попятную. Мне не оставалось ничего другого как порвать с ним все отношения, и в меру сил поддерживать свою крестную, не очень умеющую за себя постоять.

В том, что Жанна была оставлена тем, кого вообразила своим мужем, проступал отчасти ее характер: кроткий и гордый одновременно. Ее уязвимость иногда провоцировала. Преподаватели к ней придирались, а окружающие игнорировали: когда на улице, или среди общего разговора она к кому-то обращалась, тот часто не слышал и не замечал ее.

Мое крестное отцовство по отношению к Жанне было уместно, и я видел, что мне нельзя решиться на отъезд, оставив ее, то, что называется, «не пристроенной».

У Жанны имелась еврейская кровь, и для начала я решил познакомить ее с Довом. Кто знает, может быть и ей этот мир придется по сердцу, или даже встретит здесь кого-то. Все эти годы я безуспешно присматривал ей пару, а в окружении Дова встречались разные симпатичные лица.

Как бы то ни было, после того как 7 марта в моем почтовом ящике, наконец, обнаружился вызов в Израиль, я решил, что мне следует известить об этом Жанну, и 20 марта приехал в Дубну.

Я поделился с ней своими последними идеями относительно иудаизма, рассказал про Дова, и предложил ближайшую субботу вместе со мной провести у него.

Визит удался. Все нашли между собой общий язык, и Жанна неожиданно гладко вписалась в субботний «интерьер». Всегда тихая и малословная, она была на сей раз оживлена, открыта и выглядела вполне на месте.

В следующую субботу, приехавшуюся на Песах, то есть на «весеннее полнолуние», Жанна тоже собралась прийти к Дову.

Эта пасхальная ночь, то есть ночь полнолуния с 14 на 15 нисана, выпала на субботу, с исходом которой начиналась католическая Пасха. Соответственно Вальпугиева ночь в том

году также выпала в ночь на воскресенье и также приходилась на полнолуние, на полнолуние Песаха Шени.

Как помнит читатель, это сочетание выявляет редкие «звездные» годы. Однако прежде чем поведать, как на сей раз это совпадение себя проявило, следует показать, что возникший у Шеллинга (героя «1836») замысел литературного наложения Пасхальной и Вальпургиевой ночей, в полной мере воплотил Михаил Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита».

ЕЖЕГОДНЫЙ БАЛ

Остается тайной, что именно подвигло Булгакова совместить Пасхальную ночь с Вальпургиевой, представить ночь погребения Йешуа и ночь первомайского ведовского слета единой сакральной датой. Тем не менее, сделал он именно это.

Действительно, мы ясно видим, что описанный Булгаковым бал, сохраняя и структуру, и аксессуары Вальпургиевой ночи, переносится на совершенно другую дату — на некое «весеннее полнолуние».

«Ежегодно мессир дает один бал. Он называется весенним балом полнолуния, или балом ста королей», — сообщает Коровьев Маргарите.

Но на какое именно полнолуние осуществляется этот перенос? Ведь весна продолжается три месяца, и соответственно на небосводе полная луна появляется в этот период трижды. И что интересно, все эти три полнолуния издревле зарезервированы иудаизмом под свои праздники!

В полнолуние последнего месяца зимы адара (обычно совпадающего с мартом) имеет место Пурим, в полнолуние весеннего месяца нисана (апрель) отмечается Песах, а в месяц ияр (май) — так называемый Песах Шени, то есть повторный Песах, для тех, кто не могли принять участие в первом.

Какое же из этих полнолуний имел в виду Булгаков? Очевидно, что пасхальное. Во-первых, в церковном лексиконе по отношению к нисану принято выражение «весеннее полнолуние», в целом подразумевающее время еврейского Песаха. Во-вторых, именно это полнолуние описывается в «древних главах», причем события пасхальных иерусалимских дней явственно синхронизированы с событиями дней московских (например, гибель Иуды и гибель барона Майгеля).

Таким образом, Булгаков недвусмысленно представил воландовский бал своеобразной Пасхой — то есть воспоминанием о казни Йешуа, совершенной 14 нисана. Булгаков пожелал совместить Вальпургиеву ночь с пред-пасхальной ночью христиан (т.е. с годовщиной смерти, а не воскресения), невольно совмещая ее при этом с еврейской пасхальной ночью!

И тем не менее, описанный в романе «бал» не приходится на еврейский Песах в той же мере, в какой он не приходится и на Пасху православную (никогда не бывающую в полнолуние).

Вопреки более чем прозрачному замыслу, полнолуние месяца нисана в «Ершалаиме» у самого Булгакова все же не совпадает с тем московским полнолунием, которое он описывает, так как то полнолуние могло быть только полнолунием месяца ияра, но никак не нисана!

Действительно, согласно роману «весенний бал полнолуния» происходил в мае («следует отметить первую странность этого страшного майского вечера»).

Между тем еврейский Песах (полнолуние месяца нисан) никогда не может прийти на май (он колеблется от 24 марта по 25 апреля). В мае случается полнолуние следующего за нисаном месяца ияра, т.е. та дата, на которую приходился Песах Шени — Второй Песах, заповедь которого дается в Четвертой книге Торы: «должен совершить Песах Господень, во второй месяц, в четырнадцатый день» ^[19]

Иными словами, Булгаков сознательно использовал выражение «весеннее полнолуние» с тем, чтобы этим полнолунием могло оказаться любое другое, а не только «первое».

Но почему? Что он мог под этим иметь в виду?

Ниже я попытаюсь ответить на эти вопросы, а пока лишь отмечу, что описываемый мною Песах вполне соответствовал булгаковским ожиданиям, то есть та полнолунная ночь месяца Нисана была также и субботней ночью.

Но все же главная особенность того Песаха состояла в его параллелизме с Вальпургиевой ночью, которая в 1988 году также выпала в ночь на воскресенье и также приходилась на полнолуние — полнолуние Песаха Шени.

Воплощенный Булгаковым литературный замысел, плавно вписавшись в календарно-астрологический узор, начал творить нечто в реальной жизни, во всяком случае, в моей жизни.

ДОМ 302-бис

На этот Песах, являвшийся 3300-ой годовщиной исхода еврейского народа из египетского рабства, Жанна вновь выбралась к Дову.

Пасхальный седер, как водится, полностью завладел вниманием участников, и «бал весеннего полнолуния» прошел в его жестких кошерных рамках.

И все же следует отметить несколько странностей сопровождавших события тех — не очень, впрочем, страшных — апрельских дней.

Первая странность состояла в том, что на Песах к Дову моя крестная прибыла из того самого дома, который Воланд облюбовал для проведения бала весеннего полнолуния.

Выбираясь в Москву, Жанна обыкновенно останавливалась у подруги, однако в те дни у нее неожиданно появилось другое пристанище — дом 10 по Большой Садовой, описанный в «Мастере и Маргарите» как «дом 302-бис».

Целый фасад этого здания по какой-то причине был выселен, и некоторые из пустующих квартир под тихую заняли

хиппи, среди которой оказались Жаннины знакомые. В качестве личного апартаamenta моей крестной была выделена огромная пятикомнатная — квартира (5а).

Жанна рассказала мне об этом доме, описала и свою квартиру, и находившуюся этажом ниже 3-ю, в которой по ее словам, «не было ни одного обычного в обиходе предмета, а все те, что там находились, были необычные».

Приглашала зайти, но я отнекивался. Ни сам роман о Сатане, ни невольно связанный с его именем «притон хиппи» меня в то время совершенно не привлекали.

Вторая странность состояла в том, что как раз за несколько дней до Песаха (т.е. до «весеннего полнолуния») на «гастроли» в Москву прибыл самый настоящий маг — Автандил Ломсадзе.

Я познакомился с этим человеком годом раньше. Был наслышан о творимых им чудесах: об исцелениях, о чтении мыслей (он мог, например, назвать все карты партнера), о предвидении.

Предвидение особенно занимало меня. Мне хотелось выяснить, может ли ясновидящий прозревать будущее людей, вверившихся Богу, ведь у них, казалось бы, нет судьбы? Как автору «экзистенциального кидуша» вопрос этот был для меня по-особенному важен.

Окинув меня испытующим взором, крепко сложенный величавый Маг заверил, что никакого различия между верующим и неверующим с точки зрения предсказания судьбы не существует, и что он способен читать мысли и видеть будущее каждого человека.

— Но как это происходит? Это трудно вообще сделать?

— А тебе трудно съесть батон хлеба?

— Требуется усилий...

— Ну вот приблизительно такие усилия нужны мне для того чтобы увидеть, что тебя ожидает.

Я поежился. Неужели это человек знает, женюсь ли я, и, если да, то когда и на ком?

Автандил, по-видимому, действительно хорошо читал мои мысли.

— Но открыть тебе то, что я вижу, я все равно не могу.

— Что вам мешает? Какие-то нравственные принципы, или запрет прилагается к самой информации?

— Прилагается к информации. Разглашать то, что открылось, нельзя. Так что и ты тоже можешь всем говорить, что видишь будущее. В этом никакой разницы между нами нет.

При прощании Автандил пригласил меня к себе в Тбилиси, дал телефон.

Я воспользовался его приглашением, совершив через полгода небольшой тур по Кавказу.

На этот раз я донимал Автандила вопросами о реинкарнации. Он год провел в Индии, учился у какого-то просветленного йога, причем, так как языков друг друга они не знали, общение осуществлялось исключительно телепатически. Как раджа-йог, в реинкарнацию Автандил, разумеется, верил. Однако признался, что не имеет по этой части собственного мистического опыта.

Между тем тогда произошло событие, которое, как я допускаю, могло иметь к Автандилу прямое отношение.

Я был шапочно знаком с молодым католиком из Еревана, который однажды пригласил меня к себе. Я позвонил ему перед поездкой. Мы договорились встретиться в Тбилиси, куда он периодически наезжал помолиться в костеле, и, уже потом вместе отправиться в Ереван. В назначенное время мой знакомый в костеле не появился, дозвониться до него мне также не удалось.

Я оказался перед дилеммой: либо ехать в Ереван и продолжать звонить оттуда, либо истолковать произошедшее как нежелание со мной встречаться, и взять курс на Запад.

Когда я в очередной раз явился на переговорочный пункт и набрал ереванский номер, то не поверил своим

ушам: я услышал телефонный разговор, который вели между собой родители того парня!

— Объясни мне, что я должен говорить этому человеку, когда он снова позвонит?

— Я вообще не понимаю, зачем наш сын это делает, зачем приглашает неизвестно кого?!

Не поручусь, что этот полумистический канал связи был налажен именно Автандилом, но по совокупности Маг этот вызвал у меня большое доверие.

Как я уже упомянул, в последнее время у Жанны развилось какое-то странное воспаление глаза, сопровождающееся потерей зрения. «Помогали» только гормональные капли, причем столичные профессора не в состоянии были даже поставить диагноз и только демонстрировали неизвестную болезнь студентам.

Когда в те весенние дни я услышал, что Автандил снова появился в Москве, то немедленно решил послать к нему свою крестную. Я связался с ним, и он предложил осмотреть Жанну после какого-либо из своих выступлений.

Ближайшее выступление Автандила состоялось в среду 6 апреля в клубе, в районе Белорусского вокзала, то есть в двадцати минутах ходьбы от того самого театра Варьете, в котором проводил свой сеанс черной магии булгаковский Воланд.

Магия Автандила была белой. Он рассказал аудитории, что не пользуется гипнозом, хотя и владеет им, и в качестве подтверждения своих слов на полчаса уложил горизонтально вытянувшуюся ассистентку между краями стульев.

Потом он называл числа, которые писали на доске за его спиной выходящие из зала люди, а под конец даже мысленно сообщил девочке, какое число сам написал за ее спиной.

После сеанса Жанна подошла к Автандилу. Бегло осмотрев ее, Маг объявил, что берется ее исцелить, что для этого

понадобиться несколько сеансов, — и первую встречу назначил на ближайшую субботу.

Итак, согласно указанию Мага, в последний праздничный «седьмой день» пасхальной недели, приходившийся с пятницы на субботу, с 8 на 9 апреля, и на сей раз совпавший с наступающей православной пасхой, я снова вместе с Жанной появился на субботе у Дова.

И вот тогда-то — в эту субботу, совпавшую с 3300-ой годовщиной прохождения сынов Израиля по дну Ям-Суфа — произошла третья странность.

ВЕСЕННИЙ БАЛ

Итак, в канун этого праздника мы с Жанной встретили у Дова. Однако на сей раз у него не задержались. В доме оказалось несколько иногородних гостей. Спать шести-семи человекам в однокомнатной квартирке представлялось затруднительным, и мы с Жанной решили уехать.

Спихватились мы поздно, в метро успели, но пересадки уже закрывались, и Жанна вышла на «Баррикадной», чтобы по Садовому кольцу дойти до дома 10 по Большой Садовой.

Я чувствовал, что надо было бы мою крестную проводить. Но это значило, что мне бы пришлось заночевать в какой-то «нехорошей квартире», среди каких-то сомнительных хиппи. Нет, не лежало у меня к тому сердце. Я остался в вагоне метро, а Жанна вышла и направилась пешком по ночной Москве в дом 302-бис.

На другой день утром она позвонила мне и поведала, что натерпелась ночью немалых страхов, когда на Садовом кольце — уже не далеко от цели — к ней прицепился нетрезвый милиционер.

Жанна ускорила шаг, милиционер также. У самого дома она перешла на бег, слыша за спиной топот и отрывистое ды-

хание. Влетев в подъезд, Жанна помчалась по лестнице, но у самых дверей была настигнута. Сколько хватило сил, она оттолкнула преследователя, быстро открыла дверь заранее извлеченным ключом и скрылась в квартире. Какое-то время еще было слышно, как «страж порядка» ругаясь, бродит по лестнице.

— Приезжай сюда, — завершила свой рассказ Жанна. — Ты не представляешь, какая здесь фантастическая обстановка. Да и Аня вот хочет с тобой поговорить.

Позже я узнал, что Аня была Жаннина золовка и проживала в булгаковском доме с рождения, на совершенно законных основаниях. Более того, оказалось, что она была как раз той особой, которая раздобыла ключи от пустующих квартир.

«Давайте уже лучше вы ко мне», — неуверенно возразил я, но чувство вины за то, что накануне я не проводил Жанну, критически ослабило мое сопротивление.

Так я был приглашен («Мировым духом»? Булгаковым? Воландом? Богом?) в дом 302-бис ровно в полночь последнего Пасхального дня, но явился только после полудня.

Я опоздал, опоздал непростительно, однако, как вскоре выяснилось, все же не критически, не безвозвратно.

3300-я годовщина рассечения морских вод все еще продолжалась, и приуроченный к ней «бал» можно было начинать, пусть и с такой значительной задержкой.

В юности я не раз совершал паломничества на Патриаршие пруды, однако, где именно располагается дом 302-бис, совершенно не представлял, и Жанна встретила меня на выходе из метро Маяковская.

Идти оказалось совсем недалеко: две — три сотни метров. Мы вошли в подъезд, поднялись на третий этаж и переступили порог квартиры под номером «5а», ничуть не задумываясь над тем, что при условии $A=0$, она превращалась в легендарную «50»-ю!

На кухне нас поджидала Аня, и какое-то время мы обсуждали волновавшие ее вопросы. Когда они исчерпались, и Аня удалилась, Жанна начала свою экскурсию.

Обойдя все комнаты той пятикомнатной квартиры, в которой находились, мы отправились на осмотр остальных апартаментов.

Эти внушительные — иные метров по 150 — хоромы с очень высокими потолками казались особенно огромными, будучи лишенными всякой мебели. Но отсутствовала не только мебель, отсутствовали также и люди, отсутствовали рисовавшиеся моему воображению обкуренные хиппи.

Лишь в некоторых комнатах забросанные одеялами и одеждой матрасы, пепельницы и миски свидетельствовали о том, что кто-то здесь все же обитает.

Но в этот час только в одной из квартир мы застали девушку — стройную смуглую Геллу. Потом я узнал, что имя это было не прозвищем, навеянным обстановкой, а истинным именем героини.

У нее мы, впрочем, надолго не задержались, и продолжили странствие по лабиринтам выселенного фасада дома 302-бис. Мы пересекали просторные залы, заглядывали в странные комнатки и чуланы, натыкались на неожиданные черные ходы.

Не знаю, какое бы у меня сложилось впечатление от этого Дома, если бы повсюду действительно мельтешили его обитатели, но их — повторяю — не было, и это запустение определенно создавало самые благоприятные условия для отождествления «а» с «0».

Во-всяком случае, чем больше мы с Жанной бродили по этим пустынным залам, тем больше я проникался ощущением, что нахожусь в каком-то параллельном, в каком-то совершенно фантастическом мире. Я покорно следовал за своей провожатой, потеряв ориентацию и чувство времени.

Где-то зазвонил телефон. Оказывается, во всех этих квартирах имелись телефонные аппараты! И не только име-

лись, но и работали, равно как электричество, отопление и газовые колонки!

Но даже не это поражало в первую очередь.

За годы конспиративной религиозной жизни я привык к тому, что любые систематические встречи на частных квартирах отслеживались властями и рано или поздно пресекались.

То, что в самом центре — пока все еще Советской — Москвы в огромных выселенных квартирах беспрепятственно жили не прописанные в них бездомные хиппи, бесплатно пользуясь телефонами, газом и электричеством, казалось чем-то совершенно сюрреалистическим.

«Странно, — сказал я Жанне, — если бы какой-нибудь романист описал бы все это, или использовал бы эту ситуацию для завязки какого-нибудь сюжета, ему бы просто никто не поверил. Сказали бы, что это перебор, что он исключительно для «беллетристики» измыслил такую неправдоподобную, а потому так даже просто «безвкусную» ситуацию: т.е. поместил своих героев в брошенных квартирах дома 302 бис, а советская власть месяцами не препятствовала им — и, тем не менее, это реальность!».

Когда я произносил эти слова, я еще не связал их смысл с тем, что именно такой вполне реальный роман как раз в эту минуту завязывается, что захватывающий меня вихрь чувств приобретает неожиданно романтический оттенок.

Впервые я увидел Жанну десять лет назад на философском семинаре; девять лет мы были знакомы, шесть из которых находились в самом тесном общении. Но теперь передо мной возникло какое-то иное, совершенно незнакомое, неземное существо.

Обычную робость и застенчивость этой девушки как ветром сдуло. Стройная волшебная незнакомка в никогда не виденном мной огненно-красном платье и с пышными волосами двигалась легкой уверенной походкой, решительно распахивая двери новых залов и остроумно комментируя открывающиеся картины.

Еще неделю назад, на Песахе у Дова, у нее была уже эта прическа мелкими колечками, тогда же появилась и неведомая мне оживленность, но волшебства, «крема Азazelла» неделю назад еще не было.

Теперь же в этом как бы сгустившемся из литературной фантазии пустынном доме моя старая приятельница полностью преобразилась, предстала этого дома Хозяйкой — неведомой, загадочной и неотразимо прекрасной.

Даже ее банальная история, перекликаясь с историей литературных прототипов, в тот миг бросала на нее отблеск нетривиальности. Детоубийство, совершенное гетевской Маргаритой, как и бездетность Маргариты булгаковской, по контрасту придавали материнству Хозяйки импровизированного «бала» ореол особой значимости!

В ту минуту я, разумеется, не делал таких сопоставлений, я обратил на это внимание значительно позже. Но Режиссер продумал все, и все именно так работало, так воздействовало на «зрителя».

Смеркалось, 3300-летняя пасхальная годовщина подходила к концу. Мы поднялись в последнюю — 7-ю квартиру, в одной из комнат которой у окна нас ждал роскошный — с тремя рядами клавиш — электронный орган.

Моя Провожатая села за инструмент и стала импровизировать.

— Сыграй 12-ю сонату Моцарта, — попросил я Жанну. — Ту, что ты играла в Вильнюсе, в день своего крещения.

То было в катакомбном монастыре, в аккуратном одноэтажном домике, расположенном в глубине тенистого сада. В комнате стояло пианино, Жанна стала играть, и среди прочего исполнила тогда эту сонату, поразившую меня какой-то своей ангельской безмятежностью. Просто не верилось, что на земле можно сочинять, можно слышать такую музыку.

Невольно вспомнились пушкинские строки: «Что пользы в нем? Как некий херувим, Он несколько занес нам песен райских».

Через три года я неожиданно вернулся к этому переживанию, когда хоронил своего отца. Его сбил автомобиль. Поначалу дело казалось пустячным — перелом бедренной кости, однако вскоре развилась жировая эмболия. На третий день отец лишился сознания и так в себя и не вернулся. Я ежедневно навещал его в больнице, и видел, как в последние дни было измождено и искажено его лицо. Но тем разительнее была его умиротворенность, когда он скончался.

— Какое удивительное выражение! — поразился я. — Что он такое там увидел? Или может быть услышал?

Тогда мне вспомнилась игра Жанны в вильнюсском монастыре. Она сказала, что то была адажио из 12-ой сонаты. Я пустился на поиски, и вскоре отыскал нужную пластинку в заполнявшей несколько шкафов коллекции деда.

Исполнение на пластинке было, конечно, восхитительно, но ожидаемой неземной безмятежности я не уловил.

Теперь же, услышав игру своей Провожатой, я немедленно вспомнил о той сонате.

Жанна сыграла, и я вновь был поражен: в ее исполнении явственно слышались неземные звуки. Я уносился уже не в 4-е, а в какое-то 5-е, если не в 6-е измерение, одно из которых определенно вело в «ненавидимый прокуратором город» — Ершалаим!

Чарами литературной причуды Мастера, «нехороший дом» этот оказался черным ходом, ведущим в Сион!

Игра продолжалась, я не мог оторвать взгляда от исполнительницы, и в этот миг меня хлестнула догадка:

— Неужели это возможно?! Неужели эта прекрасная необыкновенная женщина предназначена мне?!

Мысль эта была невыразимо сладостна, но одновременно и ужасающе нечиста. Ведь передо мной находилась та, которая на протяжении долгих лет была моей крестной дочерью, по меньшей мере — сестрой!

«Бал» незаметно закончился, закончился вместе с ев-

рейской Пасхой, т.е. с тем последним ее седьмым днем, в который перед сынами Израиля было развернуто море, так что они прошли его посуху.

То был час соединения невесты с женихом, как сказано: «Сказал Раба бар Хана, сказал рабби Иоханан: так же трудно соединить суженых, как рассечь воды Ям Суфа... Соединение брачных пар подобно исходу из египетского рабства» ^[20]

Тут, впрочем, уместно сделать некоторое отступление.

ТРОФЕЙНЫЕ ДАТЫ

Дело в том, что таинство встречи жениха и невесты сопряжено не только с идеей Песаха, но и с идеей... наложения Песаха на Вальпургиеву ночь!

Я уже упоминал о том, что в основе теологии дополнительности лежит брачная логика. В Мидраше Берешит Раба говорится, что с тех пор как мир сотворен, «Святой, благословен Он, сидит и сочетает пары: дочь такого-то человека — с этим мужчиной».

Подразумевается здесь супружеский характер сочетания вообще всех диалектических противоположностей. В основе миротворения лежит продуктивное умножение сущностей, а не их «снятие». Брачный «синтез» отличается от синтеза, совершаемого в соответствии с гегелевской логикой, в результате которого на месте двух старых сущностей возникает третья — новая. Такой порядок, безусловно, встречается. Например, при образовании одного нового чистого вещества два прежних чистых вещества полностью исчезают: кислород и водород «снимаются», образовав воду. Но согласно иудаизму, все же не этот порядок является ведущим. В основе мироздания еврейская традиция усматривает брачный «синтез», в котором противоположности сохраняются в качестве изолированных субъектов.

Более того, даже антагонистические пары, такие как

свет и тьма, жизнь и смерть, чистое и нечистое, также бывают подчинены брачной логике, также могут выступать как дополнительные.

Как женское начало латентно присутствует в мужском (X и Y хромосомы), также и смерть латентно присутствует в жизни. Как сказал Тиллих: «Бытие «объемлет» и себя и небытие. Бытие имеет небытие «внутри себя», как нечто такое, что вечно присутствует и вечно преодолевается в процессе Божественной жизни» [21]

Но именно эта логика пронизывает Песах, хранящий в своих генах тени поверженных им языческих божеств!

О каких же божествах идет речь?

Песах, т.е. прохождение Всевышнего по земле Египетской, с одной стороны было приурочено к тому моменту, когда зодиак Овна (Амон), которому поклонялись египтяне, находился в апогее, а с другой — ко времени весеннего равноденствия, являющегося сакральным временем любого солярного культа, и египетского в особенности. Достаточно упомянуть, что умерший за четверть века до исхода евреев фараон Эхнатон объявил солнечный диск (Атон) верховным божеством, что храмы Осириса были ориентированы на закат в равноденствие, а храмы Исида — на восход в равноденствие.

В Торе сказано: «Я пройду в эту же ночь по земле Египетской и поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми Богами Египетскими совершу суд... И да будет вам день сей в память, и празднуйте его как праздник Господу в роды ваши; как установление вечное празднуйте его. Семь дней ешьте опресноки... И в первый день священное собрание, и в седьмой день священное собрание да будет у вас... С четырнадцатого дня первого месяца, с вечера, ешьте опресноки до вечера двадцать первого дня того же месяца» [22]

Итак, не просто пасхальными, а праздничными являются два дня — первый и седьмой, 14-е нисана и 21-е. Но если первый день Песаха (в который евреи освободились,

а египетские первенцы погибли) связан с полнолунием, то седьмой день (в который сыны Израиля прошли по дну Ям-Суфа, а египетская армия утонула), связан с равноденствием.

В год исхода (2448 год от сотворения мира — 1312 до н.э.) 21 нисана пришлось на 19 марта, а согласно григорианской календарной реформе, равноденствие шагает по планете с 19 по 21 марта.

Тем самым в Пасхальную неделю были посрамлены все египетские божества — и звездное, и лунное и солнечное! Исход, сопровождавшийся принесением в жертву священного для египтян овна (Амон), был приурочен как к вхождению в зенит зодиака Овна (месяц нисан), так и к весеннему равноденствию, связанному с культом Атона, что проявляется в требовании привязки месяца нисана к весеннему сезону («соблюдай месяц Авив»).

Как в ночь на 15 нисана были закланы тотемные барашки египтян, так 21 нисана были потоплены их кони с колесницами, символизирующими Солнце.

Итак, исход, сопровождавшийся судом над египетскими богами, усмирил и приручил их. Священные даты египтян стали священными датами евреев, стали трофеями, вынесенными из Египта наравне с золотом (пошедшим на строительство Скинии).

В свете сказанного становится, наконец, понятен и замысел Булгакова (какой бы он сам в него смысл не вкладывал), представить Пасхальную и Вальпургиеву ночи как одно событие!

Я упоминал, что Песах никак не может совпасть с Вальпургиевой ночью, так как он выпадает между 24 марта и 25 апреля. Между тем седьмой праздничный день Песаха, день в который сыны Израилевы прошли по дну Ям-Суф, иногда как раз выпадает на 1 мая, иногда все же «дотягивается» до весеннего шабаша!

Такое событие случается крайне редко. Если быть точ-

ным, то с момента введения Юлианского календаря (46 год до н.э.) оно произошло только три раза: в 1815, в 1929 и в 1967 годах. Выпавшая на Вальпургиеву ночь годовщина прохождения сынов Израиля через Ям-Суф не является, конечно, полнолунной ночью, но она все же является ночью «пасхальной», причем даже «по-праздничному» пасхальной, кульминационной в плане расправы над египетскими богами, как сказано: «И прославлюсь Я через Паро»^[23]

Первомай, таким образом, выглядит еще одной сакральной датой, подлежащей пасхальной «зачистке». Причем «зачистка» эта предстает вполне ожидаемым событием Священной истории.

Последнее, окончательное избавление Израиля перекликается с первым — с исходом из Египта. Оно продолжает его, питаясь от него смыслами и знаменами, как сказано: «Как во дни исхода твоего из земли египетской, явлю ему чудеса»^[24], или «И оттуда (из пустыни) дам Я ей виноградники ее, а из долины Ахор — врата надежды; и воспоет она там, как во дни юности своей и как в день исхода своего из земли Египетской»^[25]

В мидраше Танхума сказано: «Все чудеса, которые были совершены ради Израиля в пустыне, в будущем совершатся на Сионе».^[26]

«Чудеса и подвиги, которые Я в будущем совершу для детей, превзойдут те, что я совершил отцам» — утверждает в Мехилте де-раби Ишмаэль.^[27]

Наконец, в трактате Рош-Ашана сказано: «В Нисане произошло избавление, и в Нисане в будущем произойдет избавление».^[28]

Неудивительно поэтому, что это последнее избавление должно сопровождаться судом над мифами своего времени, над «мифами двадцатого века», и теми их сакральными датами, которые привязаны к пасхальному периоду. А Вальпургиева ночь — это не маргинальная оккультистская сходка,

не фольклорная безделушка. С некоторых пор это знаковый элемент европейской культуры, центральный символ ее inferнального измерения.

Тысячелетия никто не мешал египтянам преклоняться перед Амоном, но пришло время освобождения сынов Израиля из рабства — и египетский праздник оказался безнадежно испорчен. Столетия Вальпургиева ночь вызывала лишь суеверный ужас, но пришло время возвращения евреев в Сион — и весенний праздник нечистой силы свою силу потерял.

Действительно, мистический план «зачистки» первая прямая связан с политическим. В VII веке до н.э. Всевышний предрек через пророка Йеремию: «Вот, наступают дни, когда не будут больше говорить: «жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли Египетской», а: «жив Господь, который вывел и который привел потомство дома Израилева из страны северной и из всех стран» куда Я изгнал их; и будут они жить на земле своей». ^[29]

Пророчество это многие по праву относят к сионистскому проекту: в современном Израиле День Независимости празднуется с куда большим размахом, чем Песах.

В свою очередь все связанные с сионизмом войны XX-го века трудно не отнести к войнам Гога и Магога, которые обещаны быть чудесно-пасхальными и победоносными для Израиля.

Возрожденное в 1948 году еврейское государство именуется «началом Избавления» («тхилат агеула»), и неудивительно, что его становление оказалось отмечено пасхальными знаменами. В 1948 году именно в Нисан, именно в пасхальный период еврейской армией были достигнуты военные успехи, предопределившие окончательную победу («Апрельский перелом»). А в год победы в Шестидневной войне (1967), как и в 1929 году, последний день Песаха пришелся на Первомай.

Вальпургиева ночь, как главная сакральная дата сатанистов Нового мира, закономерно подверглась пасхальной «зачистке», оказалась последней весенней оргией, которую Бог «судит», и, похоже, уже осудил!

НОЧЬ ПОБЕДЫ

Причем как раз Булгаков выступил своеобразным пророком этого осуждения. Ведь особая примета блестяще написанного им Воланда — это странная, и казалось бы, столь не свойственная нечистой силе «позитивность».

Этой особенности главного героя «Мастера и Маргариты» я еще коснусь ниже. Здесь же мне важно отметить, что время действия московских глав булгаковского романа относится именно к 1929 году, когда последний день Песаха второй раз в истории пришелся на Первомай.

В пользу этого года Соколов приводит несколько убедительных аргументов: атмосфера Романа — это атмосфера конца НЭПа; в 1929 году Булгакову, как и Мастеру, было 38 лет; Коровьев сообщает, что камеристка тридцать лет кладет платок Фриде, прообразом которой служила Фрида Келлер, убившая своего сына в 1899 году. Наконец, с октября 1929 по июнь 1940 год в СССР действовала календарная реформа: неделя была упразднена и общество жило «пятидневками». Это обстоятельство не могло бы не отразиться на тексте «Мастера», описывая Булгаков 30-е годы.^[30]

Если же какие-то детали тех лет в романе все же обнаруживаются, их следует рассматривать не как «верхнюю границу» датировки событий, а как легитимную литературную телепортацию (из 30-х в 29-ый). Из того, что трамвайные пути, на которых лишился головы Берлиоз, никогда не проходили мимо Патриарших, вовсе не следует, что Булгаков описал Чистые пруды.

Главное здесь, что 1929 год — это год первого замысла романа, и год знакомства Булгакова с Еленой Сергеевной Шиловской. Лакшин пишет: «Вспоминала она (Елена Сергеевна) какой-то вечер в мае 1929 года (познакомились они в феврале), когда Булгаков повел ее в сумерках в полнолуние на Патриаршие пруды и слегка приоткрыл завесу над задуманным романом: «Представь. Сидят, как мы сейчас, на скамейке два

литератора, а с соседней скамьи встает и обращается к ним с учтивым вопросом удивительный господин в сером берете на ухо и с тростью под мышкой...» Он рассказал ей завязку будущей книги, а потом повел в какую-то странную квартиру, тут же, на Патриарших» ^[31]

Полнолуние в мае 1929 года пришлось в ночь с 24 на 25. Ночь эта была субботней, т.е. согласно календарным требованиям Воланда (которые ниже еще будут рассмотрены), то была «бальная» ночь. Таким образом, описанный в романе «бал» следует датировать этим числом. Это дополнительно подтверждает рукопись романа 1931 года, где имеется такая пометка: «Обручение (ночь 24-25 мая). Маргарита просит помощи для поэта».

Итак, именно в 1929 году Булгакова посетил образ «положительного» Сатаны, и тем самым была запущена «метафизическая» перелицовка Вальпургиевой ночи в Пасхальную.

В «физическом» же плане перелицовка эта началась с завязки еще одного романа — романа Гитлера и Евы Браун, познакомившихся в октябре 1929 года. Но только в 1945 году эта перелицовка, эта «зачистка» Вальпургиевой ночи вступила в силу. Как же это произошло, как 1929 год проявил себя в 1945-ом?

Фашистская Германия капитулировала 7 мая. Бессмысленное ожесточенное сопротивление продолжалось исключительно по инициативе Гитлера. Он вселял надежду в солдат, продолжая твердить о скорой победе и о секретном оружии, которое вот-вот будет применено. В этом смысле датой победы с полным правом можно признать ночь с 30 апреля на 1 мая, когда горело тело прикончившего себя фюрера.

Д. Х. Бреннан в следующих словах представляет цепь тех событий: «Хотя войска антигитлеровской коалиции с каждым часом приближались всё ближе, Гитлер продолжал

выжидать. Он вполне мог покончить с собой, например, 22 апреля, после того, как увидел, что штейнеровская контратака провалилась. Он мог выбрать и любой день после... Если изучать эти последние дни, то создаётся впечатление, что Гитлер явно что-то выжидал. Но выжидание было не бесконечным. Он выбрал время, и ради того, чтобы смерть наступила в назначенный день, готов был даже рисковать оказаться в руках русских.

Его последний час не выглядел особенно драматично. Он пообедал и, в сопровождении Евы Браун, попрощался за руку со своими приближёнными. Затем новоиспечённые супруги удалились в свои покои. Через несколько минут Ева Браун отравилась. Гитлер застрелился.

Всё это случилось 30 апреля. Тёмный посвященный остался верен своему чёрному кредо до самого конца. Он устроил всё так, чтобы даже его самоубийство стало бы жертвоприношением силам тьмы. 30 апреля — это древний праздник костров, плавно переходящий в Вальпургиеву ночь. В календаре сатанистов это, возможно, самая важная дата»^[32]

В действительности Гитлер застрелился чуть раньше положенного срока — в 15:30, то есть часа за четыре до наступления темноты. Однако из-за непрерывных обстрелов сожжение его тела среди руин рейхсканцелярии (под которыми размещался бункер) началось не сразу и продолжалось 3 часа. Иными словами, в ритуальном плане «всесожжение» фюрера завершилось все же в свой срок, в Вальпургиеву ночь.

Но чары бесовской ночи не сработали. Возрождения нацизма не произошло.

Как это ни поразительно, но в современной столь же толерантной ко всем формам маразма, сколь и антисемитской Европе прямые последователи Гитлера — неонацисты — остаются единственными персонами «нон грата»! Даже имя фюрера, Адольф, почти полностью вышло в Европе из употребления (что с изрядной долей остроумия демонстрируется в фильме «Имя» — «Le Prenom» 2012). Ритуальное са-

моубийство Гитлера не привело к возрождению нацизма, а напротив, превратило эту ночь в Ночь Победы над ним.

Ночь Победы, ночь на 1 мая, ночь самоубийства фюрера — совпала в том 1945-ом году с еврейским мистическим праздником «Лаг-баомер» — праздником Света, годовщиной рождения и смерти автора каббалистической книги «Зоар» («Сияние»), рабби Шимона бар Йохая!

Лаг-баомер — это не просто праздник света, это праздник света мистического. Если в Хануку празднуется распространение света Торы, то в Лаг-баомер — света каббалы, т.е. света, дополнительно освещающего Первоисточник. В честь этого испускаемого «Зоаром» дополнительного света в ночь на Лаг-баомер установилась традиция разжигать костры.

Но как упомянул Бреннан, ночь на 1 мая — это «самая важная дата сатанистов» — языческая ночь костров, так называемый праздник Бельтайн, в который кельты приносили в жертву Белу своих первенцев.

Итак, 1 мая 1945 года костры Лаг-баомера поглотили пламя сатанинских костров, смерть раби Шимона обесценила жертвенное самоубийство Гитлера, и оккультный мрак Вальпургиевой ночи рассеялся в сиянии «Зоара»!

Однако это наложение сакральных дат, это издревле подстроенное единоборство костров явилось лишь первым ходом Мирового духа. Вторым и главным сюрпризом той ночи послужила заготовка 1929 года: женщина, с которой Гитлер накануне вступил в брак, была... еврейкой! Шах и мат! «Миф двадцатого века» оказался развеян, как дым!

О том, что в жилах Евы Браун присутствовала еврейская кровь, сообщил Эйхман в записях, которые вел в 1962 году в израильской тюрьме. В середине 30-х он основательнее фюрера покопался в метрических анналах его пассии, но так и не решился обнародовать страшную тайну. Однако в нашем веке свидетельство Эйхмана было подтверждено самым драматическим образом: митохондриальная, т.е. наследующаяся по материнской линии, ДНК Евы оказалась еврейской. С

октября 1929 года предметом воздыханий фюрера являлась галахическая еврейка!

На протяжении 15-ти лет он отвергал саму мысль о браке с ней, утверждая, что женат на Германии, и не вправе ее с кем-либо делить. Но 29-го апреля, растроганный тем, что Ева самовольно явилась в бункер для того, чтобы с ним умереть, фюрер заключил с ней официальный брак. Расписавшись в преддверии Вальпургиевой ночи на брачном документе, Гитлер подписал пакт о своей полной и безоговорочной экзистенциальной капитуляции.

Черная царица Эстер уничтожила Темного посвященного, чары Вальпургиевой ночи потеряли свою силу, передав ее Лаг-баомеру. Однако основание этой «зачистке» было положено в Песах 5689 (1929) года, в последний день Песаха. Тогда «Аннушка пролила масло». (Эта тема важна, обширна и заслуживает отдельного рассмотрения. Чтобы здесь не прерываться, я исследую ее в приложении «1929/1945»)

Но в пору своего посещения штаб-квартиры Воланда я еще ни о чем подобном не подозревал.

СМУТНЫЕ ДНИ

Из 7-ой квартиры мы с Жанной вернулись в ту, из которой вышли — 5а, и посидели там еще за чаем.

Меня между тем все сильнее охватывало глубокое волнение. Разве я не собираюсь оставить эту страну и саму христианскую веру? Разве я не намереваюсь покинуть церковные стены? Какое тогда значение имеют мои «ветхие» отеческие чувства перед лицом обрушившихся на меня «новых» чувств жениха?

Но они, конечно же, имели значение, и я чувствовал это. Ведь я не просто намеревался перейти в иудаизм, я переходил в него с некоей миссией, с неким заданием примирения

Израиля и Церкви. Я чувствовал себя не просто евреем, возвращающимся, наконец, к вере отцов. Я чувствовал себя так же и сыном Эдома (каковым по отцу и являлся), чувствовал себя эдомским парламентаром.

Я намеревался, пусть и не в одночасье, но в какой-то момент выполнять все требования Закона, в том числе также и запрет переступить церковный порог. Однако при этом я чувствовал определенный долг по отношению к христианам, я не мог себе позволить с ними расплеваться.

Если я покидаю церковь, громко хлопая дверью, то противоречу себе! Я теряю вручаемые мне моим призванием полномочия!

За окном совершенно стемнело. Приближалась православная пасха. Я предложил Жанне отправиться ко мне в Сокольники, взглянуть на крестный ход.

Огненное ослепительное существо, медленно возвращающееся в свой будничный образ, кротко согласилось.

Когда мы появились в Сокольниках, Церковь была уже оцеплена, пропускали только «верующих», то есть лиц пенсионного возраста.

Уговорив двух старушек, мы прикинулись их провожаемыми и были пропущены.

Выйдя с крестным ходом, мы уже больше в церковь не вернулись, а отправились ко мне и уселись на кухне пить чай. Свечи, которые мы держали во время крестного хода и теперь поставили на стол воткнутыми в кулич, склонились друг к другу и вскоре запылали одним пламенем.

Не помню, сколько времени мы говорили, не помню о чем, помню только глаза Жанны — счастливые и изумленные. Невозможно было оторваться от них. Крестный отец вернулся из церкви со своей крестной дочерью, переполненный к ней отнюдь не отеческой любовью.

После «бала» прошло часов 6 — 8, в течение которых волны новых чувств накатывались на валуны чувств старых, накатывались... и в смятении отступали. И все же валу-

ны подтачивались, причем значительно скорее, чем можно было того ожидать.

Еще утром Жанне нужно было уговаривать меня о встрече, а теперь я был не в состоянии с ней расстаться!

Наконец, мы все же разошлись спать, а встав на другое утро, вышли прогуляться в парк.

С нами определенно нечто происходило, но даже наметнуть на это было невозможно. Когда в какой-то момент Жанна, как мне показалось, захотела проверить, не почудилось ли ей что-то накануне, я решительно перевел тему.

Я, правда, не удержался и вызвался проводить ее до вокзала (хотя накануне оставил одну брести по ночной Москве). Однако в этой задачке слишком много еще имелось неизвестных, чтобы я мог позволить себе более явно обнаруживать свое новое чувство.

В ту субботу 8 апреля, когда я посетил булгаковский дом, выступление Автандила отменилось. Он перенес встречу на неделю, и в следующую субботу, 15 апреля, Жанна должна была, наконец, начать лечение.

Я надеялся прояснить ситуацию к ее приезду, но насколько в этом не преуспел.

Я не представлял себе никого, кроме священника Александра Меня, кто бы мог взглянуть на этот вопрос по возможности шире. Однако в течение недели выбраться в Пушкино мне не удалось, и сделать это пришлось утром в субботу — 16 апреля.

Я подошел к священнику во время обедни, отстояв в общей очереди исповедующихся.

Выслушав мой вопрос, о.Александр решительно объявил, что духовное родство — препятствие для брака непреодолимое, и чтобы я выбросил свою затею из головы.

Подавленный возвращался я в Москву. Что я наделал? Что себе позволил? И ко всему еще обнадежил своими ухаживаниями несчастную одинокую женщину!

Тоска усиливалась и тем, что я вдруг почувствовал, как много значит для меня авторитет церкви, как глубоко я увяз в христианской жизни! Удастся ли мне вообще когда-нибудь покинуть ее? Вся эта история — расплата за мой религиозный авантюризм!

С Жанной мы встретились через несколько часов после моего визита в Пушкино. Я должен был проводить ее в клуб недалеко от Белорусского вокзала, где Автандил давал свои «сеансы белой магии».

С минуту Маг подержал руку над головой Жанны и сказал, что эту процедуру придется повторить еще три-четыре раза, после чего, как он утверждал, воспаление пройдет.

Из клуба мы с Жанной отправились в гости к Лёне, у которого после утренней молитвы должен был находиться Довчик.

Я рассказал о своем недавнем посещении дома 302 бис. Все присутствующие живо заинтересовались, а поскольку расстояние по 2-й Брестской от метро Белорусская до метро Маяковская по Московским масштабам невелико, все хранители субботнего покоя пожелали немедленно тронуться в путь.

Первым делом было решено посетить Патриаршие пруды, потом мы забрели в подъезд, где располагалась 50-я «нехорошая квартира», и наконец, вошли в ту — с алгебраическим номером 5а — в которой останавливалась Жанна.

Суббота подошла к концу. Мы помолились и уселись пить чай, после чего Довчик попросил Жанну показать ему и другие хоромы.

Жанна вновь провела свою фантастическую экскурсию, к которой я, разумеется, присоединился, но которая в отличие от предыдущей, вызывала во мне острую горечь.

Пришло время прощаться. Мы вышли из булгаковского дома и двинулись по улице Горького в сторону Красной площади.

Тоска одолевала меня, и я заговорил с Довом о том, как трудно поменять веру; сказал, что хотя я и вижу, что обязан исполнять закон, и сделаю так, но оставить церковь, боюсь, мне не по силам.

«Кто же тогда станет свидетельствовать за тебя твои идеи?» — резонно возражал мой друг.

Когда же мы спустились в метро, он неожиданно, улыбаясь краешками губ, спросил:

— Послушай, а почему ты не женишься на Жанне?

— Так она же моя крестница, — ответил я.

— И что, из-за этого нельзя жениться?

— Увы, нельзя, — ответил я, — что поделать, религия вещь суровая.

— Послушай, но ведь тогда это тебе просто знак переходить в нашу веру! — воскликнул Дов.

— Это было бы знаком, если бы я считал христианство чистым заблуждением, и двигался бы от лжи к истине. Но я то ведь считаю христианство истинным служением для неевреев, с которым хотел бы иудаизм примирить. Я не могу покинуть христианство со скандалом, даже если когда-нибудь и решусь с ним расстаться.

ПОРТРЕТ МИРОВОГО ДУХА

Простившись с Довом, я стал вспоминать этот долгий день, поездку в Пушкино, повторную экскурсию по дому 302-бис.

Волшебная сказка обернулось дьявольским наваждением.

Но чего еще можно было ждать от этого дома? Чего еще можно было ждать от игр с дьяволом?

Когда в двадцатилетнем возрасте (за несколько майских дней) я впервые прочитал «Мастера и Маргариту», то был покорен этой книгой. Однако позже, перечитав роман христианскими глазами, отнесся к нему весьма неприязненно.

Идеал «настоящей, верной, вечной любви» иллюстрируется адюльтером; в качестве Йешуа предлагается образ не отвечающий ни минимальным требованиям исторической науки, ни отдаленным представлениям какой-либо религии. Но главное, конечно, Сатана! Поборник справедливости и покровитель искусств, предоставляющий Королеве своего бала право отпускать грехи!

Что за чудовищный и опасный вздор? Что за дикая фантазия — представлять сатану в положительном свете?

Действительно, образ Воланда, которого Булгаков называл главным героем своего романа, чересчур позитивен для «духа зла». Это бросается в глаза всем читателям и исследователям «Мастера и Маргариты».

Чешская исследовательница Ольнова назвала «Мастера и Маргариту» «Антифаустом». Канадский ученый А.К.Райт пишет: «Хотя булгаковский дьявол действительно «вечно совершает благо», очень мало оснований утверждать, что он «вечно хочет зла»^[33]

«Пусть даже убийство Берлиоза останется на совести Воланда, зато во всех других случаях он морально безупречен, — пишет В.Лакшин. — Сам Воланд и его свита нимало не скрывают, что едва ли не во всех своих действиях они руководствуются добродетельными и даже назидательными целями»^[34]

Но разве такое возможно? Как змей-искуситель может подыгрывать Богу?

Если бы я был внимательнее, то давно бы мог заметить, что в Писании духи именно «подыгрывают», что «злейшие» из ангелов происходят из того же источника, что и самые «добрые» из них. Это ясно видно и из пролога книги Иова, и из последней главы 1-ой книги Мелахим, где рассказывается о том, как Господь «сидел на престоле Своем, и все воинство небесное стояло при Нем, справа и слева от Него. И сказал Господь: кто бы уговорил Ахава, чтобы он поднялся и пал в Рамоте Гиладском? И один говорил так, а другой говорил

иначе. И выступил дух, и стал пред Господом, и сказал: я уговорю его. И сказал ему Господь: как? И он сказал: я выйду и стану духом лживым в устах всех пророков его. И сказал Он: ты уговоришь и преуспеешь в этом; выйди и сделай так».^[35]

В ту пору я не подозревал об этом, но сатана еврейской традиции именно таков. В разных резолюциях он рисуется по-разному: выглядящий в первом приближении опасным и страшным чудовищем, вблизи он порой способен обнаруживать также и гуманную человекообразную личину.

Объясняется это тем простым положением, что согласно еврейской вере, ангельские существа не обладают свободой выбора, но выполняют повеления Всевышнего.

Сатане поручено дело обвинения. Когда обличать человека, по большому счету, не в чем, а в облике этого человека ясно проступает образ Создателя, сатана переходит под его командование. Сталкиваясь не с грешниками, а с Божьими людьми, темные силы в некоторых ситуациях начинают им прислуживать.

В трактате «Шаббат» (89) сообщается, что Ангел — губитель открывает Аарону тайные знания. В трактате «Ктуба» (77) рассказывается история, в которой Ангел Смерти не просто прислуживал мудрецу, посвящая его в тайны загробного мира, но даже избавил его от гибели, когда тот зашел слишком далеко.

В «Гитин» (68) говорится, что «шамир», т.е. средство, которым обтачиваются камни при строительстве Храма — хранится у князя бесов Ашмадая, и для того чтобы возвести Храм, царю Шломо пришлось к нему обратиться. В той же агаде сообщается, что сбивая с пути всех людей, Ашмадай вместе с тем вывел на правильную дорогу пьяницу и слепца. Т.е. вводя в заблуждение средних людей, он в то же время покровительствует определившимся грешникам (пьяница) и праведникам (слепец).

В трактате «Хагига» (4-5) Ангел Смерти посвящает р. Биби бар Абайе в технические подробности изъятия душ, и

сообщает, что когда в исключительно редких случаях он по ошибке забирает не ту душу, то годы положенной ей жизни он добавляет «мудрецу, который отказывается от сладостей этого мира».

Но главное, согласно «Зоару», в последней своей глубине Ангел Смерти тождествен Верховному Ангелу — Метатрону, в котором запечатлено Божественное имя^[36]: «Посох Моше — это Метатрон: от него проистекает жизнь, и от него же проистекает смерть. Когда он преображается в посох — он Помощник («эзер»), действующий ко благу, а когда он преображается в змея, он Супостат («кенегдо»), и Моше бежит от него»^[37]

Итак, согласно вере Израиля, в определенных ситуациях Ангел Смерти покровительствует праведникам: он уполномочен продлевать их дни и открывать им тайны жизни и смерти. И наоборот, нечестивцы наказываются им.

И Булгаков верно почувствовал это. Как Лев Шестов верно опознал в Разуме, в «Мировом духе» Змея-искусителя, так Булгаков верно усмотрел в Змее-искусителе религиозно позитивные черты.

В этом отношении Воланд, приводящий «шестое доказательство существования Бога», то есть отрезающий голову Берлиозу, но покровительствующий Мастеру, прекрасно вписывается в еврейскую демонологию.

Сверимся со словесным портретом Мирового Разума набросанного классиками. «Разум столь же хитер, сколь могуществен». — утверждает Гегель, поясняя при этом, что «хитрость состоит вообще в опосредующей деятельности, которая, позволив объектам действовать друг на друга и истощать себя в этом воздействии, не вмешиваясь вместе с тем непосредственно в этот процесс, все же осуществляет лишь свою собственную волю». «Можно назвать хитростью разума то, что он заставляет действовать для себя страсти, причем то, что осуществляется при их посредстве, терпит ущерб»^[38]

«Мировой дух» ироничен, он «дает людям действовать

как им угодно, не стесняет игру их страстей и интересов, а получается из этого осуществление его целей, которые отличны от целей, руководивших теми, которыми он пользуется»^[39]

Воланд, как мы видим, полностью отвечает этим характеристикам.

Но не менее интересна и иная черта Мессира, его происхождение: Воланд — это чистейшее детище мировой литературы, это произведение не мифологии, а искусства. Искусства, ответственным за которое иудаизм признает Эсава.^[40] Искусства, которое Шеллинг видел главным субъектом истории.

Центральную роль в самосознания Мирового духа Шеллинг отводил именно литературе: «Всякий великий поэт призван превратить в нечто целое открывающуюся ему часть мира, и из его материала создать собственную мифологию; мир этот находится в становлении, и современная поэту эпоха может открыть ему лишь часть этого мира; так будет вплоть до той лежащей в неопределенной дали точки, когда Мировой дух сам закончит им самим задуманную великую поэму и превратит в одновременность последовательную смену явлений нового мира...»^[41]

Последняя глубина постижения достигается в художественной литературе, связующей сознательное с бессознательным: «Художник вкладывает в свои произведения помимо того, что явно входило в его замысел, словно повинувшись инстинкту, некую бесконечность, в полноте своего раскрытия недоступную ни для какого конечного рассудка»^[42] А потому «Роман есть как бы окончательное прояснение духа»^[43]

Мне кажется очевидным, что роман Булгакова «Мастер и Маргарита» как раз и является тем самым романом, в котором Мировой дух окончательно прояснился, в котором он изобразил самого себя. «Великая Поэма» завершается автопортретом Воланда.

При этом, однако, выясняется, что кое в чем и Шеллинг,

и в особенности Гегель, обозначились. Гегель принял Воланда за Бога, он вообразил, что позаимствованный им у Шеллинга Мировой дух — это полностью очищенная от мифологических привнесений последняя версия библейского божества, как мы знаем, тоже «посмеивающегося» над грешниками^[44]

Гегель представил Бога Израиля каким-то недоангелом, представил Его давно снятой «исторической формой» самораскрывающегося Ангела Смерти!

Неудивительно, что Бог Израиля посмеялся над мудрецом и позволил Мировому духу всласть покуражиться над профессорской верой. Квазирелигия Шеллинга и Гегеля в свое время завоевала множество приверженцев. Современникам казалось, что Мировой дух вот-вот откроет свои планы и пойдет с человеком рука об руку, творя новую землю. Но на деле все обернулось несколькими омерзительными утопиями, главнейшими из которых явились русский коммунизм и германский нацизм.

Не нам знать, почему за Завесой было решено пролить в XX-ом веке столько крови, сколько ее, похоже, не было пролито за всю предшествующую историю, но нельзя не заметить, что осмеянию европейского рационализма и посрамлению высокомерия германского «мирового разума» было отведено какое-то место в сведении Божественных счетов.

Коммунисты, поверившие, что они разгадали скрытый механизм исторического процесса и что провидение находится у них в руках, объявили, что «поставили Гегеля с головы на ноги». В результате этого оседлания истории в считанные годы с лица земли были сметены целые народы и культуры.

Но осмеяние идей Гегеля, «стоящего на голове», оказалось не менее зловещим. Как известно, Гегель объявил вершиной исторического процесса ту точку, в которой в его сочинениях открылся «мировой дух». Согласно его учению, тысячелетия скитавшийся по разным народам Разум, получает, наконец, постоянную прописку в самом просвещенном и дисциплинированном на свете Прусском государстве, му-

дые чиновники которого решают все мировые проблемы! И вот там, где, как воображал классик, на все времена раскрылась свобода, век спустя возникнет самый чудовищный в истории режим, чуть не уничтоживший человеческую цивилизацию, а своим собственным крахом навсегда стерший с европейской карты саму Пруссию!

Но то, что Провидение совершало в истории, Булгаков воспроизвел в литературе. Он опознал Мирового духа и произвел очную ставку между ним и Гегелем в аллее у Патриарших прудов.

Вдохновленный исключительно секулярной музой, окрыленный гением очищенного от всякой мифологии «мирового духа», Булгаков ворвался в сферу религии и мистики и произвел там полный фурор. Как выразились М.Каганская и З.Бар-Селла, «превратив мировую культуру в высшую силу, Булгаков разыграл свое время и — обыграл его, в романе есть тайна, перекрывающая сюжет»^[45]

Но в ту минуту я видел в Воланде лишь опасную литературную фантазию, и сокрушался тому, что оказался в поле ее влияния.

В СИЛУ ЦЕРКОВНОЙ СХИЗМЫ

Как же получилось, что я дал обет безбрачия в отношении той женщины, ближе которой у меня на свете не оказалось? Разве это не было любовью с первого взгляда?

Действительно, когда осенью 1978 года я впервые увидел на философском кружке в 5 аудитории эту яркую, на вид явно еврейскую девушку, то уже не мог следить за докладом по Гоббсу. Голоса моя то и дело поворачивалась в сторону чудесного виденья.

Через несколько месяцев ее представил мне будущий отец ее сына. Я не ошибся, она действительно была еврейкой. Всего на четверть, но на ту самую, которая делала ее сто-процентной дочерью Йакова: ее еврейская бабушка вышла

замуж за казака, а их дочь вышла замуж за русского. Однако родившаяся у них Ира ни внешне русскую собой не напоминала, ни внутренне себя ей не чувствовала.

— Может быть, я грузинка? — озабоченно спрашивала она у родителей в начальной школе, но только в старших классах, копаясь как-то в семейных документах, открыла свою истинную подноготную.

Мы гуляли по парку Сокольники, я посвящал ее в свое православие, она меня — в свою йогу. Мы охотно и с интересом общались, но не было никакого шанса, чтобы в ту пору я усмотрел в ней спутницу своей жизни.

Когда через год после нашего знакомства я впервые собрал друзей для молитвы, Ира была моей первозванной. Но и тогда она продолжала выглядеть лишь стоящей на пороге веры. Совсем не такой представлял я себе свою суженую.

Но почему я не остерегся стать крестным, когда ее выбор, наконец, как будто совпал с моим?

Я счел ее замужней, я не сомневался в том, что после рождения ребенка все уладится. Вот уж поистине, «много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом».

Я вернулся домой и лег в постель. В памяти невольно всплыл утренний разговор с о. Александром.

И тут мне вдруг припомнилась одна его реплика, которую поначалу я совсем упустил из вида. Когда я рассказал священнику, что крестил Жанну в католическую веру, он удивленно взглянул на меня и сказал:

«Тогда я просто не понимаю, о чем вы говорите. К нам их таинства никакого отношения не имеют!»

Что же это выходило? То, что он бы нас венчал?

В самом деле, странная ситуация. Жанна крестилась в католическую веру, но сам-то я — поручитель ее крещения — оставался тогда православным! В тот момент о.Казимир не

уточнил моей конфессиональной принадлежности, а в католическую веру перевел меня лишь через три года после крещения Жанны!

Итак, если бы я не стал католиком, для венчания с Жанной в православной церкви никаких препятствий у нас не имелось бы! Значит, оставалось только узнать, как относится к возможности нашего брака церковь католическая, к которой мы принадлежали.

Но почему бы ей было относиться иначе, коль скоро церковная схизма остается в силе?

Строго канонически я, по-видимому, крестным Жанны просто не являюсь! Но убедиться в этом можно только заключив с ней католический брак! Причем заключив его, я бы получил теперь не только драгоценную жену, но и знак небес вернуться вместе с ней к завету Авраама!

Прошла еще одна томительная неделя. 24 апреля я прибыл в Вильнюс, чтобы выслушать вердикт о.Казимира Василюскиса.

Поезд приехал рано утром, было еще темно, холодно, неожиданно все вокруг было завалено снегом, так что полчася я пробивался через сугробы.

В довершение ко всему, обычно гостеприимный дом Терезы был переполнен, и хозяйка попросила меня до вечера не приходить. С дурным предчувствием вошел я в костел Рафаила.

Услышав, что у меня имеется к нему важный разговор, о. Казимир пригласил меня к себе в комнату, располагавшуюся тут же при костеле.

Между мессами у него имелось минут пятнадцать.

— Отец Казимир, — начал я, — будучи православным христианином, я стал крестным женщины, принявшей католическую веру, можно ли на этом основании признать мое крестное отцовство в отношении ее недействительным, с тем чтобы получить разрешение на брак?

— Вы стали крестным девушки, а теперь хотите на ней жениться?! — грозно поведя бровями, воскликнул о. Казимир.

— Что значит «хочу»... Я спрашиваю только, возможно ли это?..

— Да конечно можно, — сменив гнев на милость, улыбнулся шутник — священник. — Считайте, что вы были просто свидетель. Конечно, вы можете на ней жениться. Вообще по духовному родству мы сейчас легко даем диспенсацию.

— Иными словами, вы бы нас венчали?

— Конечно! Она здесь?

— Нет, я приехал только узнать.

— Приезжайте вместе, я вас венчаю.

Через три дня (как я потом обнаружил, это произошло 11-го ияра, т.е. в день моего тридцатишестилетия) я вызвал (тридцатилетнюю) Жанну в Москву.

Мы встретились на Савеловском вокзале, сели в автобус и поехали в Сокольники. Всю дорогу я просидел рядом с ней не выронив ни слова, чувствуя себя совершеннейшим Подколесиным.

...Что я ей скажу? Как? С чего я вообразил, что ей нравлюсь? Откуда вообще эта идея, что она согласится стать моей женой? Она будет в шоке, когда услышит, что ее крестный отец намекает ей на супружеские отношения!

Мы разлили чай и уселись напротив друг друга за письменным столом.

— Так что, — начал я издалека, — ты действительно поехала бы в Израиль?

— С тобой бы поехала, — перескочив через все дальнейшие объяснения, которые теперь не понадобились, ответила Жанна.

Тогда мы взяли друг другу за руки — как будто вытягивали одного другого из пропасти, над которой так долго висели порознь — и я стал рассказывать ей, для чего ездил в Вильнюс и что там узнал.

Выяснилось, что суровым Абеляром в вопросе наших взаимных обетов безбрачия был только я. Жанна оказалась легкомысленной Элоизой, никогда всерьез не чувствовавшей меня своим крестным отцом. О том, что еврейская вера ей куда больше по сердцу, нежели христианская, я уже имел возможность убедиться.

Следующий день мы провели в поисках учреждения, готового в кратчайшие сроки зарегистрировать наш брак, а еще через день я проводил Жанну на Дубненскую электричку и отправился на субботу к Дову, который через неделю должен был подняться в Израиль.

Утром, как повелось, мы совершили с ним двухчасовую прогулку до синагоги в Мариной Роще, а после службы пошли к Лёне. На исходе субботы мы с Довом, как уже у нас повелось, решили прогуляться по улице Горького от Белорусского вокзала до Пушкинской площади, где наши метрополитенные пути расходились.

Мы разговаривали о моей женитьбе, о его алии, о судьбе России.

И лишь придя домой, я вдруг сообразил, что наступившая ночь была Вальпургиевой, и что мы с Довом только что прошли мимо булгаковского дома, к которому я невольно приглядывался с площади Маяковского!

Это вновь смутило меня. Что значит, что я влюбился в крестную в этом странном месте, столь прочно связавшимся с нечистой силой? Что значит, что в Вальпургиеву полночь я опять к тому дому приблизился?

Пусть, как выяснилось, Жанна никогда не относилась всерьез к моему «отцовству», но для меня-то оно было вполне подлинным! Навалившееся на меня в этом доме чувство было немедленно опознано как инцестуозное, так что с того мгновения я ни разу уже не смог выговорить имя «Жанна»!

Кто знает, сколько бы времени ушло у меня на то, чтобы усмотреть в ней свою суженую, без катализатора «весеннего

бала»? Но что тогда значит это пугающее присутствие Воланда за моей спиной?

Прошли годы, прежде чем я обнаружил, что иудейский Ангел Смерти не «вечно хочет зла», и, что при его участии в 1988 году некоторые сакральные календарные даты сыграли причудливую симфонию.

Однако, прежде чем коснуться этой «звездной» игры, следует вкратце изложить дальнейшие события.

ХРОНОЛОГИЯ ШЕСТОГО ДНЯ

8 июня 1988 года о.Казимир венчал нас в костеле Рафаэля, не подозревая, что тем самым возвращает нас к вере отцов. Лишь несколько лет спустя я обратил внимание, что это было 23 сивана — день, в который судьба Израиля однажды счастливо перевернулась: «в месяц Сиван, в двадцать третий день его, написано было о том, что царь разрешил иудеям собраться и встать на защиту жизни своей»^[46]

28 июля мы заключили гражданский брак, но еврейскую хупу поставили только в сентябре 1989 года. К этой свадьбе, как и обещал Автандил, глаз Иры — теперь уже, впрочем, Ребекки — совершенно зажил.

Перестройка была в разгаре. Издать книгу стало возможно уже в России, чем я вплотную и занялся.

В 1990 мне удалось опубликовать первую часть — «Здесь и теперь». Но с остальными книгами дело не двигалось. Между тем эти книги постепенно стали для меня морально устаревать. Сил и средств на их продвижение у меня становилось все меньше, и 22 октября 1992 года мы с Ребеккой и тремя нашими детьми поднялась в Израиль.

Неделю мы жили у Дова в Иерусалиме. За это время я объездил с десятков поселений Иудеи и Самарии, и остановился на поселении Михмаш, подле которого Йонатан, сын Шауля, и его оруженосец двумя мечами разгромили армию филистимлян.

Здесь мы поселились, и здесь у нас вскоре родилось еще два ребенка. С Божьей помощью все дети выросли бесстрашными людьми и богобоязненными евреями, не мыслящими своей жизни вне Израиля, и удостоившимися участвовать в его войнах.

Первый свой год в Израиле я проучился в харедимной йешиве, а осенью 1993 года присоединился к образовавшемуся в ту пору спецкурсу при сионистском институте «Бейт-Мораша», где провел три года.

В Москве я более 10 лет проработал врачом-лаборантом в реанимационном отделении, но медицина не очень привлекала меня. По завершении учебы в «Бейт-Мораше» я устроился в поселенческую радиостанцию «7-ой канал», где занимался новостями, редактированием и переводами вплоть до ликвидации этой станции («Высшим Судом Справедливости») в 2002 году. С той же поры и по сей день работаю в security — охраняю местную Талмуд-Тору.

Сразу по приезде я стал печататься в газете «Вести», в которой в тот момент уже работал Дов Конторер.

На протяжении семи лет мне удавалось публиковать в основном политические статьи. Однако в декабре 1999 года вступивший в должность редактора Илья Наймарк решил пустить козла в огород, и предложил мне вести еженедельную религиозно-философскую колонку. Этот пир продолжался 18 лет, пока я не был уволен (в один день с Довом) в результате очередного редакторского переворота. С той поры публикуюсь в интернете.

Своей карьерой независимого автора я в значительной мере обязан Ребекке. В 1996 году она обучилась программированию, что заметно скрасило материальную сторону нашего бытия. Кроме того, в 2000 году она сделала мне авторский сайт, который с той поры технически поддерживает. Поддерживает она в определенной мере также и его содержание.

Ее последовательная ортодоксальность и исключительные аналитические способности (в 50 лет она освоила язык Java и участвовала в престижном проекте) превратили ее в моего бесценного критика. Большей частью замечания ее бывают незначительными, но не раз мне приходилось заново переписывать статьи и даже целые книги.

В первую очередь это касается настоящего сочинения — «День Шестой». Ознакомившись в 2013 году с последней редакцией моей автобиографической повести «Лики Торы» Ребекка осталась недовольна.

— Все это должно быть по-другому. — сказала она. — Ты должен писать не о себе, а о тех мастерах, которыми водил мировой дух. Наконец, ты должен написать о том, как этот дух в истории появился, как он искушал Йешуа. А о нас с тобой уже совсем вкратце.

Совсем вкратце не получилось. Но в настоящем изложении мои опыты и впрямь оказались преподаны гораздо более доступно и наглядно. Что же касается «Ликов Торы» («Сверхновое время»), то книга эта продолжает существовать параллельно, раскрывая несколько иные аспекты и идеи той же истории.

Немало существенных правок моя жена привнесла также и в (опубликованный в 2012 году) роман «Мессианский квадрат», подписанный именем его главного героя Ури Шахара.

В трактате Сангедрин (38) дается следующее почасовое расписание шестого дня: «В первый час был замешан прах, во второй придана форма, в третий создана фигура, в четвертый в него была вселена душа, в пятый он был поставлен на ноги, в шестом он дал имена животным, в седьмой час была создана Хава, в восьмой взошли на постель двое — сошли четверо, в девятом часу был дан запрет вкушать от древа познания, в десятом часу нарушили заповедь, в одиннадцать часов человек был судим и в двенадцать изгнан».

Виленский Гаон привел это «расписание» в соответствие с человеческой историей, огласив результат в узком кругу своих учеников. Вопреки его воле двое из них поделились вычислением с посторонними. Их постигла скорая смерть, но вычисления перестали быть тайной и открыто с той поры обсуждаются.

Гаон (1720-1797) представил каждое тысячелетие как сутки, относя творческие акты только к дневному времени. Таким образом, он разделил на двенадцать часов не все шестое тысячелетие, а лишь период с 5500 (1740) года по 6000 (2240).

Пятый час, в который человек встал на ноги, час, продолжавшийся с 5667 (1906) по 5708 (1948) год, Гаон истолковал, как время Избавления и попал в точку. Час этот оказался часом сионизма, завершившегося созданием еврейского государства!

Ничего не зная об этих расчетах Гаона, но услышав в свое время о самой его идее соответствия шести дней шести тысячелетиям, я произвел схожие вычисления, которые и доверил своему литературному герою.

Ури Шахар к проблеме ночных часов подошел иначе. Он вовсе исключил ночь из общего счета, представив ее лишней продолжительности паузой. В конце концов ночь в тексте Торы отсутствует («и был вечер, и было утро: день шестой»), а Магараль в «Тиферет Исраэль» (16), рассматривая эту агаду заключает, что «день действителен, а ночь не в счет».

Как бы то ни было, но «литературный» расчет оказался не менее точно вписывающимся в историю Эсава, чем «раввинистический» — в историю Израиля!

Приведенное талмудическое «расписание» выглядит в трактовке Ури Шахара программой развития Западноевропейской культуры!

Итак:

1-ый час Шестого тысячелетия, в период с 1239/40 г. (5000) по 1322 г. (5083) — в истории замешивался материал, из которого изготовлялся человек.

2-ой час с 1322/23 г. (5083) по 1405 г. (5166) — человеку придавалась форма;

3-ий час с 1405/06 г. (5166) по 1489 г. (5250) — создавалась его фигура,

4-ый час с 1489/90 г. (5250) по 1572 г. (5333) — в человечество была вселена душа;

5-ый час с 1572/73 г. (5333) по 1655 г. (5416) — человечество встало на ноги;

6-ой час с 1655/56 г. (5416) по 1739 г. (5500) — оно стало давать имена животным;

7-й час с 1739/40 г. (5500) по 1822 г. (5583) — была создана женщина;

8-й час с 1822/23 г. (5583) по 1905 г. (5666) — на постель поднялись двое и спустились четверо (родились Каин и Эвель);

9-ый час с 1905/06 г. (5666) по 1990 г. (5750) — человечество получило запрет вкушать от древа познания;

10-ый час с 1989/90 г. (5750) по 2072 г. (5833) — человечество нарушит запрет;

В 11 часов, т.е. в 2155/56 году (5916) — человечество будет судимо и, в 12 часов — в 2239/40 году (6000) — будет изгнано (по другой версии, прощено).

Мы ясно видим, что шестой день человеческой истории, ее первый час начался с Проторенессанса. В «Божественной комедии» был «замешан прах» секулярного человека.

Два следующих часа, т.е. с 1322 по 1489 — собственно Ренессанс. В этот период человечество было сосредоточено на собственной «пластике» («форма» и «фигура»). Более двух веков живопись и ваяние оставались ведущими видами искусства.

В четвертом часу, связавшем Ренессанс с Новым временем, то есть с 1489 по 1572 год, в человечество вошла душа. Человек оказался «заброшен в мир»: с одной стороны расширились границы планеты (эпоха великих географических открытий), с другой изменилось ее место во вселенной (Коперников переворот).

Пятый час (с 1572 по 1655 год) — эпоха Шекспира, Сервантеса и Декарта. В этот час «порвалась связь времен», человек действительно «встал на ноги».

В шестом часу (с 1655 по 1739 год) — человек стал «давать имена животным» — пришло время научной систематизации. Час Линнея с сотоварищами.

Седьмой час — с 1739 по 1822 — час «создания женщины». То были первые шаги женской эмансипации (в 1791 француженка Олимпия де Гуж составила «Декларацию прав женщины и гражданки»).

В восьмой час — с 1822 по 1905 — Адам вошел к Еве и родил Каина и Авеля. То был поистине «медовый час» человечества — эпоха расцвета классического европейского романа.

Девятый час — с 1906 по 1990 — предостережение от вкушения плодов древа познания прозвучало в экзистенциальной философии.

Итак, в 1990 году наступил десятый час — час нарушения запрета. Европа отреклась от христианства и экзистенциализма, пытается задушить Израиль и раскрывает объятия исламу. Но кроме того, отныне человечество подстерегают новые неведомые вызовы и проблемы.

В приведенном расписании творческих актов Шестого дня ничего не сказано относительно сотворения «шедим» — демонов, проделки которых подробно описываются Булгаковым, и которые в иудаизме мыслятся не падшими ангелами, а именно отдельными созданиями. Между тем они также творились в шестой день, причем уже после человека.

«Рабби Иегуда, Анаси, сказал: Сотворил Всевышний души чертей, и уже собирался сотворить им тела, но тут началась Суббота, и не сотворил». (Берешит Раба 7:5)

Р. Овадья из Бертануры уточняет: «После того, как Создатель сотворил Адама и Хаву, Он приступил к сотворению чертей. Он успел сделать им души, а тела не успел, потому что вошла Суббота».

Невольно создается впечатление, что «шедим» — эти разумные, вполне смахивающие на человека существа, творились после него, как некая его тень, отброшенная вспышкой свободы. Данный человеку запрет вкушать от дерева познания создал условия свободного выбора, а вместе с ним и возможность возникновения параллельного теневого мира. Таким образом души «шедим» должны были создаваться именно в тот — 9-ый час, когда Всевышний огласил Адаму Свой запрет.

Интриги и природу этих сил я рассматриваю в книге «Непростые смертные».

ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ

Однако обратимся к «звездной» игре; вернемся к той причудливой симфонии, которую сыграли в 1988 году некоторые сакральные календарные даты.

Следует отметить, что переезд в Израиль не избавил меня от беспокойства по поводу того, что я не только влюбился в булгаковском доме, но и прошел мимо него в Первомайскую ночь 1988 года.

Как-то осенью 1994 года, медитируя над календарем, я вдруг обратил внимание, что та первомайская ночь была не только Вальпургиева, но также и пасхальная, т.е. ночь на Песах Шени!

Заинтригованный, я перечитал «Мастера и Маргариту» — и сильно удивился. Удивился тому, что Булгаков как будто

пытался представить никогда не совпадающие Пасхальную и Вальпургиеву ночи как одно событие!

Соколов в своей энциклопедической статье «Великий бал у сатаны», ни разу не упомянув о «классической Вальпургиевой ночи», приводит всевозможные источники, которые, по его мысли, могли служить прообразами булгаковской фантазии. Так, например, появление на бале обнаженных женщин Соколов объясняет влиянием книги Августа Фореля «Половой вопрос»: «Швейцарский профессор упоминал «бал нагих или полунагих», устраиваемый ежегодно в Париже «художниками и их натурщицами в обществе их ближайших друзей» и завершающийся «половой оргией». Поэтому на балу у сатаны все женщины, подобно натурщицам на парижском балу, обнажены»^[47]

Но нужно ли было так далеко ходить? Общеизвестно, что и на первомайский шабаш ведьмы слетались именно в этом «туалете»!

Тот же Мефистофель увещевает (гетевского) Фауста:

*«На старых ведьмах домино,
Молоденькие же раздеты.
Будь с ними ради этикета
Любезен, так заведено».*

Летание на борове, втирание мазей, наконец, «брокенские гуляки» указывают на тот же источник.

Но даже если бы детали эти отсутствовали, само название «весенний бал» подразумевает Первомайскую ночь, коль скоро никакой другой более значимой ведовской сходки весенней попросту нет.

Однако Вальпургиева ночь никак специально не приурочена к полнолунию, в то время как «ежегодно даваемый мессиром бал» именуется все же «весенним балом полнолуния».

Пасхальную и Первомайскую ночи, казалось бы, невозможно совместить. События моей жизни, между тем, показали,

что их совмещения можно было бы достичь литературными средствами, а именно так описать «бал», чтобы читатель в равной мере мог отнести его и к Песаху, и к Вальпургиевой ночи.

В 1988 году ночь с субботы на воскресенье христианской (католической) пасхи не только совпала с полнолунием, но и оказалось «параллельна» Вальпургиевой ночи, также пришедшейся с субботы на воскресенье и также полнолунной.

Причем поскольку полнолуние это было связано с Песахом Шени, то «параллелизм» сакральных дат дополнительно углубился. Ведь Вальпургиева ночь так или иначе оказывалась пасхальной.

Совпадение еврейских дат здесь, возможно, кому-то не покажется идеальным. Но поскольку полнолунная ночь, как и начало лунного месяца, исходно неопределенны (за счет чего в галуте Песах празднуется два дня подряд), литературная мистификация вырисовывалась как раз вполне «идеальной».

Полнолуние, суббота, бление подготавливаемых к жертвоприношению агнцев... и одновременно какая-то чертовщина!

В моем «живом романе» точки эти были обозначены выходом Жанны из дверей дома 302-бис в субботнее полнолуние Нисана (завязка истории), и моим проходом мимо этих дверей в субботнее полнолуние Ияра (концовка). Причем кульминация умудрилась совершиться в этом доме также в собственно Пасхальный день!

Между тем неопределенность в установлении месяца (нисан или ияр?) оборачивается определенностью в установлении лет, в которые такая месячная неопределенность имеет место!

И Булгаков чувствовал это. Побывавший на весеннем балу Николай Иванович попросил у Бегемота справку и получил ее.

«А число! — пискнул Николай Иванович.

— Чисел не ставим, с числом бумага станет недействительной, — отозвался кот».

Но если дата «весеннего полнолуния» не уточняется ни числом, ни месяцем григорианского календаря, то на ней — на этой справке — немедленно проступают «звездные» годы!

Даже независимо от того, написан соответствующий роман или нет, эти годы являлись как бы благоприятными площадками для приземления «мирового духа», оказывались точками прорыва Божественного света.

В 1994 году я разжился «досовской» программой пересчета христианских и еврейских дат, главное достоинство которой состояло в том, что она приводила еврейские даты к григорианским после 15 октября 1582 года, и к юлианским — до 4 октября.

На момент написания этих строк все кочующие в Сети конвертеры в этом месте дают сбой. Они выдают даты григорианского календаря, как если бы тот существовал вечно, то есть в полном отрыве от реальной истории. С помощью такого (пролептического) конвертера можно правильно определить время солнечного равноденствия, но не историческую дату. Профессор Франц Пауль фон Груйтуйзен такого ляпа, конечно же, не допустил.

Как бы то ни было, 9 февраля 1995 года я распечатал запрос, на какие дни недели и даты григорианского календаря в течение трех столетий выпадали 15 нисана и 15 ияра. Так я обнаружил двух первых братьев — близнецов 1988 года — а именно 1836 и 1768 годы.

Однако прежде чем вернуться к остальным находкам, связанным со «звездными» годами, мне бы хотелось обратить внимание также и на удивительные особенности «ежегодного» «весеннего бала полнолуния».

Используя, при учреждении этого «бала», тайные пасхальные коды, Мировой дух фактически назвал пароль, подтверждающий духовную доброкачественность его миссии.

ВЕСЕННЕЕ ПОЛНОЛУНИЕ

В мае 1995 года, в час празднования 47-й годовщины Независимости Израиля, Ребекка предположила, что Булгаковские «балы», совершаемые весной, по субботам и при полной луне, опираются на... собственную пасхалию, т.е. на оригинальную формулу установления годовщины Песаха.

Принцип этой пасхалии строится, по ее мысли, на совпадении дней недели (субботы) с полнолунием... какого-либо из весенних месяцев, а не обязательно Нисана. Таким образом, «весенний бал полнолуния» (возведенный Булгаковым к своему посещению Патриарших в обществе Елены Сергеевны) мог состояться и в мае.

Булгаков как бы выхватил для своего Воланда самое существенное: весна, полная луна, ночь с пятницы на субботу. Так волшебство срабатывает.

Поначалу я принялся возражать.

— Да мало ли, сколько таких совпадений суббот с полнолуниями бывает! По какому принципу между ними выбирать?

Тем не менее, я стал проверять, и вскоре обнаружил поразительный факт — ничего выбирать не приходилось: совпадение весеннего полнолуния с субботней ночью происходит не только каждый год, но к тому же случается еще и только один раз в год, с учетом, впрочем, четырех лунных месяцев: Адара, Нисана, Ияра и Сивана.

Адар, правда, считается зимним месяцем, но в силу того, что он обыкновенно выпадает на март, исключить его было невозможно.

С другой стороны, в те годы, когда «бал» отодвигается на (соответствующий маю-июню) Сиван, субботней является не первая, а вторая полнолунная ночь (т.е. ночь не с 14 на 15, а с 15 на 16 число).

Однако с учетом двух этих отклонений исключались любые разночтения, так что Коровьев мог с полным правом сказать Маргарите, что «Ежегодно мессир дает один бал. Он

называется весенним балом полнолуния», а сам Булгаков сообщить (в эпилоге), что «каждый год, только наступает весеннее праздничное полнолуние, под вечер появляется под липами на Патриарших... Иван Николаевич».

Вот примерно то, к чему мы с женой пришли в 1995 году.

Однако, с годами выяснилось еще нечто — выяснилось, что принципы булгаковской пасхалии подразумеваются самой Торой, что связка из четырех месяцев имеет свою жесткую календарную логику, обусловленную тем, что в високосные годы Нисан переносится на Ияр.

Действительно, чтобы привести в соответствие лунные месяцы солнечному году (сезонам), периодически приходится добавлять 13-ый месяц — второй Адар. Соответственно 1-ый месяц Нисан сдвигается в этом случае на следующий месяц, который «по умолчанию» («default») должен был бы быть 2-м месяцем — Ияром.

Ияр — это такой «второй» месяц, который время от времени оказывается «первым», т.е. сам по себе является полноценным кандидатом на роль пасхального месяца. Каждый Ияр — это несостоявшийся Нисан.

С другой стороны, 13-ый месяц («второй Адар») исходно должен был бы именоваться Нисаном, т.е. представляет собой разжалованный Нисан. Но тем самым и он — этот (зимний месяц) Адар также оказывается втянутым в весеннюю пасхальную игру.

Если же вспомнить, что основное событие Пурима — низвержение Амана — произошло в пасхальные дни («И призваны были писцы царские в первый месяц, в тринадцатый день его»), то становится ясно, что три этих «зубца» — Адар, Нисан и Ияр — восходят к одной сакральной рукоятке.

Но к ней же, превращая ее в четырехзубец, в конечном счете присоединяется также и весенний месяц Сиван, коль скоро в високосные годы его полнолуние принимает на себя полномочия Песаха шени («default» празднуемого в Ияре).

Итак, все весенние полнолуния (плюс одно сопряженное с ними зимнее) — это пасхальные полнолуния, что прекрасно объясняет, почему в связи с Песахом Тора говорит не о Нисане, а об Авиве, о «весеннем месяце»: «Соблюдай месяц Авив» (Дварим 16:1) «Сегодня выходите вы, в месяце Авиве» (Шмот 13:4).

Кто-то возразит, что високосные годы строго фиксированы, что все месяцы (и даже число дней в них) расписаны наперед. Действительно, 19-летний Метонов цикл содержит 12 обычных лет по 12 месяцев и 7 — високосных по 13 месяцев, порядок которых внутри цикла строго фиксирован.

Но дело в том, что Метонов цикл — это протез, которым еврейская традиция стала пользоваться только через несколько столетий после разрушения Храма.

До той же поры високосные года определялись не календарным алгоритмом, а согласно требованиям Торы — визуально. В древности никто заранее не знал, как наречется следующий месяц — Адаром или Нисаном. Это зависело от целого ряда климатических условий, напрямую подвластных Создателю.^[48]

Только в текущем Адаре (Всевышним на небе и людьми на земле) решалось, будет ли следующий месяц Нисаном, или вторым Адаром. И если этот второй Адар провозглашался, то Песах праздновался в том месяце, который исходно должен был именоваться Ияром, а Песах Шени в том месяце, который должен был именоваться Сиваном.

Таким образом, все весенние месяцы (полнолуние лишь одного из которых ежегодно выпадает на субботу) являются пасхальными месяцами! Но Суббота, со своей стороны, также имеет пасхальное измерение!

ФОРМУЛА ПЕСАХА

Выше я писал, что в календарном отношении Песах — трофейный праздник, что он возник в результате покорения языческих дат: весеннего равноденствия и полнолуния связанного с зодиаком Овна.

Между тем, Песах тесно связан также и с одной собственнo еврейской «датой» — с Субботой.

Действительно, в субботнем кидуше говорится: «Благословен Ты,... который... святую Субботу свою с любовью и благоволением дал нам в наследие, — в памятку («зикарон») о деле миротворения,... в память («зехер») об исходе из Египта».

То есть Суббота даже в большей мере ассоциируется с исходом из Египта, чем с сотворением мира!

Каким образом?

При исходе Израилю была вручена Тора, а вместе с ней и Суббота. Отныне Суббота в большей мере связывается с именем Израиля, чем с миротворением.

Этот классический ответ, между тем, нуждается в одном уточнении. Ведь на Синае были даны и другие заповеди, почему же их исполнение не напоминает об исходе в такой же мере как Суббота?

Дело в том, что заповедь субботнего покоя была дана сынам Израиля отдельно, причем в тот самый День, который с одной стороны год спустя был наречен «Пасхальным Днем» (Песахом Шени),^[49] а с другой, являлся, по свидетельству Гемары, Субботним.

Наконец, как сообщается в той же Гемаре,^[50] с Субботой совпал также и «пролог» самого Песаха — еврейские рабы на глазах у своих египетских господ стали отбирать для забоя их священных животных: «Скажите всей общине израильской так: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый по агнцу на семейство, по агнцу на дом»^[51]

Первый связанный с Песахом ритуальный акт был приурочен к Субботе.

Песах, таким образом, оказался увязан с Субботой в той же мере, в какой и с полнолунием, причем с полнолунием любого весеннего месяца!

Соответственно, то весеннее полнолуние, которое в текущем году совпадает с Субботой, уже чисто «структурно» оказывается праздничным! ^[52]

И назвав свое субботнее полнолуние «весенним», Булгаков не просто использовал эту таинственную пасхальную формулу, он оказался первым, кто ее обнаружил!

Весна, Полнолуние, Суббота — этот сакральный пароль каким-то образом ускользнул от внимания мудрецов Израиля, но огласив его, Воланд предъявил сертификат, подтверждающий подлинность своей миссии.

Впрочем, это был не первый случай, когда Ангел смерти приоткрыл людям тайну Торы.

Ведал ли то Михаил Афанасиевич, или не ведал, но открыв (субботный) «весенний бал полнолуния», он подарил миру тайную календарную структуру, в конечном счете, учитывающую как субботнее измерение Песаха, так и пасхальную сущность всех весенних месяцев!

Сознавал ли то Михаил Афанасиевич, или не признавал, но из-под его пера с одной стороны вышла оригинальная пасхалия некоего «примордиального» Песаха, а с другой — литературная мистификация, «превратившая мировую культуру в высшую силу»^[53]

Вернемся же к этой мистификации, вернемся к тем редким «звездным» годам, отстоящим друг от друга на четыре постоянных периода: 68 лет (2 раза), 84 (5 раз), 95 (8 раз) и 152 (3 раза).

РАЗБИЕНИЕ СОСУДОВ

Итак, в ту же пору (к маю 1995), когда выяснилось, что воландовские балы соответствуют оригинальной пасхалии, я обнаружил и все те «звездные годы», которые вычислил для Мельгунова профессор Груйтуйзен:

2140, 1988, 1836, 1768, 1616, 1569, 1474, 1379, 1295, 1132, 1048, 953, 858, 763, 679, 516, 432, 337, 242, 158, 63 (позже я выискал еще и 2208 год).

Поначалу я не думал исследовать этот причудливый ряд четырехзначных чисел. Нумерология никогда не относилась к сфере моих увлечений.

Однако то, что одним из этих лет был последний год жизни Пушкина, я не заметить, конечно, не мог. Так потянулась ниточка, и к лету 1996 года я владел почти всей той базой данных, которую собрал герой моего романа «1836» — Николай Александрович Мельгунов. Думаю, что с помощью другого героя того же романа — рава Шимшона Гирша — он также разгадал и сам этот ребус.

Мне остается лишь своими словами повторить истолкование сей удивительной истории, и подвести ее общий итог (нисколько не налагающий запрет и на любые иные интерпретации).

Сотворение мира, согласно каббале, происходило следующим образом: Бесконечный («Эйн-Соф») сократился, освободив тем самым место для тьмы, в которой все же сохранился след Божественного присутствия. Этот след принял образ десяти сфирот, десяти сосудов, в которые устремился Божественный свет. Но тут произошел сбой. Давление света выдержали лишь три верхние сфирот («Кетер» — Венец, «Бина» — Разум и «Хохма» — Мудрость), но шесть следующих оказались разбиты («швират акелим»), сосуд седьмой сфиры — Царство («Малхут») треснул. Искры света перемешались с

осколками сосудов, создав так называемый мир скорлуп — «клипот», в котором истинное и ложное соседствуют. Священная история явилась исправлением («тикуном») сложившейся ситуации.

Схема эта, некогда смущавшая меня своим отвлеченным механицизмом, прояснилась, когда я применил ее к истории взаимоотношений иудаизма и эллинизма.

Леон Черняк любил повторять, что античная философия представляет собой уникальную культурную мутацию; что словосочетания «китайская философия», «индийская философия» и т.д. осмыслены в не большей мере, чем «китайская физика» или «индийская термодинамика».

«Во всех прочих древних культурах, — говорил Черняк, — мысль обсуждала наличную мифологию, но не замечала саму себя. Лишь греческая мысль, обратившаяся к мысли как таковой, вырвалась на универсальный уровень».

Действительно, поздние эллинские философы скептически относились к религии своего народа, видели в родной мифологии некую недофилософию. Они устремляли свой взор к чистым интеллектуальным формам. Неудивительно, что и в Едином Парменида, и в Троице Плотина, и в Десятирице Прокла многими улавливалось что-то «божественное». Но Его там не было, то был лишь след Его присутствия.

Эллинскую мудрость, освободившуюся от тьмы мифологии, но в то же время лишенную Божественного света, естественно уподобить сосудам, призванным этот Свет воспринять. Философии было предначертано представить Святое во всеобщем виде, сохранив его верховный суверенитет. Но это было сделано лишь отчасти.

Начало, положенное встречей Израиля с Александром Македонским, было радужным. Согласно Талмуду, воспитанник Аристотеля оказался поражен ответами, данными еврейскими мудрецами на его каверзные вопросы. Александр поклонился первосвященнику Шимону Ацадику, узнав в его лице образ того ангела, который сопровождал его на полях

сражения. Со своей стороны и р.Шимон высоко оценил Александра, распорядившись, чтобы его имя было дано всем родившимся в том году кознам.

В тот миг эллины и иудеи пробудили друг у друга взаимный интерес, и менее чем через столетие ТАНАХ был переведен на греческий.

Перевод этот, инициированный эллинизированным египетским царем Талмаем (Птолемеем II Филадельфом), поначалу был воспринят в еврейском мире восторженно. Свиток Септуагинты (в отличие от любого другого последующего перевода на какой-либо иной язык) был признан пригодным для чтения в собрании молящихся.

Трем верхним сфирот не принято искать отображения в нижнем мире, однако в нашем случае они сами бросаются в глаза: в лицах царей Александра и Талмая опознаются признаки двух верхних, выдержавших напор света сфирот — Венца и Разума. К третьей из них — Мудрости — естественно отнести Аристотеля, бывшего воспитателем Александра, и по свидетельству Клеарха, с величайшей похвалой отзывавшегося о встретившемся ему однажды еврейском мудреце.^[54]

В трех этих фигурах — Александре, Аристотеле и Талмае можно усмотреть представителей трех верхних сфирот, удержавшихся при первом столкновении со Светом.

Однако в следующий миг хрупкий философский хрусталь не выдержал напора Божественного света. «Общие соображения» оказались неспособны вместить логику Творца, избравшего Себе один народ, оставаясь при этом Отцом всех людей.

В эллинском мире Септуагинта была воспринята лишь как одно из творений человеческого гения. В Александрийской библиотеке Книга книг удостоилась почетного соседства с диалогами Платона, но не сакрального почитания. Дело кончилось тем, что евреи объявили Септуагинту «львом, посаженным в клетку».

Однако с возникновением христианства плененный лев превратился в набитое опилками «ветхое» чучело. Так, христианский апологет Иустин, не напрасно прозванный Философом, в следующих словах выразил «здравомысленное» отношение к законам Торы: «Что же касается до чрезмерной разборчивости иудеев в пище, их суеверия в соблюдении субботы, тщеславия своим обрезанием, лицемерия в постах и новомесячиях, — все это так смешно и не стоит слова, что, думаю я, нет нужды тебе узнать об этом от меня... Также не достойно ли осмеяния тщеславиться уменьшением плоти как свидетельством особенного избрания, как будто за это они преимущественно возлюблены Богом?». ^[55]

От этого умозаключения было уже рукой подать до вердикта, вынесенного Афанасием Великим: «Евреи более не народ, избранный Богом, а властители Содомы и Гоморры». ^[56]

В этой теологии, объявившей Израиль тьмой, искры света смешались с осколками философского хрусталя и нуждались в исправлении — «тикуне».

«Как добиться того, — вопрошает Шестов — чтобы, читая Писание, толковать и понимать его не так, как нас приучили это делать великие мастера Греции, а так, как того хотели и требовали от своих читателей те, которые передали нам через книгу книг то, что они называли словом Божиим?» ^[57]

Как это видно из творчества самого Шестова, разбившиеся сфирот стали воссоздаваться мастерами европейской культуры. Каждый из этих мастеров вписал свою главу в Великую Поэму Мирового духа, которая завершилась экзистенциальной философией, продублировавшей основные прозрения иудаизма.

В самом деле, секулярный человек, человек «нового мира», концепция которого раскрылась в экзистенциальной философии, воссоздал по большому счету ту же шкалу ценностей, что и традиционный иудаизм. Практически всем новейшим прозрениям экзистенциалистов можно указать древние еврейские аналогии.

Например, Виктор Франкл пишет: «У каждого есть свое особое призвание. Каждый человек незаменим, а жизнь его неповторима. И поэтому задача каждого человека настолько же уникальна, насколько уникальна и его возможность выполнить эту задачу»^[58]

А в Талмуде сказано: «Адам был создан единственным... ради мира между людьми, чтобы не говорил человек человеку: «Мой отец больше твоего» и чтобы выразить величие Пресвятого. Ибо человек чеканит много монет одним чеканом и все они похожи друг на друга. А Царь над царями царей отчеканил всех людей чеканом Первого Человека, но ни один из них не похож на другого. Поэтому каждый должен говорить: Ради меня создан мир».^[59]

Сартр пишет: «Человек осужден быть свободным. Осужден, потому что не сам себя создал, и все-таки свободен, потому что, однажды брошенный в мир, отвечает за все, что делает. Экзистенциалист не верит во всеисилие страсти. Он никогда не станет утверждать, что благородная страсть — это всесокрушающий поток, который неумолимо толкает человека на совершение определенных поступков и поэтому может служить извинением. Он полагает, что человек ответствен за свои страсти»^[60]

А в Талмуде сказано: Господь «решает над каплей, кто из нее произойдет — мужчина или женщина, слабый или сильный, бедный или богатый, низкорослый или высокий... а также решает все, что с ним (человеком) случится. Но будет ли он праведным или нечестивым — этого не решает, а отдаст (выбор) в руки самого человека, одного его...»^[61]

Эта свобода сопряжена с мужеством, о котором Тиллих пишет: «Мужество — это самоутверждение бытия вопреки факту небытия. Это акт, который совершает индивидуальное Я, принимая тревогу небытия на себя и утверждая себя.... Мужество всегда подразумевает риск, ему всегда угрожает небытие... Подобное понимание становится возможным, только если принять мнение о том, что небытие принад-

лежит бытию, что бытие, лишенное небытия, не смогло бы быть основанием жизни»^[62]

В трактате «Сукка» этот парадокс представлен следующей притчей: «В будущем Пресвятой приведет злое побуждение и убьет его на глазах праведных и нечестивых. Праведным он покажется высокой горой, а нечестивым — ниточкой с волос. Те и другие будут плакать. Праведники плачут и говорят: «Как смогли мы одолеть такую высокую гору?». А нечестивцы плачут и говорят: «Как это мы не могли одолеть такую тоненькую ниточку?»». ^[63]

Знаменитая формулировка Сартра гласит: «Экзистенциализм учит, что есть по крайней мере одно бытие, у которого существование предшествует сущности, бытие которое существует прежде, чем его можно определить каким-нибудь понятием, и этим бытием является человек. Это означает, что человек сначала существует, встречается, появляется в мире, и только потом он определяется»^[64]

Предвосхитить на два тысячелетия столь утонченную формулировку непросто, но за два столетия до Сартра каббалист рав Моше Хаим Луцато писал: «Основа сущности мира — в высших силах. Все, что существует в нижнем физическом мире, есть порождение этих сил... Однако есть одно исключение из этого правила: все, что касается человеческого выбора... Всевышний дал человеку силу быть побудительной причиной изменения самого мира и его творения согласно тому, что он выберет по своему желанию»^[65]

Из списка подобных «параллельных мест» можно составить тома.

Имеется, разумеется, и одно существенное отличие: согласно иудаизму, высшее экзистенциальное проявление заключается в служении Всевышнему («Тот, кто исполняет заповедь по обязанности, стоит выше того, кто исполняет заповедь, не будучи обязан») ^[66]

Для экзистенциалиста «ничто не может направлять действия «решившегося» индивида — ни Бог, ни социальные ус-

ловности, ни законы разума, ни нормы или принципы. Мы должны быть самими собой, мы должны решать, куда идти»^[67]

В одном и другом случае «Древо сфирот» наполняется соками по-разному: Сын Завета являет Бога, подчиняя Ему свою волю, экзистенциалист — уподобляясь Ему своей собственной произвольностью. Пути становления иудея и экзистенциального философа противоположны, но устремленность одна.

Как разъясняет рав Кук, самозванное секулярное дерзновение («хуцпа»), не отрицает, а дополняет самоотверженное служение Создателю.^[68]

СЕМЬ ГРОССМЕЙСТЕРОВ

Шкала экзистенциальных ценностей вырабатывалась множеством европейских мастеров, среди которых вполне уместно выделить семь гроссмейстеров, загадочным образом связавшихся со «звездными годами», и это Данте (1295), Шекспир (1569 и 1616), Сервантес (1569 и 1616), Кант (1768), Гете (1768), Шеллинг (1836) и Пушкин (1836).

Как и семь Пастырей Израиля, их легко привести в соответствие с семью духовными качествами: «красотой», «мильностью», «судом», «основанием», «великолепием», «торжеством», и «царством».

Так, природный сын Эсава — Данте, по выражению Шеллинга, «первосвященник, рукополагающий все новое искусство на его служение»^[69]

Магараль отмечает, что Эсав унаследовал не только силу, не только внешнюю власть над этим миром («мечом своим будешь жить»), но также и красоту, лидерство в эстетической сфере.^[70]

Таким образом, если в Израиле Милость (Авраам) и Суд (Ицхак) примиряются в Красоте (Йакове), то в Эдоме являющаяся его «истоком» Красота расщепляется на эти же составляющие.

И это понятно, эстетической позиции требуется нравственная оценка, которая может склоняться и в сторону оправдания, и в сторону осуждения. Шекспир явно соответствует в европейской литературе качеству Милости. В Лев Шестов в следующих словах характеризует его творческую позицию: «Для Шекспира Макбет не перестает быть человеком, ближним после рокового события, и, несмотря на то, что Шотландия обращена озверевшим королем в темную могилу, несмотря на то, что тысячи жертв вопиют к небу о справедливости, Шекспир не считает ни нужным, ни возможным заставить самого Макбета признать постигшую его кару законной»^[71]

В свою очередь парный этому поэту прозаик Сервантес безжалостен даже к «высоким идеалам». Каждая глава «Дон Кихота» — это история сокрушения еще одной великой мечты, еще одного прекрасного порыва. Горькой иронией звучит наставление Дон Кихота, данное Санче Пансо при вступлении того в должность «губернатора»: «Оставаясь справедливым к противоположной стороне, яви, насколько это будет зависеть от тебя, милосердие к виновному, потому что, хотя богоподобные свойства наши все равны, тем не менее милосердие сияет в наших глазах ярче справедливости».

Как остроумно заметил Владимир Фромер, в противоположность своему герою «Сервантес видел в тех, кого считали великанами — ветряные мельницы, в роскошных замках — притоны разврата, в светских дамах — простых скотниц, в знатных кавалерах — погонщиков ослов»^[72]

При всей мягкости своей иронии, Сервантес соответствует качеству Суда.

Парность, спаренность этих Мастеров подтверждается их смертью в один день — 23 апреля 1616 г. Впрочем, дата эта мистифицирована: Сервантес умер 23 апреля по григорианскому стилю, а Шекспир — по юлианскому. Но, во-первых, «кучность» все равно неплохая, а во-вторых, в этой игре угадывается почерк нашего Ангела: Бог не указывал ему за-

бирать эти души в один день, но он в рамках дозволенного поступил «по-своему».

Кант появляется как истинное осмысление предшествующей литературно-духовной коллизии, но одновременно и как ее подлинное основание, он разрабатывает философию Гамлета, с его «порвавшейся связью времен» и философию Дон Кихота, тщетно пытающегося эту связь восстановить. Как сказал Шеллинг: «Пока стоит философия, будет стоять и «Критика чистого разума», и только она одна... «Критика чистого разума» значима для всех систем»^[73]

Не удивительно, что вся последующая литература развивается уже на этом «основании», развивается как прощупывание и расширение границ «автономности» разума и морали. Расширение это закономерно происходит по двум направлениям — вперед и вверх, и вперед и вниз. Первый вектор задается этическим началом (сфера «нецах» — «торжество», «вечность»), второй — эстетическим (сфера «ход» — «великолепие»).

«Великолепие», безусловно, представляет Гете, экспериментировавший в области инферальной вседозволенности, но удерживающийся от крайностей чувством прекрасного. «Торжество», на мой взгляд, делят между собой Шеллинг и Кьеркегор, соперничающие в отношении авторства экзистенциальной философии: термин этот первым использовал Шеллинг, но истинное наполнение ему придал Кьеркегор. Я предположил, что существует две Великие Поэмы — «авторская» (точка в которой была поставлена в 1837 году), и «литературная», завершившаяся в 30-х годах XX-го века. Шеллинг, по-видимому, оказался «гроссмейстером» «авторской» поэмы, а Кьеркегор — «литературной».

Объединивший эстетическое и этическое начало Пушкин «воцарился», сведя воедино литературу и жизнь. Трудно найти другого автора, жизнь которого представляла бы не меньший интерес, чем его сочинения!

Мне возразят, что в «мировой культуре» роль Пушкина

незначительна, что его плохо знают на Западе. Возможно. Но именно благодаря Пушкину еще в XIX веке Россия стала литературной сверхдержавой. «Не так давно еще, — свидетельствовал Лев Шестов в 1899 году, — при слове «литература» наша мысль невольно обращалась к Западу. Там, думали мы, есть все, чем может похвалиться человеческая душа. Там есть Данте, там — Шекспир, Гете, Байрон, Шиллер. Теперь не то: теперь люди западной культуры с удивлением и недоумением идут к нам, своим вечным ученикам, и с жадной робостью прислушиваются к новым, не совсем понятным им словам русских писателей... К кому идут, у кого учатся? У гр. Толстого, каждое произведение которого передается чуть ли не по телеграфу в близкие и отдаленные страны, у Достоевского, которому тщательно, хотя и безуспешно подражают и французские, и немецкие, и английские и итальянские романисты. А граф Толстой и Достоевский — это духовные дети Пушкина; их произведения принадлежат им только наполовину, другая половина — и лучшая — принята ими как готовое наследие, созданное и сохраненное их великим отцом»^[74]

При этом знаменательно, что застрелил Пушкина посланник еще одного «гроссмейстера» — маркиза Де Сада — представителя десяти классических сатанинских «сфирот», которые, впрочем, согласно Зоару, не гармонизированы никаким «древом».

Если гетевское увлечение царством тьмы еще удерживается от крайностей «хорошим вкусом», то в писаниях маркиза де Сада обнажается ничем не прикрытый сатанизм, хотя все еще литературствующий. Камю пишет об этом авторе: «Мечта и творчество принесли Саду жалкий суррогат удовлетворения, которого не дал ему миропорядок. Писатель, конечно, ни в чем себе не отказывал. Для него, по крайней мере, все границы уничтожались, и желание могло идти до последних пределов. В этом Сад предстает законченным литератором. Он сотворил фантастический мир, чтобы дать себе иллюзию бытия. Он поставил превы-

ше всего нравственное преступление, совершаемое при помощи пера и бумаги»^[75]

В маркизе де Саде просматривается соединение экзистенциального «древа», выстроенного лучшими сынами Эсава, с тем классическим миром собственно сатанинских «сфиров», который возглавляется его ангелом.

Однако в персоне Маркиза ясно обозначен также и разрыв этих «древ». Поединок между поэтом Пушкиным и содомитом Дантесом, за спиной которого стоял его любовник Геккерн, явился космическим событием, сопровождавшимся полным размежеванием Эдомских сил света и тьмы.

Впрочем, картина будет неполной, если не вспомнить еще об одном «вневедомственном» гроссмейстере — Михаиле Афанасьевиче Булгакове, завершившем шеллинговский замысел «великой поэмы» и написавшем гениальный портрет Мирового духа.

«ВОЛАНДОВСКИЕ ШТУЧКИ»

Если «Великая поэма», представленная литераторами, завершилась в 1836 году, то представленная литературными произведениями — только в 1988. Как Шеллинг и Кьеркегор претендуют представлять одну сферу («торжество»), так Пушкин и Булгаков делят «царственную» сферу.

Каким образом? — вправе удивиться читатель, ведь Булгаков явился со своим романом в совершенно неурочное для того время — в 30-х годах XX-го века? Какое отношение имеет Булгаков и его роман к 1988 году?

Все очень просто. Булгаков пришел в свое время, пришел, чтобы приурочить Вальпургиеву ночь к Пасхальной... в лице не первого, а седьмого пасхального дня.

Действие Московских глав романа «Мастер и Маргарита» развивается в 1929 году, в котором 21 нисана совпало с 1 мая. Напоминаю, что только три раза в истории этот послед-

ний, но при этом самый «победный» день Песаха дотягивал до Бельтайна, до Вальпургиевой ночи — в 1815, в 1929 и в 1967 (четвертый раз это произойдет в 2043 году)!

Тем самым Булгаковский роман подготовил капитуляцию Вальпургиевой ночи перед силами света, капитуляцию, которая наметилась в октябре 1929 года в день знакомства Гитлера с Евой Браун и свершилась в 1945, в час их свадьбы и двойного самоубийства, приуроченного к Лаг-баомеру.

Но одновременно Булгаковский роман явно предназначался также и 1988 году, имел этот год в виду, и это не могло не сработать. «Не могло», уже хотя бы потому, что роман этот оказался наделен исключительной магической энергетикой.

Так Лакшин замечает: «То, что Михаил Афанасьевич Булгаков спознал с нечистой силой, — да еще не оскорбил, а усмирил ее, одомашнил и взял в попутчики... перестроило вокруг него весь быт и уклад, людей и обстановку^[76]

Вот лишь один эпизод из его воспоминаний: У Елены Сергеевны жил огромный пес, с которым она «вела долгие, им одним ведомые разговоры». Однажды в новогоднюю ночь, когда Лакшин был в гостях у вдовы Булгакова, незадолго до торжественной минуты вдруг нарушилась всякая радио и телевизионная связь. Тогда, — вспоминает Лакшин, — Елена Сергеевна что-то пошептала псу, и «когда стрелки часов сошлись на цифре 12, из-под стола ровно и гулко забухало торжественным лаем — ровно двенадцать раз. Мы чокнулись шампанским»^[77]

А.Кораблев пишет о Булгакове: «С каждым, кто увлеченно и неравнодушно изучает жизнь и творчество этого автора или просто находится под влиянием его сочинений, непременно случаются какие-нибудь странности. Один петербургский историк даже собирался составить книгу из таких случаев»^[78]

Елена Сергеевна называла такого рода «странности» «штучками Воланда» и умела сама их катализировать, чему имеется масса свидетельств. Приведу только одно, принадлежащее Владимиру Наумову:

«Когда мы с Аловым снимали «Бег», литературным консультантом у нас была Елена Сергеевна Булгакова, вдова писателя. Она была совершенно фантастическая женщина, потрясающая, красивая, несмотря на возраст, и такая... мистическая — недаром Булгаков писал с нее Маргариту.

Она приходила на студию смотреть материал и потом говорила:

— Сашечка и Володечка (это Алов и я)! Этот эпизод надо немножко переделать.

— Ну как же так, Елена Сергеевна? Мы же вчера обсуждали... Все вроде нравилось...

— Да, но Михал Афанасьич просил переделать.

А Михал Афанасьич-то давно уж умер!

Сначала мы подсмеивались над ее чудачествами, но потом вдруг поняли: Булгаков ей снится каждую ночь! И она ему все рассказывает.

По завершении монтажа мы пригласили Елену Сергеевну посмотреть уже готовый фильм. И на следующий день должны были обедать у нее дома. Мы с Аловым вышли ее провожать на центральную площадь «Мосфильма». И так случилось, что у нас с машиной возникли какие-то проблемы. Мы вызвали такси. Это был старый, облезлый, проржавевший автомобиль. Она села в эту машину с желтыми мутными стеклами, и такси тронулось...

Отъехав метров на тридцать, машина вдруг остановилась и задним ходом вернулась к нам. Как сейчас вижу: стекло медленно опустилось, и из этой мути появилось ее лицо. Она вдруг сказала:

— Володечка! А почему у вас траурная рубашка?

— Да вы что, Елена Сергеевна? Какая траурная? Просто черная — Евтушенко привез из Америки и подарил. Просто черная рубашка.

— Нет, траурная.

Закрыла окошко и уехала. Это были последние слова, которые мы от неё слышали. На следующий день нам позво-

нили и сказали: обеда не будет. Елена Сергеевна умерла... А ведь именно она дала нам прочитать первый раз «Мастера» — полное парижское издание. И мы обсуждали с ней вопрос о фильме. Насколько я знаю, многие режиссеры хотели снимать «Мастера и Маргариту»... Рязанов, Гайдай, Таланкин, Полока... Наверное, кто-то еще.

Прошло несколько лет. Началась перестройка. Климов был избран первым секретарем союза. И получил право на постановку этой картины. Ермаш его поддержал.

Это было большое разочарование для нас. Мы были абсолютно уверены, что снимать будем мы... Далее произошла странная, мистическая история. Как-то ночью раздается звонок в дверь. Первое, что я сделал, когда зажег лампу — посмотрел на часы, которые у меня всегда у изголовья. Ровно три часа ночи. Мой Агат — доберман-пинчер, чемпион потрясающей красоты, молчит. Первая странность. Я вскочил, побежал к двери открыть и с размаху ударился коленкой о мебель. Смотрю в дверной глазок: стоит Елена Сергеевна Булгакова в шубе, в которой я никогда ее не видел. Но ведь она умерла много лет назад... Я открываю дверь, смутно понимая, что, видимо, это сон: «Елена Сергеевна, господи, заходите скорей». А сам не могу понять, что происходит. Провожу ее на кухню: «Я вам чаю дам, раздевайтесь». — «Нет-нет, я на секундочку. Михал Афанасьич ждет внизу в такси». Михаил Афанасьевич внизу? Полный бред! Она садится на стул и говорит мне: «Не волнуйтесь! Картина сниматься не будет». Я не сразу понял, о чем она говорит. Наконец я начинаю понимать....А в это время полным ходом идет подготовительный период «Мастера и Маргариты» у Элема Климова. Огромная реклама, газеты сообщают о колоссальном бюджете, бесконечные интервью...

Климов ведет переговоры в Америке... А она: «Картины не будет...»

Я провожаю ее, Елена Сергеевна садится в лифт, створки закрываются, и она уезжает...

Я вернулся в квартиру, лег и заснул. Утром просыпаюсь и думаю: «Ну ничего себе! Что-то нервы совсем расшатались».

Поехал на работу в полной уверенности, что это был сон. Вечером приезжаю домой, иду в душ, раздеваюсь... и вдруг вижу: на коленке, там, где я ударился ночью, — огромный синяк. Значит, это не сон? Или сон? Не знаю!

Звоню своему приятелю и рассказываю эту историю. Он не верит: «Брось! Чепуха! В газетах сообщения — начинаются съемки, отовсюду идут деньги, миллионы». Я говорю: «Запиши, что сказала Елена Сергеевна, через год проверим».

После этого ещё несколько месяцев продолжался ажиотаж, рекламный бум проекта Климова. А потом всё как-то развалилось, пропало...»^[79]

Можно ли после всего сказанного сомневаться в том, кто подстроил мне свидание с собственной крестной в квартире 5а дома 302-бис в строго предназначенное для того время?

И можно ли в таком случае сомневаться в том, что на «бале» 1988 года я присутствовал не сам по себе, а в качестве представителя Михаила Афанасьевича Булгакова? Не следует путать доверенное лицо Гроссмейстера с ним самим.

Если Мастером, поставившим точку в «авторской» «Поэме Шестого дня», является Пушкин, то завершителем ее «литературной» версии оказывается вовсе не Арье Барац, а Михаил Булгаков, интересы которого Барац лишь невольно представлял.

В пасхальную дату, затесавшуюся между близнецовыми Песами 1988 года, я оказался в доме 302-бис по той причине, что булгаковский замысел наложения Пасхальной и Вальпургиевой ночей этот год неявно подразумевал. Апрельский «бал» в булгаковском доме был своеобразным «перформансом», своеобразной «иерусалимской» концовкой «Мастера и Маргариты», терминалом литературной фантазии в действительном мире.

Что же касается моей трилогии «День Шестой», то она

скорее служит литературным комментарием к «Великой поэме», чем этой поэмы продолжением.

Итак, как говаривал Николай Александрович Мельгунов: «Ни голой правды, ни голого вымысла. Задача искусства — слить фантазию с действительной жизнью». Таким образом, если Пушкин соединил литературу и жизнь со стороны действительности (авторская концовка «Великой поэмы»), то Булгаков сделал это же со стороны фантазии (литературная концовка).

Итак, семь гениев, семь Мастеров Нового мира по-своему воссоздали в Эдоме те же духовные качества, которые в первозданном виде были привнесены в мир семью Пастырями народа Израиля.

Однако водительствовались эти Мастера — что довольно существенно — все же не Святым Духом, а Духом Мировым, в котором не только Лев Шестов, но и еврейская традиция без труда опознают древнего Змея. Европейская культура — в основе своей это «Воландовская штучка», это проект Ангела смерти.

Однако то, что Ангел этот, обыкновенно творящий зло, на сей раз совершил благо, не только не противоречит еврейской традиции, но подтверждает некоторые ее положения: во-первых, учение о подотчетности Создателю всех ангельских сил; во-вторых, представление о единстве Метатрона и Ангела смерти, и в-третьих кабалистический принцип «ТаШРаК» (перевернутый алфавит), подразумевающий такое Божественное решение определенных задач, которое использует негативный порядок вещей.

Сказанное не противоречит также и традиционному образу Эсава, которого запрещено игнорировать («Не гнушайся эдомитянином, потому что он брат твой»^[80], и который признается способным сотрудничать со своим братом Йаковом.

В мидраше говорится, что Израиль — это «очень хорошо», но что и Рим (Эдом) это — «очень хорошо», потому что Рим «уважает права творений» (имеется в виду Римское право)^[81].

Рабейну Бехаей (XI-XII век) со ссылкой на мидраш «Вакра раба» утверждает, что в конце концов Эсав не только прекратит преследовать Йакова, но поможет ему в строительстве Третьего Храма.^[82]

Рав Кук замечает относительно слов «Видел я лицо твое, каклицо Божие»:^[83] «Так сказал по отношению к Эсаву Йаков — человек истины и простоты. И его слова не останутся напрасны. И братская любовь Эсава и Йакова... поднимет их».^[84]

Итак, секулярный мир выстроил семь своих Мастеров против семи Пастырей мира религии, чтобы взаимодействуя друг с другом, они породили нечто подлинное и последнее. И только в этом порождении усматривается, на мой взгляд, избавление Западного мира, дичающего на глазах в жарких объятиях ислама.

Угроза полного перерождения Европы, увы, весьма велика. Но если у Западной цивилизации еще имеется какой-то шанс, он заключен исключительно в иудео-христианском партнерстве.

Сумеют ли иудаизм и христианство когда-либо извлечь практическую искру из своей теологической дополнительности?

СЫНЫ НОАХА И ЧАДА ЦЕРКВИ

Иудаизму не составляет труда признать теологию дополнительности. Более того, фактически он сам провозглашает ее, признавая, что существуют два союза — частный союз Бога с сынами Израиля и всеобщий союз Бога с сынами Ноаха (Ноя).

Уникальный союз обрезания, по вере иудаизма, дополнителен всеобщему союзу Радуги, опирающемуся на шесть запретов (убийства, идолослужения, богохульства, кровосмешения, разбоя и употребления в пищу неумерщвленных животных), а также на одно предписание — установление справедливых судов.

Существует авторитетное мнение, согласно которому сыновьями Ноаха признаются все цивилизованные нации. Так, законоучитель р.Ишмаэль Акоэн (1723-1811) в своей книге «Зера Эмет» высоко оценил провозглашенные во Франции секулярные идеалы свободы, равенства и братства. Опираясь на учение р.Менахема Амеири (1249-1315), р.Ишмаэль Акоэн приравнивал современных ему европейцев к «ноахидам».

Этот подход разделил также и родоначальник религиозного сионизма — рав Кук, который писал: «в главном применим подход Амеири, согласно которому, все народы, определяемые как цивилизованные, уважающие права других, уже считаются «ноахидами»»^[85]

Соответственно демократические страны, в которых действуют «справедливые» суды, а религия отделена от государства (которое тем самым лишается любых языческих признаков) в весьма значительной степени отвечают требованиям Завета с сынами Ноаха.

Определенный зазор между Божественным замыслом и реальной демократической государственностью, разумеется, остается, но он открыт коррекции, начало которой было положено Соединенными Штатами. Так 26 марта 1991 года Конгресс США принял закон, провозглашающий, что в основе Американского Законодательства лежит Семь Заповедей сыновей Ноаха: «Этические принципы и основа общества с самого начала цивилизации известны как Семь Ноевых заповедей...»^[86]

Семь заповедей Ноаха — это тот фарватер, в котором может развиваться свободное общество, не рискуя навести на мир гнев Создателя.

Между тем связь христианской цивилизации с системой Семи заповедей глубже, чем это может показаться на первый взгляд. В своем комментарии к «Седер олам раба вэ-зута» раввин Яков Эмден (1698-1776) пишет: «Известно, что Аноцри (Назарянин) и его ученики тщательно соблюдали Тору Израиля («һизһиру ал шмират Торат-аИсраэлим»)». Соглас-

но тому, что говорится в евангелии, Назарянин и его ученики вовсе не пришли затем, чтобы отменить Тору, не приведи Боже... Не правы считающие, будто Назарянин пришел полностью упразднить иудаизм, но только к народам пришел он, чтобы установить религию, которая на самом деле не новая, а старая — и это семь заповедей Ноаха».

Это утверждение рава Эмдена не голословно. Ученики Аноцри являлись ортодоксальными иудеями, которые видели путь приобщения язычников в исполнении Семи заповедей сыновей Ноаха. В «Деяниях Апостолов» сказано: «Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое... Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, давленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе»^[87].

Начав свой путь как община «ноахидов», церковь довольно скоро отмежеввалась от Израиля и даже встала в позицию откровенно враждебную еврейской общине. Но помимо политических, тому, по-видимому, имелись также и свои внутренние причины: в «широком» плане сыны Ноаха призваны двигаться к Богу Израиля своим путем.

Однако основным критерием истинности этого пути служит отношение к Израилю и иудаизму. Пока церковь оставалась антисемитской, ее деятельность находилась под большим вопросом. Но в последние десятилетия ситуация меняется, и в тех случаях, когда миссия Израиля христианами чтится, когда они поддерживают сионизм и искренне отказываются от задачи «обращения» евреев, они получают значительную легитимность. Легитимность эта тем более оправдана, что, как писал второй главный раввин Израиля Ицхак Герцог, «Сыновья Ноаха не предупреждены относительно «соучастного идолослужения». «Соучастное идолослужение» — разъясняет он далее — это богослужение, которое с одной стороны обращено к безначальному единому

Богу, Творцу неба и земли, а с другой присоединяет к нему силы телесные или какую-либо из природных сил, или человека, который их воображением поставлен на божественную высоту, но так что первый признается основой, а второй — производным. Даже если это является идолослужением для евреев, для сыновей Ноаха в этом нет ничего запретного... Христиане не являются идолослужителями»^[88]

Таким образом можно сказать, что «широко» определенная община сыновей Ноаха в известной мере состоялась в лице христианства, той его части, которая признает первородство Израиля, разделяет его чаяния и стоит на его стороне. Соответственно, иудео-христианский диалог (в рамках которого оговаривается, что евреи обязаны исполнять Тору, а инородцы вправе поклоняться Богу Израиля по своему разумению), имеет перспективу и религиозный смысл.

И такой диалог ведется. Так 10 декабря 2015 года Папской комиссией по религиозным связям с иудаизмом был представлен документ, в котором среди прочего говорилось: «Хотя иудеи и не могут верить в Иисуса Христа как универсального искупителя, они причастны к спасению, потому что дары и призвание Божье непреложны, и это остается непостижимой тайной спасительного замысла Бога... Хотя в диалоге с иудаизмом католики дают свидетельство своей веры в Иисуса Христа, они воздерживаются от всякой активной попытки обращения евреев и миссионерства среди них. Католическая церковь не предусматривает никакой институциональной миссии, обращенной к евреям... В братском диалоге евреи и католики должны все лучше изучать и узнавать друг друга, примиряться друг с другом»^[89]

Дов Конторер написал по поводу этих слов: «С еврейской точки зрения, идеальной считалась бы ситуация, при которой любой католический священник настойчиво адресовал бы к иудаизму любого еврея, который когда-либо в будущем обратится к нему с просьбой о религиозном наставлении и/или крещении. Едва ли дело будет обстоять именно

так во всех случаях. Но при этом нельзя не признать значение провозглашаемого Ватиканом отказа от институализированного миссионерства в еврейской среде, бывшего на протяжении многих веков не просто неотъемлемой частью, но сердцевиной миссионерской политики церкви... Опубликованный документ встретил положительную реакцию в еврейской среде. Группа из 25 ортодоксальных раввинов опубликовала совместное заявление: «Вслед за Маймонидом и рабби Йегудой Галеви и мы признаем, что христианство — не случайность и не ошибка, но плод Божьей воли и дар для народов мира. Разделив иудаизм и христианство, Бог пожелал создать разделение между товарищами, имеющими значительные богословские различия, но не разделение между врагами... Теперь, когда католическая церковь признала нерасторжимость Завета между Богом и Израилем, мы можем признать непрестанную конструктивную ценность христианства в качестве нашего партнера в искуплении мира...».

«Многие религиозные евреи, — продолжает Конторер, — будут готовы утверждать, что их ни к чему не обязывает мнение подписавших заявление раввинов, и даже оспаривать это мнение, ссылаясь на достаточно авторитетные для иудаизма источники... Автор этих строк считает иначе и находит немалый положительный смысл в параллельном изложении позиций.. Уникальная соотнесенность иудаизма и христианства как двух разных религий, имеющих общий священный текст (Танах) и существующих как две разные формы прочтения этого текста, изначально определило особую остроту отношений между ними. Обусловленный этим исторический опыт невозможно исправить задним числом, но актуальные отношения иудаизма и христианства могут быть приведены к корректному состоянию, первой характеристикой которого является взаимное признание сторон полноценными религиозными субъектами»^[90]

Если диалог с христианским миром будет продолжаться и все точки над «i» будут проставлены, то союз Йакова и Эса-

ва вполне может быть восстановлен в рамках союза с сынами Ноаха.

К сожалению, иудео-христианскому диалогу не способствует общее духовное состояние Западной цивилизации.

ЧЕСТНЫЙ ДИАЛОГ

«Невзирая на все незаконченное, порочное и преступное в европейском обществе, как оно сейчас сложилось, все же царство Божие в известном смысле в нем действительно осуществлено, потому что общество это содержит в себе начало бесконечного прогресса и обладает в зародыше и в элементах всем необходимым для его окончательного водворения в будущем на земле»^[91]

Эти слова Чаадаева, казавшиеся безусловно истинными вчера, сегодня могут вызвать скорее досаду. Оставив свою религию, променяв свои экзистенциальные ценности на фальшивку мультикультуризма, на рубеже тысячелетий западные люди оказались на пороге полного варварства.

Леон Черняк в следующих словах подвел итог 2-го тысячелетия: «Провозглашаемый закат идеи всемирно-исторического прогрессивного развития, возглавляемого Европой, объявление этой идеи чуть ли не мифологемой — не величайшее достижение мысли 20-го века, а величайшая катастрофа культуры. Хотя и победной, но дурной мифологемой является сама эта мысль (тоже, впрочем, европейская, а не китайская и не нигерийская, и даже не народа банту). Именно эта дурная мифологема, ставшая неоспоримой догмой университетов и масс-медиа, несет ответственность за самоубийство философии, за беспрецедентную деградацию университетов Запада, за одураченных американских (предполагаю, не только американских) школьников, которые учат несколько лет какие-то цивилизации ацтеков, или тех же нигерийцев, но на всю классическую античность тратят не больше чем

пару уроков за все 12 школьных лет, а на уроках французского изучают всю французскую поэзию (англо-американскую поэзию они и совсем не изучают) на примере двух стишков какого-нибудь поэта республики Чад — “Я люблю слушать шум воды, шелест листвы. Это голоса наших предков. Они не умерли”. О, мой Бог! Пожалей школьников! И эта же мифология несет ответственность и за высмеивание самой мысли, что западная либеральная демократия может иметь общечеловеческую значимость. Эта же мифология несет ответственность за подмену свободы слова свободой самовыражения. Свобода слова, писал Кант, есть свобода «публичного пользования собственным разумом», когда человек «рассматривает себя как члена всего общества и даже общества граждан мира». Просвещение верило, что этому публичному пользованию разумом можно учиться у философов, что можно приблизить характер политической дискуссии к характеру обсуждения проблем в сообществе ученых. Свобода слова — и следствие и предпосылка разума, созданного философией и создающего философию... А свобода самовыражения?.. Было бы что выражать. Ну хоть на Распятие помочиться. Чем не самовыражение? Искусство! И это же отрицание идеи возглавляемого Европой всемирно-исторического прогресса подменяет на современном Западе права человека правами этнических групп или (спаси нас Боже!) правами «сексуальных меньшинств» (предполагается, что мы должны, хотя бы из вежливости что ли, не заметить, что права группы — это привилегии, а не права)».^[92]

Что же случилось? Как культура, казавшаяся собственно человеческой культурой, культура, решившая исходить не из сомнительных мифов, а из чистой веры и чистого разума, в итоге оказалась и того и другого полностью лишена? Откуда пришла эта напасть?

«Свобода, — пишет Виктор Франкл, — если ее реализация не сопряжена с ответственностью, угрожает вырождаться в простой произвол. Я люблю говорить, что если на берегу

одного океана стоит статуя Свободы, то на другом берегу должна стоять статуя Ответственности, потому что они — близнецы-братья».

Модный в послевоенной Европе экзистенциализм увидел в ответственности главную духовную ценность, усмотрел в ней великую человеческую привилегию. В этом отношении даже светский экзистенциализм оставался насквозь религиозным явлением, в своей основе близким иудаизму.

Так атеист Сартр писал: «если существование действительно предшествует сущности, то человек ответственен за то, что он есть. Таким образом, первым делом экзистенциализм отдаёт каждому человеку во владение его бытие и возлагает на него полную ответственность за существование».

Однако при этом характерно, что в политической сфере сам Сартр выбрал... коммунизм, точнее даже маоизм!

Как можно назвать ответственным человека, который из своего парижского далека, наполненного беженцами из «коммунистического рая», не мог распознать в этом «рае» зловещих черт геенома? Как такой выбор вообще мыслим?!

Он мыслим в силу присущего марксизму паразитирования на экзистенциальной проблематике. Сохраняя и даже гипертрофируя протестный характер экзистенциализма, коммунизм, в тоже время, сублимирует его сугубо нравственный поиск в сфере политического прожектёрства.

«Отец новых левых» Герберт Маркузе учился у Хайдеггера и чтит «раннего» Маркса, порицавшего «отчужденный труд». Коммунизм, представляющий собой заявку на преодоление этого отчуждения, заявку на управление историей, представляет себя как проявление высшей ответственности.

Коммуниста, по определению неспособного воплотить свои политические фантазии демократическими средствами (какой парламент откажется от своих полномочий в пользу «диктатуры пролетариата»?) отличает потребность «менять мир к лучшему» при категорическом отказе менять что-либо в самом себе. Его отличает умение направлять свое «повы-

шенное чувство ответственности» по пути наименьшего сопротивления, комфортно канализируя его в зловонную духовную яму.

Иными словами, революционная деятельность представляет собой такой уход от ответственности, который сопровождается... ее бурной имитацией.

Компартия Советского Союза ни во что не ставила западных неомарксистов, разочаровавшихся в пролетариате, и объявивших новыми гегемонами «меньшинства» — «протасойку» аутсайдеров всех мастей. Тем не менее, сочинения Маркузе не просто пережили доклады Брежнева, а явились блестящими методичками, с помощью которых к концу XX-го века неомарксисты не только взяли под контроль СМИ и гуманитарную Академию, но и умудрились овладеть брендом «либерализм».

Книга Маркузе «Эрос и цивилизация», превозносящая сексуальное раскрепощение как высший революционный акт, в 1968 году стала катехизисом загадившей Сорбонну шпаны. Его сочинение «Одномерный человек», в котором предлагалось делать ставку на «угнетенные меньшинства», легло в основу «позитивной дискриминации». Ну а «Репрессивная толерантность», призывающая к применению двойного стандарта, т.е. к проявлению «нетерпимости к правым движениям и терпимости к движениям левым», в наши дни стала поведенческим кодом всего левого истеблишмента.

Система западного либерализма рухнет не под собственным весом, а под воздействием направленного идеологического взрыва.

Впрочем, как человека, выросшего на «обломках самовластья», неомарксизмом меня не напугаешь. Как говорится, я от Сталина ушел, я от Брежнева ушел, а от внучат деда Маркузе и подавно уйду. Чего, впрочем, не решусь сказать относительно пророка Магомета. Во всяком случае, вялотекущий коммунизм начала XXI века беспокоит меня гораздо меньше, чем готовящийся прийти ему на смену мировой шариат.

Это, однако, не означает, что «лишний вес» либерализму не помеха. Он также весьма пагубно сказывается на общем состоянии нашего больного.

Черняк связывал общее скудное состояние современных умов с идеями неокантианства, провозгласившего принципиальную невозможность достижения какого-либо метафизического знания. Сам Кант, крушитель философских систем, вовсе не был в этом вопросе так радикален. Он честно искал корректный способ построения метафизических картин и утверждал, что «чтобы дух человека когда-нибудь совершенно отказался от метафизических исследований, это так же невероятно, как и то, чтобы мы когда-нибудь совершенно перестали дышать из опасения вдыхать нечистый воздух. Всегда, более того, у каждого человека, в особенности у мыслящего, будет метафизика и при отсутствии общего мерила у каждого на свой лад». ^[93]

Между тем среди последователей Канта, отчаявшихся выработать метод таких исследований, слово «метафизика», или попросту говоря, религиозные и нравственные представления стали синонимом «небылицы», чего-то вроде избушки на курьих ножках.

В европейском обществе возникла мутация злокачественного метафизического негативизма, отрицающего саму возможность духовности, но в то же время навязчиво связывающая себя с идеалами свободы и равенства.

Ситуация напоминает анекдот про двух фельдшеров, много лет работавших в паре. Когда одному из них пришло время умирать, второй, пытаясь утешить старого друга, спрашивает: «Послушай, хочешь я тебе пульс померю?»

Умиравший отвечает ему: «Подумай, кому ты это говоришь? Ведь мы же с тобой знаем, что никакого пульса нет».

Но как фельдшер, не способный нащупать пульс, профессионально непригоден, так и разумный человек, не способный набросать «на свой лад» хотя бы самой простенькой метафизической картинки, непригоден морально.

Мультикультуризм является злокачественным перерождением по сути противоположной позиции, признающей множественность метафизических картин. Вот как формулирует эту позицию А.В.Ахутин: «Каждая культура — бывшая и нынешняя — были и существуют всерьез, а не в качестве ступенек, этапов, каких-то недо-разумений, недо-бытий... Голоса мифа, эллинской классики, Средневековья, Просвещения, — как и голоса Востока, Африки, Латинской Америки — звучат с новой силой и новым смыслом, вступают в заинтересованный диалог или вызывают на суд, требуя ответа. И это происходит не только в современном искусстве, где такая со-временность времен едва ли не норма, но и в философии, и в нравственном самосознании, и даже в цитадели новейшей европейской цивилизации — науке»^[94]

Если существует в мире традиция, хоть в какой-то мере созвучная этому европейскому прозрению, то это иудаизм. В самом деле, когда «Зоар» утверждает, что «не существует идолослужения, в котором бы не присутствовало искр святости», то он по сути признает, что «каждая культура — бывшая и нынешняя — были и существуют всерьез».

Однако это прозрение все же не полно до тех пор, пока его не примут на себя все стороны. То, что делает Тора по отношению к другим культурам, этим другим культурам предстоит сделать по отношению к Торе. В том-то и дело, что к диалогу призваны не только «современное искусство, где такая со-временность времен едва ли не норма», но и сами эти «мифы, эллинская классика» и пр.

В этом отношении символично, что православный Ахутин запомнил включить в свой список ТАНАХ. «Мифы» существуют всерьез, а ТАНАХ — он как будто несерьезный?

Иудаизм так или иначе терпит любую — в том числе языческую — культуру, не отягощенную антисемитизмом, кровопролитием и блудом, но почему бы тогда хотя бы для интеллектуальной честности не потребовать немного взаимности и со стороны других культур? Почему бы и им не

предстать перед Создателем, почему бы и им не воспринять всерьез Слово Бога Живого?

Однако на сей раз народам предстоит сделать это не «духовно» (как они частично сделали это, породив христианство), а «буквально», то есть восприняв «всерьез, а не в качестве ступенек, недо-бытий» именно иудаизм, а не свои собственные измышления о нем.

Причем, к этому шагу способны все культуры, включая ислам. В этом отношении достаточно упомянуть итальянского имама Абдуллу Хади Палацци и иорданского шейха Ахмада Адвана, пишущего на своей странице фейсбука: «Я говорю для тех, кто искажает книгу их Господа — Коран: откуда вы взяли название «Палестина», лжецы проклятые, когда Аллах уже назвал ее «Святой землей» и завещал ее детям Израиля до Судного дня. Не существует такого понятия в Коране, как «Палестина». Ваши притязания на землю Израиля есть ложь, и представляют собой посягательство на Коран, на евреев и их земли. Поэтому вы ничего не добьетесь, и Аллах истощит вас и унизит, потому что Аллах является тем, кто будет защищать их (т.е. евреев)»^[95]

Итак, обновление европейской культуры только в том случае может быть успешным, если оно произойдет на путях признания миссии Израиля. Так чтобы не только еврей мог сказать, что выбирая для себя иудаизм, для народов он выбирает экзистенциализм, выбирает «европейскую культуру», но чтобы европейские народы, вновь подтвердив свой выбор христианства и секулярной культуры, на сей раз выбрали бы для Израиля не крещение и погромы, а иудаизм и сионизм, выбрали бы для иудеев Иудею.

Таков вкратце итог идей и событий «1988» года.

Теперь, как будто, пришел черед заглянуть в будущее — в «звездный» 2140 год.

Насколько это возможно, я попытаюсь сделать и это. Однако основную ставку в деле проникновения в «последние

дни» я делаю все же не на фантастику, а на литературно-историческое исследование.

Смысл финальных сцен всегда перекликается с обновленным обзором исходных событий, как сказано в субботнем гимне «Леха доди»: «завершение дела — в истоке его замысла».

Итак, вкратце коснувшись того, что в целом можно сказать о грядущих днях, в следующей книге я попытаюсь восстановить подлинную коллизию тех дней, когда Мировой дух дебютировал, когда он впервые активно ворвался в историю.

Дебют этот, впрочем, связан не со «звездным», но в то же время с достаточно выдающимся — «назначенным» свыше — 30-ым годом (3790-м от сотворения мира).

«2140»

ПОСЛЕДНИЙ ВЕК ИСТОРИИ

Кто в пору технологической сингулярности решится загадывать на век вперед? Кто в начале XXI века способен предсказать, что ожидает человечество в 2140 году?

Тем не менее, если всерьез отнестись к пророческой традиции иудаизма и попытаться проанализировать данные ее хронологии, то нечто извлечь по этому вопросу все же удастся.

В трактате «Сангедрин» (97 а) сказано: «Шесть тысяч лет существует мир, и одну (тысячу лет) — (будет) разрушен». Этот прогноз повторяется также и в другом высказывании, восходящем к пророку Элияу: «Учили в доме учения Элияу: шесть тысяч лет существует мир. Две тысячи лет — Хаос, две тысячи лет — Тора, две тысячи лет — время Машиаха» («Авода зара» 99а).

Итак, мы видим, что как Всевышний открыл еврейским мудрецам дату сотворения мира (3761 год до н.э., установленный по внутренней хронологии масаретского текста), так же Он открыл им и время его конца — 2240 год н.э.

Время существования мироздания, конечно, не ограничивается этим шести-тысячелетием. Это явствует, как из учения о том, что «мир был создан старым» (т.е. с уже сколь угодно продолжительным прошлым!), так и из того положения, что днем «сотворения мира» признается не первый, а шестой день. Иными словами, определенной длительностью обладало уже само сотворение.

Говоря о «шести-тысячелетнем» сроке иудаизм подразумевает человеческую историю, подразумевает события, последовавшие после изгнания Адама из Эдемского сада (первые цивилизации — шумерская и египетская — появились через несколько столетий после 3761 года до н.э.)

Поведав о том, что «шесть тысяч лет существует мир», Талмуд («Сангедрин» 97) тут же оговорился: «Да будут про-

кляты те, кто исчисляют сроки», подразумевая тем самым, что избавление может наступить в любой момент последнего двух-тысячелетия, и человеку не дано его предугадать.

А как же сами эти «шесть тысяч лет»? — протирает глаза читатель. — Разве это не предельно точное указание срока?

В Писании имеются случаи, когда Всевышний точно предсказывает события (например, четыреста лет египетского плена (Берешит 15:13), или семьдесят Вавилонского — Йермияу 25:11), однако при этом оставались скрыты точки отсчета. Относительно них всегда велись споры.

В данном же случае «предсказание», казалось бы, дается с точностью до одного дня: 6000-й год истечет 29 элула, т.е. 16 сентября 2240 года н.э.!

Как это следует понимать?

Ответ предельно прост. Указав «шести-тысячелетний» срок, еврейская традиция указала «срок годности» человеческой истории, а не дату ее эмпирического завершения.

Причем в этом восприятии времени, в наличии у него заранее объявленного «срока годности», обнаруживается некий важный параметр истории, а именно ее соразмерность с человеческой жизнью, которая традиционно также ограничена известным сроком — 120 лет. В отличие от биологической эволюции, собственную историю человек может охватить взором, ему уютно в ней.

Как мерой жизни человека является год, так мерой жизни Земли и народа является пятидесятилетие — «юбилей», как сказано: «Отсчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, и выйдет у тебя времени семи этих субботних лет сорок девять лет. И воструби в шофар в седьмой месяц, в десятый день месяца; в Йом Кипур вострубите в шофар по всей земле вашей. И освятите пятидесятый год, и объявите свободу на земле всем жителям ее... Юбилеем да будет у вас этот пятидесятый год» (Ваикра 25.1-11).

Из приведенных слов явствует, что если человек искупается каждый Йом Кипур, т.е. 120 раз, по числу лет макси-

мально отпущенной ему жизни, то весь мир искупается в каждый пятидесятый Йом-Кипур, также 120 раз — по числу «лет» (пятидесятилетий) отпущенной ему истории!

Таким образом, в идее юбилея неявно заключена идея года жизни Святой земли, года жизни народа Израиля, а через него и всего человечества. Как каждый человек судится и прощается раз в свой год, также раз в свой год прощается все человечество.

Историческое человечество представляет собой, таким образом, единый субъект, продолжительность существования которого сопряжена с продолжительностью жизни отдельного исторического человека.

Итак, указанный на «талмудической упаковке» срок годности истории, выглядит вполне осмысленно, а «звездный» 2140 год, как раз, довольно неплохо в этот смысл вписывается.

* * *

Прежде всего, бросается в глаза, что в этот год наступит последний век истории!

Действительно 2140 нашей эры — это 5900 год от сотворения мира. Своеобразный юбилей, год начала обратного отсчета.

Для литературного исследования эсхатологических событий название «2140» напрашивается само собой.

Но это не единственное, что этот год собой знаменует. 2140, как и следующий за ним «звездный» 2208 год вполне осмысленно рассмотреть в их связи с пророчеством Элияу о двухтысячелетнем периоде «дней Машиаха».

Мы не в силах заглянуть в будущее, но структурный анализ приоткрытых пророком Элияу сроков кое-что все же способен нам сообщить.

Напомню общую идею, связанную с 6000-ым годом от сотворения мира.

В книге «Берешит», в первой ее главе, повествуется о семи днях творения: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была пуста и хаотична, и тьма над бездною; и дух Божий витал над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро: день один» (1:1-5).

Завершается это описание следующим итогом: «И закончены были небо и земля, и все воинство их. И закончил Бог к седьмому дню работу Свою, которую Он делал, и отдыхал в день седьмой от всей работы Своей, которую сделал. И благословил Бог день седьмой, и освятил его, ибо в этот день отдыхал от всей работы Своей, которую совершил Бог, создавая» (2:1).

Как мы видим, относительно Седьмого Дня не сказано, что бы он был завершен. Бог отдыхает и поныне, т.е. отдыхает в течение всей человеческой истории, начавшейся в момент завершения Творения и изгнания Адама из рая, датируемого Талмудом 3761 годом до н.э.

Таким образом, сейчас продолжается день Седьмой, в который Бог отдыхает, в который Он совершает только то, что не нарушает «субботного покоя».

Сватать женихов и невест по субботам можно. И ми-драш сообщает: «Римская матрона спросила рабби Йосси бен Халафту: «За сколько дней Господь создал мир?»».

Он ответил: «За шесть, ибо так написано: “За шесть дней создал Господь небо и землю”».

«А чем он занимается с тех пор?».

«Он заключает браки. Такой-то будет мужем такой-то и так далее».

Однако, как заметил иерусалимский раввин Ури Шерки, в противоположность Богу, человек как раз в этот день трудится, трудится подобно тому, как трудился сам Создатель.

Как Создатель творил мир в течение шести дней, так и человечество «в поте лица» отрабатывает свои «шесть рабочих дней». Человеческая история представляет собой «рабочую неделю», каждый день которой занимает тысячу лет, как сказано: «тысяча лет в глазах Твоих, как день вчерашний». «Рабочая неделя» человека и «выходной день» Бога наложились друг на друга.

Итак, согласно преданию Израиля, человеческой истории исходно отмерено шесть «тысячелетних дней», которые истекут в 2240 году по христианскому летоисчислению. Только тогда наступит седьмое тысячелетие, которое явится «субботой человечества» и одновременно... Восьмым Днем Создателя.

* * *

Итак, вполне уместно исследовать, как структурированы «последние дни», точнее «последние часы» шестого дня человеческой истории, они же последние часы Божественного отдыха.

В силу того, что суббота начинается с захода солнца, а завершается с выходом звезд, то есть длится не 24, а минимум 25 часов, можно отметить, что завершение шестого дня человеческой истории и наступление восьмого дня Божественного творения не синхронизированы.

Суббота, то есть законы субботнего дня, вступают в силу практически за час до наступления Седьмого дня. Как и всякий другой день недели, Седьмой день начинается с выходом звезд, Суббота же начинается с заходом солнца, то есть (в Израиле) приблизительно за сорок минут до того, как завершится шестой день (зажигание свечей производится минимум за час до выхода звезд).

Один час «небесного» седьмого дня (соответствующего шести тысячам «земных» лет), составляет (6000 поделить на 24) — 250 лет. Соответственно продолжительность часа ше-

стого дня человеческой истории (1000 поделить на 24) составляет 41.6666 лет.

Это значит, что седьмой субботний день человечества должен начаться приблизительно за 40 лет до 2240 года, в 2200 (точнее в 2198).

В свою очередь Суббота завершается не с выходом первых звезд, а приблизительно на четверть часа позже. Тем самым Восьмой день наступит не строго с исходом Седьмого дня, а приблизительно на 60 лет позже (250 разделить на четыре), то есть около 2300 года. Таким образом, заранее можно сказать, что самое загадочное, самое сумеречное, самое смутное время на планете, время, когда границы между святым и будничным во всех мирах (причем в разнобой) начинают размываться — это XXIII век: время с 2200 по 2300. И не на то ли намекал пророк, сказавший: «И будет день единственный — известен будет он Господу: не день и не ночь» (Захария 14:7).

В то же время это век, в который начавшаяся суббота человеческой истории совпадает с завершающейся субботой Всевышнего, то есть это век, «который весь суббота»!

Но тогда о «звездном» 2140 годе можно сказать не только то, что за его порогом открывается последний век истории, но и то, что он сопряжен с кануном субботного покоя. Что же касается следующего 2208 «звездного» года, то он фактически знаменует ее (субботы) наступление, т.е. соответствует времени захода солнца (приблизительно 40 минут до выхода звезд) ($2240 - 28 = 2212$).

* * *

В завершение заметим, что годы эти относятся не только к последнему веку Истории, но также и к последнему веку ее Мессиянского периода («Йемей Машиах»), начавшегося в 4000 году от сотворения мира (240 год н.э.)

Придет ли Машиах до 2140 (5900) года или после него, год этот все равно останется рубежом последнего месси-

анского века, т.е. своеобразным символом этой отдельной двухтысячелетней эпохи.

В книге «2140» исследуется все же не столько «мессианское» будущее, сколько «мессианское» прошлое.

Ведь будущее — это проекция прошлого; ведь все являющееся в конце, задумывается и некоторым образом присутствует изначально. Как сказано в субботнем гимне: «завершение дела — в истоке его замысла» («соф маасе бемахшава тхила»). Те первые ростки мессианизма, которые пробились в канун мессианского двухтысячелетия, должны содержать в себе признаки окончательного избавления.

И, наконец, нельзя забывать, что Поэме Шестого дня предшествовало Богословие дня Пятого. Без этого звена, без этого религиозного пролога общий замысел Великой поэмы теряется. Попутное восполнение этого пробела в высшей степени оправдано.

Итак, главная задача книги «2140» — это разгадка истории Йешуа из Нацрата, разгадка его миссии.

Почему именно его? Во-первых, двухтысячелетний мессианский период — период ожидания Машиаха — совпал не только с началом распространения христианства, но и до сего дня продолжает им наполняться.

Рамбам пишет: «Все происшедшее с Йешуа Аноцри и ишмаильянином, который пришел после него, было подготовкой пути для царя Машиаха, подготовкой к тому, чтобы весь мир стал служить Всевышнему. Каким образом? Благодаря им весь мир наполнился («нитмале аолам») вестью о Машиахе, о Торе и о заповедях».^[96]

«Пришедший после него» — сам результат шестивековой евангелизации мира, результат распространения религии, само название которой образовано словом «помазанник». Поэтому именно только «благодаря ему» — Йешуа — «весь мир наполнился вестью о Машиахе».

Рассмотрение мессианских идей иудаизма в контексте христианского триумфа напрашивается само собой.

Во-вторых, именно Иешуа определил лицо Западной цивилизации, лицо Эсава, покорившего Йакова.

Как на протяжении Пятого дня (расцвета теологической мысли), так и на протяжении дня Шестого (возрождения Искусств) иудей — Иешуа оставался властителем дум европейских народов. На протяжении веков Иешуа считался главой общины, с одной стороны, презиравшей и преследовавшей евреев, а с другой — позиционировавшей себя, как «духовный Израиль»!

Разгадать, каким образом ортодоксальный иудей мог оказаться инициатором этих парадоксальных процессов — значит наилучшим образом подготовиться к пониманию предстоящих событий.

В выявлении собственно иудейской подоплеки Евангельской истории мы отыщем как намеки на завершение мессианской темы, так и разгадку вторжения в исторический процесс Ангела Смерти.

Предварительно, впрочем, следует выяснить, в какой мере Иешуа был «ортодоксальным» евреем?

ЙЕШУА ИУДЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

«ТОТ ЧЕЛОВЕК»

Как относится к Йешуа Аноцри еврейская традиция?

Имя это обыкновенно иудеи даже не произносят, называя его «тот человек», а когда произносят, то нередко представляют аббревиатурой — ЙеШУ — «Йимах Шмо Везихро», то есть расшифровывают, как — «да сотрется имя его».

Никто никогда в еврейском мире не обвинял Йешуа в том, что он вообразил себя божеством. Обыкновенно ему приписывается занятие магией или недолжное использование своих каббалистических познаний.

Считается, что такого рода обвинения впервые прозвучали в Талмуде, который собственно и задал соответствующий подход. Однако при более пристальном рассмотрении выясняется, что Талмуд вообще не говорит о «том человеке».

В самом деле, в Талмуде описываются два «Йешу Аноцри», равным образом не имеющих ничего общего ни друг с другом, ни с евангельским Йешуа.

На 107 странице трактата Сангедрин говорится о том, что при царе Яннае, правящем почти за столетие до Понтия Пилата некий Йешу Аноцри был отлучен от общины своим учителем рабби Йеошуа бен Перахией, после чего «поклонился черепку» и «сбил Израиль с пути».

В других местах (Сангедрин 43а, Сангедрин 67а и Тосефта Сангедрин 10:11) сообщается о некоем Йешуа Бен Стаде, который был казнен накануне Песаха, но в Лоде, а не в Иерусалиме. При этом он был побит камнями по приговору еврейского суда за колдовство, а не распят по приговору римского суда за претензию на царский титул. Кроме того, он находился под арестом сорок дней, а не одну ночь. Тем самым отличается, как мы видим, все: место событий, выдвинутые обвинения, политический субъект, вынесший приговор и соот-

ветственно, способ умерщвления. Единственное сходство — казнь была произведена в месяце Нисан. Однако при этом не указывается общий исторический период, и, например, Тосфот Рош, в комментарии на «Сота» (47а), утверждает, что события эти имели место при царице Елене, в преддверии разрушения Храма, т.е. заведомо после правления Пилата. В другом комментарии тософистов (Шабат 104.б) утверждается, что Бен Стада жил при Бар-Кохбе, и не соответствует евангельскому Йешуа (ср. также Сефер Йохсин 1).

Итак, сложно поверить, что Талмуд и Евангелие говорят об одном и том же лице.

Имеется, впрочем, еще одно место, в котором имя Йешуа упоминается — это 57 лист трактата Гитин.

В этом фрагменте описывается, как задумавший принять иудаизм римлянин Онкелос советуется по поводу своих планов с находящимися в геенне душами Тита, Билама и Йешуа Аноцри.

И Тит, и Билам признают, что в грядущем мире Израиль занимает центральное положение, но в то же время отговаривают своего собеседника принять иудаизм. В свою очередь Йешуа поддержал Онкелоса, сказав о евреях: «Ищи им добра, и не ищи зла; кто выступает против Израиля, как будто повреждает зеницу ока своего» (Захария 2:12)

Далее сообщается, что Йешуа претерпевает наказание за насмехательство над словами мудрецов. В заключении же говорится: «Приди и взгляни, какая разница между грешниками Израиля и пророками народов! Что посоветовал (Онкелусу) Билам, бывший пророком, а Йешу, который из грешников Израиля, говорил к их благу».

Между тем в этом фрагменте опять же нет никаких признаков того, что Гемара подразумевает того самого Йешуа Аноцри, который знаком человечеству по Евангелиям. Напротив, читателю естественней заключить, что беседовавшим с Онкелосом еврейским грешником являлся какой-либо из двух других одноименных персонажей, а именно Бен Стада или ученик рабби Йеошуа бен Перахии.

Если же предположить, что в трактате Гитин говорится именно о евангельском Йешуа, то мы должны признать, что отношение Талмуда к нему неоднозначное: с одной стороны, он повинен в легкомысленном отношении к еврейской мудрости, но с другой — предан Израилю и остается на ортодоксальных позициях: следуя его совету, римлянин Онкелос становится не христианином, а иудеем — более того, становится одним из великих еврейских мудрецов!

Ведь, по сути, Талмуд предлагает здесь считать Онкелоса учеником Йешуа в таком же смысле, в каком Баал Шем Тов считал себя учеником Ахи Ашилони!

О том, что проблема — с точки зрения мудрецов — была создана не Учителем, а его еврейскими последователями, косвенно свидетельствует также определение слова «миним» данное Раши в комментарии на Рош-Ашана (17а): «миним» — «ученики Йешуа Анацри, обернувшие слова Бога живого ко злу».

ФАРИСЕЙ

Но почему, если предположить, что в Гитин действительно говорится о евангельском Йешуа, он числится среди «грешников Израиля»? Когда и где он смеялся над словами мудрецов?

Ни еврейские, ни христианские источники не дают нам ни одного убедительного примера таких насмешек.

Евангелие постоянно заостряется на конфликте между Йешуа и фарисеями, представляя его как столкновение «нового» и «ветхого», истинного и лицемерного, живого и формального.

Евангелисты на каждом шагу пытаются убедить читателя в том, что фарисеи тем только и заняты, чтобы уловить Учителя на какой-нибудь «насмешке», на какой-нибудь крамоле («И посылают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить Его в слове» Марк 12:13)

На протяжении веков заявка на это столкновение между Йешуа и фарисеями принималось всем миром за чистую монету.

Первая научная попытка восстановления образа «исторического Иисуса», предпринятая в 1835 году Давидом Штраусом, традиционно противопоставляет его учение «безотрадному, мрачному фарисейству» («Партия фарисеев... внушала массам нелепую мысль, будто все дело заключается во внешности»).

В изданной в 1863 году книге Ренана «Жизнь Иисуса» это отношение полностью сохраняется: «К счастью для него, он не изучал и причудливую схоластику, которая преподавалась в Иерусалиме и должна была вскоре составить Талмуд. Если некоторые фарисеи уже успели занести ее в Галилею, он не посещал их, и когда впоследствии притронулся к этой вздорной казуистике, она внушила ему только отвращение»^[97]

Однако в XX-ом веке многим стало ясно, что в действительности не столько фарисеи «поддавливали» Йешуа на «насмешках» над Законом и уклонениях от него, сколько евангелисты «поддавливали» фарисеев, на их враждебности к Йешуа.

Многие, прежде всего еврейские исследователи, убедительно показали, что Йешуа сам был фарисеем, и что его критика не выходила за пределы той самокритики, которую можно найти в Талмуде, например в трактате Сота (22.6), где приводится список семи типов фарисеев (среди которых имеются и отрицательные), или в различных высказываниях вроде приведенного в трактате Бава Мециа (30): «Иерусалим был разрушен за то, что в нем жили только по закону и не делали ничего сверх закона».

При всем своем старании евангелисты не смогли утаить, что Йешуа был нормативным ортодоксальным иудеем, каковыми на поверку оказываются лишь фарисеи.

Автор замечательного исследования «Революция в Иудее» (1973) Хаим Маккоби пишет: «Аргументы, которые Евангелия приводят как используемые Йешуа против фарисеев, на самом деле суть фарисейские аргументы. Стиль поведения Йешуа также типично фарисейский. Он был фарисеем, и описание его в качестве антифарисея есть часть попытки представить его мятежником против еврейской религии, а не мятежником против Рима»^[98]

Хаим Коэн в книге «Йешуа — суд и распятие» (1968) замечает: «Йешуа не только свободно и естественно вращался в кругу фарисеев с детских лет, но продолжал учить их и «законоучителей», пришедших, очевидно, в качестве его учеников «из всех мест Галилеи и Иудеи и Иерусалима», а в субботние дни часто и охотно принимал приглашения фарисеев на трапезы»^[99]

Давид Флуссер в своем исследовании «Йешуа» (1969) пишет: «Йешуа видел в фарисеях живых наследников Моисея и потому говорил, что в жизни необходимо руководствоваться их учением. Хотя на Иисуса косвенное влияние, вероятно, оказало есеевское движение, он, в сущности, был укоренен в ортодоксальном, несектантском иудаизме, мировоззрение и практику которого представляли фарисеи»^[100]

«Очень часто не замечают, что фарисеи, постоянно фигурирующие в евангелиях как противники Йешуа, в истории так называемого процесса над Йешуа во всех синоптических евангелиях отсутствуют... Когда первосвященник-саддукей начал преследовать апостолов, фарисей раббан Гамлиэль заступился за них и спас их от расправы» (Деяния 5:17–42).

В другом случае, когда Павел предстал перед синедрионом в Иерусалиме, ему удалось спасти свою жизнь благодаря тому, что он обратился к фарисеям (Деяния 22:30–23:10). Затем, когда в 62 г. брат Йешуа Иаков и, вероятно, еще несколько христиан были противозаконно казнены первосвященником-саддукеем, фарисеи обратились к царю — и первосвященник был отстранен...

Можно предположить: фарисеи не появляются в трех первых евангелиях в качестве обвинителей Йешуа, поскольку в то время (в 80-е гг. I в.) все еще хорошо помнили, что фарисеи осуждали выдачу Йешуа римлянам. Авторы синоптических евангелий, вероятно, не могли вписать фарисеев в рассказ о процессе над Йешуа, так как в противном случае их сообщению никто бы не поверил. С другой стороны, они не сочли уместным упоминать о факте протеста фарисеев, поскольку древним историям об Йешуа они уже придали антифарисейскую направленность»^[101]

К схожим выводам приходили и другие ученые, так что в настоящее время не только отдельные христианские исследователи остерегаются относить фарисеев к врагам Йешуа, но и сама церковь иногда высказывается схожим образом.

Так «Комиссия Апостольской Столицы по делам религиозных отношений с иудаизмом» 24 июня 1985 года заключила: «Йешуа еврей, и остается им навсегда. Его служение изначально ограничивается «овцами» дома Израилева. Йешуа во всей полноте человек своего времени и своей палестино-еврейской среды 1-го века. Он делил ее радости и надежды... Нет никаких сомнений в том, что он хотел подчиняться Закону (К галатам 4:4)., что он был обрезан и принесен в Храм как любой другой еврей своего времени и был воспитан в правилах соблюдения Закона, уважения Закону и послушания ему... Не исключено, что некоторые упоминания о врагах или мало симпатичных евреях обязаны в историческом контексте конфликту между рождающейся Церковью и иудейской общиной. Некоторые полемики отражают подробности отношений между евреями и христианами, которые хронологически имели место гораздо позже Йешуа».

Итак, никаких «насмешек» над словами мудрецов Евангелия не содержат. Откуда же произошло это обвинение?

По-видимому, из отношения церкви, для которой осмеяние учения еврейских мудрецов стало неотъемлемой частью вероисповедания.

Вот что изрекали отцы Церкви в адрес евреев в ту пору, когда записывался трактат Гиттин: «Богоубийцы, убийцы пророков, враги Господа, богоненавистники, недруги милосердия, враги веры своих отцов, заступники дьявола, змеи, клеветники, богохульники, люди, чьи души блуждают во мраке» (Григорий Нисский). Или: «Синагога хуже публичного дома... это притон негодяев, логово диких зверей... капище демонов, поклоняющихся идолам... прибежище бандитов и развратников, пристанище дьяволов» (Иоанн Златоуст).

Мудрецы не могли не знать, что Йешуа был такой же ортодоксальный иудей, как они сами, но тень от церковных проклятий в адрес синагоги не могла не лечь также и на него.

И все же исходная неоднозначность талмудических образов всегда оставляла возможность альтернативного подхода, и имеются авторитеты (в том числе Рабейну Там, Рамбан, Рабейну Йахизель Парижский, р.Йехиэль Гальперин и, наконец, р.Яков Эмден) прямо утверждающие, что Талмуд не содержит упоминаний об основоположнике христианства.

Это молчание можно объяснить только одним образом: мудрецы не могли позволить себе сказать о Йешуа и ничего дурного, и ничего доброго. Дурного, потому что это было бы неправдой, а доброго — потому что их бы неправильно поняли.

Позиция составителей Талмуда поэтому оказалась двойственной. С одной стороны, спасая своего товарища от дурной славы, они приписали авторство антисемитского вероучения сомнительным личностям — Бен Стаде и отлученному при Яннае Йешу, а с другой — все же поместили в ад насмежавшегося над традицией «Йешу Аноцри», который однозначно не идентифицируется, но, как правило, все же отождествляется с основоположником христианства.

Тем самым церковный грех презрения к мудрецам оказался перенесен на евангельского Йешуа, однако все же таким образом, что возможность его полной реабилитации сохраняется.

Причем намек на такую возможность закодирован в самом Талмуде.

ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

На чем зиждется вера Церкви в воскресение Иисуса?

В Евангелии от Луки говорится: «Когда они говорили о сём, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости ещё не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печёной рыбы и сотового мёда. И, взяв, ел пред ними». (Лук 24:36-43)

Итак, первоначально ученики посчитали Явившегося «духом», т.е. приведением. Он же в свою очередь объявил, что таковым не является и в качестве доказательства предложил себя коснуться, «ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня».

В большинстве явлений это действительно так, в большинстве случаев духи видимы, но не осязаемы. В большинстве, но все же не всегда.

В самом деле, в Торе описываются бестелесные существа, вполне доступные осязанию. Как бы иначе была возможна борьба Йакова с Ангелом? Каким образом оказалось повреждено бедро патриарха?

То же касается и приема пищи. Так, например, три «мужа», посетившие Авраама приняли его угощение («Он возвел очи свои, и увидел: и вот, три мужа стоят возле него...и взял масла и молока, и теленка, которого приготовил, и поставил перед ними; а сам стоял подле них под деревом. И они ели» (Быт 18:1-8).

То же самое описывается при явлении ангелов Лоту: «И пришли те два ангела в Сдом вечером, а Лот сидит у ворот

Сдома... Он сделал им пир и испек опресноки, и они ели» (Быт 19:1-3)

Что же касается явления усопших душ, то и они вполне способны проникать в этот мир с получением высшего — осязательного — «допуска», позволяющего принимать участие в трапезах.

Весьма убедительное свидетельство такого рода явлений дается в книге д-ра Элизабет Кюблер-Росс «Жизнь, смерть и жизнь после смерти».

Автор описывает явление души, пытавшейся убедить ее не оставлять проекта по исследованию ОСО.

Вот несколько фрагментов этой истории: «Всю дорогу от лифта до кабинета я спрашивала себя, правда ли то, что я вижу. Говорила сама себе: «Я просто переутомилась. Мне нужен отпуск. Я должна непременно потрогать эту женщину, чтобы понять, действительно ли она существует». Я коснулась ее, чтобы увидеть, как она рассеется от прикосновения. Потрогала ее кожу, чтобы проверить, теплая она или холодная. Я подавляла даже самую мысль, что это видение в действительности может быть фрау Шварц, которая за несколько месяцев до этого была погребена... Наконец я подошла к своему письменному столу. Потрогала все предметы, которые были мне хорошо знакомы. Провела рукой по письменному столу, погладила его поверхность, пощупала стул. Все это было реальным.

И, представьте, я все еще надеялась, что эта женщина, наконец, исчезнет. Но она оставалась на месте и настойчиво повторяла: «Доктор Росс, вы меня слышите? Ваша работа еще не окончена»...

Я тем временем думала: «Бог мой, никто мне не поверит, если я расскажу о том, что сейчас переживаю. Даже мои самые близкие друзья не захотят слушать меня». Наконец ученый во мне победил, и я обратилась к фрау Шварц с некоей существенной информацией. А именно, я сказала: «Вы должны знать, что пастор Г. сейчас живет в Урбане. У него там

церковный приход и он определенно будет рад получить от вас несколько строк. Вы не имеете ничего против?» И протянула ей карандаш и лист бумаги.

Естественно, у меня не было намерения отправлять эти строки моему другу. Но я нуждалась в научном вещественном доказательстве, так как само собой подразумевается, что никто из погребенных не может писать письма. Но эта женщина с ее преисполненной любви улыбкой, казалось, могла читать все мои мысли. Взяв бумагу, она написала пару строк, и, естественно, потом мы поместили этот листок в рамку и храним как величайшую ценность.» ^[102]

Итак, душа фрау Шварц была не только зрима, но и осязаема.

Такого рода наблюдения невольно ставят под вопрос слова Евангелия: «Пришёл Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в рёбра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!» (Иоан 20:26-28)

С учетом вышесказанного ясно, что уверенность Фомы в том, что его собеседник был человеком во плоти, а не бесплотным духом, обосновывалась не столько осязанием, сколько призывом «быть верующим». Фома поверил Учителю, и в конечном счете именно эта вера явилась основанием христианского исповедания.

Вера Церкви опирается на свидетельство самого Йешуа, т.е. на его собственное отношение к себе как к человеку из плоти и крови.

Добавить к этому, вроде бы, нечего. Между тем евангельские свидетельства содержат одну — галахическую — подробность, которая убедительнее любых слов подтверждает, что отношение Учителя к себе было именно таковым.

Талмуд учит, что «мертвый освобожден от исполнения заповедей». Это, например, проявляется в разрешении хоро-

нить усопшего в саване, сотканном из шерстяной и льняной нити (такого рода одежда строго запрещена евреям для ношения). (Дварим 22:11)

При молитве на могиле праведника душа последнего не учитывается в миньяне (т.е. в кворуме молящихся, насчитывающем минимум 10 человек).

Эта галаха проявляется также и в том, что хотя дух может участвовать в трапезе, он не может ее возглавлять: произнесенное духом благословение на пищу лишено силы, т.е. живые не могут ответить на такое благословение «Аминь».

Между тем, в Евангелии сообщается, что Йешуа не только ел с апостолами, но именно благословлял пищу. Более того, благословлял хлеб, что наряду с благословением вина является и вовсе особым священнодействием.

«И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них... И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба». (Лук 24:30) «Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу». (Иоан 21:13)

Эти евангельские свидетельства однозначно показывают, что через три дня после своей смерти Йешуа считал себя живым, заложив тем самым основу христианского исповедания.

Эти уникальные свидетельства имеют, между тем, один аналог.

В Талмуде в трактате Ктубот (103 а) рассказывается, что незадолго перед смертью Рабби Йеуда Анаси (ок. 135 — ок. 220) попросил своих сыновей, чтобы после его похорон те зажигали в его комнате свечу, стелили постель и накрывали на стол. Так после смерти Рабби являлся в своей комнате по субботам и ел вместе с домочадцами.

Явления праведных душ после их смерти в равной мере знакомы и христианской и иудейской традициям. Вместе с

тем невозможно указать третьей истории, в которой бы явления эти продолжались некоторый период времени сразу после смерти праведника и, что самое главное, сопровождались бы совместными трапезами.

Сходство этих историй обретает и вовсе уникальный характер, если принять во внимание, что вино и хлеб благословлял... сам Рабби, а не его сыновья!

Талмуд этого прямо не утверждает, между тем в «Сефер хасидим» сообщается буквально следующее: «Когда мертвый становится виден, то даже если он похоронен в саване, явиться он может в любой одежде, которую пожелает. Один раз в одежде, в которой похоронен, другой — в прежней одежде. Так Рабби Анаси можно было видеть в праздничной одежде, которую он надевал в Шаббат, а не в саване, объявляя тем самым, что он все еще в силе произносить утренний киддуш для всех, а не как другие мертвые, которые освобождены от исполнения заповедей» (Сефер хасидим 1129).

Рав Овадья Йосеф (1920-2013) подчеркивает, что эту историю следует понимать как исключительный случай, допущенный по специальному пророческому вдохновению, и что он никак не может повлиять на общий принцип «мертвый свободен от соблюдения заповедей».

Между тем этот «исключительный случай» буквально напрашивается на то, чтобы его сопоставили с евангельским свидетельством.

Нет никаких оснований сомневаться в правдивости талмудической истории, т.е. в том, что Рабби действительно являлся после смерти своим близким и даже освящал Субботу. Однако трудно поверить, чтобы рассказ об этих явлениях не учитывал христианского контекста, не представлял бы собой скрытой полемики с ним.

РАББИ И РАВВИ

Прежде всего следует обратить внимание на поразительную осмысленность самой этой параллели, т.е. на осмысленность сопоставления Йешуа и Рабби.

Действительно, иудаизм и христианство основываются на одном источнике — ТАНАХе. Христиане именуют его «Ветхим заветом», который рассматривается ими глазами завета «Нового». Со своей стороны иудейская трактовка ТАНАХа представлена в Талмуде. Причем формировались эти подходы в один исторический период и с известной оглядкой друг на друга.

Но в той же мере, в которой Йешуа оказался родоначальником «Нового завета», Рабби — явился родоначальником Талмуда. Ведь именно он инициировал запись устного предания.

Исходно Писание и Предание противостояли друг другу не только по сути (как Кодекс и Комментарий к нему), но и по форме. Трактовка Торы, дарованной Богом в письменном виде, могла даваться мудрецами исключительно в устном. Но когда это требование стало угрожать утратой преемственности традиции, рабби Йегуда Анаси его отменил, сославшись на слова Писания: «Время действовать ради Господа: они нарушили Тору твою» (Псал 119.126).

Если Йешуа «нарушил» Тору, противопоставив ее общечеловеческое ядро покрову эксклюзивного еврейского Закона (отличающего избранный народ от прочего человечества), то Рабби «нарушил» Тору, позволив ее эксклюзивную трактовку конспективно записывать.

При этом оба реформатора возводятся по своему происхождению к царю Давиду, и оба получили одно прозвище — Рабби! Ведь именно так, и только так обращались люди к Йешуа («Они сказали Ему: Равви, — что значит: учитель, — где живешь?» «Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла»).

Записывая, историю посмертных явлений Рабби, мудрецы, конечно, не могли исходить из идеи параллелизма иудейской и христианской традиций, которая и сейчас — в перспективе тысячелетий — не всем бросается в глаза.

Но, во-первых, параллель эту установил сам Всевышний, пославший Рабби из потустороннего мира встречать субботы вместе со своими домочадцами, а во-вторых, своим сопоставлением мудрецы эту параллель невольно признавали.

Более того, мудрецы и, прежде всего сам Рабби, не только были хорошо знакомы с христианским вероучением, но следили за внутри-церковной полемикой и, по-разному относились к различным веяниям христианства.

Об этом ясно свидетельствует другая талмудическая история, приведенная в трактате Хулин (87.6)

К Рабби пришел христианин («мин») и истолковал слова пророка Амоса «Он — создатель гор и творец ветра» (4:13) в дуалистическом смысле: «создавший горы не сотворил духа и сотворивший дух не создавал гор». Рабби опроверг его вывод, напомнив конец пасука: «Бог Цваот имя Его».

Но христианин не сдался и заявил, что у него есть на это хорошее возражение, которое он окончательно сформулирует через три дня. Рабби оказался встревожен. Три дня он провел в посте, а когда ему доложили о появлении оппонента, произнес слова псалма, в свое время прозвучавшие в устах распятого Йешуа («Когда жажду я, поят меня уксусом» 69:22)

Но вместо прежнего собеседника перед ним предстал другой христианин, который сказал: «Благую весть принес я тебе: тот христианин не нашел ответа, сбросился с крыши и умер».

Обрадованный Рабби немедленно предложил гостю, который оказался «родовитым римлянином» по имени Бар Левианус, разделить с ним трапезу, сопровождавшуюся благословением вина!

Используемые в этой истории детали и обороты, вплоть до выражения «Благая весть» не оставляют сомнений в том,

что мудрецы, и в первую очередь Рабби, не только внимательно следили за развитием христианской мысли, но вполне благожелательно относились к определенным ее направлениям. Более того, представитель одного такого направления — Бар Левианус был даже допущен Рабби до участия в фарисейской трапезе!

Трактовку слов Амоса, предложенную первым христианином, обычно считают «маркионистской», дуалистической: один бог создал горы, второй — ветер; одно божество создало материю, второе — дух.

Маркион умер, когда Рабби было под тридцать, таким образом не удивительно, что тема двоебожия в ту пору активно обсуждалась.

Между тем профессор Михаль Бар-Ашер Сигаль отмечает, что упомянутый в Гемаре пасук Амоса привлекался христианами также при обсуждении вопроса триединства, в связи со статусом Святого Духа. Одни находили в словах пророка подтверждение идеи его предвечности (в качестве лица троицы), другие — в пользу его сотворенности.^[103]

А эта трактовка открывает путь к иным догадкам.

Действительно, хотя вопросы триединства уточнялись Церковью веками позже, некоторые дискуссии закладывались еще во времена Рабби.

Так отец церкви Ориген (185-254), по существу, отрицал предвечность Сына, а для идеи несотворенности Святого Духа и вовсе не находил в Писании никаких оснований. По этой причине три века спустя церковь объявила Оригена еретиком.

Между тем известно, что Ориген находился в дружеских отношениях с мудрецами Талмуда. В своих сочинениях он сообщал, что часто советовался с еврейскими учеными о значении отдельных мест ТАНАХа, а в «Contra Celsum» выступает даже в защиту еврейства. По-видимому, Ориген находился в близких отношениях с рабби Ошайей, главой академии в Кесарие, и по его собственным словам, был знаком с

патриархом по имени «Ιούλλος», которого исследователи идентифицируют как рабби Йегуду.

Как мы помним, второго — «хорошего христианина» звали Бар Левианус. К имени этому (нигде более в Гемаре не упоминающемуся) трудно отнести, как к имени собственному. Это явное прозвище.

Действительно, в переводе с арамейского «Бар» — значит сын, в переводе с латинского *Levianus* значит — Свет, т.е. — «хорошего христианина» звали... Сын Света.

Естественно предположить, что прозвище это было присвоено мудрецами Оригену, вокруг учения которого веками велись яростные споры, и которое в конце концов было осуждено церковью.

Вполне вероятно, поэтому, что именно с Оригеном беседовал Рабби за фарисейской трапезой, и, что именно такого рода беседы навели последнего на мысль, испросить у Всевышнего право на ряд экстраординарных посмертных явлений.

Этими явлениями Рабби поставил под вопрос евангельскую интерпретацию посмертных встреч Аноцри со своими учениками: духом или телом после своей смерти он «явился Кифе, потом — Двенадцати; затем свыше чем пятистам братьям одновременно, затем Йакову, потом всем апостолам»? (1 Коринф 15:6).

В начале III веков, когда по инициативе Рабби началась запись Устной Торы, мудрецы, конечно, еще хранили собственное предание о подлинном Аноцри, т.е. помнили, что он был один из них, были осведомлены о его посмертных явлениях, и даже как мы видим, признавали некоторых его последователей «сынами света», благочестивыми потомками Ноаха.

Открыто сохранять это свое собственное предание, доверять его бумаге мудрецы не рискнули. Но они все же ясно дали понять — Аноцри относился к их кругу. Дали понять это, во-первых, тем, что перевели стрелку авторства христи-

анства на его «однофамильцев» — колдунов; во-вторых, тем, что сохранили историю о совместной трапезе Рабби с «хорошим» христианином, и, в-третьих, тем, что сопоставили Равви Йешуа с Рабби Йегудой, давшего этому сопоставлению веский повод своими посмертными явлениями.

Таким образом, в рамках иудаизма вполне правомочен подход, согласно которому Йешуа — ортодоксальный благочестивый еврей. Подход этот последовательно развил раввин Йаков Эмден (1698-1776) в своем комментарии к мидрашу «Седер Олам Раба ве Зута»: «Известно, что Аноцри (Назарянин) и его ученики тщательно соблюдали Тору Израиля («һизһиру ал шмират Торат-аИсраэлим»)...

Согласно тому, что говорится в евангелии, Назарянин и его ученики вовсе не пришли затем, чтобы отменить Тору, не приведи Боже... Не правы считающие, будто Назарянин пришел полностью упразднить иудаизм, но только к народам пришел он, чтобы установить религию, которая на самом деле не новая, а старая — и это семь заповедей Ноаха. Что же касается сынов Израиля, то он обязывал их исполнять Тору до мельчайших деталей... Он всеми силами укреплял Закон Моше. Никто из наших мудрецов не заявлял столь громогласно как он, о важности вечного исполнения Торы».

Раввин Йаков Эмден — значительный авторитет Нового времени, один из «ахроним», мнение которых (в силу лучшего обзора исторической перспективы) признается доминирующим над мнением предшественников. В тех редких случаях, когда кто-то из «ахроним» высказывается против принятого прежде мнения, его подход признается определяющим.

Положительно отзывался о Йешуа также и основоположник религиозного сионизма рав Авраам Ицхак Кук (1865-1935): «Его личность обладала чудесной силой, движения его души были велики, хотя и не избежали языческой ущербности. Он укреплял душевные устремления путем исключи-

тельного нравственного и учительского служения. И до такой степени посвятил он свою душу этим потокам и так был им предан, что утратил израильскую определенность».^[104]

Таким образом, исследования Давида Флуссера и других еврейских исследователей Евангелий с полным правом можно представить не частными разработками, а углублением того собственно иудейского подхода, согласно которому Йешуа следовал словам мудрецов, был одним из них.

Но как такое возможно? Как Йешуа мог без малейшего со своей стороны повода оказаться в столь щекотливом положении? Каков мог быть собственно иудейский смысл его миссии, которую опустили евангелисты, а евреи не были способны сохранить?

РЕВОЛЮЦИЯ В ИУДЕЕ

Эту миссию в высшей степени убедительно выявляет Хаим Маккоби в своей книге «Революция в Иудее». Он представляет Йешуа не просто «исторической фигурой», он представляет его «Иисусом керигмы (проповеди)», но только не христианской, а еврейской «керигмы», которая не могла не иметь политического измерения.

«Евангелия говорят нам, — пишет Маккоби, — что когда Йешуа применял выражение «Царство Божие» и «Мессия», он имел в виду нечто совершенно отличное от значения, придаваемого этим словам всеми прочими евреями того времени. Но это невероятно по существу. Если он имел в виду нечто совершенно иное, то зачем же он вообще пользовался этими выражениями? Зачем говорить «диктатура пролетариата», если вы на самом деле хотите сказать «Боже, царя храни»? Если Йешуа хотел сказать, что царство его не от мира сего, что у него нет никаких политических целей и он абсолютно ничего не имеет против римской оккупации Святой земли, то зачем он стал бы употреблять выражения, которые всей

массой его соотечественников понимались как политические и революционные? Евангелия претерпели процесс искажения, в результате которого из них было удалено политическое измерение. Это не ограничилось деполитизацией ключевых фраз «Царство Божие», «Мессия», «спасение», и «сын Давидов», вся политическая атмосфера времени Иисуса была изменена до неузнаваемости. Вместо обстановки бурлящего политического недовольства нам рисуют картину мирной римской провинции»^[105]

Но почему евангелисты затушевывали политическую действительность? Маккоби в следующих словах восстанавливает ход их мысли: «Что думали христиане Рима, когда Иудейская война затянулась, и лица римлян были повсюду обращены к евреям с ненавистью? Что думали они, когда глядели на процессию закованных в цепи еврейских пленников, проходящую по улицам Рима среди проклятий ликующих толп, и когда слышались возгласы дикого восторга при известии о смерти Симона Бар Гиоры? Что они думали, мы можем узнать, читая Евангелие от Марка, написанное как раз в то время, и другие три Евангелия, проводившие далее линию, впервые начертанную Марком. Здесь мы можем видеть, как христиане, бывшие первоначально сектой полностью еврейской, отмежевались от евреев в час их поражения.

Их путали с мятежными евреями по одному тому, что Бог, которому они поклонялись, был евреем, к тому же распятым за мятеж. Где же решение этой злополучной проблемы?

Оно должно было напрашиваться с ясностью прямо-таки ослепительной и казаться им богоданным. Йешуа боролся не против римлян, а против евреев! Они получили Евангелие от иерусалимских иудео-христиан. Но это Евангелие казалось им теперь искаженным проеврейским пристрастием. Да, оно наверняка было искажено, иначе просто быть не могло, и теперь на их долю выпало исправить его и восстановить факты такими, какими они должны были быть! В таком-то умонастроении Марк и сел писать свою версию Евангелия»^[106]

Так из биографии Йешуа оказался полностью удален политический контекст, а сам он оказался представлен борцом не с римлянами, а с фарисеями.

Гипотеза «зелотской» подоплеки евангельской истории высказывалась задолго до Маккоби, но многими воспринимается скептически.

Так библеист Глеб Ястребов пишет в связи с книгой Юлии Латыниной «Иисус. Историческое расследование» (2018): «Идея, что Иисус был зелотом (антиримским повстанцем), часто всплывает у охотников за сенсациями, но очень редко — в науке. Ее ввел в оборот Реймарус (18 век) и особенно отстаивали Айслер (1920-е) и Брэндон (1960-е). Их доводы были отвергнуты подавляющим большинством ученых. Стало быть, если Латынина хочет низвергнуть консенсус, она должна ответить на высказанную критику».

Между тем, видный историк Ричард Хорсли объясняет непопулярность «зелотской» теории вовсе не убедительностью критики в ее адрес, а совершенно посторонними причинами: «Многих исследователей Нового Завета — в том числе и некоторых наших наставников — глубоко взволновала книга «Иисус и зелоты», которую опубликовал Сэмюэль Брэндон. Быть может, еще сильнее западных ученых, исследующих Новый Завет, встревожила связь антиколониальных движений и устроенных на Западе студенческих манифестаций с требованиями к ученым и университетам раскрыть свое отношение к антиколониальным программам. Оскар Кульман, признанный авторитет, прежде рассуждавший о Новом Завете и государстве без резкой полемики, и Мартин Хенгель, незадолго до того представивший синтетическую реконструкцию движения «зелотов», немедленно выпустили брошюры, решительно заявив, что Новый Завет не дает нам никаких поводов считать Иисуса в каком бы то ни было смысле «революционером». В их трудах мы видим, как интерпретаторы Нового Завета изо всех сил отрицали какую-либо

связь деятельности Иисуса с политикой, – из опасения, что его примут за революционера. Но в этом примере заметно и другое: крайнее противопоставление религии и политики в изучении исторического Иисуса».^[107]

Итак, доводы Айслера и Брэндона «были отвергнуты подавляющим большинством ученых» по соображениям, весьма далеким от научных. Ученых пугало — и пугало совершенно оправданно — привлечение Евангелия для раздувания пожара мировой революции.

Разумеется, предпочтительнее, чтобы Йешуа отождествляли с князем Мышкиным, чем с Петром Верховенским, хотя он равно далек и от того, и от другого. Однако, в конечном счете важно выяснить, кем он был на самом деле, а тут без «зелотского» следа никак не обойтись.

Более того, на «зелотский» след нас наводит также и один достаточно широкий научный «консенсус». Немало библистов и независимых исследователей убеждены, что Евангелия не являются «надежным источником» во всем, что связано с судом над Иисусом.

Германский юрист Вединг Фрикке в своей книге «Кто осудил Иисуса?» пишет: «Согласно «детеологизированным» исследованиям, евангелисты вполне могли изобрести историю о том, что еврейские власти сговорились с целью умертвить Иисуса. Необходимо помнить, что евангелия составлялись в то время, когда христианская община, первое поколение которой состояло исключительно из евреев, отмежеввалась от иудаизма и вошла в конфликт с религией, породившей ее. Христианство уже на раннем этапе своего существования сочло необходимым показать, что Иисус не был связан ни с одним еврейским повстанческим движением. Только так Павел, который проповедовал не на своей родине, но обращался к евреям и язычникам за пределами Палестины, мог рассчитывать на успех в Римской империи. Разгром еврейского восстания против римлян в 70 г. н.э. обострил эту необходимость. В наши дни в теологических кругах часто

можно услышать мнение, что полное поражение Иудеи было достаточной причиной для составителей евангелий, чтобы переложить на евреев вину за смерть Иисуса».^[108]

Новозеландский писатель Бейджент Майкл (1948-2013), в книге «Бумаги Иисуса» высказывает следующие соображения: «Первое, и очень важное замечание — в ту эпоху к распятию приговаривали за политические преступления. Однако по свидетельству Евангелия Пилат отдал судьбу Иисуса в руки толпы, которая потребовала распятия, обвиняя его в ереси. По законам Иудеи наказанием за такое преступление служило побитие камнями. Распятие — это римская казнь, к которой приговаривали за подстрекательство к мятежу, а не за религиозные воззрения. Одно это противоречие иллюстрирует, что события тех дней переданы в Евангелии не совсем верно. Может быть, составители Евангелия старались скрыть от нас какие-то важные детали? Или пытались переложить вину на других?

Можно не сомневаться, что Иисус был приговорён к смертной казни за политические преступления. Мы также уверены, что первую скрипку в этом судебном процессе играли римляне, а не власти Иудеи — в чём бы нас ни пытались убедить Евангелия. Евангелисты прекрасно справились со своей задачей — современному христианину кажется немыслимым, что Иисус мог заниматься политической деятельностью. Тем не менее ещё пятьдесят лет назад профессор Сэмюэл Брэндон из Манчестерского университета обратил внимание на эту теологическую неточность: «Неоспоримым остаётся важный факт — смертный приговор был вынесен римским прокуратором и приведён в исполнение римскими чиновниками». Далее профессор Брэндон продолжает: «Не подлежит сомнению, что движение, связанное с [Иисусом], имело, по меньшей мере, некоторое сходство с мятежом, чтобы римляне признали в нём возможного бунтовщика и казнили его по этому обвинению».^[109]

ДРУГОЕ ХРИСТИАНСТВО

Кому-то этот «детеологизированный» вывод может показаться разрушительным для христианской веры, несовместимым с ней.

Действительно, внутренняя драма Евангелия построена на том, что Бог в очередной раз оказался отвергнут избранным Им народом: смертный приговор Мессии выносит еврейский Первосвященник, «Агнец Божий» приносится в жертву евреями в рамках их извечной неверности Богу. В Новом завете еврей — это негативный, в лучшем случае амбивалентный персонаж — народ-богоборец, обеспечивающий возможность принесения искупительной жертвы.

Однако, после того, как Ватикан открыто признал, что на еврейском народе нет вины за распятие Иисуса, у церкви открывается путь и для иных трактовок, первой из которых оказывается именно «зелотская».

То, что евангельским антигероем оказывается не еврейский Первосвященник, а римский Император, нисколько не мешает христианской вере. Тысячи первохристиан погибли, отказываясь приносить жертвы Императору. Их мятеж продолжал мятеж их Учителя. Восстановление исторической правды в этом вопросе в интересах всех.

Другое, честное, базирующееся на подлинных событиях христианство, возможно. Достаточно только захотеть.

Итак, «зелотская» трактовка евангельской истории и научна, и канонична одновременно. Причем «каноническим» смыслом ее наполняет как раз трактовка Маккоби.

Оригинальность его гипотезы состоит в том, что свой мятеж Йешуа вознамерился осуществить прибегая не столько к искусству полководца, сколько чудотворца.

Маккоби считает, что ночная прогулка Йешуа на Масличную гору с учениками вооруженными двумя мечами (Лука 22:38) была попыткой вступить в войну, в ту послед-

ную войну Гога и Магога, о которой поведал пророк Йехезкель: «И будет в день тот, в день прихода Гога на землю Израиля, — слово Господа Бога! — возгорится гнев Мой в ярости Моей» (38:18-39:8).

Другое пророчество об этой войне записано в книге Захарии: «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги Его в тот день на Масличной горе, которая пред лицом Иерусалима к востоку; и раздвоится Масличная гора от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, и половина ее — к югу. И вы побежите в долину гор Моих; ибо долина гор будет простираться до Асила... и придет Господь Бог мой и все святые с Ним. ... И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя его — едино... И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима...» (Захария, 14:3–21).

«Воюющие против Иерусалима», — пишет Маккоби, — были не кем иным, как римлянами, языческими варварами, объединившими народы в великую империю и поднявшими лица свои против Бога. Он же, Йешуа из Назарета, был тем, которому пророк адресовал свои инструкции, Мессией, который въедет в Иерусалим на молодом осле и встанет в «долине гор» вместе с горсткой «святых», чтобы стать свидетелями явления славы Божией на Масличной горе.»^[110]

«Он верил, что время для исполнения пророчеств настало... что произойдет великая битва против римлян, куда евреев поведет потомок царя Давида, что битва эта будет сопровождаться чудесами, окончится победой Мессии и евреев, которые затем вступят в эпоху независимости; что она будет и эпохой мира, когда богоданная миссия евреев как народа Господня будет признана всеми народами, а Храм в Иерусалиме станет рассматриваться как духовный центр мироздания.»^[111]

Итак, Йешуа поднялся на Масличную гору в сопрово-

ждении вооруженных двумя мечами учеников, чтобы в завязавшемся бою побудить Всевышнего к вступлению в обещанную Им войну, чтобы вызвать на римлян страшные казни, подобные тем, которыми Всевышний некогда покарал египтян!

Маккоби объясняет столь отчаянное выступление Йешуа его психологическими особенностями: «Можно возразить, что в этом рассказе Йешуа выглядит безумцем. Неужели он мог ожидать, что пророчества Захарии буквально исполнятся в эту ночь на Масличной горе? Почему он так уверен в том, что знает точный час исполнения пророчеств и что они исполнятся именно через него? Как личность Йешуа обладал характером, который сегодня был бы назван холерическим или даже маниакальным, то есть обычно пребывал на вершине энтузиазма и эйфории. Это позволяло ему совершать чудесные исцеления и производить на своих соратников такое сильное впечатление, что они не могли дать памяти о нем умереть. Он не был Йеудой Галилеянином или Бар-Кохбой, которые тоже считались мессиями, но обладали обычным темпераментом. Те пытались захватить власть, потерпели неудачу, на этом все и кончилось. Не случайно религия нового мира выросла именно вокруг Йешуа.

Позднейшим христианским эллинистам понадобилось сделать один только шаг, чтобы превратить пламенную убежденность Йешуа в своей вселенской миссии в догму о его божественности. А его уверенность в победе, одержанной рукой Бога, а не методами партизанской войны, – в пацифистскую потустороннюю доктрину, переносящую концепцию победы в «духовный» план. Маниакальный темперамент Йешуа стал главной движущей силой раннехристианской церкви с ее экстатическим духом, всемирными амбициями и убежденностью в конечной победе».^[112]

Между тем признание Маккоби того факта, что все восстания иудеев против римлян, начиная с Йеуды Галилеяни-

на (6-7 г. н.э.) и кончая Бар Кохбой (135 н.э.) были именно мессианскими движениями, снимает необходимость объяснения «казуса Йешуа» его маниакальностью. Все восстания иудеев против Рима с прагматической точки зрения были отчаянными, были маниакальными и безумными, все они, в конечном счете, делали ставку на поддержку небес.

Иосиф Флавий пишет: «Главное, что поощряло их к войне, — двусмысленное пророческое изречение, находящееся также в их священном писании и гласящее, что к тому времени один человек из их родного края достигнет всемирного господства»^[113]

Флавий же приводит одну историю, имевшую место через пару десятилетий после евангельских событий, подтверждающую правдоподобность гипотезы Маккоби: «некий египтянин, выдававший себя за пророка, уговорил простой народ отправиться вместе с ним к Масличной горе. Тут он обещал легковерным иудеям показать, как по его мановению падут иерусалимские стены, так что, по его словам, они будто бы свободно пройдут в город. Когда Феликс узнал об этом, он выступил из Иерусалима и нагрянул на приверженцев египтянина»^[114]

Таким образом, для принятия решения выступить против Римской империи с двумя мечами, не нужно было быть маньяком, достаточно было просто получить убедительный «знак свыше».

Нам остается только предположить, что таким «знаком» явилось провозвестие разрушения Храма.

Действительно, Йешуа выступил ровно в то самое время (за сорок лет до разрушения Храма), когда мудрецам стало открываться, что Израиль ждет катастрофа (Йома 39.б; Гитин 56.а).

Но самое главное, что это открылось и самому Йешуа («приступили ученики его, чтобы показать ему здания храма. Иисус же сказал им: видите ли всё это? Истинно говорю

вам: не останется здесь камня на камне; всё будет разрушено» Мф 24:1).

Йешуа помнил слова пророка: «беита ахишена» — «в назначенное время ускорю» (Йешайя 60:22); он понимал (как это выясняется в Сангедрин 97а), что досрочное Избавление предпочтительнее, так как предупреждает бедствия («удостоитесь — ускорю, не удостоитесь — в назначенное время»). И решился выступить.

Пытаясь разрешить некоторые евангельские противоречия, Маккоби предположил, что Йешуа решил претворить свой план Избавления в Суккот, хотя и был казнен полгода спустя на Песах.

Такое отклонение от общей евангельской линии едва ли представляется оправданным. Тем более, что точная дата выступления была известна из пророческого предания: «в Нисане было избавление, и в Нисане в будущем произойдет избавление» (Рош-Ашана 11.а) Это положение прекрасно объясняет восхождение Йешуа на Масличную гору именно в пасхальную ночь — в пасхальную ночь 3790 года.

Следует оговориться, что в иудейской традиции принято датировать разрушение Храма 68-м годом (таков результат расчета, произведенного Раши в комментарии на «Авода зара» 9.а). Т.е. отсчет «сорока лет» должен вестись с 28, а не с 30 года. Между тем общепринятая историческая датировка (70 год) также фигурирует в различных традиционных текстах и является полностью приемлемой (см. например, комментарий Амаор Агадоль на толкование Рифа к «Авода зара» 2).

Чуда не произошло, messiанский выстрел, произведенный Йешуа в 3790 году, оказался холостым. Но что тогда значит, что эта попытка избавления привела к возникновению самой представительной мировой религии, благодаря которой с одной стороны ТАНАХ распространился во всем мире, а с другой евреи оказались в этом мире изгоями?

ВОСКРЕСАЮЩИЙ БОГ

Протестантский теолог Бультман объясняет предпосылки этих процессов следующим образом: «Древнейшая община, видимо, считала его Мессией, но она не приписывала Иисусу в связи с этим наличия особой метафизической сущности, которая служила бы основой для авторитетности его слов. Хотя на основании его авторитета она исповедовала, что Бог сделал его Царем общины. Эллинистическое же христианство сразу превратило Иисуса в «Сына Божия», приписав ему божественную «природу», и таким образом ввело в обиход способ рассмотрения его личности, абсолютно чуждый ему самому».^[115]

Этот «способ рассмотрения» напрямую связан с «религиями спасения» крайнее распространенными среди окружающих евреев народов. Маккоби в следующих словах пишет об этом явлении: «Культы мистерий начали обещать своим посвященным бессмертие, не в том смысле, что их тела будут жить вечно, но в том, что души будут освобождены от телесных оков и вознесутся в мир Духа... Эти культы имели долгую историю и в своих истоках восходили к доисторическим культам плодородия. В своей первоначальной форме они включали человеческие жертвоприношения, в которых жертва умерщвлялась для возобновления жизненных сил природы. После символического воскрешения эта жертва обретала божественную природу и заслуживала поклонения. Но в позднейших эллинистических проявлениях эти религии уже не были связаны с человеческими жертвоприношениями. Они стали спиритуализированными и полными аллегорического смысла. И связывались уже не с плодородием, а с обновлением и спасением индивидуальной души.

Их главным содержанием были смерть и воскресение божества; целью мистерий было дать посвященным приобщиться к этой смерти и воскресению и тем самым обрести бессмертие и богоравный статус»^[116]

Именно «религии спасения» сформировали вероучительное и культовое ядро церковного христианства.

О том, что в христианском культе присутствуют элементы поклонения умирающим и воскресающим растительным божествам, было известно всегда. На протяжении веков не афишировалось, но и не являлось секретом, что знаменитый тропарь «(некто) воскрес из мертвых, смертию смерть поправ» взят из песнопений в честь «умирающего и воскресающего» Диониса.

Вполне сознающий влияние этих мифов и мистерий на церковный культ о.Павел Флоренский пишет: «Есть иные, которые пытаются уязвить культ, покивая на сродство, якобы ими изобличенное, весеннего церковного цикла — весеннего поста и весенних празднеств — <и> почитаемых воскресающих божеств, «духов растительного мира», как очень удачно формулировали исследователи религии... Ну да, конечно, это так именно, за одним только исключением, что при таких нападках всякая религия, кроме христианской, уже заранее осуждена, и вопрос только идет о том, как бы поколебать христианство. Эти наивные возражатели, в сущности, считаются с исключительностью христианства более самих христиан, тогда как последние вовсе не нуждаются в таком глубоком разрыве со всем человечеством и вовсе не думают, что на всем протяжении истории человечество жило одними только глупостями. При таких возражениях делается открытие, запоздавшее по меньшей мере веков на осьмнадцать, ибо уже апологеты твердили о христианстве как энтелехии обще человеческой религии и видели в Христе исполнение, полноту и гармонию всех человеческих предчувствий, томлений, надежд и смутно памятуемых откровений. Ну да, эти возражения правильны, но только слабы, робки: надо говорить не о подобии указываемых там представлений христианским, а — дерзну сказать — о тождестве их, нумерическом тождестве. Сами ясно не сознавая, языческие пророки, хотя и коснеющим языком, говорили не о чем ином, как именно

об этом самом, совершившемся в определенный год и день, воскресении этого Самого, родившегося в Вифлееме, «распятого же за ны при Понтийстем Пилате», — Спасителя мира. Сквозь туманы истории и мутную среду расстроенной человеческой души, языческим пророкам уже виделись еще неясные и сбивчивые очерки грядущих событий». ^[117]

Но, похоже, пришло время договорить этот тезис до конца, и признать, что «откровение» о «воскресении родившегося в Вифлееме, — «распятого же за ны при Понтийстем Пилате» — Спасителя мира» сложилось в первую очередь именно на основании прозрений «языческих пророков» (прозрений циклического возрождения), а не пророков Израиля, понимание воскресения которых было существенно другим (единичным историческим событием).

Еврейская и языческая теологии воскресения имеют, разумеется, точки соприкосновения. Иудейское благословение «воскрешающий мертвых» покрывает широкий диапазон Божественных проявлений, и, в частности, распространяется на дожди, на возрождение растительности. Однако акценты и векторы различны.

Если бы ученики Йешуа не сочли его воскресшим, а весть об этом воскресении не оказалась преподана в понятиях и терминах религий умирающих и воскресающих растительных божеств, мы бы очень мало знали о еще одном провале мятежа против Рима.

Но как такое могло произойти?

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

Как отметил рабби Эмден, «Аноцри принес в мир двойное благословение. Во-первых, он уничтожил идолопоклонство, удалил литых богов, которым поклонялись народы, и научил их семи заповедям потомков Ноаха. А во-вторых, он

дал им моральные законы, которые сделали их жизнь даже более суровой, нежели этого требует Тора Моше».

Этические и интеллектуальные достижения христианской цивилизации значительны, и можно понять Провидение, направившее народы по этому пути, пусть даже и ценой поругания Израиля, предвещенного, кстати, более чем за тысячелетие («И станешь ужасом, притчею и посмешищем среди всех народов, к которым отведет тебя Господь». Дварим 28:37).

Но все же это продолжающееся и поныне поругание вселяет немалые сомнения и вызывает вопросы: имеется ли во всей этой истории также и какой-то смысл с «тыльной», с израильской стороны? Не присутствует ли в миссии Йешуа также и какой-то собственно еврейский «позитив»?

По-видимому, его можно усмотреть в сцене прощания Йешуа с учениками имевшего место все на той же Масличной горе.

В этом эпизоде евангелист Лука не сумел утаить, что цели Йешуа всегда были, и что особенно важно — навсегда остаются «политическими»:

«Они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстанавлиешь Ты царство Израилю?»

Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».

Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их.

И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Масличная, которая находится близ Иерусалима» (Деяния 1:6-12).

Итак, ученики Йешуа связывали его миссию с «восстановлением Царства Израиля», в которое свято верили. Что же касается самого Учителя, то он их упование целиком разделял. Слова же ангелов позволительно интерпретировать в том смысле, что вернется Йешуа именно к моменту этого восстановления (когда «раздвоится гора Масличная от востока к западу»), и вернется не только затем чтобы разделить всеобщее ликование, но и чтобы скорректировать запущенный им некогда процесс.

Что-то в ту пору должно срастись. По меньшей мере, должно явиться «другое христианство», признающее, что основным планом Галилейского Учителя было «восстановление царства Израиля» (пусть даже и «запасной план» Благовестия остается в силе).

Ведь если гибель еврейского праведника обернулась беспрецедентным духовным взрывом, обновившем мироздание и «наполнившим его вестью о Машиахе», то естественно заключить, что то был срыв (собственно иудейской) миссии чрезвычайно близкой к своей реализации, что Избавление, как мыслит его Израиль, находилось от Йешуа на расстоянии вытянутой руки.

Согласно мидрашам, Машиах родился в день разрушения Храма, т.е. 9 ава 3830 года. Но этим днем позволительно признать день вынесения небесами соответствующего приговора, а именно Йом Кипур 3790 года, в который «жребий (козлов) не выпал на правую сторону; красная лента не побелела; западный свет перестал пылать; двери святилища открылись сами собой» (Йома 39.б). Таким образом, еврейская традиция позволяет считать временем рождения Машиаха (после которого мир стал наполняться вестью о нем) пору завершения евангельской истории!

Но как тогда получилось, что на протяжении веков Йешуа мирился с ролью главного душителя свободы своего народа?! Как Ангел Эсава смог обвести вокруг пальца еврейско-

го праведника? Как Ангел Смерти умудрился войти в историю в роли ее ведущего вдохновителя?

Ниже я предлагаю возможную литературную версию этой загадки; ниже я пытаюсь воссоздать «небесный» пролог к созданной Мировым духом «Поэме шестого дня», пролог, который, возможно, приблизит нас к пониманию связанного с 2140-ым годом эпилога.

АНТИДОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ

«Пролог» этот, способствующий восстановлению доброго имени Йешуа в еврейском мире, в то же время оказывается известным вызовом миру христианскому.

Рассмотрение исторического дебюта Мирового духа в контексте иудейской ангелологии, не может не смущать христианский ум.

Сознавая это, я бы хотел предложить своему христобивому читателю разъяснение, которое бы могло послужить «антидотом» к предстоящему чтению.

На протяжении веков в церкви процветала уверенность в том, что именно христиане адекватно трактуют ТАНАХ. Вот как эта вера была озвучена папой Иннокентием III в энциклике *Constitutio pro Judaeis* (1198): «Не уничтожай евреев совсем, дабы христиане никогда не могли забыть Твой закон, который, хотя сами евреи и не понимают его, начертан в их книгах для тех, кто способен понять его...»

Научные успехи последних полутора столетий внесли в христианское сознание значительные коррективы. Сегодня даже многие апостольские христиане согласны с приведенным выше утверждением протестантского теолога Бультмана: «Древнейшая община не приписывала Иисусу наличия особой метафизической сущности, которая служила бы основой для авторитетности его слов.... Эллинистическое же христианство сразу превратило Иисуса в «Сына Божия», приписав ему боже-

ственную «природу», и таким образом ввело в обиход способ рассмотрения его личности, абсолютно чуждый ему самому».

Но как можно оставаться апостольским христианином, придерживаясь подобных взглядов? Как можно жить в ладу с христианской догматикой, считая, что исторический Йешуа себя никаким Богом не воображал?

Объяснение, по-видимому, усматривается в приведенных выше словах о. Павла Флоренского: «уже апологеты утверждали о христианстве как энтелехии общечеловеческой религии и видели в Христе исполнение, полноту и гармонию всех человеческих предчувствий, томлений, надежд и смутно памятуемых откровений».

Один из апологетов — Климент Александрийский (150-215), писал, что Иисус Христос «прежде чем явиться во плоти для спасения людей... подготовил весь христианский мир к этому спасению, дав иудеям Закон, а эллинам — философию»^[118]

Открытия эллинских философов в не меньшей мере, чем откровения еврейских пророков обеспечили теологическую базу христианского вероучения.

По сути, это означает, что по вере церкви, ее религиозный опыт шире того собственно пророческого, который открылся в ТАНАХе.

«Да, — согласится такой просвещенный христианин, — только евреи хорошо понимают, что написано в их текстах, однако имеются нюансы, которые виднее как раз со стороны. Так, если идея боговоплощения в ТАНАХе полностью отсутствует, то это не значит, что Творец мира Сам ее в виду не имел. Просто Он шире смотрит на вещи, чем преподавал это Израилю, и этот «более широкий» Божественный взгляд как раз и обнаружился в опыте церкви».

Очевидно, что при таком подходе, никакая иудейская трактовка евангельских событий церковной веры поколебать не может. Однако важно сознавать каким образом она способна эту веру подтвердить.

Дело в том, что христианский гений исходно отмечен интеллектуальной бинокулярностью, не просто позволяющей, а обязывающей рассматривать истину одновременно, как с «новозаветных», так и с «ветхозаветных» позиций.

Причем этот собственно «новый» христианский взгляд одновременно отличается не только от «ветхого» иудейского, но и от «древнего» («античного») греческого видения. Древние идолослужители мыслили боговоплощение совсем не так, как это предложила делать Церковь.

Догмат боговоплощения, провозглашенный на Халкидонском соборе (451) парадоксален: («различие Его природ никогда не исчезает от их соединения, но свойства каждой из двух природ соединяются в одном лице»).

Эта трактовка «боговоплощения» решительно отличается от своих собственно языческих аналогов, предполагающих как раз имманентное слияние божества со своим телесным носителем.

В своей книге «Теология дополнительности» я пишу: «Христианская идея боговоплощения существенно отличается от схожих представлений язычников. Например, согласно учению того же индуизма невидимое, бестелесное, безатрибутивное божество, примиряясь с немощами и условностями человеческого существования, нисходит в мир, нисходит во плоти, по меньшей мере в образе вполне атрибутивных существ, и выполняет ту или иную миссию по спасению человечества. Так, известно девять воплощений (аватар) Вишну, восьмой из которых явился Кришна, считающийся главной и наиболее адекватной формой воплощения.

Но чем тогда Кришна отличается от церковного Иисуса? Почему Церковь не идет вслед за теми, кто видит в Иисусе воплощение Вишну? В чем особенность христианства? По-видимому, в том, что для христианства крайне существенным представляется то обстоятельство, что Иисус Христос — это воплощение не «вообще Бога», а именно Бога Израилева, т.е. того единственного известного миру Бога, который принци-

пиально воплощен быть не может. Ведь не будет преувеличением сказать, что категорический запрет на поклонение любому материальному предмету в качестве божества является основой основ иудаизма.

Таким образом, христианство, провозгласившее воплощение, изначально стоит перед коренным парадоксом, или даже лучше сказать, состоит из коренного парадокса: если воплотился Бог, который по существу может воплощаться, то это никакое не воплощение (во всяком случае смысл слова «воплощение» здесь принципиально другой, а именно индуистский, гностический смысл). Однако, если воплотился Тот, кто по существу не может воплощаться, то какой же Он тогда Невоплотимый?

Христианская мысль всегда уклонялась от заострения этого парадокса. Сами догматы были сформулированы безупречно. “Не полезно... признавать во Христе Иисусе или только Бога без человека, или лишь человека без Бога”, — говорилось в послании папы Льва I, послужившем основой для решений Халкидонского собора. На этом соборе Иисус Христос был провозглашен одновременно и истинным Богом и истинным Человеком.

Эта парадоксальная формулировка по-разному и неоднократно воспроизводилась в самых разных сферах европейской культуры, и в XX-ом веке с особенной продуктивностью обнаружила себя в квантовой механике, согласно которой электрон является и истинной волной и истинной частицей.

В принципе дополнительности Нильса Бора отчетливо звучит Халкидонская формула. Думаю, ученый без колебаний подписался бы под словами: «различие (волновой и корпускулярной) природ электрона никогда не исчезает от их соединения, но свойства каждой из двух природ соединяются в одном лице»).

Однако в самой христианской теологии этот открытый ею принцип дополнительности в дальнейшем никак не разрабатывался. Обыденная христианская мысль опасливо пе-

ретоликовывала эту догматическую антиномию в духе своеобразного монофизитства, т.е. сползала к интерпретации — только «истинный Бог» (в современной теологии подход этот получил наименование «христологии сверху»).

Истина, однако, состоит в том, — и халкидонская формулировка подразумевает это — что христианство становится самим собой только в момент признания принципиальной самодостаточности позиции иудаизма, т.е. в момент признания полной законности коренного неприятия им христианства. Без иудейского неприятия идеи воплощения идея эта теряет всю свою силу, перерождается в идею «аватары».

Таким образом, христианство получает право на свою эксклюзивную трактовку природы Иисуса («истинный Бог и истинный человек») только тогда, когда оно предоставляет аналогичное право также и трактовке иудейской, формулировку «истинный Бог» недвусмысленно отвергающей». ^[118]

Я — автор приведенных строк — в боговоплощение не верю, но я не понимаю, каким образом верующий в него человек способен адекватно свою веру исповедать, не приняв во внимание еврейское видение.

Этот парадокс предельно заостряется в следующей поэтической формулировке Бориса Пастернака:

Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства
И стал теперь как смертные, как мы.

В своей книге «Теология дополнительности» я спрашиваю по этому поводу: но «если Он стал действительно таким же смертным, какими являемся и все мы, и не обладал отныне преимуществами своей божественной природы, то не тем же ли самым явилось бы простое доверие дела искупления кому-то из самих нас, смертных, то есть кому-то, и без того никаким всемогуществом не наделенному?

Да и можно ли в такой ортодоксально-христианской формулировке вообще отличить «бывшего», то есть воплотившегося Бога, от природного смертного?

Итак, Иисус не мог бы совершить того, что он, согласно христианской вере, совершил, если бы в каком-то ином смысле этого не предполагал тот путь Галахи, по которому он шел наравне со всеми иудеями. Иисус не мог бы быть отмечен той «богоравностью», которой его наделяет Церковь, если бы какой-то иной «богоравности» не предполагал иудейский подход.

Христианство получает право на свою собственную трактовку природы Иисуса («истинный Бог и истинный человек») только тогда, когда оно предоставляет аналогичное право также и трактовке иудейской, формулировку «истинный Бог» недвусмысленно отвергающей.

Иными словами, Иисус может восприниматься в качестве Бога неевреями только в том единственном случае, если Он будет оставаться в глазах евреев не Богом, а рядовым служителем Торы.

Причем такого рода диалогизм конгениален общим тенденциям современного христианства, в центре внимания которого (по словам католического теолога Сесбуэ) «прежде всего Иисус — „истинный человек“ и лишь затем Иисус — „истинный Бог“, что говорит о полном перевороте в классической проблематике, к которой многие ныне относятся критически, так как видят в ней практическое монофизитство». Или, как еще более определенно выразился другой католический теолог, Иоганн Баптист Мец, «христология должна найти свое выражение в иудейском образе веры» ^[119]

Таким образом, любое позитивное иудейское осмысление личности Йешуа и его религиозного опыта невольно оказывается значимо не только для иудеев, но также и для христиан.

ВЕРСИЯ СИНОПТИКОВ

В завершение этого затянувшегося предисловия необходимо сделать две оговорки.

Оговорка первая: данное исследование восстанавливает события в контексте наличной иудейской традиции, а не эмпирической истории (которую оно, разумеется, учитывает). Мои герои жонглируют расчетами, которые стали производиться только два века спустя. Я вкладываю в их уста высказывания из трактатов и мидрашей, которые появились заведомо позже евангельских событий.

Разумеется, какие-то устные эквиваленты аналогичных суждений во времена Йешуа существовали, но я не пытаюсь под них стилизоваться, не пытаюсь закамуфлировать более отдаленные источники. Моя задача соотнести евангельскую историю именно с тем иудаизмом, который формировался на протяжении веков и сохранился до наших дней. Моя задача реконструировать евангельскую версию, раскрывающую собственно иудейские вероучительные возможности и подходы.

Оговорка вторая: Согласование евангелий работа головомомная. Хаим Коэн в своей книге «Иисус — суд и распятие» замечает по поводу различий между синоптическими евангелиями и евангелием от Иоанна: «Разногласий и противоречий много, и некоторые из них касаются предметов столь существенных, что подчас кажется, будто речь идет о совершенно различных происшествиях и личностях. Временами Иисус в Евангелии от Марка ничуть не похож на Иисуса в Евангелии от Иоанна: они говорят иначе, действуют иначе, умирают иначе».^[120]

Очевидно, что в том случае, когда согласовать версии евангелистов невозможно, не остается ничего другого, как произвольно принять лишь одну из них. По целому ряду причин я предпочитаю версию синоптиков, и не беру в расчет версию Иоанна (отличающуюся от синоптической во всех без исключения деталях).

В первую очередь это дает о себе знать в вопросе датировки евангельских событий.

Пилат правил с 26 по 36 год, служение Иоанна Крестителя, согласно Луке, началось в 28. Таким образом, казнен Иисус мог быть с 30 по 36 год.

Как описывают все Евангелия, распят он был в пятницу. Однако, согласно синоптикам то был пасхальный день — 15 нисана, а согласно Иоанну его канун — 14, то есть день, когда закалывались пасхальные агнцы.

Таким образом, по свидетельству Иоанна, суббота совпала с Пасхой. Согласно базирующемуся на астрономических расчетах календарю, такое совпадение имело место в интересующие нас годы дважды — в 33 и 36 годах, поэтому обыкновенно годом распятия Иисуса считают 33 год. Однако между 26 и 36 годами Песах ни разу не выпадал на Пятницу, что вроде бы делает версию синоптиков попросту недостоверной.

Между тем важно понимать, что до середины IV века н.э. начало месяца определялось не путем вычислений, а наблюдалось визуально. Если в ожидаемый вечер свидетели не усмотрели нового месяца, то этот день считался 30-ым днем предыдущего месяца, и соответственно, все дни следующего месяца сдвигались на один. По этой причине евреи вне Эрец Исраэль (которые не могли быть оповещены в какой именно из дней наступил новый месяц) отмечали все праздники два дня. Согласно календарю, при Понтии Пилате Песах пришелся на четверг лишь однажды — в 30 году, а это значит, что он вполне мог праздноваться в том году в пятницу.

Впрочем, к сказанному следует добавить, что эмпирически, а не согласно алгоритму, устанавливались также и високосные годы. Иными словам, вместо ожидаемого месяца Нисан Сангедрином мог быть провозглашен Второй Адар. Таким образом Песах в том году праздновался 15 числа того месяца, который современным календарем будет обозначен как ияр. Однако соответствующая проверка интересующих нас лет не создает дополнительных версий.

Некоторые считают невозможным, чтобы Йешуа был распят в саму Пасху. Так Руслан Хазарзар пишет: «По версии синоптиков получается, что Иисуса судили и казнили в первый день по наступлении Пасхи — 15 нисана, чего категорически евреям нельзя было делать по Закону: в первый день Песаха «никакой работы не должно делать» (Исх.12:16; Лев.23:7; Чис.28:18; Втор.16:8). Арест и суд Санһедрина, безусловно, подходят под определение *работа*. Кроме того, Симон Киринаеянин не мог работать на поле в пасхальную ночь и последующее наступившее утро (Мк.15:21), ибо перед пасхальной трапезой прекращалась всякая работа (Мишна. Песахим.4:5). И Иосиф Аримафейский не мог купить погребальные атрибуты (Мк.15:43-46) в тот день, когда запрещена была вся торговля (Неем.10:31). Следует помнить, что хотя перед праздниками и совершали казни (Мишна. Санһедрин.11:4; Вав Талм. Санһедрин.89а), но в сами праздники, по иудейским законам, казнить запрещалось (Деян.12:3-4; Мишна. Санһедрин.4:1; ср. Ин.19:31)».

В этом утверждении упускается из вида, что судили и казнили Йешуа не евреи, а римляне. Как убедительно показывает Хаим Коэн, то, что представлено евангелистами Санһедрином, на самом деле было экстренным собранием, направленным как раз на спасение Йешуа (сбор противоречивых показаний).

Все действия, описанные в синоптических евангелиях, могли совершаться в праздник. Так, если речь шла именно о покупке плащаницы, то это значит, что деньги были переданы позже.

По поводу «возвращающегося с поля» Симона Киринаеянина (Мк 15:21) следует отметить, что в оригинале написано «ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ», что можно перевести и как «возвращающийся из деревни». Такой перевод имеет широкое хождение на других языках («from the country»).

НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ

«И народ твой, все праведники... навеки унаследуют страну. Меньший станет тысячей, и младший — народом сильным. Я, Господь, в назначенное время ускорю это» (Йешайяу 60:22)

1

Шел 3787-ой год от сотворения мира, он же 14-ый год правления Тибериуса кесаря, и 2-ой год начальствования прокуратора Понтиуса Пилатуса в Иудее.

В то жаркое утро последнего дня весеннего месяца ияра жители Йерушалаима не узнали своего города. В одну ночь он был превращен в капище идолослужителей. На каждом приметном месте возвышались бюсты кесаря! Охранявшие мраморных идолов легионеры усмехались, читая ужас и отвращение в глазах горожан.^[121]

Без малого век, как Рим покорил Иудейское царство. Разграбленное и униженное, двадцать лет назад оно было превращено в протекторат, но до сих пор хотя бы не попирались еврейские религиозные законы. Столь грубое осквернение Святого города совершилось впервые.

Весть немедленно распространилась по окрестностям, и в Йерушалаим потянулись побросавшие работу встревоженные селяне. Все стекались на Храмовую гору, где старейшины, священники и мудрецы жарко обсуждали случившееся.

Главные надежды возлагались в эту минуту на первосвященника Кайафу. Назначенный еще предшественником Пилатуса Валерием Гратом, Кайафа уже несколько лет успешно — с точки зрения Рима — выполнял свою роль всенародного надзирателя. Но теперь наступил момент, когда первосвященнику представился случай добиться чего-то и для своего

народа. Появление статуй не только вызывало собственное недовольство Кайафы, но и било по его престижу. У него имелось что возразить Пилатусу.

— Я отправлюсь к прокуратору в Кейсарию, — объявил он старейшинам и прущим, собравшимся у Палаты Тесанных камней. — Но со мной должны выйти также кто-то из вас — старейшин и раввинов, делегация должна быть представительной.

В полдень внушительная группа священников и раввинов вышла из Йерушалаима. Однако к ней сразу примкнуло более тысячи горожан. По дороге толпа обростала новыми участниками.

Когда же на третий день делегация приблизилась к Кейсарии, ее сопровождали уже десятки тысяч людей.

Толпа разместилась в нескольких стадиях от резидентского дворца, в который вместе с Кайафой вошли также и раввины с разорванными в знак траура одеждами.

Через четверть часа понурые они вышли обратно, и народ услышал, что Пилатус отказался удалить идолов. Увещевания первосвященника оказались напрасны.

Гул возмущения пронесся над толпой. Как небеса допускают такое поругание?! Этого невозможно было принять. Люди, не сговариваясь, уселись на землю, выказав тем самым твердое желание остаться и добиваться приказа удалить идолов.

Пилатус игнорировал просителей, но каждый день с раздражением отмечал, что толпа растет, и по его оценке, достигла уже более ста тысяч.

Наконец, на шестой день Пилатус указал всем явиться на ипподром, где он обещал сообщить свою последнюю волю.

Прокуратор воссел на судебное кресло, выставленное на крытой трибуне. Рядом с ним находился легат, несколько слуг и офицеров. Из еврейской делегации был допущен

только первосвященник. Старейшины и раввины смешались с народом.

Когда толпа заполнила ипподром, Пилатус встал и взмахнул рукой. По этому знаку из нижних проемов вышли легионеры, и встав в три ряда, заняли нижние ряды амфитеатра. Скрестив руки на груди и расставив ноги на ширине плеч, они выглядели решительно и грозно.

Увидев себя окруженными, евреи смутились и безмолвно стояли, ожидая что произойдет.

— Вам придется принять мою волю и привыкнуть к изображениям императора в своем городе! — проревел прокуратор, и подождав, когда его слова будут переведены, продолжил: — Проваливайте. Тот, кто желает остаться и продолжать меня о чем-то просить, будет зарублен на этом поле.

Пилатус вновь поднял руку, и по этому знаку тысячи мечей разом блеснули в руках его воинов.

Прокуратор ожидал, что давя друг друга, люди бросятся к остающимся открытыми единственным воротам, но произошло нечто другое. Все, не сговариваясь, повалились на землю, ясно показывая, что они подставляют свою шею под меч.

Над толпой стоял гул, в котором ясно выделился общий крик.

— Лучше смерть!

— Они предпочитают умереть, игемон, — пояснил Кайафа и без того все понявшему Пилатусу.

Какое-то время он растерянно смотрел на толпу, затем качнул головой и приказал легату:

— Отправь гонца с приказом удалить статуи. — И затем, обратившись к Кайафе, добавил: — Можешь, сообщить о моем приказе своему народу.

2

Ликующая толпа расходилась.

Два молодых человека, проводших несколько дней в

толпе просителей, забрели в небольшую оливковую рощу и присели в тени.

Им было не по пути: священник авиевой череды назир Йоханан бен Захария возвращался в пустыню, в пещеру, расположенную в двух часах ходьбы от Йерихо; рабби Йешуа бен Йосеф — в Нацрат, к изготовлению столов и изучению Торы.

Они были ровесники и близкие родственники. Перед расставанием им хотелось поговорить о случившемся.

— Я как будто бы видел это уже однажды! — сказал Йоханан. — У тебя не было такого чувства?

— Нет... Напротив, я ожидал худшего. Я удивился, когда Пилатус отступился.

— А я как будто это уже однажды видел. Недалек тот день, когда это случится повсюду, как сказано в книге Даниила: «Встанет царь наглый... и благодаря уму своему преуспеет он в коварстве своем, и вознесется он в сердце своем, и спокойно губить будет многих, и против Властителя властителей восстанет он, и сломлен будет без помощи рук человеческих»^[122] Слышал? Без помощи рук человеческих!

— Ты по-прежнему веришь, что день Избавления приближается?

— Что тебе сказать? Израиль изнурен раздорами. Каждый думает лишь о себе. Многие учителя погружены в Закон, но как будто не замечают тех, для кого этот Закон написан. Но в то же время народ предан Всевышнему. Мы видели это сейчас. Что здесь поверхность, а что сердцевина? Иногда я теряюсь с ответом. Но одно я знаю определенно: когда придет Избавление, все будет именно так как сегодня, как сказано: «Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят десять тысяч, и падут враги ваши пред вами под мечом...»^[123]

Даже от безоружных побегут они — вооруженные мечами и колесницами. Ты видел наш народ, видел, как перед его духом дрогнул зверь? Тебе не кажется, что сегодняшняя победа — это сигнал? «Знак свыше?» — спросил Йоханан, глядя прямо в глаза своему близкому другу.

Они расходились в вопросе об Избавителе.

— Пришло время сеять, но до жатвы далеко, — обыкновенно отвечал Йешуа в таких случаях. — Мы из поколения сеятелей, а не жнецов.

Полагаясь на предание, тянущееся к пророку Элияу, он твердо верил, что время Машиаха еще не пришло, что окончательное избавление, при котором народы «перекуют мечи свои на орала», а «лев будет есть солому, как вол», наступит не раньше 4000-го года от сотворения мира.^[124]

Но Йоханан не соглашался. Он долго общался с ессейскими пустынножителями, провел некоторое время в общине «Яхад» на берегу Мертвого моря, в которой Машиаха ожидали еще с Хасмонейских времен.

Израиль в ту пору оставался независимым, однако несовершенство мира проявляло себя во всем, и Учитель Праведности — основатель этой общины — учил о скором приближении Избавителя, долженствующего утвердить мир и порядок во всем мироздании.

Вне общины Учителя Праведности мало кто ценил и понимал: царь-первосвященник Александр Янай искал его жизни, а глава Сангедрина рабби Йеошуа бен Перахия подверг его отлучению.

— Учитель Праведности умер как раз в тот день, в который Помпеус вошел в Святая Святых, — сказал Йоханан. — Вся его жизнь прошла до Римского завоевания, однако он ждал прихода Машиаха, как избавителя всего мира.

— Он во многом отступил от Торы. Даже праздничные дни он считал по-своему, — возразил Йешуа. — Как можно полагаться на расчеты человека, который жил по измышленному людям календарю? Ты и сам знаешь, что время не пришло.

— Но разве не сказал пророк о том, что срок избавления может быть приближен? «Меньший станет тысячей, и младший — народом сильным. Я, Господь, в назначенное время ускорю это»^[125] Толкование этих слов известно: если удостоимся — Всевышний ускорит Избавление, если нет — оно

придет в назначенное время. Разве то, что мы видели с тобой сегодня — не знак того, что мы можем удостоиться? Наконец, мы настолько близки уже к назначенному времени, что ускорение само по себе ожидаемо.

— Сколько нам осталось лет до 4000 года? 200 лет примерно?

— Сейчас у нас 3787 год, значит осталось 213 лет.

— Срок немалый.

— Избавление подобно младенцу, которому надлежит родиться. Полугодовалый плод почти обречен на смерть, но уже семимесячный остается в живых. Восьмимесячный новорожденный также жизнеспособен, как и девяти. Но это то же самое соотношение, как два века к двум тысячелетиям. Мы в безопасном периоде, и поэтому нас невольно тянет на свет. Мы живем в то время, которое «назначено», то есть в то время, когда Избавление может ускориться.

Глаза Йоханана загорелись, но Йешуа недоверчиво покачал головой.

— Если бы ты жил среди людей, а не среди скал и пещер, то знал бы, что восьмимесячные младенцы выживают даже хуже семимесячных. Мы в опасном периоде. И увы, эта истина подтверждается куда более серьезными доводами.

Йешуа вспомнил урок, преподанный ему мудрецами еще в детстве. Это произошло через несколько месяцев после поражения восстания Йеуды Галилеянина, объявившего себя Машиахом.

Йешуа поднялся с родителями на Песах в Храм, остался там после праздника и несколько дней беседовал с мудрецами, среди которых находился сам рабби Гиллель, скончавшийся через несколько месяцев после их встречи. Все говорили тогда о Йеуде Галилеянине и его гибели.

Йешуа был свидетелем восстания. Он по-детски страстно поверил в мессианство Галилеянина и долго рыдал, услышав, что тот был распят.

Мнения мудрецов об этом восстании разошлись. Глава Сангедрина Рабан Гамлиэль, считал, что повод к нему — уклонение от переписи — был религиозно оправданным, а потому и расчет на поддержку небес был обоснован.

Раби Цадок с ним не соглашался, он видел в этом восстании прежде всего восстание против податей, против экономического гнета.

— Выступать против самого могущественного царства, идти почти на верную гибель из-за имущества безрассудно, — возражал он. — Можно и нужно пожертвовать жизнью, когда поруганию подвергается Тора, но собственные унижения человеку правильнее терпеть безропотно. Когда царь Ирод украсил вход в ворота Храма золотым орлом, и все этим возмущались, никто не торопился восстать. Лишь когда Ирод занемог, рабби Йеуда бен Сепфорея и рабби Матитьяу бен Маргал подняли бунт...^[126]

— Дело не только в переписи, — возражал рабан Гамлиэль. — Иудея лишилась своего царя, пусть и поставленного Римом. Иудея была превращена в протекторат. Этому также следовало сопротивляться.

— Допустим, — возражал рабби Цадок. — Но как Йеуда решился провозгласить себя Машиахом? Разве исполнились сроки?

Мудрецы стали выяснять этот вопрос.

Оказалось, что Йеуда счел само то время благоприятным для восстания. Исполнилось 70 лет с того дня, когда Помпеус завоевал Иерушалаим и вошел в Святая Святых. Ровно столько — 70 лет — длилось пленение Вавилона, срок, предсказанный пророком Йермияу: «И вся земля эта будет превращена в развалины и в пустыню, и народы эти будут служить царю Бавельскому семьдесят лет»^[127]

Позже Даниил рассчитал, когда начался отсчет этих 70 лет, и даже указал загадочные сроки следующего четвертого пленения. Но Йеуда к этим расчетам не обратился, а легкомысленно заключил, что если Вавилонское пленение

продлилось 70 лет, то и Римское вполне может через этот срок пошатнуться.

Мудрецы порицали его за эту ошибку, а рабби Цадок напомнил, что по расчетам Даниэля римское пленение окажется более долгим, чем Вавилонское, что до времен Машиаха осталось не менее двух веков, и мессианские настроения, пробуждающиеся в народе, не к месту и не ко времени.

— Мы выучили от пророка Элияу, — напомнил он, — что первые две тысячи лет истории прошли под знаком хаоса, следующие две тысячи лет проходят под знаком закона, и только последние две тысячи лет относятся ко времени Машиаха. Эра Закона еще не истекла. Избавитель не может прийти в ближайшее время и не придет.

— Как же тогда мы учим, что Всевышний хотел сделать Машиахом Хизкияу, а Санхерива сделать Гогом? — неожиданно возразил отрок Йешуа.

Он имел в виду великое чудо спасения Йерушалаима от неминуемой гибели, произошедшее более семисот лет назад, в 3059 году, на 14 году правления царя Хизкияу: «И было в ту ночь: вышел ангел Господень и поразил в стане Ашшурском сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот, все они — мертвые тела. И двинулся Санхерив, царь Ашшурский, и пошел, и возвратился»^[128]

С одной стороны, это чудо повторяло египетские казни, и прежде всего избирательную гибель египетских первенцев, а с другой — предвещало чудеса грядущего Избавления, чудеса грядущей войны Гога и Магога, о которой сказал пророк: «И будет в день тот, в день прихода Гога на землю Израиля, — слово Господа Бога! — возгорится гнев Мой в ярости Моей... И буду судиться с ним мором и кровью, и ливень проливной, и град камней, огонь и серу пролью на него и на отряды его, и на народы многие, которые с ним. И Я возвеличусь, и освящусь, и появлюсь пред глазами народов многих, и узнают, что Я — Господь»^[129]

— А ты знаешь, почему Хизкияу не стал Машиахом? — с любопытством оглядев Йешуа, спросил раби Цадок.

— Да, — ответил Йешуа. — Потому что «мидат адин» — качество суда возразило: Владыка мира! Как же так? Давид, царь Израиля, несколько раз воспевал Тебе песни, но ты не сделал его Машиахом, а Хизкияу, для которого ты совершил такое чудо, а он не воспел, ты сделаешь Машиахом? На этом все и завершилось.

— Прекрасно. Так, в чем же твой вопрос?

— Но ведь из этой истории мы учим, что Он не только Хизкияу, но даже и Давида мог бы сделать Машиахом. Значит, царство Машиаха могло начаться даже за тысячу лет до срока!

Мудрецы удивленно переглянулись. Рабан Гамлиэль потрепал Йешуа по плечу, и улыбаясь, спросил:

— Ответь. Вот ты из дома Давида. Ты вполне можешь стать Машиахом. Но разве тебе не следует сначала для этого подрасти?

— Пожалуй, — согласился Йешуа.

— Пойми, тысячу лет назад мир не пришел еще в тот возраст, в котором он способен воспринять Машиаха... Как ребенок может стать царем, но править все равно не сможет, так и Машиах мог бы прийти и тысячу лет назад, но воцариться он бы не смог. И тебе и миру предстоит еще немного повзрослеть!

Йешуа глубоко задумался. Ему двенадцать лет. Через год — тринадцать, через год он будет обязан выполнять все заповеди, как взрослый. Но управлять царством он бы едва ли решился, даже и став «бар мицва».

Йешуа привел Йоханану тот давний довод рабби Цадока. Однако Йоханан не смутился.

— Но ведь это та же самая притча! — возразил он. — Совершеннолетие наступает в 20 лет, но уже и в 16, и уж точно в 18 человек берется за взрослое дело. Ранняя юность — это

то самое «беита ахишена», то самое «назначенное время», в которое все ускоряется, все бежит на встречу своему призванию. Ты обратил внимание, что в толпе, которая сегодня готова была погибнуть, больше половины составляли подростки?

— Как было не заметить.

— Если иной подросток, едва достигший 16-ти лет, справляется с заданиями двадцатилетнего, то что говорить о восемнадцатилетнем? А ведь это то самое соотношение: два века, недостающие до завершения двухтысячелетия Торы, это все равно как два года, недостающие до двадцатилетия! Поверь, сейчас мир достаточно повзрослел, чтобы покориться Царству Небесному. Это чувствуется уже во всеобщем его ожидании. Если Машиах придет в этот срок, пусть даже это и рановато, его дело примется миром! Сказано поэтому «беита ахишена» — «в назначенный срок ускорю это»!

— Ты указываешь на здоровую сторону, способную удостоиться избавления, но имеется и другая — больная. Народ наш слишком разъединен, учителя его слишком озабоченны своим положением. Крови своих братьев наше поколение не проливает, но слишком многие ненавидят друг друга.

— В этом ты прав, покаяние должно упреждать избавление.

3

Прошло полтора года. Шел 4-ый год начальствования прокуратора Понтиуса Пилатуса в Иудее, 15-ый год правления Тиберияса кесаря. Наступила осень, пришел 3789 год от сотворения мира.

Вскоре после возвращения в Нацрат из паломничества в Йерушалаим, Йешуа услышал неожиданную новость: в верховьях Иордана, еще до его впадения в озеро Кинерет, священник авиевой череды, назир и пустынный Йоханан бен Захария созывает народ, призывает людей к покаянию и омывает раскаявшихся в реке.

Йешуа немедленно отправился на северный берег Кинерета, и действительно, неподалеку от Кфар-Нахума застал своего родственника, проповедующего покаяние и погружающего раскаявшихся в воды реки. У Йоханана был одновременно воодушевленный и тревожный вид.

— Что побудило тебя к этой проповеди? — спросил Йешуа. — Что произошло?

— В пустыне истина постигается раньше, чем в городах, — ответил Йоханан. — Мне открылось, что Израиль ожидают великие потрясения. Секира уже при корне дерева лежит, но молитва и раскаяние способны предотвратить бедствие. Я решил начать с Галилеи и далее спускаться вдоль Иордана до Йерихо, чтобы по возможности большее число людей услышало Слово Божие.

И далее, пристально глядя в глаза Йешуа, Йоханан добавил: — Особенно хочу я того, чтобы он меня услышал...

— Он? Кто он?

— Сын Давидов. Мы спорили с тобой, может ли Машиах прийти на два века раньше срока. Теперь у нас нет выбора. Он должен явиться. Покаяние и молитва необходимы, но на самом деле только преждевременное пришествие Избавителя может еще предотвратить катастрофу.

Йешуа был ошеломлен. Никогда он не видел своего друга в таком напряжении, в такой неподдельной тревоге.

— У тебя было видение?

— Да.

— Видениям нельзя полностью доверять. И голос, и дух могут обмануть.

— Но не Элияу. Ведь он во плоти.

То было не первое явление пророка Элияу Йоханану бен Захарии.

Десять лет назад как-то проходя вместе с Йешуа недалеко от Иордана, он огляделся и спросил:

— Ты знаешь, что это за место?

— Не знаю.

— Я скажу тебе. Это то самое место, с которого пророк Элияу был восхищен живым на небо, как сказано: «И было, когда они шли, и разговаривали, вот, появилась колесница огненная и кони огненные, и отделили они одного от другого; и вознесся Элияу вихрем в небо. Элиша же, увидев это, вскричал: отец мой, отец мой! Колесница Израиля и всадники его! И больше не видел его»^[130]

— Как тебе это известно? — изумился Йешуа.

— Он сам мне это открыл. Явился мне здесь и открыл.

Теперь пророк Элияу снова посетил Йоханана и поведал о грядущем разрушении Храма и изгнании народа из Земли.

— Я пришел помолиться на место его восхищения, — стал рассказывать Йоханан, — И он мне снова явился. Сказал, что уже секира при корне древа лежит.

— Свету предшествовал Хаос. — пояснил мне Элияу. — Вечный Храм может утвердиться лишь на руинах временного.^[131]

— Но ведь это уже свершилось! — возразил я ему. — Нынешний Храм стоит на обломках предшествующего!

И тогда он сказал, что пророчество о разрушении первого Храма касается также и второго! Он повторил те слова, которые Всевышний сказал некогда царю Шломо: «Посвятил Я этот дом, который ты построил, пребыванию имени Моего там вовеки; и будут очи Мои и сердце Мое там во все дни... Если же вы и сыновья ваши отступите от Меня, то Я истреблю Израиль с лица земли, которую Я дал ему; и дом, который Я посвятил имени Моему, отвергну от лица Моего... Дом этот, который был так высок для каждого проходящего мимо него, будет разрушен»^[132]

— «Но ведь сказано «если». Значит, приговор этот еще можно отменить?» — спросил я Элияу.

— «Раскаяние, молитва и благотворительность могут отменить любой приговор. И не существует приговора, ко-

торый бы отменил эту великую истину. Как сказал Он сам, Скала Израиля: «Я владею человеком. А кто владеет Мною? Праведник» ^[133]

— «Ты учил, что шесть тысяч лет просуществует мир: две тысячи лет хаоса, две тысячи лет Торы и две тысячи лет время Машиаха. До наступления этого времени осталось еще 210 лет. Можно ли настолько ускорить избавление?»

— «Известно, что если народ Израиля — все до единого — строго соблюдут две субботы подряд, то избавление придет немедленно. ^[134] Вместе с тем приговор все же вынесен».

— Приговор вынесен, — повторил Йоханан, глядя прямо в глаза Йешуа. — Секира при корне древа лежит.

* * *

Через несколько дней обеспокоенный Йешуа вышел в Йерушалаим. Ему необходимо было выслушать мнение мудрецов, поделиться своей тревогой с рабби Цадоком.

Еще по дороге на постоялом дворе в Йерихо Йешуа достигло известие о совершенном накануне невиданном преступлении.

В Храме пришло время очищать жертвенник от пепла. Два священника вызвались выполнить эту заповедь и бегом устремились к медному жертвеннику. И тогда это произошло: священник, подоспевший вторым, от досады ударил жертвенным ножом того, который его опередил.

Все в растерянности замерли, а участвовавший в том богослужении рабби Цадок поспешил к упавшему. Увидев, что тот бездвижно лежит с воткнутым в спину клинком, он горько воскликнул:

— Наши раздоры уже приблизились к самим рогам жертвенника! Мы любим заповеди, но ненавидим друг друга!

Ужас и горечь, охватившие рабби Цадока, передались всем присутствующим. Даже народ, стоявший во дворе, ужаснулся и зарыдал.

И тут вдруг вопреки этим чувствам раскаяния, ведомый той же слепой силой, которая только что привела к кровопролитию, отец убитого священника приблизился к телу сына и вместо того, чтобы зарыдать над ним... с облегчением воскликнул:

— Братья мои, нам незачем тревожиться, мы не нуждаемся в искупительной жертве! Ведь мой сын еще в агонии, а значит, нож в ране остался неоскверненным! —

Он стремительно извлек жертвенное орудие из тела сына, после чего тот вздрогнул и испустил дух.^[135]

Поднявшись в Йерушалаим, Йешуа первым делом стал разыскивать рабби Цадока. Он нашел его в палате Тесанных камней, просматривающим судебный протокол.

— Ты слышал уже о том, что здесь произошло? — спросил его священник.

— Да.

— За заповедями мы перестаем замечать друг друга... То, что произошло — грозный признак нашего неблагополучия. Внутренние раздоры привели к нам римлян, и они же стоят непреодолимым препятствием на пути нашего избавления от чужеземного гнета... Признаюсь тебе, Йешуа, что меня одолевают тяжелые предчувствия. Через пророков известно, что Храм был разрушен за три греха, которым предавались наши отцы: идолослужение, кровопролитие и прелюбодеяние. Мы как будто бы раскаялись, бывшие грехи стали редкостью: произошедшее в Храме убийство — лишь напоминание о бывших бесчинствах. Но оно обнаружило царящий ныне дух соперничества, обнаружило скрытую ненависть, которая, как мне порой кажется, даже страшнее трех явных грехов.

— Я слышал от Йоханана бен Захарии, что Дом Божий будет разрушен, а народ изгнан.

— Вот и я того же опасюсь... — вздохнул рабби Цадок, и задумчиво добавил: — Но пост и молитва могут отменить приговор... Праведник может отменить приговор.

Йешуа задержался в Йерушаиме. Где еще молить Бога об отмене приговора, если не на Святой Горе?

«Когда народ Твой, Израиль, — повторял Йешуа молитву царя Шломо, — будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред Тобою, и когда они обратятся к Тебе и прославят имя Твое, и будут просить и умолять Тебя в этом доме; Тогда услышь Ты с небес, и прости грех народа Твоего, Израйля, и возврати их Ты в землю, которую дал Ты отцам их».^[136]

День ото дня Йешуа все более проникался надеждой. Союз Израйля с Богом — несокрушимый союз. Шехина и Израиль — равновесные союзники. Прав пророк Элияу: если Бог владеет человеком, то праведник владеет Богом! Прав рабби Цадок! Бог выносит приговор, а Праведник отменяет его!^[137]

Миновала Ханука. В Йерушалаим пришло известие, что Йоханан бен Захария почти дошел до Мертвого моря и проповедует покаяние неподалеку от Йерихо.

Йешуа неудержимо потянуло к своему товарищу, верой которого он день ото дня все более стал заражаться.

Кто знает, может, Йоханан прав, может быть преждевременное появление Избавителя как раз и может отменить страшный приговор? «В назначенное время ускорю...» — сказал Господь. Не приблизилось ли как раз это назначенное время? Время, в которое Израиль «унаследует страну», время, когда «меньший станет тысячей, и младший — народом сильным»?

Чего мы теряем? В худшем случае мятежный Машиах погибнет, как погиб Йеуда Галилеянин, ну а вдруг осилит? Вдруг получит поддержку свыше? Как сказано: «Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят десять тысяч».^[138]

Попытка стоит того.... В конце концов, ведь и он, Йешуа — потомок Давида.

Через несколько дней Йешуа спустился к Иордану и у того места, где некогда сыны Израиля перешли его посуху, без труда разыскал Йоханана.

— Я много молился после нашей последней встречи, — заговорил Йешуа после того, как друзья обменялись приветствиями. — Ты прав. Нет у нас иного упования, кроме как на упреждающее Избавление. Готов народ к тому или не готов, эта попытка ничего не меняет, ее следует предпринять. Омой меня, в знак покаяния, как омываешь других.

— Я рад твоему решению. Ведь ты сын Давида, и признаюсь, что я очень на тебя рассчитывал. Скажу больше... скажу то, что прежде, — прежде твоего решения — не торопился тебе сказать. Ты не знаешь своих дарований, а ведь они исключительные. Поверь мне: это не я тебя, а ты меня должен погружать в знак очищения!

— Не говори так. Тебе первому открылось, что «назначенное время», время возможного досрочного избавления, приближается. Ты призван посвятить меня на служение.

— Да будет так... — согласился Йоханан. Он поднял руку, возложил ее на голову Йешуа, и собравшись в молитвенном порыве, подтолкнул его в заводь.

Йешуа ушел под воду, а когда вынырнул, вдруг прямо перед своим лицом почувствовал взмах крыльев, обрызгавший ему лицо. Подняв глаза, Йешуа увидел белого голубя, и тут же услышал доносящийся с небес божественный глас, напоминающий отдаленные раскаты грома:

— Вот Мой возлюбленный сын, который исполнит волю Мою.

Йешуа охватила дрожь, он вышел из воды и присел на камень, пытаясь вместить произошедшее.

Через час после того, как стало вечереть и оставшийся у Иордана народ начал рассаживаться вокруг огня, готовясь ко сну, Йоханан подозвал Йешуа к своему костру.

— Важную весть я скажу тебе, брат мой, — прошептал Йоханан. — Когда ты погружался, я видел Духа Божия, Который сходил на тебя в виде голубя. Так же услышал я и глас с небес: «Вот Сын Мой возлюбленный».

— Я также видел голубя, и слышал глас с небес, — взволнованно подтвердил Йешуа.

— Что ты думаешь делать?

— Я бы хотел удалиться в пустыню, чтобы в уединении понять, в чем состоит моя задача...

5

На другой день рано утром Йешуа покинул побережье Иордана и направился к горной гряде, возвышавшейся над Йерихо.

Он углубился в одно из ущелий, и в поисках подходящего места поднялся почти до вершины одной из скал. Здесь он облюбовал себе пещеру, с которой виднелись долина Иордана, Мертвое море и вздымающиеся над ним горы Моавы и Эдома.

Чтение по памяти священных книг чередовалось с молитвой, а молитва с размышлениями.

— Раскаяние необходимо, пост и молитва также, но одних их недостаточно. Царствие небесное силою берется. Вызвать избавление, совершить прыжок — это единственное средство избежать катастрофы. Мы ничего не теряем, кроме своих жизней; жизней, которые и без того обречены!

Просящий получает, ищущий находит, наступающий побеждает. Всякий царь с десятью тысячами, видящий, что не в силах противостоять другому царю, идущему на него с двадцатью тысячами, посылает посольство просить о мире. Однако, если он понимает, что миру не бывать, ему ничего не остается как первому атаковать противника! Нападающий имеет преимущество. Хорошо защищается от врага тот, кто выходит ему навстречу и сам атакует его, атакует даже малы-

ми силами! И Бог дает ему победу. «Луки героев ломаются, а слабые препоясываются силою. Стопы благочестивых Своих охраняет Он, а нечестивые во тьме погибнут, ибо не силою крепок человек».^[139] Двумя мечами Йонатан, сын Шауля, и его оруженосец разгромили армию филистимлян.^[140] Верно, я не имею боевых навыков, но при погружении в Иордан я получил связь с Отцом, который единственный в последнем счете дает победу.

Бой должен быть дан на Масличной горе, по слову пророка: «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги Его в тот день на горе Масличной, которая пред лицом Иерусалаима к востоку; и раздвоится гора Масличная от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, и половина ее — к югу. И вы побежите в долину гор Моих; ибо долина гор будет простирается до Асила... и придет Господь Бог мой и все святые с Ним. ... И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя его — едино... И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалаима...»^[141]

— Все возможно верующему, — продолжал размышлять Йешуа. — Вера двигает горы. Она вырывается снизу и пробивается к вершинам, как сказано: «Когда истина произрастает из земли, справедливость является с небес»^[142] Однако и все усилия снизу тщетны, если сверху нет благословения, если не пришло «назначенное время». Чтобы убедиться в том, что оно действительно пришло, нужно получить знак свыше! Йоханан получил его, но я-то — нет!

6

Дни шли за днями. Легко было сбиться со счета, если бы не поднимающаяся каждый вечер над долиной луна. Она вела счет дням. Когда Йешуа поднялся в горы, месяц всего

несколько дней как родился. С той поры он сошел на нет, снова родился и уже приближался к своей полноте.

Шел 39-ый день его уединения, когда Йешуа заметил далеко в долине колонну римлян, идущую из Йерихо. Она проследовала на Восток, в сторону Иордана.

Тревога охватила Йешуа. Не за Йохананом ли направился этот отряд? Он присел у входа в пещеру и не заметил, как задремал.

Когда Йешуа проснулся, солнце уже зашло, и над долиной взошла яркая почти полная луна. Неожиданно Йешуа испытал острое чувство голода.

В тот же миг внезапно заколебался воздух и перед ним предстал Ангел.

Вид его был устрашающий, а все открытое обозрению тело было покрыто глазами.

Йешуа вздрогнул. Несомненно, то был Ангел Смерти. Значит, его час пробил, значит, Отец небесный внезапно отзывает его к Себе!

— Нет, Йешуа, это не то, что ты подумал! — усмехнувшись всеми своими глазами, молвил Ангел. — Иногда я прихожу и по другому поводу.

— Ах вот оно что! Признаюсь, я ожидал иного вестника, я ожидал пророка Элияу.

— Ты как будто разочарован?

— Скорее удивлен.

— Не удивляйся. Я несу не только смерть, но и жизнь; я не только разрушаю миры, но и созидаю их.

— Мне казалось, что управление миром поручено не тебе, а верховному Ангелу, Ангелу, в котором запечатлено имя Всевышнего, Ангелу Божественного лика — Метатрону. Он Князь мира.^[143]

— Верно. Но мы с ним — одно лицо. Видеть в нас двух разных Ангелов принято, но недальновидно. Заостряясь на

том, что во мне запечатлено 72-х буквенное Имя Всевышнего, многие упускают из вида, что еще прежде того в меня впечатаны два коротких и ясных Имени: Бог и Господь. Первое из этих имен отражает суд, а второе — милость. Слова «Господь Бог наш, Господь один»^[144] справедливы также и в отношении меня. Выучи: Как «Господь — Он Бог», так и Князь мира, Метатрон — он Ангел смерти! Это Посох Моше, обращающийся в Змея; это Добро и Зло, восходящие к одному древу познания.^[145]

— Я никогда не слышал об этом.

— Не удивительно, я очень немногим так представляюсь.

— Но ты почему-то предпочел явиться мне в образе Смерти, а не Жизни.

— Ты задумал рискованное дело, Йешуа, и тебя следует немного остудить. Явись я тебе в своем светозарном облики, что бы ты от меня ни услышал, ты бы заключил, что план твой полностью одобрен. Я же пришел не поддержать, а предостеречь тебя, и должен выглядеть соответствующе.

— Предостеречь? От чего? Я и так вполне сознаю меру опасности. Вера лавирует среди опасностей, как рыба в речных стремнинах. Благословил ли меня Отец? — только это имеет значение.

— Уверяю тебя, что не только. Мир находится на перепутье. Иногда мне кажется, что Он Сам затрудняется решить, какой дорогой направить историю.

— Это означает лишь то, что Он ждет человеческого порыва, ждет знамения снизу, как сказано: «когда истина произрастает из земли, справедливость является с небес»^[146]

— Вот, вот. Ты здесь в своем уединении пришел к выводу, что все возможно верующему, и вознамерился расколоть Масличную гору. Но не правильнее ли заранее убедиться в своих силах? Разумно ли браться за большое дело, не преуспев в малом? Испытай свои силы на здешних скалах. —

Йешуа был поражен. То были его собственные мысли!

Проснувшись несколько дней назад, он ощутил в себе прилив каких-то неведомых ему прежде сил. С той поры Йешуа размышлял, угодно ли будет Создателю, если он без прямой необходимости проверит их.

— Или, например, преврати эти камни в хлеба, — добавил Ангел. — Ведь ты, как я вижу, проголодался.

Это неожиданное предложение также напрашивалось само собой. Йешуа не давал обета воздержания от пищи, он мог начать есть, когда пожелает. Что мешало ему испытать свои вновь обнаруженные силы? Его мучал голод — чем это не оправданный повод проверить свои чудодейственные возможности?

Может быть, после молитвенной беседы с Отцом он так бы и поступил, но предложение Ангела смутило его.

Перед Йешуа стоял самый сильный, самый приближенный к Престолу Славы Ангел. В нем было запечатлено само имя Всевышнего, и в свое время он был призван участвовать в избавлении сынов Израиля из Египта.^[147]

Однако, когда Моше осознал, что не сам Бог, а этот Ангел поведет сынов Израиля в их землю, то он воспротивился: «Если не поведешь Сам, то не выводи нас отсюда»^[148]

История повторяется.

Йешуа насторожился, Ангел развивал его собственные мысли, но как будто бы скрывал волю Создателя, если вообще что-то знал о ней.

— Зачем ты явился мне? Ты послан Им?

— Это имеет какое-то значение? Я явился тебя предостеречь, и явился с Его ведома.

— Это немудрено, ведь Он всеведущ.

Итак, Князь мира не был посланником, а значит, являлся искушителем. Не предостеречь его явился этот Ангел, а сбить с пути!

Нет, он — Йешуа не желает слушать хотя бы даже и са-

мые правильные поучения из уст этого духа, он не нуждается в его подсказке.

— Написано, — ответил Йешуа, — Не хлебом одним живет человек, но словом, исходящим из уст Божиих.

— Но разве сам ты из уст Божиих получил повеление приблизить избавление, хотя по всем признакам ожидать приходится противоположного?

— А разве Нахшону Аминадаву Бог что-то приказывал? Нахшон сам вступил в воды Ям-Суф, но когда он погрузился по горло, море расступилось. Да, «когда истина произрастает из земли, справедливость является с небес». Мы, люди, веераем наш талант торгующим, мы приумножаем вверенное нам, мы свободны, мы обновляем миры, вы же, ангелы, лишь исполняете то, что Он поручил вам, ничего не приумножая. Вместо того, чтобы давать мне советы, скажи лучше, что Он поручил мне, если знаешь.

— Ты сам себе противоречишь, допуская, что я могу действовать без Его указаний, — съязвил Ангел. — Я принимаю решения, и люблю этим заниматься. Верно, что в отличие от людей я не томлюсь вопросами: кто я на самом деле такой, да и есть ли я вообще? Это за меня, по счастью, решил мой Создатель. Более того, я состою в Его Совете и не рекомендовал Ему вас создавать, хотя должен признать, что иногда с вами бывает интересно работать...

Йешуа отвернулся, его мутило, он захотел прилечь. Но Ангел Смерти не оставлял его в покое. Вихрем он вдруг налетел на Йешуа, вознес его в Йерушалаим и поставил на крыле Храма.

— Вот тебе возможность доказать правоту своих слов, доказать, что ты свободен, что ты Сын Божий, а мы — лишь ангелы служения. Если ты прав, если ты Сын Божий, то бросься вниз с высоты Храма, ибо написано: Ангелам Своим Он заповедает о тебе... На руках они понесут тебя.

— Я не нуждаюсь в доказательствах человеческого превосходства над ангелами, — сказал Йешуа.

— Как ты понимаешь, я бы мог предложить тебе это испытание еще там, на краю горной пропасти, но перенес сюда. Взгляни, в действительности, я это тебе хотел показать.

В этот миг, как вспышка молнии, перед Йешуа промелькнула картина охваченного пламенем Святилища и заваленного трупами двора.

— Это первые эскизы той картины, которую мне заказал Творец. В свой срок она будет мною выполнена. Тебе не отменить приговор.

— Это мы еще посмотрим... — пробормотал уstraшенный видением Йешуа, и уже в следующий миг оказался вновь сидящим у входа в пещеру, а напротив него сидел тот же Ангел.

— Напрасно, Йешуа, ты пытаешься принизить наш ангельский род, — продолжал он, как ни в чем не бывало. — Не столь уж мы ничтожны. Напомню тебе, что я не только властен однажды забрать твою душу. Я делаю с тобой нечто подобное каждый день, когда навожу на тебя сон. Разве ты можешь этому сопротивляться? Ты не управляешь ни своими снами, ни собой во сне. Вся твоя воля подавлена моей. Где ты находишься, когда спишь? Но и в бодрствовании ты недалеко ушел. Бывает, что праведник, устаивающийся предстать перед Создателем, подчиняет свою волю моей.

Йешуа невольно вспомнил один свой давний разговор с Йохананом.

— В «Яхад» учат, — поведал ему Йоханан, — что Ханох, когда был восхищен в теле живым на небо, то превратился в Князя мира, слился с ним.^[149]

— Еще одно утверждение твоих друзей, которое невозможно и даже нечестиво, — возразил Йешуа. — Про пророка Элияу, надеюсь, ты такого не скажешь, а ведь и он был восхищен живым на небо. Сыны Человеческие свободны, Ангелы Божии — нет. Человек так же не может стать ангелом, как и собакой.

— Я бы тоже сказал так, — возразил Йоханан, — если бы не видел этих людей.

— Каких людей?

— Последователей Ханоха. Два человека из общины «Яхад» устаивают приближения к небесной Колеснице. В этот момент они выглядят совершенно отрешенными. Лица их просветляются и становятся величественны, как лица усопших. Кажется, что они с Ангелом Смерти одно целое. А потом они рассказывают, что превращались в Метатрона подобно Ханоху.^[150]

Вспомнив этот разговор, Йешуа с удивлением спросил Ангела:

— Ты считаешь, что можешь подчинить себе человеческую волю? Ты упраздняешь свободу? Но это же невозможно.

— Верно, лишить человека свободы мне не дано, но духовидцы, которые достигают видения Колесницы, сами отдаются мне ради этой великой цели, они делают это добровольно.

— Вот как? — ответ Ангела успокоил Йешуа.

— Да. Но кое-что я могу сделать, не спрашивая на то твоего разрешения...

В этот миг все вокруг дрогнуло и поплыло словно река. Видневшаяся напротив гора Эсава, гора Сеир, а следом за ней и весь мир, как бы завертевшись в какой-то гигантской воронке, втек в тело Йешуа, и он ощутил себя связанным со всем мирозданием, ощутил себя частью всего, и все частью себя. Он ощутил себя единым со всеми живыми существами, со всеми городами, горами, морями и даже звездами и созвездиями. И в тот же миг Йешуа увидел все царства мира.

— Всё это принадлежит мне, — прозвучал как бы стоны голос Ангела. — Ты чувствуешь мою силу? Чувствуешь единство со мной? Чувствуешь, как я делюсь с тобой своей властью? Но ты прав, пока еще в твоей воле принять или отвергнуть ее.

— И я, как ты, наверно и сам догадался, отвергаю ее. Я не хочу обидеть тебя. Та власть, которой ты обладаешь, дана тебе Богом. Но когда я буду нуждаться в чем-либо, я попрошу этого у Него, а не у тебя. И конечно же я приму все, что будет угодно ниспослать мне Отцу моему небесному, будь то слава или поругание.

— Поругание вернее.

— Почему?

— Мне неловко отвечать на этот вопрос. Ведь ты сам исследовал его еще в детстве... Тогда ты был смысленнее и согласился с тем, что Хизкиягу не мог стать Машиахом!

— И все же есть время, время назначенное Им самим, в которое избавление можно приблизить!

— Недостаточно определить это время. Досрочного избавления следует также и удостоиться. А это зависит уже от состояния всего Израиля, которое оставляет желать лучшего.... Действуй наверняка. Если ты, как и раньше, будешь следовать в этом вопросе учению мудрецов, то останешься в памяти сынов Израиля одним из них. Имя рабби Йешуа бар Йосефа будет на устах у всех. Тебе уготована великая доля, не разменивай ее.

— Останется обо мне память, или нет, меня не заботит, но я не готов отказаться от попытки ускорить избавление, коль скоро убеждаюсь, что оно действительно возможно, что «назначенное время» приближается. Избавления я действительно могу не принести, могу не взять Царствия Небесного силой, могу погибнуть. Но разве это повод для того, чтобы не пытаться? Шадрах, Мешах и Авэйд Нэго сказали царю Навуходнэцеру: «Бог наш, которому мы служим, Он сумеет спасти нас из раскаленной горящей печи и от рук твоих, царь, Он нас спасет. Но если и не так, то идолу золотому, которого ты поставил, мы поклоняться не будем»^[151] Так и я, даже если мне суждено погибнуть, совету твоему я не последую.

— Ну, а что если тебе угрожает не просто смерть?

— Что же еще мне может угрожать?

— Гибель твоего доброго имени, например. Поверь, если не будет воли Отца твоего на то, чтобы гора раскололась, то вся сила твоя уйдет в народы, и правда твоих слов будет заключена в сосуды лжи, так что до конца времен твоим именем будут преследовать Израиль.

— Как это возможно?

— Как Йаков представляет Бога на земле, так Я представляю на небе его брата Эсава. Однажды мы схлестнулись: Йаков одолел и получил от меня имя Израиль. Если в «назначенное время» эта схватка, по твоему капризу, повторится, то в случае моей победы, имя это перейдет Эсаву, как его трофей. У римлян ты приобретешь славу, но в своем народе посрамление... Ты готов к этому?

— Я не верю твоим угрозам. Верно, я могу не справиться, могу не сдвинуть гору... Но лжеучения на этом не построишь, как его нельзя было бы построить на гибели Шадраха, Мешаха и Авэйда Нэго.

— Ты так сказал.

— Тому, кто прям и честен перед Богом, нечего бояться твоих угроз.

— Ты даже не представляешь, как мне нравится твоя уверенность.

— Должно быть так же, как мне твое чистосердечие...

— Ты его явно недооцениваешь. Это тебе очень мешает, и очень помогает мне. Ведь если ты серьезно за это дело возьмешься, то откроешь передо мной удивительные возможности. Я приготовлю из твоей истории что-то потрясающее.

— Чтобы ты не приготовил, правда откроется.

— Ну, это когда еще будет! А пока я развлекусь. Значит, договорились? — подмигнул Ангел правой стороной покрывающих его тело глаз.

— Я ни о чем с тобой не договариваюсь.

— Это уже не имеет значения. Достаточно моего предостережения. Если в назначенный час ты взойдешь на Масличную гору, и она не расколется, то пеняй на себя. До самого

не «ускоренного», а по истине «назначенного времени», ты останешься в паре со мной.

— Без моего согласия на то? В это я уже совсем не верю. Ты сам согласился с тем, что это невозможно.

Как только Йешуа произнес эти слова, Ангел исчез.

7

На следующее утро Йешуа спустился в долину. Колонна легионеров, которую он видел третьего дня вблизи Иордана, могла явиться туда с определенной целью — пресечь проповедь Йоханана, которая вызывала опасения у тетрарха Гордуса Антипы.

И действительно, подойдя к Иордану, Йешуа никого там не застал. Возможно, Йоханан перебрался вверх по течению реки, — подумал Йешуа, и выйдя на дорогу, направился на север.

Но уже через полчаса он повстречал группу людей, которые поведали ему, что накануне Йоханан был арестован и отправлен в крепость Махер, располагавшуюся на склоне Эдомских гор.

Йешуа немедленно повернул в сторону крепости, и через четыре часа был у цели. Здесь он сразу убедился, что повидаться со своим другом ему не удастся. Несколько учеников Йоханана, обосновавшиеся в пещере неподалеку от крепости, рассказали ему, что им категорически отказали во встрече. Переночевав с ними в их пещере, на другое утро Йешуа отправился в Галилею.

По дороге в Нацрат Йешуа заходил в попадавшие на пути селения, уча в молитвенных домах о приближении Царствия небесного и призывая к покаянию.

— Отрекитесь от духа соперничества, изгоните беспричинную ненависть из сердец ваших, любите ненавидящих вас, и служители идолов сами уйдут из Святой земли!

Вокруг него немедленно собирались люди. После своего погружения в Иордан и сорокадневного пребывания в пустыне Йешуа заговорил, как власть имеющий, сам удивляясь своему новому тону, захватывающему людей и вселяющему в них веру.

В родном Нацрате его, правда, приняли недружелюбно, однако в прибрежном городке Кфар-Нахуме Йешуа возбудил всеобщий интерес.

Один купец предложил Йешуа для жилья дом, которым он пользовался по своим торговым делам, но который в ту пору пустовал.

В местную синагогу на проповеди Йешуа стали стекаться люди из соседних селений, и вскоре у него открылся дар целителя. Люди чудесным образом выздоравливали от самых тяжких болезней.

За две — три недели вокруг Йешуа сложилась группа приверженцев, а его слава чудотворца и целителя с быстротой молнии распространилась по всей стране.

Наступил Песах, пришло время взойти в Иерусалим. Проходя в субботу колосющимися полями возле села Мухмас, ученики Йешуа стали собирать колосья и есть их. Некоторые возвращающиеся с утренней молитвы жители села заметили это и спросили Йешуа, как это его ученики нарушают субботний покой.

Это был спорный вопрос, так как галилейский обычай позволял собирать колосья и есть их даже в субботу. Ученики делали то, что было разрешено в их краю. ^[152]

Между тем Йешуа не прибег к этому объяснению, а решил сослаться на поступок царя Давида. Он сказал:

— Разве вы не читали, как поступил Давид, когда он сам и бывшие с ним люди проголодались? Помните, как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых нельзя было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним? Так же и человек — господин субботы.

Один из жителей пригласил их всех на субботнюю трапезу, и они вошли в село. По дороге ученики спросили Йешуа:

— Скажи, Равви, почему ты не объяснил им, что в нашем краю утвердился обычай подбирать колосья в субботу, и есть их, и что наши мудрецы разрешают это?

— Ответьте прежде вы мне, когда Давид взял хлеба предложения и накормил бывших с ним, на что он опирался?

— Не знаю, — ответил Шимон-Кейпа. — Да и никто не знает. Одни учителя говорят, что сопровождавшие его были не просто голодны, но что им угрожала смерть, и потому у них было право так поступить. Другие же считают, что хлеба эти были субботние и запрещены были только в субботу.

— Вот видите, — сказал Йешу. — Все согласны с тем, что у Давида было право взять эти хлеба и никому не объяснять, почему он это делает. Так вот, как Давид без достаточных объяснений накормил бывших с ним — и объяснения его никто до сих пор достоверно не знает, — так и я, сын Давида, позволяю есть бывшим со мною и ничего не объяснять посторонним. Вы же — ближайшие мои друзья и ученики — знаете, что в краю нашем закон позволяет поступать так.

После трапезы все пошли в синагогу. Там несколько человек изучали слово Божие, и они присоединились к ним. Между тем пришло время дневной молитвы, и здание стало постепенно наполняться людьми. Вошли так же и те прущим, которые час назад порицали учеников за сбор колосьев. Они подошли к Йешуа, и один из них сказал:

— Рабби, мы слышали, как ты назвал себя господином субботы. Что это значит? Разве ты считаешь себя вправе нарушать субботние запреты?

— Ни одну черту из закона нельзя нарушить, — ответил Йешуа. — Однако все, что может быть исполнено, должно быть исполнено, если это ко благу.

— Мы не понимаем. Поясни.

— Если овца ваша упадет в яму в субботу, разве вы ее не вытащите?

— Разумеется, вытащим, но ведь в этом нет нарушения?

— Верно. Но вы могли бы оправдать свою лень, сославшись на субботний покой и оставить животное мучиться целый день. Видите того человека с иссохшей рукой?

— Видим. И даже хорошо его знаем. Он уже много лет в таком состоянии.

— Лечить в субботу нельзя. Верно?

— Верно. Если нет угрозы для жизни больного, то лечить его нельзя. Лечение, допускающее отлагательство, запрещено в субботу.

— Как вы думаете, допускается ли отлагательство в лечении этого человека?

— Вне всякого сомнения, допускается. Он прожил с такой рукой много лет и вполне может потерпеть до завтрашнего дня.

— Лечение терпит отлагательства, но исцеление не терпит. Потому что исцеление не от людей, но от Бога. Ведь если Бог того пожелает, то Он исцелит его даже и в день субботний. Но если этого человека можно обрадовать в субботу, то зачем откладывать это до первого дня недели?

Число учеников стало расти, и тогда Йешуа решил выбрать наилучших, которым он попытается передать свой дар чудотворца, а также посвятит в свои сокровенные планы. Они станут полководцами тех ангельских легионов, которые Отец пошлет ему в назначенный час.

Проведя ночь в молитве, Йешуа наутро собрал своих учеников. Среди них имелись люди воинственные, участвовавшие в бунтах и учившиеся владеть оружием. Но в основном это были мирные рыбаки и крестьяне. Йешуа считал, что важнее выявить в них дар молитвенников и целителей, чем бойцов.

Он верил, что в основе всего лежит покаяние — всецелое обращение к Небесному Отцу, всецелое предание себя

Ему в руки. Покаяние между тем влечет исцеление, так как всякая болезнь является результатом греха, а в более отдаленном будущем покаяние влечет также и избавление — разгром римлян, утверждение Царствия Небесного, которое является ничем иным, как исцелением святого народа.

— Помните, как сказал Господь Гидону, — обратился Иешуа к своим ученикам, — «Слишком много народу с тобою, чтобы Я предал мидьянитян в руки их, дабы не возгордился предо Мною Израиль, сказав: «Моя рука спасла меня»? И отобрал Господь триста человек, и они — триста! — прогнали врага, «многочисленного, как саранча»^[153]

— Чтобы изгнать римлян, не численностью должно быть сильно наше воинство, а верой. Придет день, — и уже не далек он — когда Отец наш небесный освободит Свою землю от власти идолослужителей. Если пожелает Он, то сделает это рукой семидесяти, если пожелает, то сделает это рукой двенадцати, или даже рукой двоих, как в битве при Мухмасае. Сегодня в знак этого я даю вам власть над нечистыми духами, и власть исцелять недуги. Итак, в деревни язычников и селения самаритян не входите. Идите прежде всего к погибшим овцам дома Израилева. Им проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте.

8

В конце месяца Элуль, когда в приближении Нового года повсюду читались покаянные молитвы «слихот», пришло известие о том, что Гордус обезглавил Йоханана бен Захарию.

На другой день поутру Иешуа отплыл вместе с учениками в пустынное место подле городка Бейт-Цаид.

— Я вернусь после полудня, — сказал Иешуа ученикам, и поднявшись на близлежащий холм, стал молиться и размышлять о случившемся.

Того, кто вдохновил Йешуа на его служение не стало. Не так давно Йаханан присылал своих учеников, хотел выяснить, насколько Йешуа преуспевает в своем служении.

— Расскажите вашему учителю о том, что вы здесь видели, и передайте, что я тверд в своем решении. — ответил Йешуа. — Блажен, кто не соблазнится обо мне!

В тот миг он верил, что принесет победу, предвкушал, как освободит своего товарища, но вот Йоханан обезглавлен. Что ждет самого Йешуа? Действительно ли он так тверд, действительно ли на верном пути?

Йешуа продолжал сосредоточенно молиться, как вдруг почувствовал, что воздух вокруг заколебался, и уже в следующий миг перед ним предстал Ангел Смерти.

— Увы, именно так, равви Йешуа. — произнес Ангел. — Тебя ждет та же участь, что и твоего друга.

— Ты опять за свое? — пожал плечами Йешуа. — Я ведь тебе сказал, что мученическая смерть меня не пугает.

— Тем не менее, сейчас ты заколебался, и я просто не мог пройти мимо.

— Просто не мог? Откуда эта забота обо мне? — усмехнулся Йешуа. — Что тебе до того, если в следующий раз ты явишься ко мне не дружески побеседовать, а забрать душу?

— Все зависит от того, когда за ней придется приходить: через десятилетия — точное число которых, как ты понимаешь, я назвать не вправе, или через пол года, которые ты сам себе назначил.

— Мне — допустим это не все равно, но тебе то какая разница?

— Разница огромная. В одном случае ты отойдешь в грядущий мир со своим учением, в другом — с учением расцвеченном моим поправками.

— Но если твой интерес в том, чтобы я ушел из жизни через полгода, то зачем ты меня от этого отговариваешь?

— Если именно я стану тебя к этой затее подталкивать, получится очередной мыльный пузырь, о котором люди

позабудут на другой день. Ты сам должен на это решиться. Только в этом случае в мои руки попадет по-настоящему бесценный материал. Как видишь, я должен быть с тобой полностью откровенным.

— Полностью откровенным? Тогда ответь, может ли по моей вере расколоться гора?

Бесчисленные глаза Ангела все как один впились в Йешуа.

— Может расколоться! От того-то так велика ставка. Ставка велика, но шанс не велик.

— То есть ты явился мне только затем, чтобы объявить, что и ты в деле?

— Разумеется. Ты должен знать, на что идешь. Если гора останется на своем месте, если победит Рим, то все твои силы отойдут ему. Решай сам.

Йешуа невольно вспомнились его недавние слова, сказанные ученикам Йоханана: «Блажен, кто не соблазнится обо мне!» Итак, обет был дан. Обет, который уже немислимо было отменить, даже если бы и захотелось!

В этот момент внезапно налетел сильный порыв ветра, и Ангел Смерти скрылся.

— Отец! — воззвал Йешуа. — Я принадлежу только Тебе, и если я погибну во Имя Твое, то как Его этим оскверню? Отец! Я верю только Тебе, и на слова Ангела, которого Ты мне не посылал, не полагаюсь!

9

Между тем люди, увидевшие лодку Учителя, пошли берегом к тому месту. Заметив их, Йешуа спустился с горы и вышел навстречу к народу, восторженно его приветствовавшему. За рассказом притч и исцелением больных время прошло незаметно, и в какой-то момент к Йешуа подошли ученики, и Шимон-Кейпа сказал ему:

— Рабби, через час — другой стемнеет, не пора ли отпустить людей, они ведь целый день ничего не ели?

В первое свое явление Ангел смерти призывал Йешуа превратить камни в хлеба, чтобы насытиться самому. Он отверг это искушение. Но сегодня Ангел смолчал, и Йешуа счел себя вправе чудесным образом накормить других.

Увидев веру тысяч людей, которые, не заботясь о питании, не заботясь о завтрашнем дне, проделали далекий путь, только чтобы услышать его, чтобы исцелиться от телесных и духовных недугов, Йешуа понял, что момент настал.

Он почувствовал, что ради этих людей он вправе обратиться к ниспосланным ему свыше силам, вправе испытать их. Проявление великой веры заслуживает великого вознаграждения.

Окинув учеников испытующим взором, Йешуа, наконец, произнес:

— Вы дадите им есть.

— Мы?! — удивился Симон. — Да тех пяти хлебов и двух рыб, которые лежат в моей лодке, нам самим едва хватит на ужин. Ты хочешь, чтобы мы купили им еду в Бейт-Цаиде?

— Нет. В этот раз вы сделаете что-то другое, — улыбнулся Йешуа и добавил: — Рассадите народ рядами по пятьдесят человек.

Ученики, с любопытством переглядываясь, стали выполнять странное распоряжение. Йешуа же тем временем подошел к лодке Шимона и извлек из нее хранившиеся там рыбы и хлеб.

Когда ученики усадили народ, по числу образовавшихся отрядов выяснилось, что только одних мужчин в той толпе было пять тысяч. Оглядев это множество, Йешуа произнес: «Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь мира, производящий хлеб из земли». Затем он преломил хлеб и передал куски ученикам, чтобы те уже раздали народу.

И удивительное дело, хлеб в руках учеников не только не иссякал, но даже умножался! Ужин занял не более получаса, и

как раз, когда солнце опустилось за грядую возвышавшихся над озером галилейских гор, люди насытились и стали расходиться, а ученики принялись собирать оставшийся хлеб.

Пророк Элияу до сих пор не явился ему, до сих пор его не наставил. Но вот он сам повторил его чудо — чудо умножения хлебов! По молитве Элияу в доме вдовы из Царфаты многие дни не истощалась мука в кадке и масло в кувшине. И вот он Йешуа повторил это чудо!

Расколоть гору будет труднее, но уклониться от этой задачи ему уже не дано.

10

Завершилось лето, наступил новый 3790 год. Причем его начало оказалось отмечено недобрыми знаками. Служба Йом-Кипура сопровождалась странными тревожными явлениями: красная лента, которой метился козел, по жребию посвящаемый Богу, не побелела, как обычно в знак очищения грехов; западный светильник погас прежде времени, и, наконец, ворота Святая Святых неожиданно открылись сами собой.^[154]

А через несколько дней в праздник Суккот — Кущей на Иудею обрушился ураган. Временные жилища, построенные из подручных средств, не могли устоять. Почти нигде народ не мог выполнить заповедь проживания в шалашах, тем более, что всю праздничную неделю лил проливной дождь. И это было самое тревожное: молитва о дождях возобновлялась как раз по завершении праздника, и дождь, начавшийся раньше этого срока, служил неблагоприятным знаком.

Поднявшись на Храмовую гору через два дня после окончания Суккота, Йешуа, к изумлению своему, увидел, что Палата тесанных камней, в которой заседал Сангедрин, опу-

стела. Там находились лишь служители цаддукейской канцелярии, но ни одного уполномоченного судьи, ни одного мудреца.

Оказалось, что накануне судьи перебрались в какое-то торговое здание, расположенное в нескольких минутах ходьбы от Храмовой стены. После неблагоприятных праздничных знаков мудрецами было окончательно решено оставить Святое место.^[155]

Йешуа довольно быстро разыскал нужную лавку, но не обнаружил в ней рабби Цадока.

Выяснилось, что дурные новогодние знаки священник-мудрец воспринял очень близко к сердцу, и после поста Йом Кипура так и не начал есть. Он дал обет бессрочного воздержания от пищи и столь ослабел, что сегодня остался дома.^[156]

— Говорят, что Рабби не прикасается к еде уже три недели? — спросил Йешуа рабби Цадока, навестив его.

— Не совсем так. После захода солнца я разжевываю сухую смокву и проглатываю ее сок.

— Что происходит? — обеспокоенно спросил Йешуа. — Что подтолкнуло Рабби к такому шагу?

— Шхина, Божественное присутствие оставило нас, Йешуа. Сангедрин покинул палату Тесанных Камней. После тех зловещих знаков на Йом Кипур все судьи окончательно признали, что мы не на месте, что мы посылаем ложный знак народу. Шехина оставила Цион, и мы не в праве разбирать преступления, караемые смертной казнью. Мы перебрались в здание, расположенное за стеной Храмовой горы. Санкционированный Римом цаддукейский трибунал, разумеется, продолжит свою работу на прежнем месте.

— Считает ли Рабби, что еще осталась у нас надежда? Что еще можно предотвратить гибель этого города, рассеяние народа, разрушение Храма? Ведь Рабби этого опасается?

— Этого, Йешуа, этого самого. Во имя этого я принял на себя бессрочный пост.... И вот, что я тебе скажу: даже если мы

не предотвратим катастрофы, даже если решение принято и запечатано окончательно, своим постом и своей молитвой мы повлияем на грядущее возрождение. Сознательно принимаемые страдания «делают душу жертвой повинности». Усилия праведников никогда не бывают напрасны.^[157]

Слова мудреца ободрили Йешуа. Это было лучше всякого благословения его плану. Он верил совершенно также. Он не напрасно готовится к решительному сражению с римлянами. Он победит в любом случае. Победит даже в том случае, если погибнет! Кровь праведников никогда не проливается напрасно, жертвы праведников искупают вселенную, жертвы праведников — истинное возношение, служащее окончательному избавлению.^[158]

Решение рабби Цадока подтверждало, что он — Йешуа — все это время был на верном пути, что наступивший 3790 год — это действительно «назначенное время».

Дурные предзнаменования — это предзнаменования великих бедствий, но одновременно они также и знаки того, что бедствия эти можно предотвратить, что избавление можно и даже необходимо приблизить!

Ему не хватало знамений наступления «назначенного времени»? В это Новолетие эти знамения обрушились на весь Израиль проливным дождем. Откладывать невозможно, ведь как учат мудрецы, «в Нисане произошло избавление, и в Нисане в будущем произойдет избавление».^[159]

Через полгода, в ближайший Песах он взойдет на Масличную гору и даст римлянам сражение! Тогда «меньший станет тысячей, и младший — народом сильным». «Я, Господь, в назначенное время ускорю это».

11

По возвращению в Галилею Йешуа продолжал проповедовать, исцелять больных и даже воскресил двух умерших.

Кроме того он снова совершил чудо умножения хлебов, накормив на сей раз четыре тысячи человек.

Через неделю после этого чуда Йешуа, взяв с собой Шимона, Йоханана и Йакова, взошел на гору Тавор.

Подъем был долог и утомителен. Полюбовавшись открывшимися видами, ученики прилегли под тенистыми кедрами и вскоре задремали. Однако Йешуа было не до сна, он стал молиться. Он просил Отца ответить ему, он просил Отца благословить задуманное им дело.

Уже почти в самом начале той молитвы вид лица его изменился, одежда его стала ослепительно белой, и перед ним предстал пророк Элияу.^[160]

Сердце Йешуа замерло. Он ждал этого явления, ждал человека, который не умер, который и на небе остается во плоти.

— Мир тебе, Йешуа, — произнес пророк. — Тебе стало известно, что Храм осужден на разрушение, а народ на рассеяние, не так ли?

— Теперь это уже для многих не является секретом.

— И ты надеешься отменить приговор?

— Да, надеюсь.

— Каким образом?

— Пресвятой принимает решение, а праведник отменяет его! Пост и молитва могут многое, но чтобы отвести столь грозный приговор, необходимы особые меры, необходимо прорваться к окончательному Избавлению, взять Царствие Божие силою. Согласно твоему учению, до наступления времен Машиаха остается еще двести десять лет, срок немалый. Но судя по тому, что мудрецы оказались оповещены о надвигающемся бедствии, сейчас как раз наступило то «назначенное время», настал тот момент, в который избавление может быть ускорено. Теперь главное не упустить это время, вступить в бой в ближайший же Песах!

— Как ты связываешь известие о разрушении Храма с ускорением избавления?

— В нашем поколении пророчество иссякло. И если мудрецы оказались оповещены о грядущих бедствиях, то не иначе как для того, чтобы попытаться их предотвратить. Рабби Цадок начал бессрочный пост, а я перед Песахом въеду в Йерушалаим и открыто дам знать, что время избавления пришло, что час римлян истек. В пасхальную ночь — ночь первого избавления, и она же ночь избавления последнего — я со своими учениками взойду на Масличную гору. Там мы вступим в бой с легионерами. И если будет на то воля Отца моего небесного, то совершится сказанное у пророка: «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги Его в тот день на Масличной горе, которая пред лицом Йерушалаима к востоку; и раздвоится гора Масличная от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, и половина ее — к югу... и придет Господь Бог мой и все святые с Ним. ... И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя его — едино...»^[161]

— Ты хочешь сказать, что гора дрогнет по твоей молитве?

— А также по словам Отца небесного, переданным тобой: «Я владею человеком. А кто владеет Мною? Праведник»^[162]

— Амен! — ответил пророк. — Но не забывай, это твое и только твое решение. Тебя никто не посылает на это дело, и пойдет ли все так, как ты задумал, я не обещаю.

— Но ведь что-нибудь же тебе открыто?

— Не так уж много... Определенно мне известно лишь то, что мир просуществует еще не менее десяти юбилеев, что история продлится не менее восьмой части от «дней Машиаха»^[163], но скорее всего дотянет до самого конца этих дней.

— Как?! Избавление может затянуться на два тысячелетия?!

— Да. Такова природа времени. Шесть тысяч лет, как мы учим, существует мир: две тысячи лет — Хаос, две тысячи лет — Тора, две тысячи лет — дни Машиаха.

Двух-тысячелетие Хаоса — началось с Хаоса, началось с грехопадения.

Тора была дана в середине среднего периода, так как центр — действительность мыслимая, а не предметная, и тем самым Торе соответствующая.

Но точно также и Избавление, в котором все свершается. Оно тяготеет к завершению истории. Машиах дополняет творение, а потому его сила привязана к концу конечного периода.^[164]

В этот миг подле пророка Элияху появился также и Моше Рабейну.

— Чем обернется твое восстание — сокрыто от нас, Йешуа, — вступил в разговор Моше, — Но мы уполномочены передать, что как и на войне с Санхеривом, тебе в поддержку будут посланы не менее двенадцати легионов ангелов...^[165]

— Что еще не означает победы, — уточнил Элияху.

— Почему?

— Во-первых, грех беспричинной ненависти еще не исполнен, — ответил Моше. — Во-вторых, все что совершается не в свой срок, может пойти вкривь... Слишком уж много отведено в этом плане человеческой свободе, твоей свободе. Мудрец предпочтительнее пророка^[166], но это предпочтение имеет свою цену.

— И, наконец, самое главное, — добавил Элияху. — Ангел, в котором имя Всевышнего, и который в пору Исхода играл вспомогательную роль, в эти дни должен выдвинуться на первый план. Князь Мира, он же Ангел Эсава, в нынешнем поколении входит в силу. В случае же преждевременного избавления, Ангелу этому будут предоставлены самые широкие полномочия. Берегись его.

— Да, я знаю. Он уже являлся мне, предостерегал, пытался сбить с толку. Но мои намерения чисты и мне нечего его опасаться. Гораздо важнее знать, благословляет ли меня Отец.

— Даже в этом я до конца не уверен, — с сожалением произнес Элияу. — Но я могу испросить для тебя знак. Условимся так. Перед тем как войти в Йерушалаим, поищи в Бейт-Ании ослицу с осленком. Если найдешь — бери их себе. Если кто-нибудь станет возражать, отвечай: «Они нужны Господу». Если все пройдет гладко, и ты въедешь, как положено — значит, Он с благосклонностью принимает твоё служение.

В этот миг Шимон, Йоханан и Йаков, до того мирно спавшие, вдруг очнулись и увидели пророков, беседовавших с Йешуа.

Они растерянно смотрели на трех светозарных мужей, как вдруг явилось облако, из которого донесся глас:

— Это Мой возлюбленный сын, его слушайте!

— Вот ты и получил своё благословение, — обрадовался Элияу. — Но оставим и наше знамение в силе.

В следующий миг видение внезапно исчезло, и оглядевшись вокруг, ученики увидели перед собой одного Йешуа в его обычном облике. Только его сияющий взор некоторое время ещё напоминал о состоявшейся здесь чудесной беседе.

12

Вскоре Йешуа в сопровождении внушительной толпы вышел из Кфар-Нахума и направился в сторону Йерушалаима.

В дороге недалеко от горы Гильбоа он отозвал двенадцать учеников и, усевшись с ними на траве, попытался посвятить их в свой план.

— Мы поднимаемся в Йерушалаим. Там в Пасхальную ночь я вместе с вами намерен дать бой римлянам на Масличной горе. Ведь как в древние времена в Нисане на Песах произошло избавление, так же в Нисане на Песах произойдет оно и в конце дней... Возможно, римляне попытаются схватить меня раньше этого времени, поэтому ночами мы будем таиться на Масличной горе. Нужно постараться дать бой

именно в назначенное время, но необходимо также и быть готовыми сразиться в любую минуту^[167]

— Как мы можем победить? — удивился Шимон. — У них в Йерушалаиме, должно быть, расквартирован целый легион...

— Как один римский легион может противостоять двенадцати легионам ангелов? Разве вы не читали: «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги Его в тот день на горе Масличной, которая пред лицом Йерушалаима к востоку; и раздвоится гора Масличная от востока к западу весьма большою долиною»^[168].

Однажды вы не смогли исцелить бесноватого и спросили меня, какова тому причина. Что я ответил?

— Ты сказал, что по неверию нашему, — ответил Шимон. — Ты сказал: если мы будем иметь веру хотя бы с горчичное зерно и скажем горе: «перейди с этого места на другое», то так и случится: ничего не будет невозможного для нас.

— Верно, — подтвердил Йешуа. — Если будете иметь веру хотя бы с зерно горчичное, то быть тому.

— А если не окажется в нас такой веры? — озадаченно спросил Йеуда.

— Если не окажется? — задумался Йешуа. — Тогда я окажусь в руках язычников, и надругаются надо мной и распнут меня. Но и тогда восстание наше не будет напрасным, потому что послужит восстановлению Царства Израиля в свой срок^[169]

В этот миг Йешуа невольно вспомнил слова пророка Элияу о том, что «Дни Машиаха» тяготеют к концу истории, что Избавление скорее всего войдет в силу на исходе шестого тысячелетия, то есть наступит в третьем тысячелетии, если отсчитывать от текущего 3790-го.

Поэтому Йешуа добавил:

— Если язычники одолеют, если они разрушат Храм сей, то Бог в третий день воздвигнет его!

Ученики молчали. Сказанное было столь неожиданным и столь немыслимым и темным, что они оказались неспособны его вместить.

Улучшив момент, Симон-Кейпа отозвал Йешуа в сторону и стал возражать ему:

— Пожалей себя Учитель! Да не случится с тобой такого несчастья!

Йешуа же с горечью ответил:

— Зачем ты перечишь, Симон? Всегда происходит то, что задумал Бог, а не человек.

13

Великую Субботу, субботу, предшествующую Песаху 3790 года, Йешуа провел в Йерихо, а рано утром в первый день недели начал свое восхождение в Йерушалаим.

Поначалу дорога вилась среди крутых и голых, а выше среди пологих и зеленеющих холмов, которые перекатываясь один на другой, убегали в небо, завораживающее глаза своей насыщенной голубизной. По обе стороны от дороги в изумрудной траве сверкали алые маки. Ученики с нетерпением и волнением ожидали события, о котором знали пока только они одни — о восхождении Царя в Йерушалаим и его сражении с римлянами на Масличной горе.

Путь был преодолен всего с тремя привалами, и когда солнце стало уже, наконец, клониться к западу, путники взойшли на вершину Масличной горы, и перед ними открылся Йерушалаим.

Когда они стояли там, любясь Святым городом, Йешуа подозвал Шимона и Йоханана и сказал им:

— Пойдите в то селение, которое прямо перед вами. Там вы найдете ослицу с осленком. Отвяжите их и приведите ко мне. Если же кто-нибудь станет вам возражать, отвечайте, что они нужны Господу; и тогда они позволят вам их забрать

[170]

Шимон-Кейпа и Йоханан тотчас же направились в Бейт-Анию. Они вошли на главную улицу и сразу же у ворот третьего дома увидели привязанных ослицу с осленком.

Шимон стал как ни в чем не бывало отвязывать животных. Из дома тотчас выглянул хозяин и спросил, по какому праву они это делают?

Шимон и Йоханан в один голос ответили:

— Осленок нужен Господу.

Услышав этот, как будто бы условленный ответ, хозяин заулыбался, и махнув рукой, сказал:

— Мир вам! Берите.

Приведя к Йешуа животных, ученики положили на них свои одежды, а сам Учитель сел на осла поверх этих одежд и в сопровождении двенадцати учеников тронулся в Йерушалаим.

По пути к этому шествию присоединялся народ из пригородных сел. В лучах закатывающегося солнца пестрая процессия была хорошо видна из Йерушалаима. Люди стали стекаться с разных сторон и стелить по дороге свои одежды, некоторые срезали с деревьев ветви и также клали их перед ехавшим на молодом осле Йешуа^[171]

Вдоль всей дороги, ведущей к мосту через поток Кедрон, да и на самом мосту люди бурно выражали свою радость:

— Слава сыну Давидову! — кричали одни.

— Благословен Царь, Грядущий во имя Господне! — слышалось с другой стороны.

— Благословенно царство Давида! — кричали третьи.

Этот восторженный прием воодушевил Йешуа. Кто их всех надоумил устремиться ему навстречу? Все складывалась само, все становилось знаком. Вот народ, объятый Святым духом, объявил его царем....

Несколько человек, обеспокоенных столь бурным всплеском народной радости и опасавшихся, что дело может принять скверный оборот, приблизились к ехавшему на осле Йешуа и попросили его унять толпу.

— Рабби, запрети им кричать, что ты царь. Это небезопасно. Дело может дойти до римлян, — стали уговаривать они Йешуа.

Придержав осла, тот обвел взглядом взволнованных людей и ответил:

— Но это правда, правда которая завоюет мир, а потому, даже если они умолкнут, то камни возопиют!

Между тем слова прущим все же не остались им незамеченными. Они напомнили Йешуа, что согласно решению Всевышнего, которое он надеялся оспорить, бедствия ожидали не только его, но прежде всего этих ликующих людей. Он вновь приостановил осла, и окинув Святой город печальным взором, воскликнул:

— О, Йерусалаим, пока это еще скрыто от тебя, но ты осужден на великие бедствия: враг окружит тебя, окопает тебя рвами, разорит тебя, а жителей твоих уничтожит. Но праведник еще в силах отменить приговор!^[172]

Стоявшие рядом содрогнулись от этих слов.

Сидя верхом на осле, быстро переставлявшем свои тонкие белые ноги по одеждам и ветвям деревьев, Йешуа въехал в городские ворота и направился к Храму.

Толпа незаметно рассеялась, и к Дому Божьему он приблизился в сопровождении лишь нескольких десятков человек. Совершив омовение в одной из многочисленных микв, Йешуа уже было вознамерился войти в Храм, однако, оказавшись возле массивной арки, служившей лестницей на Храмовую гору, он остановился.

Здесь под самой аркой и вокруг нее торговали голубями и обменивали деньги. Вечерело, и толпа торгующих была невелика. Между тем все еще слышался звон монет и оживленные голоса.

Уже много лет между храмовыми торговцами и прущим шла непрерывная война. Прущим требовали, чтобы жертвенные животные продавались в стороне от Храма, у городских ворот, но торговцы по соображениям практического удобства

постоянно норовили разместить свои загоны и прилавки у самого входа в Святилище. Прушим периодически разгоняли их скот, опрокидывали им столы, забрасывали торговцев гнилыми овощами, но ничего не помогало.^[173]

При виде торгующих Йешуа невольно вспомнились слова пророка Захарии: «не будет больше торговца в доме Господа Цваота в день тот»^[174].

А ведь именно «тот день» по тому же пророку он пришел провозвестить! Еще один знак!

— Написано, «Дом Мой домом молитвы наречется», а вы превратили его в городской рынок, в вертеп разбойников! — гневно крикнул Йешуа торговцам и стал опрокидывать столы менял и скамейки продавцов жертвенными голубями.^[175]

Торговцы, оставив товар, немедленно разбежались.

Йешуа вошел в Храм, когда служба уже закончилась. К нему подошли несколько больных людей — двое хромых и слепой — и он исцелил их.

Свидетели чуда, среди которых было немало детей, стали кричать: Ошанна Сыну Давидову!

Находившиеся поблизости книжники с беспокойством спросили Йешуа, слышит ли он это приветствие?

— Да! — ответил он. — Разве вы не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?

Когда же наступили сумерки, он вернулся на Масличную гору в село в Бейт-Анию, где и переночевал с учениками в доме Шимона прокаженного.^[176]

14

На другое утро в понедельник Йешуа вновь направился в Йерушалаим.

В пути еще издали он увидел перед собой смоковницу.

— От смоковницы надо взять подобие, — подумал Йешуа. — Если сможет она сейчас ранней весной принести плод,

то значит сейчас — до наступления дней Машиаха — может прийти и избавление!

Поравнявшись со стоявшей у дороги смоковницей, Иешуа молитвенно остановился, а затем приблизился к дереву и стал искать на нем плоды.

Не обнаружив ничего кроме свежей листвы, он озадаченно провел рукой по бороде и неожиданно произнес.

— Да не будет же от тебя плода вовек!

И смоковница тотчас засохла.

Ученики недоумевали, и Шимон спросил:

— Как это вдруг засохла смоковница? И за что ты вообще проклял ее, Учитель? Разве сейчас время плодоношения?

— В этом-то и дело, что не время! Это была проверка. Раз она не смогла чудесным образом преждевременно принести плод, то ей пришлось чудесным образом преждевременно погибнуть! Это то самое, о чем я уже говорил вам: через несколько дней мы дадим римлянам сражение на этой горе. Мы должны победить, в знак чего гора эта разверзнется. А если нет, если я погибну, то и это послужит чудом. Знайте, очень может быть, что и со мной случится то же, что случилось с этой смоковницей, что я пострадаю от язычников, что буду ими убит. Однако и это обернется возрождением Царства Израиля в свой срок.

Ученики стояли в растерянности.

— Но я все еще верю в победу, — продолжал Иешуа. — И потому повторяю вам: Если будете иметь веру хотя бы с зерно горчичное, и не усомнитесь, то не только сделаете то, что сделано было со смоковницею, но если и горе сей Масличной скажете: расколись пополам и да выйдут из тебя воды: половина их — к морю восточному, и половина их — к морю западному — то так и будет. И всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите.^[177]

Взойдя на Храмовую гору, Иешуа столкнулся с раббаном Гамлиэлем.

— Что произошло, Иешуа? — стал расспрашивать его му-

дрец. — Рассказывают, что вчера ты въехал в Йерушалаим на осле, и что народ приветствовал тебя словно царя? Это правда?

— Да. — ответил Йешуа, и далее произнес слова пророка Амоса: — «В тот день подниму Я падающий шалаш Давида, и заделаю щели его, и восстановлю разрушенное, и отстрою его, как во дни древние, чтобы унаследовали они, названные именем Моим, остаток Эдома и другие народы».^[178]

— Остаток Эдома? — с горечью переспросил глава Сангедрина. — Опомнись, Йешуа. Святым городом овладел не остаток, а начаток Эдома, который только приступил к завоеванию других народов. Шалаш Давида продолжает валиться. Если римляне прослышали о твоём триумфальном въезде — а они не могли о нём не прослышать — ты погиб. Уверен, что за тобой уже следят. Пойдем поговорим с рабби Цадоком, он тоже хотел тебя видеть.

И подхватив Йешуа под руку, раббан Гамлиэль увлек его под крытую колоннаду у западной стены. Там в тени сидели несколько обсуждавших что-то мудрецов.

— Я слышал, что народ провозгласил тебя царем, — произнес рабби Цадок тихим голосом истощенного постом человека. — Не знаю, что ты задумал, но знай, что опасно приближать избавление. Сказано в «Песни песней»: «Заклинаю я вас, дочери Йерушалаима, газелями и ланями полевыми: не будите и не приближайте любовь, доколе не пожелает она».^[179] Или вспомни, как двести тысяч сынов Эфраима погибли от рук филистимлян, попытавшись выйти из Египта за тридцать лет до установленного Богом срока.

— Ну а разве Тора была дана в свой срок?! — возразил Йешуа. — Разве не сказано, что она была предназначена лишь тысячному поколению, в то время как открылась двадцать шестому?^[180]

Тот, кто приблизил время дарования своего Закона, может приблизить также и час Избавления. Как и сказано через пророка: «в назначенное время ускорю». Какое это еще время, если не наше?

— Бог может ускорить все на свете, Йешуа, но не мы... — озабоченно покачал головой рабби Цадок. — Откуда твоя уверенность? Все говорит о том, что ныне Всевышний скрывает свой лик. На что ты надеешься, Йешуа, на что?

— На то же на что и вы, Рабби. Я разделяю вашу же веру в силу поста и молитвы. Люди в силах отменить небесный приговор. Святой, благословен Он, владеет человеком, а Святым владеет праведник. Ибо Бог принимает решение, а праведник отменяет его.

Рабби Цадок понял, что Йешуа решил, что его бесполезно было отговаривать, а значит, что не оставалось ничего другого, как его поддержать. Кто знает?

— Дай Бог, чтобы ты оказался прав, — тихо проговорил рабби, — чтобы оказался в силах довести до конца то, что задумал.

Йешуа испытал подъем от того, что совершенно неожиданно заручился поддержкой великого праведника, священника и мудреца.

* * *

Раббан Гамлиэль был прав: как раз в этот час в канцелярию прокуратора поступил рапорт о вчерашних событиях.

Пилатус распорядился расследовать историю въезда в Йерушалаим «царя иудейского» и выяснить, где он в настоящее время находится.

Дело могло оказаться нешуточным.

Царей в завоеванных Римом странах назначал только император. В Галилее на эту должность он утвердил Гордуса Антипу, но в Иудее царское правление было упразднено. Вот уже двадцать лет, как страна была превращена в римскую провинцию, управляемую прокуратором. Любые слухи о претензии кого-либо занять царский трон являлись необхо-

димым и достаточным поводом для возбуждения уголовного расследования.

Закон трактовал это не только как запрещенную политическую деятельность, но и как оскорбление императорской божественности. Посыгательство на царскую власть каралось смертью. Столь явный и дерзкий случай, когда многотысячная толпа провозгласила кого-то царем, требовал самого скорого и решительного расследования.

Через несколько часов Пилат выслушал подробный доклад о вчерашних событиях. Также было установлено, что самозванец — знаменитый целитель и проповедник Йешуа из Нацрата — в эти часы проповедует в Храме.

Пилатус, за четыре года правления хорошо усвоивший, что неуважение к Святылищу неизменно вызывает в народе возмущение, не торопился без необходимости производить арест Йешуа в пределах Храма. Даже на улицах в эти дни это могло оказаться не просто из-за их переполненности города паломниками.

Поэтому Пилат распорядился, чтобы его агенты выяснили, где Йешуа ночует.

Сыщики без труда проследили за отрядом галилеян до самой Бейт-Ании.

Один из них остался следить за домом Шимона Прокаженного, в который вошли Йешуа с учениками, а другой отправился в город за легионерами.

Предыдущую ночь Йешуа с учениками провели здесь: — кто спал в самом доме, кто в прилегающем к нему саду.

Однако сейчас было решено всем уйти спать в Масличную рощу, начинающуюся сразу за садом, в который вел задний ход.

Когда посреди ночи в дом вошли солдаты, они застали только перепуганных хозяев.^[181]

На другой день во вторник Йешуа снова пришел в Храм.

Он не предпринимал больше никаких драматических шагов. Не напоминал о том, что является «Царем», а беседы и проповеди его в Храме носили случайный характер. Он рассказывал притчи, спорил с цаддукеями о воскресении из мертвых, выяснял с книжниками, какая из заповедей самая главная, и со спокойной решимостью ждал приближающегося часа.

Отец небесных в присутствии пророков Моше и Элияу назвал его своим возлюбленным сыном и послал ему осла для въезда в святой город! Ему этого достаточно. В пасхальную ночь он даст римлянам сражение на Масличной горе. А дальше будь что будет.

* * *

Услышав в полдень, что и на сей раз мятежники не были задержаны, Пилатус вызвал в преториум секретаря Первосвященника и попросил, чтобы тот помог ему задержать галлийского смутьяна, по меньшей мере, поучаствовал в его розыске.

Среди священников было немало преданных своему народу и своей священной родине людей. Тем не менее, назначаемый Римом Первосвященник и достаточно широкий — «цаддукейский» — круг его родственников и приверженцев сотрудничали с римской властью, более того, являлись ее ставленниками.

Цаддукеи подчинялись Риму, однако собственного рвения не выказывали, а в иных ситуациях так даже открыто протестовали. По меньшей мере, они никогда не упускали случая продемонстрировать свою «полезность» народу, всегда стремились показать, что они не только проводят политику Рима, но и отстаивают интересы Йерушалаима.

Поэтому, получив от прокуратора столь неприятное задание, Первосвященник совсем не торопился с его выполнением. Вместе с тем, он сразу заметил, что просьба Пилатуса позволяла ему вести двойную игру.

Уж коль скоро сам игемон обратился к нему по поводу «царя», то тем самым у него появлялась возможность ненавязчиво за Йешуа ходатайствовать. Отстоять жизнь прославленного целителя и проповедника безусловно было бы большой заслугой, которую оценили бы и мудрецы, и простой народ.

Кайафа немало слышал о Йешуа и сам встречал его в Храме. Этот рабби, конечно, высокомерен, порой даже дерзок, но он целитель, а не сикарий. Даже если он почему-то вздумал принимать знаки царского поклонения, то сам их ни от кого не требует. Весьма вероятно, что его еще можно будет оправдать в глазах Пилатуса. Особенно если действовать через Сангедрин.

В самом деле, стал размышлять Первосвященник, если созвать Сангедрин и на его заседании установить среди прочего, что Йешуа не претендует на царский венец, то Пилатус не сможет не принять во внимание этого вердикта.

Возможно даже, что одним этим ходом удастся добиться двух целей — с одной стороны помочь прокуратору задержать Йешуа, а с другой — предотвратить его гибель!

Через час Первосвященник встретился с председателем Сангедрина раббаном Гамлиелем, рассказал ему о своем разговоре с Пилатусом и предложил свой план спасения Йешуа от римской расправы.

— На этом собрании Сангедрина, — пояснил Кайафа, — мы могли бы, во-первых, подобрать своих свидетелей, во-вторых выявить все несогласованности у свидетелей имеющих, чтобы несогласованности эти перед Пилатусом выпятить, ну и в-третьих, дать понять Йешуа, как ему следует вести себя с игемоном, чтобы избежать казни.

— Я уже беседовал с Йешуа, — сказал раббан Гамлиель. — Его невозможно переубедить. Из твоей затеи ничего не выйдет.

Между тем узнав, что на Йешуа объявлена охота, раббан Гамлиель немедленно разыскал его в Храме и предостерег.

— Вместе с твоими учениками ты довольно приметен. Расходитесь сегодня по одному. Да и завтра, и послезавтра, когда придете сюда с жертвенными агнцами, по дороге держитесь порознь. Где ты собираешься совершать пасхальную трапезу?

— Где Бог пошлет.

— Считай, что Он уже сделал это. Я подготовлю тебе место. Договоримся так: послезавтра в третьем часу у Тройных ворот тебя будет ждать человек с кувшином. Он доведет вас до места.

— Благодарю Рабби.

* * *

Совет раббана Гамлиеля понравился Йешуа. В Пасхальную ночь они выступят одним вооруженным отрядом, но чтобы этот план осуществился, пока им следует совсем потеряться из вида. По одному Йешуа и его ученики в тот день разбрелись из Храма, и по одному стали подниматься на Масличную гору.

Через час все собрались на условленном месте, с которого открывался захватывающий вид на всю Храмовую гору. И тут ученики, воспользовавшись тем, что никого поблизости не было, спросили Учителя о сказанных им накануне грозных пророчествах:

— Поясни, Учитель, свои слова о разрушении Храма, — попросил Йоханан.^[182]

— Ныне это открывается уже многим, — ответил Йешуа, — открывается, что не останется здесь камня на камне; что

все будет разрушено.... Но разве вы читали когда-нибудь в Писании пророчество, которое бы не на двое было сказано? Иеремияу предрекал Йерушалаиму великие ужасы, которые в конце концов и обрушились на Святой Город, но он же говорил: покайтесь и эти бедствия минуют вас.^[183]

А помните, что было сказано царю Шломо, в день, когда он построил Храм?

И не дождавшись ответа, Йешуа произнес по памяти:

«Посвятил Я этот дом, который ты построил, пребыванию имени Моего там вовеки; и будут очи Мои и сердце Мое там во все дни... Если же вы и сыновья ваши отступите от Меня, то Я истреблю Израиль с лица земли, которую Я дал ему; и дом, который Я посвятил имени Моему, отвергну от лица Моего; Дом этот, который был так высок для каждого проходящего мимо него, будет разрушен».^[184]

— Так же и я вам говорю, если мы того удостоимся, то через два дня римляне в ужасе побегут из Святой Земли. Если же не удостоимся, и я погибну, то силы небесные поколеблются, и увидите на святом месте мерзость запустения, реченную через пророка Даниила. И тогда придут те бедствия, которые уже ныне предчувствуют мудрецы.

— Что же тогда делать?

— Помнить, что смерть праведников искупает, что жертвы праведников — истинное возношение во вселенной, и ради них сократятся те дни.^[185]

16

На другое утро в среду Йешуа и двенадцать его учеников опять же по одному направились в Храм.

Кайафа между тем не внял заверениям раббана Гамлиэля. Он не хотел отказываться от своего плана, и решил довольствоваться своим кругом, то есть задействовать не Сангедрин, а собственные судебные и полицейские инстанции, действовавшие под жестким контролем прокуратора.

Рассчитывать на то, что Йешуа добровольно явится на его «судебное заседание», Кайафа не мог, задерживать же его в Храме он опасался еще в большей мере, чем римляне.

Решение пришло само собой. Кайафа и раньше слышал, что его секретарь приходится родственником одному из учеников Йешуа — Йеуды Ишкриота.

Секретарь рассказал Йеуде о намерении Первосвященника провести над Йешуа фиктивный суд, призванный обелить его в глазах римлян.

Йеуда, который и без того уже понял, что дело идет к трагической развязке, пришел в восторг и сам предложил свою помощь.

Его тут же допустили к Первосвященнику, который попросил Йеуду уведомить его, где и когда можно незаметно задержать Йешуа.

— Проще всего это сделать на Масличной горе, в той роще, в которой мы ночуем. Но когда?

— Как можно скорее, но только, конечно, не в праздник, и не в субботу^[186]

— Но праздник уже завтра, а за ним сразу наступает суббота.

— Значит, сделаем это в первый день недели.

— Хорошо. Встретимся в Храме в первый день и обо всем окончательно договоримся.

Однако ближе к вечеру после того, как Первосвященник вернулся в свой дом в верхнем городе, к нему пожаловал сам Пилатус.

Игемон был взбешен тем, что ему вновь не удалось задержать Йешуа — на этот раз при выходе из Храма.

Одной из главных примет Йешуа являлась его свита — двенадцать молодых галилеян. Одна схожая группа была задержана, и скоро отпущена. Но Йешуа со своим отрядом каким-то образом сумел укрыться от зорких глаз ищеек. Пилатус негодовал.

— Помнится, я просил тебя помочь мне с задержанием самозванца, — напомнил он Кайафе. — Есть какие-то новости?

— Мы уже начали свое дознание, и я лишний раз убедился в том, что человек этот совершенно не опасен для императора. Он даже, как мы слышали, учит народ не уклоняться от выплаты подати в римскую казну. Я собираюсь — с разрешения игемона, разумеется, — задержать его и провести допрос с целью выяснения степени его виновности.

— Мне, кажется, что это вне компетенции вашего отделения.

— Поэтому-то я и сказал, «с разрешения игемона». Материалы нашего дознания не могут помешать, но могут помочь в выяснении истины. Уверяю, он не опасен. Этот галилеянин очень известный лекарь, исцеливший немало достойных людей. Но мятежа он не затевает, уверяю, игемон.

— Хорошо. Я не возражаю против вашего расследования, особенно, если вы действительно разыщете его для меня. Но только действуйте незамедлительно.

— Я смогу сделать это через три дня.

— Через три дня?! Это невозможно. Это дело слишком затянулось. Говори, где его можно найти, и я сам его арестую.

— Мне это будет известно только завтра, когда в Храм явится один из его учеников, ставший моим агентом. Но завтра уже праздник.

— Какое мне дело до вашего праздника? Ты сам, Кайафа, придумал проводить это расследование. Если тебе мешает праздник, обойдемся без твоего судилища. Задержи его для меня завтра, или дай знать, где он находится.

— Хорошо, я постараюсь завтра.

— Только хорошенько постарайся. Утром у меня должны быть сведения, где этого галилеянина можно задержать, или я арестую его прямо в Храме. Он не просто лекарь, я в этом уверен.

— В Храме?! В праздник? Нет, игемон, вы не сделаете этого!

— Так помоги мне, наконец!

— Хорошо, я постараюсь задержать его в пасхальную ночь. Если все получится, я немедленно проведу судебное расследование и утром передам его вам. Надеюсь, что это недоразумение, которое быстро разъяснится.

17

Днем 14 нисана на Храмовом дворе началось заклание пасхальных ягнят.

— Рабби, — поинтересовался Шимон-Кейпа, — Где мы будем есть пасхального агнца? Ведь ты говорил, что трапеза наша должна быть тайной, чтобы нас не задержали прежде, чем мы взойдем на Масличную гору.

— Пойдите в город, там у Тройных ворот вам встретится человек с кувшином воды. Последуйте за ним до дома, в который он войдет, а там спросите у хозяина, где комната, в которой нам предстоит трапезничать? Он вам ее покажет, а уж вы подготовьте все к празднику.

Шимон-Кейпа позвал с собой Йоханана, и в указанном месте их действительно встретил человек с кувшином. Он довел их до некоего дома в верхнем городе, где при содействии хозяина они приготовили пасхальную трапезу^[187].

Сам хозяин вскоре удалился, а Йоханан тем временем сходил за учениками, оставшимися в доме Шимона Прокаженного, и объяснил, как по одному дойти до тайного дома.

Кайафа, повелел секретарю разыскать на Храмовой горе Йеуду, и когда тот явился, сказал ему.

— Пилатус угрожает арестовать Йешуа прямо в Храме. Мы должны действовать сегодня, в праздник. Я думаю лучше всего, чтобы ты выдал нам своего Учителя этой ночью, после трапезы.

— Хорошо. Уверен, что после трапезы мы снова поднимемся на Масличную гору. В любом случае, пусть ваши люди ждут после полуночи в долине Кедрона у могилы Авшалома.

Оттуда я приведу вас на место и буду приветствовать Учителя поцелуем.

Чтобы заручиться полным доверием Йеуды, подчеркнуть свою заинтересованность в благополучии Йешуа и свою веру в возможность его спасения, первосвященник передал Йеуде тридцать динариев для его учителя, на его общину.^[188]

Через час Пилатус получил извещение, что все идет по плану, что Йешуа будет задержан ночью и доставлен к нему под утро.

* * *

Наступил вечер. Первые звезды уже загорались на ясном и чистом небосводе. Пришло время пасхальной трапезы. Йешуа заговорил:

— Помните, как три года назад на ипподроме в КейсариИ Понтиус Пилатус испугался безоружных евреев и уступил им? Тем более так должно случиться сегодня, когда наступило назначенное время, время в которое ускоряется избавление... Вы учили, что как в месяце Нисан пришло первое избавление, также в месяце Нисан придет и последнее... Сегодня после трапезы мы, вооружившись и не таясь поднимемся на Масличную гору. На вершине мы столкнемся с римлянами. Там всегда имеется патрульный отряд, а по случаю праздника, скорее всего, будет размещена центурия. Мы вступим в сражение, и тогда Отец небесный пошлет нам в поддержку с небес ангельские легионы. Как в ночь исхода в Египте погибли все первенцы, а в ночь, когда Санхерив окружил Йерушалаим, «вышел ангел Господень и поразил в стане Ашшурском сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот, все они — мертвые тела», так и в эту ночь придет гибель язычникам. И вот, Масличная гора расколется и из недр ее потекут два потока — один в сторону западного моря, а другой в сторону восточного.

Йеуда вздрогнул.

— Как правильно он, оказывается, поступает! Он приведет на место цаддукейскую стражу и предупредит эту безумную схватку с легионерами! Он спасет своего сумасшедшего Учителя!

— Начнем, — произнес Йешуа. — Час священной трапезы наступает, час избавления приближается.

Он возлег, все остальные расположились рядом.

Йешуа сказал им:

— Вот мы едим этого агнца с мацей и горькой зеленью. Сегодняшняя наша трапеза совершается под римским ярмом, но следующая совершится уже в Царстве Божием^[189].

Затем, подняв бокал, Йешуа благословил вино:

— Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь мира, создавший виноградный плод, — и после того добавил:

— Да прольются потоки вод из горы Масличной, как льется сегодня это вино... Если же не потекут потоки, но римляне прольют мою кровь, да будет воля Твоя, Отец, чтобы она пролилась не напрасно, но во имя грядущего избавления. Да будет воля Твоя, чтобы как изливается это вино, кровь моя пролилась во искупление греха беспричинной ненависти.^[190]

И он пустил чашу по кругу, чтобы все отпили из нее. Вслед за этим, взяв мацу, он благословил ее, и, прежде чем преломить и раздать ученикам, сказал:

— Да разломится сегодня гора Масличная, как ломается этот хлеб. Если же гора не разломится, но язычниками будет растерзано тело мое, то да будет воля Твоя, Отец, чтобы была преломлена моя плоть во имя грядущего избавления, как преломляется этот пресный хлеб.^[191]

Еще днем Йешуа заметил, что Йеуда Ишкариот напряжен и встревожен. Теперь же он все время покрывался испариной и поглядывал на дверь.

— Никак он струсил и хочет бежать? — почувствовал Йешуа. — Трус, он предал дело избавления.

Когда же все стали отламывать куски запеченного жертвенного ягненка, Йешуа сказал:

— Истинно говорю вам, один из вас струсил, один из вас бросает нас.

Ученики опечалились, и стали с беспокойством говорить ему, один за другим: Не я ли?

Он же отвечал:

— Да, один из вас, обмакивающий со мною в это блюдо. Он уже решил, что поражение предreshено и не желает идти на поле битвы.

За этой трапезой не было той непринужденности и того веселья, которые обыкновенно сопровождали любое другое их совместное застолье. Всех поглотило ожидание предстоящей битвы, должной повлечь избавление Израиля и мира, или их гибель.

Как будто бы что-то тревожное повисло в воздухе, особенно после того, как в смущении, проталкиваясь боком, покинул праздничное собрание Йеуда.

18

— Пора, — произнес Йешуа, после того как трапеза закончилась и благодарственная молитва была произнесена. — Где оружие?

— Вот, — ответил Шимон Петр, приоткрывая циновку и указывая на блеснувшие клинки. — Тут два меча. Больше достать не удалось.

— Двух мечей достаточно. Некогда во всем Израиле оставалось только два меча, как сказано: «И было, в день войны не нашлось ни меча, ни копья в руках у всех людей, бывших при Шауле и Йонатане, а нашлись они только у Шаула и Йонатана, сына его».^[192]

Йешуа поднялся с циновки, вышел из дома и запел хвалебные гимны, тотчас подхваченные его учениками:

«Славьте Господа, потому что Он добр, потому что на-

веки милость Его... Пусть скажут боящиеся Господа, что навеки милость Его. Из тесноты воззвал я к Господу — простором ответил мне Господь. Господь со мной, не усташусь. Что делает мне человек? Господь мне в помощь, и увижу я (гибель) ненавидящих меня. Лучше уповать на Господа, чем надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, чем надеяться на знатных. Все народы окружили меня, но именем Господним я уничтожу их».^[193]

Они выступили отрядом, готовые вступить в бой с первыми попавшимися легионерами.

По дороге римляне не встретились. Поднявшись на обычное место их сбора, расположенное в саду на склоне Масличной горы, Йешуа повелел для привлечения внимания зажечь большую часть факелов и стал молиться.

— Отец мой! Всё возможно Тебе! Встань, как пророчествовал Захария, ополчись против этих народов, как ополчился в день брани. Встань на горе Масличной, которая пред лицом Йерушалаима к востоку; чтобы раздвоилась гора Масличная от востока к западу и половина горы отошла к северу, и половина — к югу. ... И стань Царем над всею землею!^[194]

Время тянулось, римляне не появлялись. Не видно было даже патрульного отряда.

— Побудьте здесь, пока я молюсь, — сказал Йешуа своим ученикам, расположившимся вокруг него прямо на земле.

И позвав с собою Шимона, Йакова и Йоханана, тех самых, которые наблюдали преображение его на горе Тавор, он отошел в сторону.

— Душа моя смертельно скорбит, — сказал им Йешуа, — побудьте со мной.

Их отряд почему-то не привлек внимания. Римляне не появлялись. Что-то пошло не так!

Всю свою жизнь он чувствовал подле себя Отца, но те-

перь в эту страшную минуту, Тот как будто отступил от него. Впервые молитва Йешуа уносилась в пустоту.

Момент терялся. Под утро их крепко спящих, не приведи Боже, возьмут голыми руками!

Холодный пот выступил на лбу Йешуа, и великий ужас охватил все его существо. Нет, не напрасно он готовил учеников к возможности своего поражения! Смерть праведников искупает, жертва праведника истинное возношение во вселенной! Вот на чем следует сосредоточиться в том случае, если после появления римлян чуда не произойдет, если маслина останется бесплодной!

— Отче! — воззвал Йешуа. — Пронеси мимо меня чашу сияю!

Римляне не появлялись.

— Шимон! Ты спишь? — воскликнул Йешуа. — Как ты не смог бодрствовать со мной в этот страшный час?

Он еще произносил эти слова, как из темноты выступил Йеуда — один из двенадцати. За ним в свете факелов ясно виднелись еврейские лица — храмовые стражники и челядь из окружения первосвященника. Но римлян среди них не было!

19

Увидев своего учителя, Йеуда подошел к десятнику и шепнул ему:

— Кого я поцелую, тот и есть Йешуа. Возьмите его, но обращайтесь с ним почтительно, и не думайте его связывать — это согласовано с Кайафой^[195].

В тот же миг стражи Храма окружили Йешуа, взяли его под руки и повели.

Тогда Шимон, как и было условлено, выхватил меч, и ударив слугу первосвященника, отсек ему ухо.

Но Йешуа немедленно остановил его.

— Ты разве видишь где-то здесь римлян, Шимон? Возврати меч твой на место, — ибо погибнет тот, кто поднимает

меч на брата своего. Или ты думаешь, что я не могу теперь же умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? Но легионы ожидают приказа напрасно — враг не пришел, а с братьями мы не воюем.

— Это спектакль, — шепнул Йеуда в ухо Йешуа. — Мы взяли тебя, чтобы спасти от римлян.

Задержав Йешуа, храмовая стража повела его в дом первосвященника, располагавшийся в двадцати минутах ходьбы от Храма в Верхнем городе.

Йешуа, и без Йеуды бы догадался, что происходящее — инсценировка. Затянутое над ним судилище не имело никакой силы, точнее, его «дело» рассматривал не Сангедрин, а цаддукейская охранка.

Действительно, «заседание» проводилось в частном доме, а не в судебной палате Сангедрина, покинувшего, впрочем, полгода назад Храмовую гору. Во-вторых, велось оно в запрещенное для судопроизводства время — в праздник, да еще и ночью, ну и наконец, в нем не принимали участия основные и постоянные члены еврейского суда — прушим.

Но для римлян, в детали «суда» не вдававшихся, как надеялся Кайафа, должна была создаться полная видимость полноценного судебного расследования.

Заседание началось с зачитывания доносов, переданных Пилатусом, и опроса некоторых свидетелей, которых ранее опросили римляне. Накануне Кайафа потерял голову, оповещая и собирая их по всему городу, требуя чтобы они явились в его дом по завершении пасхальной трапезы. Он задумал задать им свои вопросы и заранее выставить лжесвидетелями. На этом странном процессе судьи искали именно «лжесвидетельств», искали противоречий в показаниях, чтобы выставить их как ложные.

И хотя свидетели, как водится, действительно путались и противоречили друг другу, этого не казалось достаточным.

Так, некоторые выступавшие против Йешуа говорили: Мы слышали, как он утверждал: «Разрушьте Храм сей рукотворный, и через три дня я воздвигну другой, нерукотворный».

Римские власти стояли на страже всех культов, совершаемых на территории империи. Любой призыв разрушить какой-либо храм карался, и поэтому этим нелепым обвинением также не следовало пренебрегать. Но Йешуа молчал.

Тогда Первосвященник обеспокоился и спросил его:

— Почему ты не возражаешь? Они же свидетельствуют против тебя? Ответь им что-нибудь, наконец!

Говоря так, он надеялся, что сам Йешуа сможет уличить их во лжи. Но тот продолжал молчать и не ответил ни слова. Тогда теряющий терпение Первосвященник решил, наконец, задать свой главный вопрос:

— Отвечай нам тогда: По-твоему, ты — царь? Царь Иудейский?

Он не стал Царем, Ангел Смерти провел его, послав на Масличную гору кучку евреев-коллаборационистов, а не грозную римскую когорту. Но не было силы, которая бы могла заставить Йешуа даже задним числом отречься от своего решения. Пусть это будет жертва, «жертва повинности» ^[196], принесенная во искупление грехов народа, во искупление вселенной; жертва, которая послужит восстановлению царства Израиля в свой срок!

Йешуа пристально взглянул на Каиафу и произнес: — Да — я царь. ^[197]

Этого ответа никто из присутствующих совершенно не ожидал.

Ну, подумаешь, народ в порыве энтузиазма выкрикнул несколько патриотических фраз. Как можно было их принимать всерьез? Как можно было принимать на себя какую-то ответственность за эти нелепые крики?

И тогда, осознав, что Йешуа обречен, что римский суд

неизбежно признает его виновным в бунте против кесаря, в зале раздался гул:

— Несчастный! Какое еще нужно свидетельство? Он сам признал свою вину!^[198]

— Теперь он безо всякого сомнения подлежит смерти, теперь уже ничто не спасет его.^[199]

Первосвященник помрачнел и стоял без движения. А его тесть — священник Ханан поднес руки к вороту своего хитона и двумя ровными движениями разодрал его, как положено в знак скорби и народных бедствий.

20

Убедившись, что он бессилен спасти Йешуа, Первосвященник подозвал начальника своей стражи и распорядился передать его Пилатусу.

Храмовые служители связали Йешуа и сопроводили его в преториум, где он был взят под стражу римскими легионерами.

Всем участникам «суда» было тяжело и неловко. Ко всему становилось ясно, что отказ Йешуа от сотрудничества с ними будет истолкован в том смысле, что они — цдуким — находились в сговоре с римлянами! Теперь народная молва возведет кровь этого безумца не только на римлян, но и на священников и книжников! Только у прущим хватило ума не участвовать в этом спектакле!^[200]

После заседания кто-то сказал Ханану, что разрывание им одежд, возможно, было излишне, ибо кто он в конце концов, этот галилеянин, чтобы за него так переживать. На это тесть Первосвященника ответил:

— Я скорбел не из-за него. Он сам пожелал умереть. Но неужели ты не видишь, что теперь народ обвинит нас в том, что мы выдали его Пилатусу? У меня самые тяжелые предчувствия на этот счет. Его упрямая жажда смерти причинит еще немалые бедствия всему народу.

Йешуа, между тем, привели к прокуратору.

Не откладывая выяснения его виновности в долгий ящик, Пилатус с порога спросил его: — Ты Царь Иудейский?

Йешуа кратко ответил: — Ты говоришь.

Присутствовавшим при этой сцене священникам нечего было сказать в его защиту. Они лишь скорбно переглядывались между собой, в душе осуждая его самоубийственное упорство.

Пилатус же опять спросил его:

— Почему ты не отвечаешь определенно? Разве не видишь, какое суровое против тебя выдвинуто обвинение?

Но Йешуа и на это ничего не отвечал, удивляя Пилатуса столь явным равнодушием к собственной судьбе.^[201]

Между тем прокуратор быстро увидел выгоды, скрывавшиеся в несговорчивом поведении его узника. Теперь он мог свободно казнить «царя», не выказывая открытого пренебрежения к просьбе иудеев о его помиловании.

Он вышел на крыльцо преториума, перед которым к тому моменту собралось немало народу, и поднял руку. Все стихли.

— Этот человек ничего не хочет сказать в свою защиту, — заявил прокуратор. — Я бы хотел освободить его, как о том просили меня ваши вожди, но галилеянин не ищет себе оправдания. Будьте мне свидетели, что я не повинен в его крови.

После этих слов Пилатус взял из рук сопровождавшего его слуги кувшин с водой, омыл из него свои руки и вернулся в преториум.

Он еще раз окинул своего узника презрительным взглядом, и пожав плечами, подписал ему смертный приговор. Писец подал Пилатусу протокол судебного заседания, занимавший всего несколько строк.

Через несколько часов Йешуа был распят на кресте вместе с двумя другими евреями, как и он, обвиненными в мятеже.

Над головой Йешуа в насмешку была прибита дощечка с надписью, указывающей его вину — «Царь Иудейский». Его смерть наступила ближе к вечеру, но до наступления субботы.

Ученики сообщили горькую весть видному члену совета Йосефу из Рамы. Тот незамедлительно отправился к Пилату-су и убедил его выдать труп казненного.

Получив разрешение, Йосеф приобрел по дороге погребальное полотно, условившись передать деньги за него уже после праздника и субботы.

Покрытое саваном тело Йешуа было с поспешностью, вызванной надвигающейся субботой, погребено в скальной пещере.

Проститься с Йешуа пришли лишь самые близкие ученики.

21

Пока еще продолжалась агония, Йешуа увидел витающего поодаль Ангела смерти. Его бесчисленные глаза пристально смотрели на судорожно вздрагивающее тело.

В какой-то момент Ангел решительно приблизился к Йешуа, и душа страдальца отлетела.

— Ты, я вижу, нашел способ предотвратить войну Гога и Магога. — сразу же мысленно набросился Йешуа на Ангела. — Послал на меня в пасхальную ночь вместо римских легионеров отряд еврейских «спасателей»...

— Ты бы все равно не смог принести полноценного избавления. Храм бы устоял, римляне бы бежали, но ненависть бы осталась... Беспричинная ненависть сожрала бы твой народ. Пойми, не может прийти избавление в эпоху Закона; Хизкияу по этой же причине не смог воспеть хвалу...

— Не правда. Пасхальная ночь 3790 года — это «назначенное время». Йоханан и я верно опознали его.

— Не возражаю. День разрушения Храма, который пост

раби Цадока отсрочит на сорок лет,^[202] действительно наре-
чется днем рождения Машиаха. Но это лишь только рожде-
ние... Машиах появится у ворот Рима все же в положенный
ему срок, через пару столетий.^[203] Лишь с той поры его при-
шествие сможет осуществиться в любую минуту. На деле ны-
нешнее время оказалось предназначено для чего-то другого.
Всему есть свое время под солнцем, а то, что приходит преж-
девременно — развивается своеобразно. Все что приходит
не ко времени — прекрасный материал для творческой фан-
тазии. Я предупреждал тебя, но ты не послушался, и теперь
пеняй на себя. Но оно и к лучшему. Теперь мы приготовим
с тобой нечто по-настоящему интересное, интеллектуаль-
ное, мы привнесем в историю иронию, мы всколыхнем мир,
и обогатим его великими достижениями. До самого оконча-
тельного избавления, ты будешь Машиахом народов, и даже
не только их Машиахом, но и их богом.

— Богом? Что может устоять на такой лжи?

— Почему же на лжи? Разве о вас — сыновьях Израиля —
не сказано, что сыны Всевышнего все вы?^[204] Если все, то уж
тем более — ты, один из лучших. Как видишь, никакой лжи,
просто немного фантазии, немного игры.

— Игра игре рознь. Твою игру уместней назвать крив-
ляньем.

— Но ведь и кривлянье кривлянью рознь. Кривой путь
иногда бывает короче прямого. Поверь мне, существует и та-
кая геометрия. Вспомни свою родословную... Я так помрачил
ум Лота, что он осеменил собственных дочерей. Я придал та-
кое очарование Тамар, что перед ней не устоял Йеуда. За счет
этих обходных маневров мужественность мессианского рода
удвоилась... Так же и теперь. Для сыновей Ноаха принять ев-
рея за Бога — не только извинительно, но в твоём случае даже
спасительно. Поверь, в мире не найдется ничего короче этой
кривой.

— Но с какой стати, и кому вообще может прийти такая
идея?

— Пока только мне, но скоро с твоей помощью я поделюсь ей со всем человечеством. Ханох и Элияу были восхищены в теле живыми, ты будешь восхищен мертвым. Через полчаса тебя снимут с креста, через два часа похоронят. Две ночи твое тело будет оставаться в склепе, но перед рассветом я заберу его. Иудеи скажут, что тело похищено; твои ученики, что ты воскрес из мертвых. И все будут правы... Масса вселенной в третий раз уменьшится ровно настолько, насколько она уже дважды уменьшилась после изъятия тел Ханоха и Элияу.

— И чего ты этим добьешься?

— До сих пор мне принадлежал Космос, теперь же я войду в Историю. Я ведь не только Князь мира, по совместительству я так же и Ангел Эсава. Я представитель Эсава в духовном мире, как его брат Йаков представитель Всесвятого в мире земном. А время Эсава только приходит, только начинается. Власть Рима распространится на весь мир. Я вижу себя главным патроном и меценатом мировой культуры. Но с этим мы пока подождем, на первых порах — в ближайшее тысячелетие — придется посвятить себя теологии... Главное божество народов — растительное божество. Оно умирает и воскресает. Мудрецы народов совместят ваши образы, они посчитают тебя воскресшим и вытеснят привычные им культы Осириса, Диониса и Тамуза твоим культом — культом Йешуа Аноцри. Они привяжут свое поклонение мне — Князю мира к твоей истории и твоему учению, и таким образом смогут перенаправить свое служение Всесвятому.

— Такое заблуждение невозможно! Невозможно, чтобы Владыка мира поручил тебе такое дело. Оно не устоит.

— Почему же заблуждение? Почему невозможно? Еще при исходе из Египта могло приключиться нечто подобное. Даже должно было приключиться... Тогда, после поклонения золотому тельцу, Всевышний уже было поручил мне задание, которое я бы вполне мог творчески развить. В тот раз Праведник уговорил Всевышнего, и Он отменил приговор,

отменил мою миссию.^[205] Но тогда речь шла об избавлении Израиля, сейчас — народов, а народы — мои подопечные. На сей раз я, наконец, в деле.

— Что бы тебе, как ты утверждаешь, не поручали, это дело с места не сдвинется без моего на то согласия!

— Во-первых, такое грандиозное дело пойдет и без твоего согласия, а во-вторых, ты согласишься. Ты проиграл, друг мой.

— Но разве ты способен повлиять на мое решение?

— Я предупреждал тебя, что если ты возьмешься за это дело и проиграешь, то оно не закончится твоей смертью. С твоей смертью только все и начнется.... Эх, рабби Йешуа бен Йосеф, если бы не твоя затея, до самого «назначенного времени» положение Израиля было бы гораздо лучше, чем оно станет теперь, после того как его начнут преследовать твоим именем! Эх, рабби Йешуа бен Йосеф, тебе предназначалось место великого мудреца, тебе предназначалось авторство великой книги! Согласен, написанная о тебе книга также будет иметь головокружительный успех, но в ней нельзя будет разобраться, где кончается истина и начинается ложь. Прушим будут представлены в ней лицемерами, а в твоей гибели книга эта обвинит еврейский народ.

— Ты не ответил на мой вопрос: каким образом ты надеешься извратить мою волю? Каким образом я, по твоим словам, пожелаю того, что не приемлю?

— Ты не приемлешь меня страшного — многоглазого, ты не приемлешь меня — Змея, но когда Змей обернется Посохом, когда я вернусь к тебе в образе Метатрона, в образе Ангела Божественного лика, твое отношение изменится.^[206]

После того, как я заберу твое тело, мы сольемся, сольемся, как однажды уже слился со мной Ханох. Верно, Ханох, как и некоторые его ученики сами хотели того. Они пошли на это слияние, чтобы вместе со мной созерцать Божественную колесницу. Сегодня ты еще говоришь, что слияния этого не желаешь. Но твое нежелание ослаблено твоим поражением, и

когда ты увидишь Ангела Божественного лика, то уже не станешь возражать.

В течение Субботы ты сам осознаешь, что в силу вступает твой запасной план, — «сделать душу свою жертвой повинности», послужить искуплением вселенной.

А в этом я твой союзник. Все живое укоренено во мне, все умирает и возрождается моими усилиями. Культы всех богов, за исключением, разумеется, Всесвятого, стекаются в меня. Мы переименуем их твоим именем, и через тебя перенаправим Святому. За эту Субботу ты выучишь еще кое-что, ты выучишь, что сыновья Ноаха не предупреждены относительно соучастного идолослужения^[207], и не сможешь отказать миллионам несчастных, жаждущих приобщиться твоей искупительной плоти и крови.

— Боюсь, что смогу. Ты видимо забыл, что сам я — сын Израиля.

— Я помню. Некоторая проблема имеется. Но в первый день недели Ангел Божественного лика явится за тобой, чтобы сопроводить к Престолу Славы. Мы предстанем перед Творцом мира и слушаем Его вердикт.

22

Вечером с исходом субботы три галилейские женщины, следовавшие за Йешуа, приготовили ароматные масла, чтобы сделать то, что они не успели сделать до наступления дня покоя — помазать тело учителя.

Камень, прикрывавший пещерный склеп, оказался отвален. Они вошли внутрь и увидели Ангела, который сказал им:

— Не бойтесь. Он воскрес, его нет здесь.

Женщины в ужасе побежали от гроба, и никому ничего не сказали, так как не понимали, что произошло.

Однако вскоре Йешуа явился Шимону и другим ученикам.

Он продолжал посещать своих последователей более месяца. Но на сорок второй день счета омеров, собрав учеников на Масличной горе, Йешуа объявил о том, что оставляет их.

Лишь тогда ученики решились, наконец, спросить Его о том, что их постоянно мучило и смущало:

— Когда же ты, наконец, восстановишь Царство Израиля?

— Когда же ты изгонишь злодейскую власть?

— Не пора ли сделать это прямо сейчас?

Он же ответил:

— Не вам определять времена и сроки, которые целиком во власти Отца. Мы не удостоились приблизить избавление в назначенный для того час, и теперь лишь в ведомый Царю срок восстановится Его Царство^[208]. Но в восстановлении том будет и наша доля. В тот час мои и ваши последователи помогут отстроить то, что вскоре будет разрушено язычниками.
^[209]

После этих слов Йешуа стал возноситься, пока облако не скрыло его.

Когда ученики еще всматривались в небо, им вдруг предстали два ангела в белой одежде и сказали:

— Что вы стоите здесь, галилеяне? Йешуа вернется в мир таким же образом, каким ныне покинул его. В назначенное время, когда придет избавление и «раздвоится гора Масличная от востока к западу», так же и он появится вновь, и откроются пути Божии и познается мера соучастия каждого.

«1929/1945»

(приложение к «1988»)

Гегель был убежден, что самораскрывающийся в истории Мировой дух и Бог Израиля – это одно лицо. Он считал, что просветительский Разум представляет собой очищенно-го от мифологической шелухи библейского Творца. Некоторые основания для такого отождествления имелись. Например, оба эти субъекта не чужды иронии.

«Напрасно мятутся народы и замышляют тщетное. – читаем мы в псалме Давида, — Встают цари земли и властелины совещаются вместе – против Господа и против помазанника Его: «Разорвем узы их и сбросим с себя путы их!» Сидящий на небесах усмехнется, Господь насмехается над ними» (Те-иллим 2.1-3)

Со своей стороны Гегель также учил о насмехающемся Разуме, который «столь же хитер, сколь могуществен». «Можно назвать хитростью Разума то, что он заставляет действовать для себя страсти, причем то, что осуществляется при их посредстве, терпит ущерб».^[210]

И все же Бог Израиля и Мировой Разум – это два совершенно разных лица. Как я попытался показать в книге «1988», в действительности Мировой дух соответствует не Богу Израиля, а Его служителю — Ангелу смерти.

Порой их действительно бывает непросто различить, особенно в тот миг, когда в причудливом стечении исторических событий нами невольно опознается ирония.

Чтобы внести в этот вопрос некоторую ясность уместно остановиться на финальном эпизоде Второй мировой войны, упомянутом мною в «1988».

Пожалуй, никогда еще ирония истории не проступала так явственно, как в неожиданной женитьбе Гитлера накануне Вальпургиевой ночи/Лаг ба-Омера 1945 года.

Как могло случиться, что за день до своего самоубийства категорический холостяк и паранойяльный юдофоб заключил брак с еврейкой? Каким образом такое оказалось возможно? Как технически осуществилось? Наконец, какой в этом может иметься смысл?

Голые факты

Журналист Нерин Ган (Nerine Gun 1920-1987) — автор первого обстоятельного исследования жизни Евы («Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба.») изданного в 1968 году, пишет: «проверку арийского происхождения Евы в 1930 году тайно взял на себя Борман. В этом вопросе Гитлер был непреклонен и не шел ни на какие уступки: вся подноготная Евы, ее родителей, сестер и подруг была досконально изучена. Гитлер даже в мыслях не мог допустить, чтобы в жилах его возлюбленной, а уж тем более ее потенциальных детей текла бы хоть капля еврейской крови». ^[211]

Результат проверки был отрицательным. Однако, как оказалось, выяснением этого вопроса занимался не только Борман.

Гидон Хоснер (1915-1990), выступавший в качестве государственного обвинителя на процессе Эйхмана, издал в 70-х годах книгу «Мишпат Йерушалаим», в которой привел несколько фрагментов из записей, сделанных Эйхманом в израильской тюрьме. В этих записях среди прочего сообщалось, что Эйхману удалось установить, что Ева Браун была на одну 32-ю еврейка, но что он не дал хода своей находке. ^[212]

Для Гитлера, разумеется, и этого бы хватило, чтобы прекратить с Евой всякие отношения, но кто бы еще стал озадачиваться такими пропорциями? Какое значение может иметь чья-то кровь в столь низком разведении? Ну была прабабушка твоей бабушки еврейкой — что с того?

Однако, если в этой линии были только женщины, еврейкой — галахической еврейкой — оказывается также и последнее звено!

По закону Торы, ребенок, рожденный еврейской женщиной, является евреем. Ему вменяется в обязанность соблюдение субботы, кашрута и прочих заповедей Торы, какие бы отцы и в каких бы поколениях в его рождении не участвовали.

Заподозрить неладное можно было бы уже на основании одних только биографических данных.

Так, описывая рождение Евы, Ган сообщает: «Фриц Браун был сильно встревожен. В семье его жены испокон веков рождались только дочери». ^[213]

Британская журналистка Анжела Ламберт (Angela Lambert 1940 – 2007) в своем обстоятельном исследовании «Загубленная жизнь Евы Браун» (2006) описывает эти же тревоги в следующих словах: «Пока повивальная бабка помогала Франциске преодолеть муки долгих родов, ее муж Фриц нетерпеливо ожидал в соседней комнате. У него уже была трехлетняя дочка, и он очень надеялся на сына. Его теща Йозефа Кронбургер, сидевшая рядом, уверяла, что родится мальчик, хотя на самом деле в ее семье всегда преобладали девочки; она сама имела пять дочерей» ^[214]

Но вот, генетические исследования, проведенные в XXI веке, показали, что фанатичная католичка Йозефа Кронбургер являлась правнучкой еврейки, с которой она была связана через бабушку и мать!

Офицер американской разведки Пол Баер, проводивший обыск в Бергхофе, привез часть вещей в Соединенные Штаты в качестве сувениров. У него в подвале хранился небольшой чемоданчик с золотыми буквами «ЕВ» (Eva Braun). В этом чемодане находились зеркало, щетка и расческа, на которых также имелась монограмма «ЕВ». При этом на расческе сохранились волосы.

В 2014 году эти волосы были обследованы в ходе британского теле-документалистского проекта «Dead Famous DNA». Обнаруженная в них митохондриальная ДНК, передающаяся исключительно по материнской линии, содержала фрагменты свойственные ашкеназским евреям. ^[215]

У исследователей нет исчерпывающих доказательств того, что волосы действительно принадлежали Еве Браун. А две ее родственницы отказались предоставить для экспертизы свой генетический материал.

И все же, волосы, взятые из расчески с инициалами «ЕВ»,

хранившейся в доме, где долгие годы проживала Ева, трудно приписать кому-либо другому (тем более, что аналогичные инициалы были выгравированы также и на столовых приборах). Еще менее вероятно, чтобы на вилле Гитлера проживала какая-то иная персона, в волосах которой присутствовала бы еврейская митохондриальная ДНК.

Таков голый исторический факт: накануне своего самоубийства Гитлер женился на галахической еврейке!

Странно сознавать это, но формально эта пара имела бы право на возвращение в образовавшееся в 1948 году еврейское государство! Собранные Эйхманом метрические справки (с прилагающимся к ним брачным свидетельством рейхсканцелярии) обязывали бы чиновников Сохнута выдать чете Гитлеров въездную визу! Можно ли вообразить более сокрушительную иронию? Можно ли вообразить больший кошмар для фюрера?

Кто же эта женщина, пожелавшая разделить судьбу величайшего злодея в момент его полного и безоговорочного поражения? Что творилось в ее сердце и в ее голове? Как умудрилась она подтолкнуть фюрера на столь не свойственный ему шаг?

Постараемся проследить, как подстраивалась эта невероятная интрига; попытаемся понять, каков ее глубинный религиозный смысл.

She was just 17

Они познакомились в Мюнхене, в начале октября 1929 года в фотоателье Генриха Гофмана, в которое 17-летняя Ева устроилась по объявлению через 4 месяца после окончания католического пансиона.

Гофман был не просто личным фотографом Гитлера, но творцом его политического имиджа. Когда в тот осенний день Гитлер вошел в ателье, «Гофман – пишет Ева в письме сестре — тут же представил меня: «Это господин Вольф, а это

наша очаровательная фрейлейн Браун»... Знакомый шефа буквально пожирал меня глазами и непрерывно говорил комплименты. Перед уходом Гофман отвел меня в сторону и спросил: «Неужели ты не догадалась, кто такой господин Вольф? Разве ты никогда не видела у нас его фотографии?» Я смущенно покачала головой. «Да это же Гитлер, наш Адольф Гитлер». «Вот как...» — пробормотала я.^[216]

Гитлер в ту пору оставался еще местным (баварским) политическим явлением, и его имя ничего не говорило аполитичной выпускнице католического пансиона. «Придя домой, — пишет Ган, — Ева спросила:

— Папа, а кто такой Гитлер?

— Гитлер? Это молокосос, у которого хватает наглости утверждать, будто он знает все на свете, — с презрением отзывался Фриц Браун». ^[217] Однако на его дочь этот «молокосос» произвел неизгладимое впечатление.

«В 1929 году, — замечает Ламберт, — никто еще не подозревал о надвигающихся ужасах. Сейчас, в свете всего, что мы знаем о Второй мировой войне, о трагическом десятилетии между 1935 и 1945 годами, невозможно смотреть на Гитлера иначе, чем сквозь призму истории. Но в то время он производил совсем иное впечатление... Все единодушно утверждали, что взгляд его голубых, как незабудки, глаз обладал гипнотической силой. Как все влиятельные люди, особенно политики, Гитлер создавал вокруг себя «силовое поле», которому невозможно было противостоять. При первой встрече он должен был произвести неотразимое впечатление на доверчивую юную барышню, только что покинувшую монастырские стены».^[218]

Эта оценка подтверждается множеством свидетельств: Траудль Юнге, бывшая личной секретаршей Гитлера с 1942 года до самых его последних дней, вспоминает: «Нелегко воссоздать или представить себе то гипнотическое воздействие, которое Гитлер оказывал на всякого встречного. Даже его заклятые противники отмечали, что он излучал силу, неодолимо влекущую их к нему, хотя впоследствии их охваты-

вало чувство стыда и вины за это. Такое впечатление часто производят люди, наделенные беспредельной властью, когда пускают в ход свое обаяние. Именно *обаяние* или, что еще опаснее, *харизма*, а вовсе не эманация зла, — вот что больше всего бросалось в глаза при общении с Гитлером. Я сама никогда не могла понять, что такое он делает со всеми нами, включая генералов. Понимаете, это даже больше, чем харизма. Иногда, когда он уходил куда-нибудь без нас, словно бы дышать становилось труднее. Пропадал какой-то основополагающий элемент: не то электричество, не то кислород, не то ощущение жизни. Оставался... вакуум». ^[219]

Жена адъютанта Гитлера Николауса фон Белов — Мария сказала в одном интервью (в 1988 году): «Я никогда не понимала людей, умаляющих одаренность Гитлера, чтобы проще уживаться с сознанием того, что они были околдованы им. В конце концов, он добивался преданности порядочных и умных людей не тем, что раскрывал им свои кровожадные планы и показывал свою нравственную извращенность. Они верили ему, потому что он умел пленять сердца». Она же в следующих словах характеризует общение на альпийской вилле фюрера в Бергхофе: «Когда все кончилось, люди наперебой торопились представить жизнь в Бергхофе невыносимо скучной, с бесконечными разглагольствованиями Гитлера о всяком вздоре. Конечно, повторения со временем стали приедаться, но, особенно в те первые годы, как же нас это захватывало! Не понимаю, почему столько людей отрицает в нем ту необыкновенную искру». ^[220]

Оболезаться Гитлером как мыслителем не приходится. Хью Тревор-Ропер, специально изучавший застольные утешения фюрера, так восхищавшие фрау Белов, пришел к следующему заключению: «Многое в них указывает на невежество и легковёрность, догматизм, склонность к истерии и тривиальность мышления... В то же время они отражают его злой гений. Гитлер никогда не задумывался о Боге, человеческом разуме и общем благе. Ни единым словом он не обмолвился о вопросах духовности. Ему неизвестно было зна-

чение слова «гуманность». Он презирал слабость и сострадание, ненавидел силу духа».^[221]

Но, как мы видим, входя в образ, фюрер умел наполнить своим шармом любую банальность.

Итак, в том, что Ева влюбилась в Гитлера, не было не только ничего странного, но и ничего предосудительного. Однако продолжение этого романа озадачивает тем больше, чем ближе мы приближаемся к его финалу.

Поначалу все выглядело вполне естественно и нормативно.

Анджела Ламберт пишет: «Ева не боялась пробиваться вперед, пускаясь на хитрости ради нескольких мгновений наедине с Гитлером. Вскоре она начала говорить друзьям, что заставит его влюбиться в себя. «Гитлер говорит, что он закоренелый холостяк, но и у него есть своя ахиллесова пята, — хвасталась она. — Вот увидите, он на мне женится». Ее кузина Гертрауд отмечает: «Она уже тогда отличалась железной волей, и, скрытая под внешней неуклюжестью, ее решимость обольстить Гитлера была непреклонной».^[222]

Между тем на пути к этой цели со временем выявилось столько препятствий, что впору было отчаяться.

Главным из этих препятствий являлся, разумеется, сам характер Гитлера — его пресловутая «харизма», являющаяся обратной стороной патологической некритичности и нарциссизма.

История болезни

Уильям Ширер в своем исследовании «Взлет и падение третьего рейха» характеризует Гитлера как «личность демоническую, обладавшую нестигаемой волей, сверхъестественной интуицией, хладнокровной жестокостью, незаурядным умом, пылким воображением и — вплоть до окончания войны, когда в упоении властью и успехом он зашел слишком далеко, — удивительной способностью оценивать обстановку и людей».^[223]

Дьявольские дарования Гитлера неоспоримы, но все же они имели свои ограничения. В частности, периодически давала сбой его «способность оценивать обстановку и людей».

В кабинете Гитлера висел портрет его кумира – Фридриха Великого, беспринципного прусского короля, прославившегося тем, что он влезал в самые незначительные мелочи управления государством и, главное, был блестящим полководцем, одержавшим множество дерзких побед.

Гитлер перенял эту управленческую «манеру», но далеко не всегда ей соответствовал.

Ламберт в следующих словах описывает поведение Гитлера во второй половине войны: «Вопреки множась признакам, указывающим на его неспособность рассуждать здраво и вести войну на нескольких фронтах, Гитлер отмахивался от советов своих генералов, убежденный, что только под его личным руководством Третий рейх восторжествует. Один из офицеров впоследствии вспоминал: «Совещания могли длиться от двух часов до бесконечности, в зависимости от настроения Гитлера. Он мнил себя великим стратегом и презирал опытных военных. Это существенно ослабляло армию». Он все еще видел себя последним и величайшим из тевтонских рыцарей, ведущим своих воинов в тысячелетнее будущее Германии. Эта его вера никогда не угасала, делая его слепым и глухим к действительности».^[224]

То был запущенный инфантилизм: командуя дивизиями Вермахта, Гитлер продолжал те игры в индейцев, которыми предавался в детском и подростковом возрасте.

«Если проанализировать суть и значение этих игр для Гитлера, – пишет Эрик Фромм в книге «Гитлер – клинический случай некрофилии», – то выяснится, что здесь впервые проявились те самые черты, которые с возрастом усилились и стали главными в его характере: потребность властвовать и недостаточное чувство реальности. Внешне это были совершенно безобидные игры, соответствующие возрасту, но он не мог оторваться от них и в те годы, когда нормальные юноши уже этим не занимаются... В то время как для маль-

чика от девяти до одиннадцати лет эти игры вполне подходили, для подростка, посещавшего реальное училище, такое пристрастие было странным... Военные игры выполняли несколько функций. Они давали ему чувство удовлетворения в том, что он обладал силой убеждения и мог заставить других подчиняться ему. Они укрепляли в нем нарциссизм, и прежде всего они перемещали центр его жизненных интересов в фантастический мир, тем самым способствуя тому, что он все больше отходил от действительности, от реальных людей, реальных достижений и реальных знаний». ^[225]

В средней школе, пишет Эрих Фромм, Гитлер «оказывается в положении неудачника. Если бы он мог признаться себе, что все его неудачи объясняются тем, что он неспособен интенсивно трудиться, то, возможно, он смог бы преодолеть эти трудности. Но из-за своего непомерного нарциссизма Гитлер не мог этого понять. Кроме того, он чувствовал себя не в состоянии хоть как-то изменить реальность и потому постарался ее исказить и отвергнуть. Он спрятался от жизни, создав себе имидж «художника». Мечта стать когда-нибудь великим художником заменила ему реальность». ^[226]

Вступительный экзамен в художественную академию Гитлер проваливал в течение трех лет. Фромм продолжает: «Его личность и образ жизни не позволяли ему признать свои ошибки и оценить провал на экзамене как признак того, что следует измениться самому... Молодой человек, который менее трех лет назад прибыл в Вену с твердым намерением стать великим художником, вместо этого стал бездомным бродягой, который с жадностью кидался к филантропической тарелке горячего супа... Это было сильным унижением для представителя среднего класса, для любого буржуа, а уж тем более для такого нарцисса, каким был Адольф Гитлер.

Но зато он был упрям, и это не позволило ему отчаиваться... Теперь надо было выйти из состояния унижения и краха, отомстить своим «врагам» и доказать всем, что этот нарцисс и в самом деле чего-то стоит.

Этот процесс можно лучше понять, если вспомнить из-

вестные нам клинические случаи крайнего нарциссизма. В кризисных ситуациях чаще всего нарцисс не способен оправиться от удара. Поскольку его внутренний мир (субъективная реальность) и внешний (объективная реальность) совершенно не совпадают, наступает полное раздвоение личности, от которого он буквально впадает в душевное расстройство. Иногда нарциссу удается найти некоторое убежище в реальной жизни. Например, его может устроить положение подчиненного, которое позволяет сохранять нарциссические мечты, обвинять весь мир в своих бедах и жить, ничего не делая и не страдая от ощущения катастрофы. Особо одаренный человек может найти другой выход. Он может попытаться преобразовать реальность так, чтобы воплотить в жизнь свои фантазии. Но для этого требуется не только талант, но и соответствующие исторические условия. Нередко возможность такого решения предоставляется политическим лидерам в периоды социальных кризисов. Нередко демагог, стоящий на грани психоза, спасается от безумия тем, что внешне «сумасшедшие» идеи он выдает за «рациональные». В политической борьбе кое-кто руководствуется не только стремлением к власти, но и необходимостью спастись от безумия».^[227]

Фромм не рассматривает религиозной составляющей гитлеровского бреда, его оккультистского «символа веры», его веры в себя как в прозорливца и медиума, и ниже я еще попытаюсь восполнить этот пробел.

Как бы то ни было, Ева оказалась любовницей вполне законченного маньяка, не способного ни к какому развитию и критической самооценке.

Так Ган отмечает: «На Гитлера с юных лет никто никогда не оказывал никакого влияния, и из разговоров в ставке видно, что он отвергал многие предложения своих паладинов, а над некоторыми даже откровенно издевался. Роль Евы Браун заключалась в беспрекословной демонстрации своей верности Гитлеру и готовности служить ему опорой в любой ситуации»^[228].

Прошло время, прежде чем Ева худо-бедно освоилась с

этой незавидной ролью, однако остается загадкой, зачем она вообще взялась ее играть? Что скрывалось за ее «непреклонной решимостью обольстить Гитлера»?

Первая леди невидимка

Их отношения развивались неспешно и непросто. Особенно в первые годы, когда Гитлер переживал бурный роман со своей племянницей Гели Раубаль, с которой поселился в одних апартаментах через три месяца после знакомства с Евой. Судя по всему, Гитлер был очень увлечен Гели, но при этом вел себя по отношению к ней столь деспотично, что в сентябре 1931 года довел несчастную до самоубийства.

Гитлер тяжело переживал смерть любовницы, но и именно тогда стал все более увлекаться Евой. Гофман так вспоминает этот период: «Нередко, собираясь зайти к нам, он говорил: «Попроси, чтоб эта твоя маленькая Ева Браун тоже пришла — она меня забавляет». А порой просил меня: «Я, пожалуй, заскочу на полчаса повидать малышку Еву, ты уж позвони ей, будь любезен, спроси ее согласия». И очень часто мы все вместе участвовали в его любимой затее — ехали на пикник в какое-нибудь красивое место, каких полно в пригородах Мюнхена».^[229]

При всем том, что интерес к Еве у Гитлера безусловно пробудился, выражаемое к ней внимание казалось самой Еве столь недостаточным, что она предприняла попытку покончить с собой.

1-го ноября 1932 года Ева выстрелила себе в горло из отцовского пистолета: пуля прошла рядом с артерией, но раненую удалось спасти. Скорее всего, Ева лишь хотела привлечь к себе внимание Гитлера, однако сам он не счел попытку самоубийства инсценировкой и стал более внимателен к своей поклоннице.

По мнению Анжелы Ламберт, именно после этого они вступили в любовные отношения. Нерин Ган приходит к вы-

воду, что это произошло чуть позже – в момент его политического взлета – в 1933 году.

Как отмечает Ган, «исполнение обязанностей рейхсканцлера занимало почти все его время, однако он не стал прерывать контактов с Евой Браун. Отныне она была для него не просто «одной из знакомых девушек». И он все чаще приглашал ее в Берхтесгаден... Гитлер сразу представился Еве как убежденный холостяк, теперь же он пытался убедить Еву в том, что его новое положение общенационального лидера в еще большей мере не позволяет ему думать о женитьбе». ^[230]

Гитлер никогда не испытывал склонности к семейной жизни. Высказывают предположение, что он боялся оставлять потомство, так как являлся отпрыском близкородственного брака (его отец был женат на дочери своей единокровной сестры). Но имелась и идеологическая сторона, можно даже сказать политический расчет. Ган пишет: «Теперь же отказу от брачных отношений появилась идейная подоплека. Свобода была нужна Гитлеру как воздух. Он искренне полагал, что потеряет очень многое в глазах немецких женщин, если женится на одной из них. «В политике, — заявил он как-то в узком кругу, — мужчины в любом случае подчинятся вождю, а вот поддержку женщин нужно завоевать». Видимо, по этой причине, отвечая на вопрос, нет ли у него намерений жениться, он всякий раз неизменно отвечал: А я женат, но моя жена — Германия». ^[231]

Однако не только женитьба, уже сама сексуальная жизнь, по мнению Гитлера, бросала тень на его политический имидж. Как бы то ни было, вступив в интимные отношения с Евой, Гитлер строжайшим образом их засекретил, введя в ранг государственной тайны (которая оставалась таковой для Британской разведки до июня 1944 года).

Эта любовная связь скрывалась даже от ближайшего окружения фюрера. «Гитлер потребовал от него (Бормана) принять все меры для того, чтобы не допустить в официальных документах хоть малейшего намека на особый статус Евы. В удостоверении личности, дающем ей право доступа в

рейхканцелярию и в Бергхоф, в графе «должность» было указано: «секретарша». Именно так ее и представляли в случае необходимости». При этом «в квартиру Ева входила через служебный вход, она и здесь официально числилась секретаршей, была вынуждена обедать вместе со своими коллегами и не имела права свободно передвигаться в той части рейхсканцелярии, где размещались высшие государственные и партийные инстанции».^[232]

Более того, опасаясь, что Ева случайно может окликнуть его на людях по имени, в тот период Гитлер даже наедине запретил ей обращаться к себе как-либо иначе, чем «мой фюрер».

Ламберт в следующих словах подытоживает этот период их отношений: «Три года прожив любовницей фюрера, Ева видела, что само ее существование вычеркнуто, ее имя никогда не произносится, ее лицо никому не известно, ее любовь унижена его откровенным пренебрежением. Шперер вспоминает: «Он прятал ее от всех, кроме самых близких друзей, но даже здесь отказывал ей в каком бы то ни было социальном статусе и постоянно унижал ее». Отношения, которые предлагал ей Гитлер, представляли собой полную противоположность всему, о чем она мечтала».^[233]

Вот что писала Ева в своем дневнике весной 1935 года на альпийской вилле: «Погода такая чудесная, а я, любовница самого великого человека в Германии и во всем мире, сижу здесь и смотрю на солнце сквозь оконное стекло. Как он может быть таким бессердечным, пренебрегая мною и любезничая с чужими?». «Как бы мне хотелось тяжело заболеть и дней 8 ничего не знать о нем. Ну почему, почему я должна все это выносить? Лучше бы я его никогда не видела. Я в полном отчаянии. Я теперь постоянно покупаю себе снотворное, хожу полусонная и уже меньше думаю о нем. Хоть бы меня черт забрал. Уж в аду точно лучше, чем здесь».^[234]

Вскоре она вновь попыталась покончить с собой, но в целом не искала себе иной доли, иного выхода из своего униженного состояния.

Ева безоговорочно выбрала фюрера, хотя этот выбор и представлял собой «полную противоположность всему, о чем она мечтала».

Ган пишет, что лишь «один раз, по словам Герды (автор проверил их подлинность), Ева заинтересовалась другим мужчиной. Это произошло летом 1935 года после ее второй попытки самоубийства. Коммерсант Петер Шиллинг был гораздо моложе Гитлера и очень понравился Еве. «Это была любовь с первого взгляда, — рассказывает Герда. — Они не отходили друг от друга и представляли собой прекрасную пару». Однако в конце концов Ева сообщила подруге, что в ее жизни есть только один мужчина и другого уже не будет. «Слишком поздно». Она внезапно прекратила всякое общение с Шиллингом и отказывалась даже подходить к телефону, когда он звонил».^[235]

Это упорство тем более загадочно, что, по крайней мере, в ту пору Гитлер был бы готов уступить Еву другому мужчине. Так, во всяком случае, оценивает ситуацию Анжела Ламберт: «Гитлер не был ревнив — в прошлом он часто говорил ей, что, если она влюбится в достойного молодого человека, он не будет стоять у нее на пути. Он хотел, чтобы она реализовала себя, устроила свою жизнь, и считал, что она заслуживает больше счастья, чем он способен ей дать. Так что если желание иметь мужа и детей станет слишком настойчивым, она вольна искать этого на стороне».^[236]

Итак, мы видим, что нормативная женщина, исходно вроде бы не ценящая ничего так высоко как семейную жизнь, упорно отказывается от своего предназначения, ради поддержания зыбкой эфемерной связи с величайшим злодеем в истории. И это при том, что ни саму Еву, ни кого-либо из ее семьи нисколько не увлекал нацизм! Что побуждало ее так поступать?

Товарищ Время

То было особенное время – время, властно мобилизующее души на самые бессмысленные жертвы, как это прекрасно воспроизведено в словах советской песни 70-х годов: «Ты только прикажи — и я не струшу, товарищ Время, товарищ Время».

Дух этого времени ощущался в нарастающем поругании правовых норм, в безумной риторике пропагандистов, в общей атмосфере лжи и ненависти.

Начало войны застало народы готовыми к великой бойне. Ган рассказывает: «Ева и Ильзе присутствовали также на приснопамятном заседании рейхстага в опере Кролл, где Гитлер объявил, что германские войска вступили в Польшу... Когда же Гитлер возвестил, что до победы будет носить только военную форму, а в случае поражения уйдет из жизни, Ева затряслась и закрыла лицо руками. «Если с ним что-нибудь случится, — пробормотала она, — я тоже умру».^[237]

Ламберт приводит аналогичный диалог, также относящийся к началу войны: «Генриетта фон Ширах спросила Еву, что она будет делать, если Германия потерпит поражение.

«Тогда я умру вместе с ним», — просто ответила Ева.

Я возразила, что, поскольку ее никто не знает в лицо, она может бежать за границу.

«Неужели ты полагаешь, что я оставлю его одного? Я буду с ним до последнего вздоха, я думала об этом и все решила. Никому меня не остановить».^[238]

Что означает такая постановка вопроса? Откуда взялась сама эта дилемма: жить или умереть? Для жены какого поверженного политического лидера подобный вопрос когда-либо в такой форме возникал? Можем ли мы вообразить, чтобы Августа Виктория, жена кайзера Вильгельма II, выразила бы готовность умереть вместе с мужем в пору завершения Первой мировой войны?

Таким образом, не только личная преданность Гитлеру подталкивала Еву к ее экстремальному решению. Решение это подкреплялось грозным требованием «товарища Времени», подпитывалось общим ощущением того, что в мире происходит нечто страшное, нечто небывалое, требующее крайней самоотдачи. Как сказал поэт относительно даже более благоприятного исторического периода: «Уже написан Вертер, а в наши дни и воздух пахнет смертью: Открыть окно — что жилы отворить».

На первый взгляд мы имеем дело с любовью «нетто» («Ева никогда не рвалась стать первой леди Германии — ей нужен был мужчина, а не фюрер», — считает Ламберт^[239]). Перед нами как будто классическая любовная страсть, прорывающаяся, например, в строках следующего письма, отправленного Гитлеру в июле 1944 года: «Любовь моя, я не нахожу себе места. Я в отчаянии, в беспросветном отчаянии. Я знаю, что тебе грозит опасность, и это убивает меня... Ты знаешь, я всегда тебе говорила, что не смогу жить, если что-то случится с тобой. С наших первых встреч я дала себе клятву следовать за тобой повсюду, даже в смерти. Ты знаешь, что вся моя жизнь заключена в любви к тебе»^[240].

И все же в этой любовной горячке присутствовало и нечто от того общенационального безумия, от того паранойяльного фанатизма, который в эти же дни толкал на верную гибель тысячи немецких солдат.

Две эти слепые страсти причудливо переплелись в Еве, подпитывая одна другую. Возможно, при иных обстоятельствах Ева при ее аполитичности и могла бы оставаться внутренне равнодушной к пропагандистской трескотне, но ее обязывало положение.

В конце концов сама Ламберт, рассматривая историю мимолетного увлечения Петером Шиллингом, замечает: «Трудно представить себе, чтобы Ева, связанная с мужчиной, обладающим незаурядной харизмой и наделенным огромной властью как в Германии, так и на международной арене, удовольствовалась бы жизнью в качестве фрау Шиллинг.

Как бывает со спортсменами и наркоманами, она попалась на адреналиновый крючок своих бурных отношений с фюрером. Знала она об этом или нет, но простого обыденного счастья ей теперь было бы недостаточно. К 1935 году он уже подчинил ее себе, а к 1942-му их судьбы переплелись неразрывно»^[241].

И все же, для совершения двойного самоубийства с фюрером только любви и «адреналина», на мой взгляд, Еве было бы недостаточно. Этот шаг требовал дополнительной мотивации, которая заведомо отсутствовала в случае иных партнеров. Мне представляется очевидным, что за Петером Шиллингом Ева Браун не последовала бы в небытие.

Но прежде, чем попытаться разобраться в этом последнем мотиве Евы, рассмотрим последние месяцы ее жизни.

Трагический финал

Зимой Ева перебралась в Берлин. Однако вскоре Гитлер потребовал, чтобы она вернулась в Бергхоф. Ган так передает слова Гитлера: «Я в любую минуту могу отправиться на фронт, и потом, ты здесь всем мешаешь. Нужно все время принимать жизненно важные решения, и если я еще буду думать о тебе... Возвращайся в Бергхоф, и я хоть буду спокоен за тебя. Но только не приезжай больше в Берлин... Обещаю, что на Пасху я приеду к тебе». Еве ничего не оставалось, как подчиниться»^[242]. Однако она заранее решила, что вернется, и вскоре сделала это, неожиданно оказавшись «на передовой», оказавшись в центре событий.

Ламберт пишет: «Прожив в неизвестности большую часть жизни, она, как по волшебству, возникла в кругу Гитлера под самый конец. Двенадцать лет ее имя не упоминалось, теперь же вдруг она сделалась вездесущей. О последних двух месяцах ее жизни известно больше, чем о предыдущих тридцати трех годах. Те, кто пережил падение бункера, расхваливали или очерняли ее в беседах с журналистами и исто-

риками, и в результате ее предсмертные дни можно восстановить буквально по часам»^[243].

В письме к Герте Шнайдер от 19 апреля 1945 года Ева пишет: «До нас уже доносится стрельба с Восточного фронта, и, разумеется, нас бомбят каждую ночь... Я теперь все свое время провожу в бункере и, как ты можешь себе представить, ужасно недосыпаю. Но я так счастлива каждую минуту быть рядом с НИМ. Ни дня не проходит, чтобы он не умолял меня укрыться в Бергхофе, но пока что победа за мной»^[244].

22 апреля она писала своей подруге Герде Остермайер: «Мы решили сражаться до конца, но страшный час уже близок. Если бы ты знала, как я боюсь за фюрера. Извини за небрежный стиль, но у нас здесь пятеро детей, и все такие беспокойные, все время меня дергают. Что я могу еще сказать? Во всяком случае, в Бога я больше не верю. Прощайся от моего имени с родителями, передай привет нашим друзьям, а за меня не переживай. Я умру так же, как и жила. Ты же знаешь, мне это совсем не трудно»^[245].

Преданность политическая и личная утратили для Евы свои очертания. Действуя, казалось бы, исключительно из чувства женской любви, из чувства личной преданности своему мужчине, Ева как мы установили, была уже давно поглощена также и иным энергетическим потоком – фанатичной верой в «фюрера». Нисколько не интересуясь «политикой», незаметно для себя самой, Ева превратилась в одну из ее носительниц, бессознательно срослась с ней.

Ее прежняя жизнь при Гитлере была жалкой. В 30-х годах Ева часами просиживала в ожидании фюрера, зачастую отказывая себе даже в прогулках, чтобы не пропустить от него звонка. Она делала маникюр, меняла наряды, не предпринимая никаких попыток с пользой проводить время, чему-нибудь учиться. Ева нуждалась лишь в одном – в обществе Гитлера. И вот теперь это произошло — Гитлер постоянно находился рядом, эмоционально сблизился с ней и в ней нуждался.

Переодеваться по несколько раз на день Ева продолжала и в бункере. Но теперь было для кого, теперь пришел ее

час. Веру в Бога Ева потеряла, но она явно чувствовала, что выполняет какую-то высокую миссию. Это ощущение передалось также и Гитлеру, и он решил сделать то, о чем всерьез не помышлял никогда в жизни – жениться на этой женщине.

Близко к полуночи 28 апреля Гитлер вызвал секретаршу и продиктовал ей два своих «завещания» — политическое и личное. В политическом он объяснил, что желал Европе только мира, и возложил ответственность за мировую катастрофу на евреев («Неправда, что я хотел войны в 1939 году. Она была желаемая и спровоцирована теми государственными деятелями, которые либо сами были еврейского происхождения, либо действовали в еврейских интересах... Пройдут столетия, но и тогда из руин наших городов и монументов возродится ненависть к тем, кого мы должны благодарить за все случившееся: международное еврейство и его пособников!»)^[246].

В личном завещании фюрер выразил свое решение жениться: «Поскольку я не считал возможным брать на себя такую ответственность, как вступление в брак, в годы войны, то решил теперь, перед окончанием земной жизни, жениться на женщине, которая после долгих лет верной дружбы добровольно прибыла в осажденный город, чтобы разделить мою участь. Она умрет со мной в качестве моей супруги, согласно ее пожеланию»^[247].

Вскоре после этого состоялась официальная церемония бракосочетания, для проведения которой в бункер был затребован клерк-регистратор, уполномоченный на составление такого рода бумаг.

На другой день 30 апреля новобрачные покончили с собой, а тела их были сожжены у входа в бункер.

«Дочь Марии»

Как умудрилась эта женщина подтолкнуть фюрера на столь не свойственный ему шаг: взять ее в жены?

Мы выяснили, что то было непоколебимое решение Евы

умереть вместе с фюрером. Если бы Ева не совершила столь неординарного поступка, если бы весной 1945 года она, как от нее и ожидалось, осталась бы на безопасной альпийской вилле, мы бы никогда не услышали ее имени, а Гитлер так бы и отправился в ад холостяком.

В этом случае Ева скорее всего вышла бы впоследствии замуж и родила бы детей, осуществив, наконец то, к чему, вроде бы, исходно стремилась.

Почему же она предпочла другую судьбу? Почему год за годом Ева упорно цеплялась за то, что, казалось бы, представляло собой «полную противоположность всему, о чем она мечтала»? Почему она продолжала опустошающую ее и лишенную какой-либо перспективы связь? Почему пыталась проникнуться идеологией, которая внутренне была ей чужда? И самый главный вопрос: почему все же ради всего этого она готова была пойти на смерть?

Да, можно отказаться от ординарного Шиллинга в пользу неординарного Гитлера, но все же живого. Для чего собственно Еве понадобилось вместе с ним умирать? Какую миссию выполняла она, разуверившаяся в своем католическом Боге и обеими руками вцепившаяся в полуразрушенное 56-летнее чудовище?

Между тем, создается ощущение, что то была не просто безумная любовь, а именно миссия!

По словам Гана, «Ева Браун твердо верила в предсказание некоей пророчицы, согласно которому однажды весь мир заговорит о ее великой любви» ^[248].

Ган упомянул об этом предсказании вскользь, а Ламберт даже не сочла уместным привести его (со ссылкой на Гана) в своем исследовании. Они не придавали этому обстоятельству серьезного значения.

И все же корни загадочной одержимости Евы Браун своим кумиром, как мне видится, следует искать именно в этом «пророческом» направлении.

Ева жаждала именно «великой любви», о которой будет

оповещен весь мир. В какой мере ее ум был околдован этой фантастической идеей, показывает следующее свидетельство: «Ева Браун очень хотела сниматься в кино. Она гордилась удачными ролями в любительских спектаклях и намеревалась брать уроки пения и учить иностранные языки. Но отец наотрез отказался исполнить ее желания. Гитлер также считал, что Ева ни при каких условиях не должна выступать на сцене или появляться на экране. Но Ева не отказалась полностью от своего желания и однажды в Берхтесгадене призналась: «Шеф обещал мне, что, победив, разрешит мне поехать в Голливуд и сыграть там историю нашей с ним жизни»...».^[249]

Итак, дело было не только в любви, и не только в поставляющей привычную дозу адреналина «политике», диктуемой «товарищем Временем». Та сфера души, в которой формировалось решение Евы разделить не только жизнь, но и смерть своего любовника, принадлежала религии, коренилась в сознании особой миссии.

Ламберт утверждает, что «Ева никогда не рвалась стать первой леди Германии», что «ей нужен был мужчина, а не фюрер»^[250].

Трудно согласиться с этим заключением. Честолюбие Евы было особого рода, но оно у нее было, и в мечтах Ева видела себя первой леди не только Германии, но и всей Планеты.

Последний драматический шаг Евы Браун, превративший ее в Еву Гитлер, являлся данью мистическому чувству причастности великой миссии, являлся квазирелигиозным актом.

Но разве Ева была религиозна? Имеются ли тому какие-то свидетельства?

Прежде всего вспомним приведенную выше фразу из ее письма: «Извини за небрежный стиль, но у нас здесь пятеро детей, и все такие беспокойные, все время меня дергают.

Что я могу еще сказать? Во всяком случае, в Бога я больше не верю».

Это неожиданно вырвавшееся признание ясно свидетельствует о том, что к вопросу веры Ева не была равнодушна. Признание это даже наводит мысль, что в те долгие часы, которые Ева проводила в ожидании звонка от своего любовника, она нередко молилась. Вот ее собственное свидетельство, записанное в дневнике 10 марта: «Я безгранично счастлива, что он так любит меня, и я молюсь, чтобы так было всегда»^[251].

Чтобы убедиться в том, что упоминание о молитве не было в данном случае фигурой речи, что Ева умела и любила молиться, следует ознакомиться с периодом ее пребывания в католическом монастыре (покинутым ею за несколько месяцев до встречи с «самым великим человеком во всем мире»).

В 1928 году родители отправили Еву учиться в монастырский католический пансион. По словам Гана, Еве, с ее независимым характером, там пришлось нелегко: «Ее раздражали как сами монахини, так и установленная ими дисциплина. Обучение в пансионате продолжалось обычно два года, но Ева не собиралась оставаться в нем так долго. Она даже пригрозила матери, что убежит и отправится искать счастья в Вену или в Берлин».

Ламберт схожим образом оценивает тот период: «Ненавидя монастырь и улыбающихся непреклонных монахинь, она мучилась и изводилась под гнетом строгого режима, угрожала убить или покалечить кого-нибудь, если ее вынудят находиться здесь и дальше, клялась сбежать в Вену. Наперекор воле родителей она категорически отказалась оставаться еще на год. И добилась-таки своего. Всего через девять месяцев Ева покинула монастырь... Последний отчет из монастыря звучал уничижительно: «Ваша дочь умна и честолюбива... но не заинтересована в успеваемости и считает наши правила неоправданно строгими».^[252]

Ламберт считала эти слова достаточными, но Ган (опустив как раз часть из них!) приводит иные детали: «В

пансионате сохранился классный журнал с фамилией Евы. По словам сестры Марии-Магдалины, она была «очень честолюбивой, сообразительной, обладала приятным голосом и играла в спектаклях. Подруг у нее здесь не было. Церковную службу она никогда не пропускала.... В монастыре она, как и положено, исповедовалась два раза в неделю и принадлежала к числу немногих избранных «детей Марии», которым разрешалось украшать алтарь»^[253].

Эти подробности как будто противоречат характеристике Евы, как «очень честолюбивой» особы. Противоречивыми кажутся уже сами эти слова напутственного письма: «Ваша дочь честолюбива... но не заинтересована в успеваемости».

В самом деле, в чем вообще могло проявляться «честолюбие» Евы, если не в «успеваемости»?

Значит, эта характеристика касалась исключительно молитв, посещения служб и особого религиозного рвения, возведшего Еву в число «избранных». В этом пункте ее общий негативизм к монастырской жизни удивительным образом не проявился!

Итак, мы видим, что в свои семнадцать Ева была, вроде бы, не просто религиозна, но в такой мере ревностна, что духовные наставники диагностировали у нее «честолюбие»!

Это невольно наводит на мысль, что в ту пору Ева как раз и повстречалась с «пророчицей»; что ее набожность была простимулирована волнующим известием о том, что о ее любви заговорит весь мир; что украшая алтарь Богородицы, Ева рассчитывала на ее покровительство.

Действительно, какая могла быть цена такому предсказанию, будь оно дано после знакомства с Гитлером? Разве в этом случае Еву не одолевали бы сомнения в том, что ее разыграли? Но с другой стороны, как было не уверовать в него «твердо», если пророчество было дано до пансиона или в нем самом?

«По случайному совпадению, — пишет Ган, — именно после первой встречи с Евой Браун пресса и радио стали уделять Гитлеру особое внимание. О нем писали, говорили с вос-

торгом, озабоченностью и ненавистью. Но он уже никого не оставлял равнодушным, и ни одно политическое событие не обходилось теперь без участия Гитлера и его партии. Еве Браун стало ясно, что ею заинтересовался не просто мужчина, но «выдающаяся личность». ^[254]

Все сходилось. Слово «пророчицы» было посеяно на добрую почву «очень честолубивой» религиозной души, и это единственное, что по-настоящему объясняет возможность этого невероятного романа.

Религия воспитывает в человеке потребность служения, формирует культовое отношение к жизненным задачам, как ниспосланным свыше миссиям. Религиозная душа стремительно отзывается на голос, который опознает как голос Бога: «И услышал я голос Господа, говорящего: кого пошлю Я и кто пойдет для нас? И сказал я: вот я, пошли меня» (Йешаяу 6:8).

Могла ли «избранница» — «дитя Марии» не отнести предсказание о «прогремевшей на весь мир любви» к пригланувшемуся ей эффектному мужчине, который в тот же миг стал превращаться в ведущего политика?

По-видимому, что-то сразу при встрече с Гитлером замкнулось в Еве, что-то сразу повело ее, что-то лежащее значительно глубже «любви» и «политики», глубже требований «товарища Времени», что-то позволяющее ей жертвовать всем тем, о чем она мечтала, что-то, дававшее ей силы стрелять в собственное горло, и в конце концов заставившее отправиться в логово дьявола, чтобы с ним умереть.

Именно жаждой прославленной «на весь мир любви», переживаемой как некая миссия, можно объяснить то, что Ева «уже тогда (в 17 лет — А.Б.) отличалась железной волей, и, скрытая под внешней неуклюжестью, ее решимость обольстить Гитлера была непреклонной» ^[255].

Сказанное, однако, не означает, что религиозный характер глубинной Евиной мотивации превращает ее роман с фюрером в духовно доброкачественное явление. Напротив, он лишь усугубляет его недоброкачественность.

Религия, сфера высших духовных достижений, чревата также и величайшими духовными срывами. Религия – это среда, в которой душа совершает самые захватывающие взлеты и падения. Ева пережила падение.

Служение Богу и честолюбие несовместимы друг с другом, как сказано: «Гордец как будто строит возвышение и Шхина покидает его; он как будто топчет ноги Всевышнего, который говорит: Я и он не можем находиться вместе» Сота (4).

Гордыня затмевает духовное зрение, как сказано: «гордящийся, будь он мудрец – лишается своей мудрости» Псахим (66).

Любви не по пути с самоутверждением, но, в конечном счете, именно самоутверждение побуждало Еву добиваться «великой любви» «самого великого человека», которую она мечтала экранизировать в покоренном нацистами Голливуде.

Вера Евы в свою особую супружескую миссию являлась тем, что в церковной практике именуют «прельщением», т.е. духовным самообманом, основывающимся на некоем внешнем «пророческом» стимуле.

Замешанная на гордыне вера Евы в свое особое супружеское предназначение, привела ее к лжеслужению, к духовной катастрофе. Однако здесь нам было важно обратить внимание, что лжеслужение подразумевает движение внутри определенного духовного русла, а не общего стихийного потока страстей.

Ниже я еще постараюсь проникнуть в характер прельщения гитлеровской наложницы, попытаюсь выявить его провиденциальную подоплеку. Однако здесь мне важно отметить, что мотивация Евы в конечном счете носила религиозный характер, что в первую очередь ее влекла великая миссия, а не великая страсть, что ее водил Мировой дух, а не импульсивные душевные порывы.

Любовь к «великому человеку», о которой должен был заговорить весь мир, культивировалась Евой как миссия, и только поэтому она «удалась», т.е. в конце концов Гитлер от-

прекся от Германии, отрекся от собственной миссии, и впутался в миссию своей подруги, которая оказалась миссией с двойным дном!

Однако прежде чем разобраться, как их пути могли пересечься, важно понять, что миссия самого Гитлера была откровенно сатанинской.

Религия Черного ордена

Главное в нацистской идеологии заключалось не в социально-идеологической, а в оккультной сфере. СС был тайным орденом, ослушивавшегося члена которого уничтожали вместе с семьей. Под руководством Гиммлера были разработаны многочисленные обряды и церемонии, проводившиеся в замке Вевельсбург в Падерборне, и восходящие к германским и откровенно демоническим культам, разработкой которых занималась специально созданная для этого организация «Аненербе» («Наследие предков»).[256]

В своей книге «Утро магов» Повель и Буржье показывают, что в основе нацистской доктрины лежала псевдонаучная неоязыческая концепция, согласно которой *Homo Sapiens* — это результат деградации предшествующих форм «великих неизвестных», великанов, которые тем не менее сохранились в глубоких пещерах и на контакт с которыми нацисты решили выйти, дабы под их руководством создать новую расу.

По мнению Повеля и Буржье, массовые убийства в лагерях уничтожения в значительной мере были ритуальными убийствами и преследовали ту же цель, что и другие человеческие жертвоприношения — выйти на контакт с божествами, заручиться их поддержкой: «Мир — это материя, которую нужно преобразовать, чтобы выделить из нее энергию. Сконцентрированная магами, она способна привлечь Внешние Силы, Высших Неизвестных, Властелинов Космоса. Деятельность СС не вызывалась никакой политической или военной необходимостью. В концентрационных лагерях происходят

посвятительные занятия нацистской магией. Это жертвенники, где производятся массовые жертвоприношения, чтобы добиться благосклонности Могуществ делу Черного Ордена. Концлагеря являются также символическим актом, моделью будущего мира, в котором все народы будут оторваны от корней, лишены всего, превращены в кочующий сброд, в абсолютное сырье для подпитки цвета человека — высшего человека, общающегося с богами»^[257].

При этом авторы полагают, что Гитлер был медиумом, проводником этих сил. Собственно магами, проводившими нацистскую политику, были, по их мнению, оккультисты из группы Туле.

Повель и Буржье пишут: «Дело происходило в 1925 году. Национал-социалистическая партия начала активную вербовку. Хорст Вессель, подручный Горбигера, организует штурмовые отряды. Он был убит коммунистами в следующем году. В его память поэт Эверс сочинил песню, ставшую священным гимном движения. Эверс с энтузиазмом записался в партию, потому что он увидел в ее происхождении «самое сильное выражение черных сил». Семеро учредителей (нацистской партии), мечтавших «изменить мир», уверены физически и духовно, что они управляемы этими черными силами»^[258].

Причем в некоторых аспектах поклонение этим черным силам приобретало характер откровенного сатанизма.

«Сатанинское государство было, — утверждает Бреннан. — Эта истина отражена в черной форме вездесущего СС, с его колдовской эмблемой — черепом. Отражена она также в деятельности и мнениях нацистской иерархии... Третий рейх был, в действительности, не только магическим государством, но, безусловно, черным магическим или сатаническим государством. Это не новое утверждение. Оно выдвигается с 1941 года и даже раньше. Тщательное исследование фактов показывает, что Гитлер и нацистская верхушка действительно верили в то, что сами работают с определенным типом сатанической магии»^[259].

Ганс Ульрих фон Кранс в своей книге «Боги Третьего рейха» выражает уверенность в подлинности документа, подписанного Гитлером в Вальпургиеву ночь 1932 года и представляющего собой договор с дьяволом. В том же фрагменте Кранс отмечает: «Еще одним аргументом в пользу того, что Гитлер если не полностью шел по стопам сатанистов, то был хорошо знаком и следовал обрядам этой так называемой церкви, является и тот факт, что фюрер покончил с собой в ночь с 30 апреля на 1 мая. Это Вальпургиева ночь, та, в которую нечистая сила достигает своей наибольшей мощи» ^[260].

Более развернуто и обоснованно об inferнальном смысле гитлеровского самоубийства говорит Д.Х.Бреннер.

Вальпургиева ночь 1945-го

«Фюрер отличался от массы других безумцев, что подвизаются в маргинальной области оккультизма, не личными качествами, а положением, которое он занимал. Он служит примером того, что происходит, если некто, исповедующий доктрины тёмного оккультизма, получает политическую власть.

Наступило 20 апреля — день рождения Гитлера. В этот день он планировал покинуть Берлин и перебраться в горную резиденцию под Оберзальцбургом, чтобы руководить остатками сопротивления оттуда. Но Люцифер не выполнял свою часть обязательств по сделке. Общая ситуация выглядела как никогда скверной. Гитлер колебался. А время для колебаний, как отмечали его генералы, было не лучшим. Русское кольцо вокруг города неуклонно сжималось. Оставалось совсем немного времени — возможно, даже считанные часы — до того, как будут перерезаны последние пути к бегству на юг. В ту ночь произошёл массовый исход нацистских лидеров из столицы. Но Гитлер оставался спокоен. Он слушал другие голоса.

На следующий день он предпринял последнюю попытку. Он приказал контратаковать советские войска, которые

теперь пробивались к Берлину через южные предместья. Командовать операцией было поручено генералу СС Феликсу Штейнеру. Все имеющиеся в распоряжении части должны были быть брошены на его поддержку. Но несмотря на то, что Штейнер был реальной личностью, эта контратака была, по сути, магическим действием. Иными словами, передвижения войск имели место только в уме мага — Гитлера. Он, должно быть, вопреки всему надеялся, что тщательные визуализации помогут и старое колдовство опять возымеет действие, как это было прежде, когда германские войска, в полном соответствии с нарисованными им в мыслях картинами, наводнили собой всю Европу. Разумеется, он забыл то, чему учат каждого неопфита в самом начале оккультной подготовки: чтобы оккультные силы могли произвести желаемый эффект, нужен определённый физический канал, через который они могли бы действовать. Его магия довольно успешно работала, пока у него был такой канал в виде реальной германской армии. Её больше не существовало. Теперь магия, к которой он так долго прибегал, оказалась не более чем пустым упражнением в воображении.

В 3 часа дня 22 апреля он узнал, что советские войска прорвали оборону. Это окончательно лишило его безумного оптимизма, который давал ему силы. Тем не менее, как мы сейчас увидим, он не утратил веры в тёмного бога, которому столько лет служил. Он впал в очередной приступ бешенства, а затем принял окончательное решение: он ни за что не уедет на юг. Он останется там, где есть, чтобы «защищать Берлин».

Защитить Берлин было, конечно же, нельзя. Каждый из находившихся в бункере, включая, как можно предположить, и самого Гитлера, это знал. Почему же тогда он решил остаться? Он понимал, что такое решение означает для него верную смерть максимум через две недели.

Гитлер решил, что единственно приемлемая для него смерть — самоубийство. Он объяснял, что не хочет, чтобы его тело попало в руки русских и, соответственно, не может подвергать себя риску быть убитым в настоящем бою. Это-

му была веская причина. В Италии трупы Муссолини и его любовницы, подвешенные вверх ногами, выставили на всеобщее обозрение. Самолюбивый Гитлер не мог не ужасаться мысли, что нечто подобное может произойти и с ним. Тем не менее, хотя войска антигитлеровской коалиции с каждым часом приближались всё ближе, он продолжал выжидать. Он вполне мог покончить с собой, например, 22 апреля, после того как увидел, что штейнеровская контратака провалилась. Он мог выбрать и любой день после, поскольку в таком отчаянном положении этот поступок можно совершить когда угодно, хотя всё возрастающая опасность делает всякое промедление неразумным. В ночь на 26 апреля на канцелярию обрушились первые советские снаряды.

А Гитлер всё медлил.

Чего он ждал? Если он боялся, что его тело попадёт в руки врагов, которые находились теперь буквально на расстоянии пушечного выстрела, с какой стати ему было откладывать момент самоубийства?

28 апреля он женился на Еве Браун. Перед смертью он также составил политическое завещание, что в той ситуации должно было выглядеть совершенно бессмысленным даже для такого человека, как он.

Если изучать эти последние дни, то создаётся впечатление, что Гитлер явно что-то выжидал. Фактически, единственным приказом того периода, связанным с реальностью, был тот, в результате которого у запасного выхода из бункера появилось 180 литров бензина. Они предназначались для того, чтобы сжечь в них трупы. Но выжидание было не бесконечным. Если нам, простым смертным, кажется всё равно, в какой день человеку совершить самоубийство, то для Гитлера это было не так. Он выбрал время, и ради того, чтобы смерть наступила в назначенный день, готов был даже рисковать оказаться в руках русских.

Его последний час не выглядел особенно драматично. Он пообедал и, в сопровождении Евы Браун, попрощался за руку со своими приближёнными. Затем новоиспечённые

супруги удалились в свои покои. Через несколько минут Ева Браун отравилась. Гитлер застрелился.

Всё это случилось 30 апреля. Тёмный посвященный остался верен своему чёрному кредо до самого конца. Он устроил всё так, чтобы даже его самоубийство стало бы жертвоприношением силам тьмы. 30 апреля — это древний праздник Бельтан, это древний праздник костров, плавно переходящий в Вальпургиеву ночь. В календаре сатанистов это, возможно, самая важная дата».^[261]

33-ий день счета Омеров

Однако чары бесовской ночи не сработали. Возрождения нацизма не произошло. Десятилетиями разрабатывавшийся «Аненербе» сатанинский культ, угрожавший уничтожить иудео-христианскую цивилизацию, равно как и все прочие духовные достижения человечества, лопнул, как мыльный пузырь.

Сатанинская вера, задумывавшаяся для покорения всего мира, не только почти стерлась из человеческой памяти, она явилась по существу единственной идеологической системой, категорически отторгаемой всеядным либерализмом. Неонацистские партии остаются и поныне запрещенными во всем мире.

Как же произошел этот сбой черной магической волны?

Ответом на этот вопрос на фенотипическом уровне может послужить одна календарная подробность: ночь на 1 мая, ночь самоубийства фюрера, совпала в том 1945-ом году с еврейским мистическим праздником «Лаг ба-Омер» — 33-им днем счета Омеров (до этого такое совпадение имело место в 1896 году, после — в 1983).

Но это значит, что расчет Гитлера на чары Вальпургиевой ночи был предупрежден другим — Божественным расчетом!

Объявив Израиль своим главным врагом, Гитлер невольно оказался втянут в поле иудаизма, оказался повержен в соответствии с кодами еврейской религии.

Попытаемся же в них вникнуть. Тора предписывает: «отсчитайте себе от второго дня празднования (Песаха), от дня приношения вами снопа («омэра») возношения, семь недель; полными да будут они» (Ваикра 23:15), вслед за этим наступала Пятидесятница – день, в который Израиль получил Тору.

В момент исхода сыны Израилевы находились на 49-ой ступени нечистоты, еще одна – 50-я — и возврата бы не было. Между тем через 50 дней народ Израиля оказался готов получить Тору, что объясняется именно его восхождением на высшую ступень. Таким образом, период счета «омеров» соответствует периоду «50-ти-ступенчатого» духовного подъема.

«Лаг ба-Омер» — выражение буквально означающее – «33-ий день счета омеров», как легко заметить, соответствует преодолению двух третей этого пути, соответствует некоему «привалу» на пути к очищению.

Согласно преданию, в этот день имела место приостановка мора, унесшего жизни тысяч учеников рабби Акивы. В память об их гибели народ Израиля держит траур, начинающийся сразу после Песаха и продолжающийся во многих общинах даже до самого Шавуота. Однако после Лаг ба-Омера начинаются некоторые послабления: можно, например, играть свадьбы.

Но главное, Лаг Ба-Омер является днем рождения и смерти рабби Шимона бар Йохая — автора каббалистической книги «Зоар» («Сияние»). В предсмертный час, когда рабби Шимон делился с учениками последними откровениями, от него изошел Свет. В честь этого чудесного Света в ночь на Лаг ба-Омер установилась традиция разжигать костры.

Но как мы помним, ночь на 1 мая — это не только «самая важная дата сатанистов», но и ночь костров, так называемый праздник Бельтайн, в который кельты приносили в жертву Белу своих первенцев.

Итак, то что произошло 1 мая 1945 года, явилось по существу изящной остроумной мистерией, в ходе которой

костры Лаг ба-Омера поглотили пламя сатанинских костров, превратив «жертвенное» тело фюрера в одно из полен, брошенных в еврейские костры.

Лаг ба-Омер, относящийся к Пасхальному циклу, знаменовал собой победу именно этого праздника (продолжающегося до Пятидесятницы). Таким образом, именно в контексте древней Пасхальной победы уместно рассмотреть также и победу над гитлеризмом в Новейшей истории.

Расправа Всевышнего над нацизмом в известном отношении напоминает расправу Его над египетскими богами, о которой писалось выше: прохождение Всевышнего по земле египетской (Песах), с одной стороны было приурочено к апогею зодиака Овна, которому поклонялись египтяне (Амон), а с другой – ко времени весеннего равноденствия, являющегося сакральным временем любого солярного культа, и египетского в особенности (Атон).

Если первый день Песаха (в который евреи освободились, а египетские первенцы погибли) связан с полнолунием, то седьмой день (в который сыны Израиля прошли по дну Ям-Суфа, а египетская армия утонула), связан с равноденствием. Тем самым в Пасхальную неделю были посрамлены все египетские божества – и звездное, и лунное и солнечное!

Итак, исход усмирил египетских богов. Сакральные даты египтян стали священными датами евреев, стали трофеями, вынесенными из Египта вместе с золотом, пошедшим на строительство Скинии.

Но то, что в древности произошло с праздничными датами египетского культа, в эпоху сионизма повторилось в отношении ведущей даты европейского сатанизма – Вальпургиевой ночи.

Первый день Песаха, в который Всевышний убил египетских первенцев, никак не может совпасть с Вальпургиевой ночью, так как он выпадает между 24 марта и 25 апреля. Между тем седьмой праздничный день Песаха, день в который сыны Израилевы прошли по дну Ям-Суф, иногда как раз

приходится на 1 мая, иногда все же «дотягивается» до весеннего шабаша!

С момента введения Юлианского календаря (46 год до н.э.) такое случилось только три раза: в 1815, в 1929 и в 1967 годах.

Иными словами, согласно Пасхальной логике пресуществления языческих дат в даты священные, эти годы были как бы уготовлены Всевышним для Его расправы также и над сатанинской датой, облюбованной европейской культурой — над Вальпургиевой ночью.

Как я показал выше, на литературно-мистическом уровне «зачистка» Первая осуществилась в создании романа «Мастер и Маргарита», задуманного Булгаковым в 1929 году, и именно этот год в своем романе описывающего.

Теперь же хотелось бы подробнее показать, в какой мере этот литературный уровень переплелся с уровнем священно-историческом.

Войны Гога и Магога

Согласно пророческой традиции, последнее, окончательное избавление Израиля перекликается с первым – с исходом из Египта. Оно продолжает его, питаясь его смыслами и значениями, как сказано: «Как во дни исхода твоего из земли египетской, явлю ему чудеса» (Миха 7:15), или «И оттуда (из пустыни) дам Я ей виноградники ее, а из долины Ахор – врата надежды; и воспоет она там, как во дни юности своей и как в день исхода своего из земли Египетской» (Ошеа 2:18). Наконец, в трактате Рош-Ашана (11.а) сказано: «В Нисане произошло избавление, и в Нисане в будущем произойдет избавление».

Неудивительно поэтому, что в пору последнего избавления, в пору суда над «мифами двадцатого века», пасхальные даты «пройдутся» по тем из них, которые связывают себя с весной.

Я писал, что мистический план «зачистки» Первомае (осуществленный при участии Булгаковского романа) напрямую связан с политическим — с начавшимся в ту пору новым исходом сынов Израиля уже не из Египта, а «из страны северной и из всех стран, куда Я изгнал их» (Иеремия 23:7).

В свою очередь все связанные с сионизмом войны XX-го века трудно не отнести к войнам Гога и Магога, которые обещаны (пророками Захарией и Иехезкелем) быть чудесно-пасхальными и победоносными для Израиля, как сказано в «Сифри», (война Гога и Магога) – это «война, в которой Израиль будет спасен и не будет более поработен».

Так, рав Ури Шерки усматривает некоторые детали войны за Независимость (1948) и Шестидневной войны (1967) в словах Захарии: «Соберу все народы на войну против Иерусалима, и захвачен будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены женщины, и уйдет половина города в изгнание, а остаток народа не будет истреблен в городе. И выйдет Господь и сразится с народами теми, как в день, когда сражался Он, в день битвы. И стоять будут ноги Его в день тот на Ар Азэйтим, что пред Иерусалимом, с востока; и расколется Ар Азэйтим пополам (с середины) – на запад и на восток, и (появится) весьма большая долина, и отодвинется половина горы к северу и половина ее – к югу» (Захария 14:2-4)

Слова «уйдет половина города в изгнание, а остаток народа не будет истреблен в городе» рав Шерки относит к войне за Независимость, в результате которой Иерусалим оказался разделен. Рав Шерки обращает внимание на то, что хотя ЦАХАЛ в ту пору был уже сформирован, Старый город штурмовался тремя независимыми милициями: Аганой, Эцелем и Леги, никак не координировавших свои действия; штурмовался с трех сторон: с юга, с севера и с запада.

Но в 1967 году, когда впервые было создано правительство национального единства, «ноги Его» — ЦАХАЛ встали «на Ар Азэйтим, что пред Иерусалимом, с востока», и оттуда, через Львиные ворота вошли на Сион (рассечение Ар Азейтим рав Шерки относит к следующим этапам пророческих войн).

Но каким образом Вторая мировая война может относиться к войне Гога и Магога, если эта война в первую очередь должна быть связана с Иерусалимом, с Израилем?

Дело в том, что война эта велась в тот период, когда сионизм уже обрел свои первые политические черты и получил международную легитимацию. Да и кроме того, битву за Иерусалим Вторая мировая война в себя включала.

Напомню некоторые исторические подробности, связанные с войной за Эрец Исраэль того периода.

Через год после вторжения нацистов в СССР армия «Африка» под командованием генерала Роммеля вела успешное наступление в Египте, видя своей главной целью Иерусалим.

20 июня 1942 года был взят главный плацдарм союзников — неприступная крепость Тобрук. Не дав противнику опомниться, Роммель предпринял дерзкое наступление против превосходящих сил британцев, и к июлю 1942 части его армии находились уже возле Эль-Аламейна, всего в 100 километрах от дельты Нила, куда были отброшены британские войска.

Британское командование настолько было напугано действиями блестящего генерала, что удалило его имя из новостных сводок. «Я хочу, — обращался главнокомандующий К.Дж. Окинлек к своим офицерам, — чтобы вы всеми возможными способами развеяли представление, что Роммель является чем-то большим, чем обычный германский генерал. Для этого представляется важным не называть имя Роммеля, когда мы говорим о противнике в Ливии. Мы должны упоминать «немцев», или «страны Оси» или «противника», но ни в коем случае не заострять внимание на Роммеле». (Роммель был казнен в 1944 году за причастность к заговору против Гитлера).

К концу октября 1942 года в Северной Африке установилось шаткое равновесие: испытывающие острый недостаток горючего немецко-итальянские силы не могли развивать наступление, в то время как британцы накапливали силы за счет свежих колониальных дивизий, а также новейшей боевой техники, поступающей из США.

Таким образом пока Роммель находился в Германии на лечении от острой амебной дизентерии, менее чем за две недели танковая армия «Африка» была отброшена на тысячу километров назад, в Тунис. А 8 ноября 1942 года после того, как американские войска высадились в Марокко и Алжире, немецкая армия и вовсе оказалась в окружении. Тогда же — осенью 1942 года — произошел и общий перелом в войне — Вермахт был остановлен у Сталинграда.

С этим периодом связано одно интересное свидетельство.

Главный раввин Израиля (с 1937 по 1959) Ицхак Герцог в 1941 году покинул Эрец Исраэль в надежде помочь своим собратьям, уничтожаемым нацистами. С этой целью он посетил Англию и Южную Африку, а в 1942 году, когда Роммель вел свое успешное наступление, находился в США. Многие уговаривали рава Герцога остаться, не возвращаться «на верную гибель» в Палестину. Но рав вернулся, заявив, что после того, как в Святой земле возник национальный очаг, являющийся началом Избавления, Израилю уже ничего не угрожает.

Не упоминая прямо «войну Гога и Магога», рав Герцог дал ясно понять, что Вторая мировая война — по меньшей мере, в той части, где она связана с Эрец Исраэль — это война, в которой «народ Израиля будет спасен и не будет более порабощен».

Исход из Египта был предreshен в день заключения союза между Богом и Авраом: «сказал Он Авраму: знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но и над народом, которому они служить будут, произведу Я суд, а после они выйдут с большим имуществом. Четвертое же поколение возвратится сюда, ибо доселе еще не полна вина Эморийца» (Берешит 15:15-16).

Точно так же и в первомайский Песах 1929 года была предопределена победа над нацизмом, проявившая себя только в Лаг ба-Омер 1945-го, когда вина Гитлера исполнилась.

Выше я отметил, что расправа Всевышнего над нацизмом в известном отношении напоминала Его расправу над египетскими богами.

Но в чем собственно сходство? В том, что в 1312 году до н.э. последний праздничный день Песаха — 21 нисана совпал с Весенним равноденствием, а в 1929-ом н.э. — с Первомаем?

В 1312 году, вроде бы, совершались не только нумерологические, но также и вполне природные чудеса. Тогда для Израиля расступилось море, сомкнувшееся над египетской армией!

Но в действительности на развилке 1929/1945 годов произошло аналогичное событие!

В трактате «Сота» (1) мы читаем: «Сказал Раба бар бар Хана, сказал р.Иоханан: так же трудно соединить суженых, как рассечь воды Ям-Суф... Как сказано в песне о выходе из Египта: «Господь селит одиноких в доме, выводит узников» (Теилим 68.7) Т.е. сказано: «выводит одиноких», чтобы сделать их «домом». Поэтому сказано, что соединение брачных пар подобно исходу из египетского рабства («выводит узников»).

Теперь пришло время напомнить, что в 1929 году не только началось восхождение Гитлера на германский политический Олимп, но и произошло его знакомство с Евой Браун, которую, вопреки всем немыслимым трудностям Всевышний все же довел до заключения брачного контракта с Гитлером.

Мировой дух не просто превратил фюрера в полено для Лаг ба-Омера, предварительно он еще и женил его на еврейке!

Никогда еще выражение «ирония истории» так не соответствовало моменту, как в истории гитлеровской женитьбы.

Черный Пурим 45-го

И эта ирония обнаруживает, что миссия Евы Браун несла отчетливые признаки не только Песаха, но также и Пурима.

Это утверждение, поначалу, может обескуражить.

Действительно, параллелей между историей Эстер и историей Евы усматривается множество, однако при этом все они, все до единой... диаметрально противоположны по своему смыслу!

Сравним судьбы этих женщин. И Эстер, и Ева стали женами диктаторов планетарного масштаба. Но Эстер была приведена на «конкурс красоты» против своей воли, и если в дальнейшем проявила сноровку, чтобы оказаться на нем победительницей, то лишь затем, чтобы избежать бессрочного заточения в гареме (2:13-17).

В противоположность ей Ева сама положила себе целью стать женой Гитлера, однако при всей проявляемой ею сноровке, долгие годы оставалась лишь его наложницей.

Выйти из «гарема», превратиться из любовницы в жену Еве позволил ее последний отчаянный шаг, также внешне напоминающий поступок Эстер: Ева самовольно явилась к фюреру, как некогда царица Эстер самовольно появилась в покоях персидского деспота. При этом, как и Эстер, Ева «сни-скала милость в глазах царя» (Эстер 5:8)

Однако, если в случае Эстер эта милость проявилась в том, что Ахашверош повесил Амана, то Ева удостоилась того, чтобы самой угодить с Аманом в петлю.

Оба деспота не догадывались о еврейском происхождении своих пассий («Не рассказывала Эстер ни о народе своем, ни о происхождении своем» (2:10). Но если Эстер прекрасно знала о своих корнях и от всего сердца стремилась помочь своему народу, то Ева не подозревала, что принадлежит еврейству, и болела за Амалека, а не за Израиль.

Эстер сознательно шла спасать Израиль, в то время как Ева ничего не знала о плане «посрамления фюрера» и действовала вопреки ему.

И все же помимо своей воли и сама не подозревая того, Ева своим еврейским происхождением послужила орудием мести Гитлеру за истребление еврейского народа.

Пурим 1945-го года был Черным Пуримом. Но Пуримом он при этом все же оставался, так как «светлый» Пурим

неизбежно сопряжен с самым густым мраком. Пурим 1945-го был Пуримом наизнанку, и все же то был истинный Пурим, так как «выворачивание» — это знамя Пурима, а не просто сопутствующее знамение.

Действительно, в книге «Эстер» имя Всевышнего ни разу не упоминается, т.е. определенность Божественного промысла теряет свои очертания: непонятно, кто истинный хозяин ситуации, кто является истинным царем — «царь» с маленькой, или с большой буквы (иврит не знает заглавных букв). Пурим характеризуется не просто переворачиванием («наафоху»), а многократным переворачиванием, так что теряется зримое различие между Аманом и Мордехаем. Пурим отмечен самыми причудливыми переменами, переодеваниями и мимикриями, а потому Черный Пурим является одной из полноценных модификаций «Светлого».

Остается лишь отметить, что в пользу «пуримной» природы этой истории говорит также и то, что появилась Ева в Берлине в самое подходящее тому время — в адаре!

Относительно точной даты ее приезда в Берлин биографы решительно расходятся. Анжела Ламберт утверждает, что Ева уехала в Бергхоф после своего дня рождения: «ночью 7 или 8 февраля Ева выехала из Берлина».^[262]

По сведениям Гана, отъезд произошел раньше. Он утверждает, что свое день рождения Ева встретила уже в Мюнхене: «На небольшой вилле на Вассербургерштрассе, превратившейся вечером 7 февраля в островок благополучия в море бедствий, собралось очень много народу. Когда ранним утром все уже собрались расходиться, Ева неожиданно заявила, что намерена вернуться в Берлин и при любых обстоятельствах оставаться с Гитлером до конца»^[263].

Относительно возвращения в Берлин Ган и Ламберт также расходятся.

Между тем общий итог этих разноречивых сведений таков: от момента принятия Евой соответствующего решения (условно — день ее тридцатитрехлетия, где бы она при этом не находилась), до появления в Берлине (вторая

половина февраля по Гану – первая декада марта по Ламберт) эти драматические события развивались в течение месяца, который в еврейских календарных координатах соответствовал в основном адару.

Пурим пришелся на 27 февраля, так что по Гану, Ева вполне могла предстать перед Гитлером даже и в сам этот день. По Ламберт это произошло через неделю – 22 адара (7 марта)^[264].

Но в любом случае, согласно традиции, аура Пурима, распространена не только на полнолуние, но и на весь месяц, как сказано: «Месяц, когда печаль у них обратилась в радость» (Эстер 9:22). «С наступлением Адары преумножают веселье» Таанит 26.б.).

Иными словами, операция возмездия в положенные ей сроки явно уложилась.

Песах и Пурим

Нам осталось лишь разъяснить природу того синергизма, который выявился в этой истории между Песахом и Пуримом.

Праздники эти теснейшим образом связаны, они друг друга подразумевают и даже дублируют.

Действительно, Пурим и Песах своеобразны тем, что связанные с ними события продолжались год, причем в случае Песаха – они завершались в нисане, а в случае Пурима – начинались в нисане. Таким образом, Песах оказывается первым эпизодом, связанным с историей Пурима, а Пурим – последним эпизодом, связанным с историей Песаха!

В самом деле, десять казней, согласно традиции, продолжались около года. Цикл, начавшийся с превращения воды в кровь и завершившийся тем, что кровью были помазаны косяки еврейских домов – был годовым циклом!

В этом отношении знаменательно, что девятая предпоследняя казнь – казнь тьмы, то есть казнь сокрытия света – пришла именно на месяц адар. Таким образом, в этом

пасхальном событии имелось некоторое предвестие Пурима – времени, когда Всевышний скрывает Свой лик.

События Пурима также продолжались год: с того момента, как Аман в начале нисана задумал уничтожить еврейский народ и до того, как его план обернулся своей противоположностью, в том числе гибелью его сыновей – также прошел год.

При этом оба эти праздника оказались включены друг в друга. Трехдневный пост, объявленный Мордехаем и Эстер после царского указа об уничтожении евреев, пришелся как раз на Песах – на 13, 14 и 15 нисана. Таким образом, пост «Таанит Эстер» накануне Пурима – это своеобразная воспоминание о несостоявшейся пасхальной трапезе.

При этом, если принять во внимание дату, в которую все перевернулось, в которую поменялся знак в настроении Ахашвероша и был повешен Аман, то праздновать Пурим следовало бы 16 нисана. Но отчасти так именно и происходит. Во всяком случае, в странах галута, где Песах празднуется дважды, во время второго седера (16 нисана) принято вспоминать не только об Исходе, не только о первой пасхальной трапезе, но и о пире Ахашвероша, Эстер и Амана. Таким образом, не только события Песаха отображаются в Пуриме, но также и события Пурима отображаются в Песахе.

При этом события Песаха и события Пурима задают собой два горизонта Царствия Божия, два предела Божественной власти: предельную явленность и полную сокрытость. Если во время Песаха Всевышний был предельно открыт избранному народу в чудесах и Слове, то во время Пурима Он был предельно сокрыт и безмолвен.

И наконец, самое любопытное, Песах и Пурим соревнуются относительно эмпирической даты одного и того же лунного месяца.

С тех пор, как с IV века для приведения в соответствие лунного и солнечного годов стал использоваться метонов цикл, заранее известно, когда и какой лунный год окажется високосным, т.е. включающим в себя 13-й месяц – 2-ой адар.

Однако, согласно Торе, объявляться високосный год должен Сангедрином на основании климатических признаков, а не на основании астрономического алгоритма.

Таким образом, в древние времена, каждый последний зимний месяц адар народ заранее не знал, какой будет следующий месяц – последний месяц зимы – 2-ой Адар, или первый весенний месяц Нисан. Народ заранее не знал, какой праздник он будем праздновать в следующее полнолуние – Пурим или Песах.

Итак, Песах и Пурим кровные братья, и не удивительно, что они в равной мере проявили себя в истории победы над нацизмом.

Загробный эпизод

Итак, мы выяснили, что пытаюсь послужить своему кумиру, Ева невольно завела его в экзистенциальный тупик.

Экзистенциальный тупик? – вправе удивиться читатель. – Да что может добавить какой-то там «тупик» к мукам злодея, с утра до вечера варящегося в котле с кипящим маслом?

Ну, а что, если все эти котлы лишь «стереотип»? Что если посмертное воздаяние осуществляется по Сведенборгу? Что если грешники отправляются в ад совершенно добровольно, и «по удовольствию сердца своего желает там остаться»? «Он еще не знает о тех мучениях, которые ожидают его в аду, но и те, что знают их, все-таки желают остаться там: никто в духовном мире не может устоять против своих страстей, потому что страсть человека принадлежит его любви, любовь — его воле, а воля — его природе или нраву; живет же там всякий по своему нраву»^[265].

Согласно Сведенборгу, души, выбравшие ад, достигают в нем состояния той крайней нескритичности, и того полного нравственного оупения, которых уже при жизни вполне удостоился Гитлер. Эти застывшие адские души находятся в полном ладу с самими собой. Таким образом, тот (сведенборговский) ад, на который должен был быть осужден Гитлер,

для него самого являлся бы вполне сносным альтернативным раем. Но вот тут-то его и подстерег «экзистенциальный тупик»!

Политическое завещание Гитлера оказалось в таком вопиющем противоречии с завещанием личным, что он завис между ними, вошел в цикл. В отличие от прочих «рядовых» тиранов и диктаторов, Гитлер чувствует себя в своем альтернативном раю крайне дискомфортно. Этот дискомфорт, этот внутренний разрыв составляет его особую бонусную муку, муку подстроенную ему его патроном – Ангелом Смерти к вящей славе Владыки мира.

Но где в этой ситуации оказывается Ева Браун? Каков статус главной героини сего романа? Какова ее участь?

Определенно этого сказать нельзя, но общие соображения не сулят жене Гитлера ничего хорошего. Случившееся с Евой является следствием ее самообмана, ее адской гордыни, как сказано: «И любил он проклятье – и оно пришло на него, и не желал благословения – и оно удалилось от него». (Теилим 109:17).

Ламберт, как может, оправдывает свою героиню, отмечает, что Ева не вступила в нацистскую партию и сторонилась политики, наконец, что она не была предубеждена против евреев и кому-то из них даже оказывала протекции.

Но тем лишь пагубней сделанный ею окончательный выбор. Относительно середины 30-х годов, времени, когда ситуация еще в целом оставалась открытой, Ган пишет: «Ева постепенно прониклась симпатией к идеям национал-социализма. Их сторонницей объявила себя и ее мать. Только Фриц Браун и Ильзе пока даже слышать не хотели о них. Между сестрами все чаще вспыхивали жаркие споры. Когда Ева за семейным столом просто повторяла высказывания Гитлера, Ильзе, напротив, отстаивала взгляды, заимствованные у своего шефа доктора Леви Маркса (еврея, покинувшего Германию в 1937 –А.Б.). Видимо, она была влюблена в него. Между сестрами наметились принципиальные разногласия, которые им так и не удалось преодолеть».^[266]

Пророчество осуществилось: о романе Адольфа и Евы действительно услышал весь белый свет,... но с чувством недоумения и гадливости.

Единственным интересным моментом этой повести оказалось еврейство его героини! Исключительно оно превратило тошнотворную трагикомедию в первоклассную драму, в истинный шедевр, созданный Мировым духом!

Тот самый Мировой Дух, тот самый Ангел Смерти, которому самозабвенно служил Гитлер, подослал ему еврейскую жену, которую он же провел за нос, маня мечтой «после победы поехать в Голливуд и сыграть там историю ее жизни с Гитлером». ^[267]

Владыка мира пожелал «наградить» Гитлера женитьбой на еврейке и подыскал ему подходящую партию. По-видимому, общий план «сватовства» принимался на небесах приблизительно так, как это описывается в последней главе 1 книги Мелаким: «И сказал (пророк): итак, внимай слову Господню: видел я Господа, сидевшего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло при Нем, справа и слева от Него. И сказал Господь: кто бы уговорил Ахава, чтобы он поднялся и пал в Рамоте Гиладском? И один говорил так, а другой говорил иначе. И выступил дух, и стал пред Господом, и сказал: я уговорю его. И сказал ему Господь: как? И он сказал: я выйду и стану духом лживым в устах всех пророков его. И сказал Он: ты уговоришь и преуспеешь в этом; выйди и сделай так» (1 Мелаким 22:19-22).

Дух увлек Еву двусмысленным пророчеством того, что о ее любви заговорит весь мир. Пророчество сбылось, однако в смысле желательном для Духа, а не для Евы.

В такой же мере, в какой брак, заключенный в ночь на 29 апреля в берлинском бункере, явился посрамлением Гитлера, он явился также и посрамлением его жены.

Проследить духовные корни ее падения, ее самообмана нам поможет дополнительное сопоставление Евы с царицей Эстер, вроде бы то же связавшей свою судьбу с властным самодуром, однако внимавшей при этом именно Богу, а не Ангелу смерти.

Пророческие полномочия

Традиция относит царицу Эстер к семи пророчицам Израиля, и это — Сара, Мирьям, Двора, Хана, Авигаль, Хульда и Эстер (Мегила 14-15).

В своем сборнике вопросов и ответов (Шут 167) Рав Йосеф Колон (1420-1480) рассматривая соответствующее место из трактата Мегила утверждает, что все случаи близости Эстер с Ахашверошом совершались против ее воли, т.е. являлись фактически изнасилованиями, но все было по-другому, когда «на третий день оделась Эстер по-царски и стала во внутреннем дворе царского дома против дома царя; а царь сидел на царском престоле своем в царском доме против входа в дом. И было: когда увидал царь царицу Эстер, стоявшую во дворе, снискала она милость его; и простер царь к Эстер золотой скипетр, что в руке его, и подошла Эстер, и коснулась конца скипетра» (5:1).

Один раз в жизни царица Эстер пожелала того, что Ева желала постоянно – приблизиться к царю. Но помимо того, что этот порыв имел у них разную мотивацию, у них отличались также и сами источники волеизъявления.

Когда Эстер добровольно (рискуя жизнью) явилась перед лицом царя, она руководствовалась не столько самоотверженным человеческим порывом, сколько пророческим наитием; она, как сказано в Гемаре, вошла «облаченная Духом святым» (Мегила 15).

Инициатива снизу, предпринятая Мордехаем, являлась не единственным фактором пуримной истории. А это очень существенный момент. Дело в том, что данная (пророческими средствами) на все времена Тора допускает нарушение собственных законов, нарушение, совершенное по пророческому вдохновению.

Как говорил Рамбам: «Если Он укажет, что следует временно отменить какую-либо из предписывающих заповедей или разрешит на время делать что-то из того, что запрещено Торой, — мы обязаны слушаться его и посту-

пать так, как он велит. Всякому, кто не последует указаниям пророка, положен карет. Это правило касается всех законов Торы, за исключением заповеди, запрещающей идолопоклонство... и верно в том лишь случае, если мера эта временная, и пророк не говорит о том, что Бог приказал ему отменить эту заповедь навсегда, а заявляет лишь, что Всевышний повелел нарушить указание Торы по какой-либо особой причине и лишь временно. Так поступил, например, пророк Элиягу на горе Кармель, когда принес там жертву всесожжения, в то время как Храм в Иерусалиме уже существовал, и поэтому жертвоприношения могли быть принесены только там»^[268]

Аналогичных примеров временной отмены заповедей имеется немало.

По слову Всевышнего, Гидон использовал при жертвоприношении запрещенные кумирные деревья (Шофтим 6:26); пророк Элиша на войне против Моава (2 Малахим 3:19) по повелению Создателя распорядился вырубить все деревья, в то время как в Торе сказано: «Если осаждать будешь город, то не порти дерев его, поднимая на них топор, потому что от него ты ешь, и его не руби» (Дварим 22:19).

Таким же нарушениям Торы являлось, разумеется, согласие Авраама совершить человеческое жертвоприношение – закласть своего сына Ицхака (Берешит 22).

Как мы видим, решение царицы Эстер войти к царю также было сделано по Божественному наитию («облаченная Духом святым»).

Итак, обращение зла в благо может осуществляться двояко: либо за счет прямого пророческого вмешательства, либо за счет косвенного использования человеческих козней. Первый путь служит к прославлению не только Бога, но и его служителя – пророка, второй — к посрамлению нечестивца, как великого (Гитлер), так и малого (его жена).

Единый Бог

Центральная идея Синайского откровения – это единство, единственность Творца. Вопреки тому, что многие творения противятся Ему, только Он является последним источником их противления, единственным хозяином мироздания.

Как сказал рабби Моше Кордоверо: «Он дает жизнь даже тому, кто творит зло, и более того, Он дает ему силы даже в тот час, когда тот совершает само злодейство».^[269]

В мидраше говорится: «Тот, кто увидит красивое строение, дворец, поймет и признает, что есть хозяин у этого дворца, и мудрый архитектор построил его. Но заметив, что дворец в огне, ибо злодеи сжигают мир, подумает, может быть нет хозяина? Пока не откроется ему сам Хозяин и скажет: Я этот Властелин дворца, и намеренно, по замыслу Моему он объят пламенем» (Берешит раба. Лех леха).

Синайское откровение подразумевает, что Бог поддерживает все живое, что существование всякого человека, будь он злодей или праведник, обеспечивается Всевышним, хотя первому Он воздает преимущественно в этом мире, а второму — в грядущем. Как сказано в трактате Таанит (11.а): «Как с грешников в грядущем мире взыскивают даже за малое преступление, которое они совершают, так в этом мире взыскивают с праведников даже за малое преступление, которое они совершают. Как праведников в грядущем мире удостоивают награды даже за малую заповедь, которую они исполнили, так в этом мире удостоивают награды грешников даже за малую заповедь, которую они исполнили».

Иудейская концепция единобожия подразумевает, что в эмпирическом падшем мире (хотя и в разных пропорциях) в каждом существе присутствуют как искры добра, так и покрывающие их скорлупы («клипот») зла.

Поэтому в конечном счете от Бога исходит и добро, и зло, как сказано: «Я – Господь, и нет иного. Я создаю свет и

творю тьму, делаю мир и совершаю зло, Я, Господь, делаю все это» (Ишайя 45:6-7).

Причем, иногда Всевышний даже непосредственно направляет на Израиль его врагов.

Так начальник ассирийского войска произнес перед воротами Иерусалима: «Разве не по воле Господней пошел я на это место, чтобы разорить его? Господь сказал мне: Иди на эту страну и разори ее» (2-я Малахим 18:25).

А в мидраше сказано: «В течение восемнадцати лет слышался во дворце Навухаднецера глас Божий («бат коль»): «Ступай, разрушь дом Мой, домочадцы которого не слушают Меня» («Эйха Раба» 23).

Подход этот, наделяющий зло определенным смыслом и возлагающий ответственность за него на Создателя, применим, разумеется, также и по отношению к нацизму.

В Рош-Ашана 5695 (1934) года главный раввин Израиля Авраам Ицхак Кук произнес проповедь, в которой сопоставил Трубный рог – Шофар, призывающий к Избавлению, — с тремя типами шофаров, используемых при трублении на Рош-Ашана. Предписано, чтобы шофар был сделан из бараньего рога; если же такового нет, то трубить можно из рога любого кошерного животного, если и того нет, то трубят даже в заведомо негодный шофар.

Рав Кук сказал: «Шофар сделанный из рога нечистого животного, и также шофар, сделанный из животного, использованного для идолослужения — негодны. Но если протрубили в него, то это засчитывается как исполнение заповеди. И можно трубить в любой шофар, если нет кошерного шофара, и только нельзя благословлять на него.... В маленький, негодный шофар, трубят по необходимости, если невозможно найти пригодный шофар. Когда прекратилось воодушевление святости, и стремление к избавлению, продиктованное им, и когда даже естественное природное национальное чувство, воля нации и ее стремление к уважению также прекратились, если невозможно протрубить в кашерный шофар избавления, то приходят враги Израиля и трубят в наши уши

к избавлению. Они заставляют нас услышать голос шофара, и не дают нам покоя в изгнании. Шофар нечистого животного становится шофаром Мошиаха. Амалек, Петлюра, Гитлер и т.д. пробуждают к избавлению. И тот, кто не услышал голос первого шофара, и также голос второго, обычного шофара он не хотел услышать, ибо замкнуты были уши его, услышит голос нечистого, негодного шофара, услышит против собственной воли. И он также исполнит заповедь, также такое национальное чувство, пробужденное палкой антисемитизма, «еврейской проблемой», также в нем есть избавление».

[270]

Короткометражный фильм «Братья» («Acheinu») основывается на реальном происшествии: на пустынной автобусной остановке пожилой религиозный еврей обращается к стоящему рядом с ним светскому парню – «брат». Тому не по душе эта фамильярность. Между ними завязывается спор, в ходе которого открывается, что старик – бывший узник нацистского концлагеря.

– Учитель мой твердо выучил меня тому, что все евреи братья, – подвел итог старик.

– И кто же твой учитель? –

– Адольф Гитлер.

В этот момент у молодого человека зазвонил телефон. Он отвлекся на четверть минуты, а когда захотел продолжить разговор, то старика не обнаружил.

Иными словами, Гитлера в этой истории-притче нарек своим учителем Ангел, возможно даже пророк Элияу, а не просто иудей.

[271]

Паранойяльный проект Гитлера прорвал гнойник легитимного христианского антисемитизма, вывел его на чистую воду. Действительно, отношение к еврейству и иудаизму со стороны христианского и просвещенного мира на протяжении веков было презрительным. Иудаизм представлялся христианам сброшенной оболочкой, досадным пережитком.

Видный либеральный теолог первой половины XX-го века Гарнак писал в своей монографии, посвященной врагу «Ветхого завета» ересиарху Маркиону (ок. 85 — 160): «Отвергнуть Ветхий завет во втором столетии была ошибка, которую отвергла великая церковь; удержать ветхий завет в XVI веке была судьба, от которой реформация не смогла уйти. Но сохранение его в протестантизме с XIX-го века есть следствие религиозной и церковной косности».

Разделяя в целом этот маркионистский подход, Гитлер в отличие от Гарнака видел Израиль находящимся не на помойке истории, а на ее капитанском мостике. Гитлер придавал еврейству такое же выдающееся значение, которое ему — пусть и с иным знаком — придавали только пророки Израиля. Катастрофа европейского еврейства — это танахический выброс, это извержение древнего богоборчества эпохи судей и царей в пласты новейшего времени: «Сказали они: пойдём и истребим их, чтобы перестали быть народом; и да не будет больше упомянуто имя Израиля! Ибо единоклюны они в совещаниях, против Тебя заключают союз. Шатры Эдома и ишмаэлитян, Моав и Агрим, Гевал, и Аммон, и Амалек, Пелэшэст с жителями Цора, и Ашшур присоединился к ним» (Теилим 83:5-9).

Переживший нацистские лагеря писатель Жан Амери в таких словах характеризовал самоощущение еврея в лагере смерти: «Все арийские узники, хотя и оказались в одной пропасти с нами, евреями, стояли выше, более того, были отделены от нас расстоянием в несколько световых лет» ^[272].

Столь радикально отделяя еврейство от всего прочего человечества, Гитлер словно вторил словам Св.Писания: «Кто — как Твой народ Израиль, единственный народ на земле?!» ^[273]

«Евреи, — писал Фромм, — были не единственным объектом, на который он направлял свою страсть к разрушению. Гитлер, несомненно, ненавидел евреев, но мы бы не погрешили против истины, сказав, что одновременно он ненавидел и немцев. Он ненавидел человечество, ненавидел саму жизнь». ^[274]

Но в том-то и дело, что выделив евреев столь экстремальным образом, Гитлер указал на них как на корень (столь ненавистой ему) жизни, опознал в них главных свидетелей Живого Бога. А это значит, что в чудовищном негативизме Гитлера присутствовал Божественный позитив, присутствовал отблеск Синайского откровения.

Контролирующий всю действительность Всевышний в первую очередь обращается к силам света, но в определенной мере все же и к силам тьмы. Если Он обращается к ним непосредственно через пророка, тогда автор исторической иронии – Он.

Если же Бог обращается к темным силам косвенно, используя грешника – его злые дела (ко благу), то ироническую ситуацию Он создает в соавторстве с Ангелом смерти.

Но так, или этак: «Все создал Господь во имя Свое, даже и злодея для дня беды» (Притчи 16:4).

Примечания

- [1] «Моэд Катан» 16.б
- [2] Луцато «Дерех Хашем» (Часть 2 гл 4 — 9).
- [3] Л. Шестов. «Умозрение и откровение» Париж. 1966 с 51
- [4] Достоевский «Братья Карамазовы» Часть 2. Книга 5 гл 3.
- [5] Сартр «Экзистенциализм — это гуманизм» Сумер-ки богов М. 1989 с.327
- [6] Берешит (1:24—27).
- [7] Сангедрин (37а).
- [8] «Американские просветители» Т 2. Пейн «Век разума» М 1969 с 150.
- [9] И. Кант «Трактаты и письма» Москва 1980 стр 243
- [10] Флоренский «Философия культа» Богословские труды №17 1977 Стр 152
- [11] Флоренский «Философия культа» Богословские труды №17 1977 Стр 97
- [12] Магараль «Нецах Израэль» 18
- [13] Цит по Б. Быховский «Кьеркегор» М. 1972 с 182—183
- [14] Л. Шестов. УМСА — PRESS Париж. «Sola fide —Только верою» с.284.
- [15] <http://www.rgmu.ru/old/80Katkov.htm>
- [16] Ответ на тройку, или мои беседы в КГБ в 1983—1984» (<http://www.proza.ru/2012/10/31/1717>
- [17] Магараль «Гвурат Ашем» (64)
- [18] В. С. Библер. От наукоучения к логике культуры. М. 1991, с. 150.
- [19] Бемидбар 9:1—13
- [20] Сота 1.
- [21] Тиллих «Мужество быть» Символ 28 Париж 1992.
- [22] Шмот (12:1—18)
- [23] Шмот (14:4).
- [24] Миха (7:15)

- [25] Ошеа (2:18).
- [26] Мидраш Танхума (Дварим 1)
- [27] Мехилте де-раби Ишмаэль «Дешира» 8.
- [28] Рош-Ашана (11.а)
- [29] Йеремияу (23:7)
- [30] Соколов. В. «Роман М. Булгакова „Мастер и Маргарита“: Очерки творческой истории». — М.: Наука, 1991. — 176 с.
- [31] Лакшин «Булгакиада» <http://vsegdargi.livejournal.com/30280.html>.
- [32] Д.Х.Бреннер «Черная магия Адольфа Гитлера» <http://www.litmir.co/br/?b=129328&p=35>
- [33] «Контекст 1978» Бэлза «Генеалогия Мастера и Маргариты» М. 1978 стр 189.
- [34] В. Лакшин «Литературно-критические статьи» М 2004 стр 277
- [35] 1 кн Мелахим 22:19
- [36] Шмот 23:20
- [37] Зоар Берешит 1 стр 158
- [38] Гегель. Энциклопедия философских наук, в 3-х тт. Том 1 «Логика». М.: Мысль, 1974, с. 397–398 (§209)].)
- [39] Гегель Цит по Кузнецов «Немецкая классическая философия» М. 1989 с 377. Гегель. Сочинения. — Т.10. Лек-ции по истории философии. Книга вторая. — М.: Партиз-дат, 1932, с.47.
- [40] Эсава. Магараль «Нецах Исраэль» (Гл 16) [41] Шеллинг Ф. В. Й. Философия искусства. М.: Мысль, 1966. стр 143
- [42] В. Н. Кузнецов «Немецкая классическая философия» М. 1989 с. 181.
- [43] Гулыга «Шеллинг» ЖЗЛ М. «Молодая гвардия» 1984 стр 159).
- [44] Теилим (2:4)
- [45] М. Каганская и З. Бар-Селла, «Мастер Гамбс и Маргарита» Тель-Авив 1984 стр 155.
- [46] Эстер (8:9)
- [47] Б. Соколов «Булгаковская энциклопедия» М 1996 с.149.

- [48] Сангедрин 11.б.
- [49] Шмот 16:1—6
- [50] Шабат 87.б
- [51] Шмот 12:1—3.
- [52] В некоторые високосные годы субботними могут оказаться два полнолуния — I-го Адара и Сивана. Но поскольку I-ый Адар никаким боком не задевает Нисана, и остается чисто зимним месяцем (совпадающим с февралем), праздничным субботним полнолунием в этом случае считается полнолуние Сивана.
- [53] М. Каганская и З. Бар-Селла, «Мастер Гамбс и Маргарита» Тель-Авив 1984 с 155.
- [54] Йосиф Флавий «Против Апиона» 1:22
- [55] Послании к Диогену (4)
- [56] Послание X.
- [57] Л. Шестов «Афины и Иерусалим» 1993 М. «Наука». с.520
- [58] <http://lib.ru/DPEOPLE/frankl.txt>
- [59] Сангедрин 37.а
- [60] Сартр «Экзистенциализм — это гуманизм» Сумерки богов М. 1989 с.327.
- [61] Нида 16.б
- [62] Тиллих «Мужество быть» Символ 28 Париж 1992 Гл.6
- [63] Сукка (52.а)
- [64] Сартр «Экзистенциализм — это гуманизм» Сумерки богов М. 1989 с.323.
- [65] Луцато «Дерех Ашем» (5.3—4)
- [66] Киддушин 31.а.
- [67] Тиллих «Мужество быть» Символ 28 Париж, 1992 с.94.
- [68] Шмоне квацам» (8.157)
- [69] Шеллинг Ф. В. Й. Философия искусства. («О Данте в философском отношении») М.: Мысль, 1966.-496с.
- [70] Магараль «Нецах Исраэль» (Гл 16)
- [71] Л. Шестов «Философия и проповедь» гл. VI
- [72] В. Фромер «Хроники времен Сервантеса» М. 2016 с 268.
- [73] Шеллинг «Сочинения» Ф. Н. Т 1, М. 1987 с 56

- [74] Лев Шестов «Наш исцелитель» Журнал Слово 6. Часть 1. 1989
- [75] А. Камю «Бунтующий человек» 1990 М стр 153
- [76] Лакшин В. Я. «Открытая дверь» М. 1989 с.409
- [77] Лакшин В. Я. «Открытая дверь» М. 1989 с.412
- [78] А. Кораблев «Мастер — астральный роман». Донецк 1996 с 3.
- [79] В. Наумов «Булгаков должен выбрать сам» http://www.levdurov.ru/show_arhive.php?&id=1139
- [80] Дварим 23:8
- [81] «Берешит раба» 9:13
- [82] Комментарии на «Ваикра» 11:4—7
- [83] Берешит 33:10
- [84] Комментарии к Торе «Хаэмек давар» (на слова: «и плакали») Берешит 33:4
- [85] Р. Кук Игарот Гараи 112
- [86] «Публичный закон» 102—14
- [87] Деяния 15:15—26.
- [88] р. Герцог «Законы Израиля в соответствии с Торой»
- [89] «Sine poenitentia enim sunt dona et vocatio Dei» («Ибо дары и призвание Божие непреложны»)
- [90] Дов Контонер «Вести-2» от 17.12.2015.
- [91] Чаадаев «Философические письма» Письмо первое.
- [92] Теоретическая культурология. Академический Проект; РИК, 2005. — с 40.
- [93] Кант «Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука»
- [94] А.В.Ахутин. «Поворотные времена» Часть 1
- [95] <http://www.translarium.info/2014/02/jordanian-sheikh-allah-gave-land-of.html>
- [96] Рамбам «Мишна Тора» «Законы Царей» глава 11.[97] Э. Ренан «Жизнь Иисуса» М. 1991 стр 86
- [98] Х. Маккоби «Революция в Иудее» М. 2007 стр 130.[99] Х. Коэн «Иисус — суд и распятие» Иерусалим, 1997 стр 55.
- [100] Д. Флуссер «Иисус» Урал 1999 стр 71.
- [101] Д. Флуссер «Иисус» Урал 1999 стр 74—75

[102] Элизабет Кюблер-Росс «Жизнь, смерть и жизнь после смерти». <https://www.litmir.me/br/?b=229699&p=7>

[103] https://www.youtube.com/watch?v=zbfeuCqLJcE&ab_channel=AlexTseitlin

[104] Р. Кук «Маарей арайя» Дерех атхия

[105] Х.Маккоби «Революция в Иудее» М. 2007 стр 125.

[106] Х.Маккоби «Революция в Иудее» М. 2007 стр 239.

[107] «Иисус: Все мировые исследования». Эксма 2021

[108] Ведигг Фрикке «Кто осудил Иисуса?» Москва 2017

[109] Бейджент Майкл «Бумаги Иисуса» https://jhist.org/lessons_10/beidg_05.htm

[110] Х.Маккоби «Революция в Иудее» М. 2007 стр 189

[111] + Х.Маккоби «Революция в Иудее» М. 2007 стр 157

[112] Х.Маккоби «Революция в Иудее» М. 2007 стр 189-190

[113] Иудейская Война Кн 6. Гл 5:4.

[114] «Иудейские древности» XX 8.6). Ср. «Деяния апостолов» 21:38.

[115] Бультман «Иисус» «Путь» М. 1990 Стр 127.

[116] Х.Маккоби «Революция в Иудее» М. 2007 стр 117.

[117] Флоренский «Философия культа» Богословские труды №17 1977 с 244

[118] Климент Александрийский «Строматы» I. 1 М. 1892

[119] Арье Барац «Там и всегда» М. 2024

[120] Х.Коэн «Иисус — суд и распятие» Иерусалим 1997 Стр. 13

[121] И.Флавий «Иудейская война» (Кн 2 Гл 9:2-3)

[122] Даниэль 8:25

[123] Ваикра 26:8.

[124] Йешайу 11:7

[125] Йешайу 60:22.

[126] И.Флавий «Иудейская война» (Кн 1 Гл 33:1-3).

[127] Йермияу (25:11)

[128] 2-я кн. Малахим (19: 35)

[129] Иехезкель (38:18-39:8)

[130] 2-я кн. Малахим (2:11)

[131] Магараль «Нецах Исраэль» (Гл. 26)

[132] 1-я кн. Малахим (9:6-8)

[133] «Сказал Скала Израиля: Я владею человеком. А кто владеет Мною? Праведник» «Тана давей Элияу» (2:7)

«Сказал Бог Израиля мне, произнес Твердыня Израиля, владеющий человеком, праведник, владеющий страхом Божиим» (2 Шмуэль 23:3). Что это значит? Сказал раби Абаху: Сказал Бог Израиля мне, произнес Твердыня Израиля: Я властвую над человеком. Кто властвует надо Мною? Праведник. Ибо Я выношу приговор, а он отменяет» «Моэд Катан» 16.б

«Святой, благословен Он, владеет человеком, а Пресвятым владеет праведник. Ибо Тот принимает решение, а праведник отменяет его» (Зоар 2.15а)

[134] Шаббат (118.б)

[135] Йома (23.а)

[136] 1-я кн. Малахим 8:34

[137] «Моэд Катан» 16.б

[138] Ваикра (26:8)

[139] Дварим (6:4)

[140] 1 Шмуэль (13:19-14:14)

[141] Захария (14:3–21)

[142] Теилим (85:14)

[143] «Вот, Я посылаю ангела пред тобою, чтобы хранить тебя на пути и привести тебя в то место, которое Я приготовил. Блюда себя пред ним и слушайся голоса его, не прекословь ему, ибо он не простит проступка вашего, так как имя Мое в нем». (Шмот 23:20)

Комментарий РаШИ на слова: «Имя Мое в нем»: «Наши мудрецы говорили, что это Метатрон, ибо его имя подобно Имени его Властелина: его имя имеет то же числовое значение (314), что и Всесильный («шин», «далет», «юд»).

[144] Дварим (6:4)

[145] «И было, при приношении дара подошел Элияу, пророк... И ниспал огонь Господень, и пожрал всеожжение и дрова, и камни, и прах; и воду, что была во рву, вылизал. И увидел (это) весь народ, и пал на лицо свое; и сказали (люди): Господь — Он Бог, Господь — Он Бог.» (1 Малахим 18:39)

«И сказал ему Господь: что это в руке твоей? И он сказал: посох. И сказал Он: брось его на землю. И он бросил его на землю, и тот превратился в змея, и побежал Моше от него. И сказал Господь Моше: прости руку твою и возьми его за хвост. И он простер руку свою, и схватил его, и стал он посохом в руке его». (Шмот 4:2-4)

«Святой, да будь Он благословен, нисходит править древом познания добра и зла, добро которого — это Метатрон, а зло — Самаэль, Ангел Смерти, князь демонов» (Зоар Дварим. Ки-тице стр 490)

«Посох Моше — это Метатрон: от него истекает жизнь, и от него же истекает смерть. Когда он преображается в посох — он Помощник, действующий ко благу, а когда он преображается в змея, он Супостат, и Моше бежит от него» (Зоар Берешит 1 стр 158)

[146] Теилим (85:14)

[147] «Вот, Я посылаю ангела пред тобою, чтобы хранить тебя на пути и привести тебя в то место, которое Я приготовил. Блуди себя пред ним и слушайся голоса его, не прекословь ему, ибо он не простит проступка вашего, так как имя Мое в нем». (Шмот 23:20)

[148] «И сказал Он: Сам Я пойду, дабы успокоить тебя. И сказал тот Ему: если не пойдешь Сам, то и не выводи нас отсюда. Ибо по чему же узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в очах Твоих? — ведь только, если пойдешь с нами, чем и отличены будем я и народ Твой от всякого народа, существующего на земле». (Шмот (33:15)

[149] «Сказано: «И ходил Ханох пред Богом; и не стало его, ибо Бог взял его.» (Берешит 5:24). «Взял» из сего мира сынов человеческих. И возносился Ханох понемногу до тех пор, пока не стал тем, кем стал — Метатроном великим и могучим, Князем Лика, перед которым трепещут высшие и низшие, вельможи и слуги»: «Зоар Хадаш». «Рут».

«Рабби Ишмаэль сказал: Я спросил Метатрона и сказал ему: «Почему ты именуешься по Имени Твоего Создателя (семьюдесятью именами)? Ты более велик, чем все князья,

возвышеннее, чем все ангелы, более возлюблен, чем все служители, в большей чести, чем все воинства, вознесен выше всех владык во власти, величии и славе; почему же тогда называют тебя «Отрок» на небесных высотах?». Он ответил: «Потому что я Ханох, сын Ёареда. Когда поколение Потопа стало грешить и обратилось ко злым делам, сказав Богу: «Отойди от нас; не хотим мы знать путей Твоих! (Иов 21:14), Святой, будь Он Благословен, взял меня из их среды, — дабы быть свидетельством против них, (будучи) на небесной высоте, для всех, кто придет в мир, чтобы они не могли сказать: «Милосердный — жесток!» «Еврейская книга Ханоха» (4:1-2)

[150] «В «Еврейской книге Ханоха» приводится рассказ патриарха рабби Ишмаэлю о преображении его в ангела Метатрона, сопровождавшемся превращением его плоти в «пылающие светильники». В «Больших Хехалот» утверждается, что каждый мистик должен пройти через это превращение, хотя, будучи менее достоин этого, чем Ханох, он подвержен опасности сгореть. Это прохождение через начальную стадию процесса мистического преобразования — неотвратимая необходимость. В другом фрагменте указывается, что мистик должен стоять прямо «без рук и ног», ибо те сгорели. «Это стояние без ног в бездонности пространства упоминается и в других источниках как характерное переживание многих экстатиков, в частности, описание аналогичной стадии приводится в Апокалипсисе Авраама». Гершом Шолем «Основные течения в еврейской мистике» Т.1 «Библиотека алия» 1989 с. 83

[151] Даниэль 3

[152] «Согласно общепринятой точке зрения, по субботам опавшие колосья можно растирать только пальцами. Но по мнению рабби Йехуды, который, как и Иисус, был галилеянином, это можно делать также и «руками». Следовательно, некоторые фарисеи придирались к ученикам Иисуса, очевидно, за то, что те следовали своей галилейской традиции. Незнакомый с народным обычаем переводчик оригинального текста

на греческий добавил в этом месте, вероятно, для наглядности, также и срывание колосьев, не подозревая, что тем самым он ввел в синоптическую традицию единственный случай нарушения Закона учениками Иисуса.» Д.Флуссер «Иисус» Урал 1999https://cursorinfo.co.il/interest/v-biblii-nashli-skrytuyu-glavu-blagodarya-ultrafioletu/?fbclid=IwAR1yn-VI9jT-hYPxAA66ykd9YPFMxROYI5BjoGa4JpMDY_WJCKfcNoj62OA

[153] Шофтим (7)

[154] «За сорок лет до разрушения Храма жребий (козлов) не выпал на правую сторону; красная лента не побелела; западный свет перестал пылать; двери святилища (ворота Храма) открылись сами по себе...» Йома (39.б)

[155] «За сорок лет до разрушения Храма оставил Сангедрин палату Тесанных камней и стал заседать в лавке» (Сангедрин 41.а)

[156] «Рабби Цадок сорок лет держал пост и молился, чтобы предотвратить разрушение Иерусалима» Гитин (56.а-б)

[157] «Болезни наши переносил он, и боли наши терпел он.... Притеснен и измучен он был, и не открывал рта своего, как овца, ведомая на заклание, и как овца, безгласная пред стригущими ее, и не открывал рта своего... Но Господу угодно было сокрушить его болезнями; если сделает душу свою жертвой повинности» (Иешайяу 53:4-10)

«Кого любит Святой, благословен Он, того сокрушает страданиями, как сказано: «Господу угодно было сокрушить его болезнями». Может быть не важно, если человек принимает страдания с любовью? Отнюдь. Как сказано: «Если сделает душу свою жертвой повинности». (Брахот 5).

[158] «Смерть праведника искупает» (Моэд Катан 28.а).

«Если человек праведен, то он истинное возношение для искупления. А иной, неправедный, не пригоден для возношения, потому что порча на нем, как написано: «и не к благоволению и т.д.». И поэтому праведники — искупление вселенной. И приношение они во вселенной» (Зоар 1,65.а).

[159] Рош-Ашана (11.а)

[160] Лука (9:27-36)

[161] Захария (14:3–21)

[162] Тана давей Элияу (2:7)

[163] «Сказал Элияу р. Иеуде, брату р. Саллы: «Мир будет существовать не менее восьмидесяти пяти юбилеев (пятидесятилетий), и в последний юбилей придет сын Давидов». Он спросил его: «В начале или в конце юбилея». Тот ответил «Не знаю». «Завершится он, или не завершится?». Он ответил «Не знаю». (Сангедрин 97.б)

[164] «Два тысячелетия хаоса соответствует началу, потому что в начале нет ничего действительного. Два тысячелетия Торы соответствуют середине, так как все материальное имеет протяженность и только центру не свойственно ничего материального. Два тысячелетия дней Машиаха соответствуют завершению, потому что полнота в завершении, а Машиах завершает весь мир, и приводит его к единству. Поэтому приличествует («рауй»), чтобы Машиах явился к концу времен» Магараль «Нецах Исраэль» Гл 27 стр 135

[165] Мф 26:53 «Или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?»

[166] Бава-Батра (12, а)

[167] Лука (21:37): «Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Масличная»

[168] Захария, (14:3–21)

[169] Мф (20.17-19): «И, восходя в Йерушалаим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних, и сказал им: вот, мы восходим в Йерушалаим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть; и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день воскреснет».

[170] Лука (19:29-31): «И когда приблизился к Виффагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, послал двух учеников Своих, сказав: пойдите в противолежащее селение; войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился; отвязав его, приведите;

и если кто спросит вас: зачем отвязываете? скажите ему так: он надобен Господу»

[171] Лука (19:35-38)

[172] Лука (19:41-43): «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружают тебя, и стеснят тебя отовсюду»

[173] Д.Флуссер «Иисус» (стр 146-147). «Как это обычно было в святых местах, в Храме в то время процветала торговля. Иисус не являлся единственным, у которого столы менял и скамьи продавцов голубей в священном месте вызывали недовольство, но только после смерти Иисуса ученые-книжники нашли практические средства для того, чтобы удалить за пределы Храма торговлю, которая была необходимой частью храмовой службы»

[174] Захария (14:21)

[175] Мф (21:12) «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей».

[176] Мф. (21:17) «И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь».

[177] Мф (21:18-22)

[178] Амос 9:11

[179] Шир аШирим (2.7)

[180] 1 Диврей Аямим (Паралипоменон) (16:15-18): «Помните вечно завет Его, — слово, (что) заповедал Он на тысячу поколений, — Который заключил Он с Авраамом, и клятву Свою Ицхаку. И поставил Он это Йаакову законом, Израилю — заветом вечным.»

[181] Лука (21:37): «Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Масличная».

[182] (Мф24:1): «приступили ученики его, чтобы показать ему здания Храма. Иисус же сказал им: видите ли все это?

Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено»

[183] «Йермияу сказал всем сановникам и всему народу так: Господь послал меня пророчествовать о доме этом и о городе этом все то, что вы слышали. А теперь исправьте пути ваши и деяния ваши и послушайтесь голоса Господа Бога вашего, и отменит Господь то бедствие, которое изрек о вас». (Йермияу 26:12)

[184] 1 Малахим (9:6-8)

[185] «Смерть праведника искупает» (Моэд Катан 28.а).

«Если человек праведен, то он истинное возношение для искупления. А иной, неправедный, не пригоден для возношения, потому что порча на нем, как написано: «и не к благоволению и т.д.». И поэтому праведники — искупление вселенной. И приношение они во вселенной» (Зоар 1,65.а).

[186] (Мф (26:1-6) Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим: вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить; но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе.

[187] Лука (22:7-16) «Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху. Они же сказали Ему: где велишь нам приготовить? Он сказал им: вот, при входе вашем в город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним в дом, в который войдет он»

[188] Мк (14:10-11): «И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать Его им. Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему сребренники. И он искал, как бы в удобное время предать Его»

[189] Лука (22:16) «сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что

уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием»

[190] Формула благословения, понятная иудеям (ср. благословение плода граната на Новый год: «Да будет воля Твоя, чтобы наши заслуги умножились, как зерна граната»)

[191] Лука (22:16-19): «И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание».

[192] 1 Шмуэль (13:22) Но Бог дал победу народу своему, «ибо для Господа нет препон, чтобы спасти через многих или немногих» + 1 Шмуэль (14:6)

[193] Тегил 118

[194] Захария (14:3-21)

[195] Мк (14:43-44): «И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его и ведите осторожно». Йешу был связан только при передаче его римлянам: «связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату» (Мф 27:2)

[196] Иешайяу (53:4-10)

[197] Мк (14:55-62): «Опять первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты ли Христос (Помазанник), Сын Благословенного? Иисус сказал: Я»

[198] Лука (22:67-71)

[199] Мф (26:65-66)

[200] Мф (26:3) «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы»

[201] Мк (15:2-6) «Пилат же опять спросил Его: Ты ничего не отвечаешь? видишь, как много против Тебя обвинений. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился.»

[202] «Рабби Цадок сорок лет держал пост и молился, что-

бы предотвратить разрушение Иерусалима» Гитин (56.а-б)

[203] Деятельность р. Йеошуа б. Леви, обнаружившего Машиаха среди нищих, собирающихся у ворот Рима, захватывает 240 год, т.е. 4000 год еврейской хронологии (Хелек 98.)

[204] Теилим (82:6)

[205] Шмот (23:20). «И сказал Он: Сам Я пойду, дабы успокоить тебя. И сказал тот Ему: если не пойдешь Сам, то и не выводи нас отсюда. Ибо по чему же узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в очах Твоих? – ведь только, если пойдешь с нами, чем и отличены будем я и народ Твой от всякого народа, существующего на земле.» Шмот (33:1-15)

[206] «Посох Моше – это Метатрон: от него проистекает жизнь, и от него же проистекает смерть. Когда он преобразается в посох – он Помощник, действующий ко благу, а когда он преобразается в змея, он Супостат, и Моше бежит от него» (Зоар Берешит 1 стр 158)

[207] «Сыновья Ноаха не предупреждены относительно «соучастного идолослужения»... «Соучастное идолослужение» - это богослужение, которое с одной стороны обращено к безначальному единому Богу, Творцу неба и земли, а с другой присоединяет к нему силы телесные или какую-либо из природных сил, или человека, который их воображением поставлен на божественную высоту, но так что первый признается основой, а второй - производным. Даже если это является идолослужением для евреев, для сыновей Ноаха в этом нет ничего запретного... Христиане не являются идолослужителями» Главный раввин Израиля И.Герцог «Законы Израиля в соответствии с Торой»

[208] Деяния (1:6-7): «Они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти».

[209] «В мидраше Танхума царство это (Эсава) уподобляется свинье («вепрь лесной»), которая в конце времен должна стать кошерным животным. В будущем Святой, благословен Он, спросит с него по суду. Третий Храм будет отстроен этим

народом (Эдомом), который вернет в исходное состояние, то, что он разрушил». Рабейну Бехаей комментарий на «Ва-икра» (11:4-7)

[210] Гегель. Энциклопедия философских наук, в 3-х тт. Том 1 «Логика». М.: Мысль, 1974, с. 397–398 (§ 209)

[211] Н.Ган «Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба» с 119. М. АСТ, Астрель 2003

[212] גלובס 29/02/2000 «המסיכה של אייכמן» לויין <https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=192032>

[213] Н.Ган «Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба» с 26. М. АСТ, Астрель 2003

[214] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» «Предисловие» с 30. М. Ко Либри 2008

[215] «Independent» 05.04.14 <https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/did-adolf-hitler-marry-a-woman-of-jewish-descent-dna-tests-show-eva-braun-associated-with-ashkenazi-9239784.html> «Jewishru» 08.04.2014 <https://jewish.ru/ru/stories/reviews/4483/>

[216] Н.Ган «Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба» с 42. М. АСТ, Астрель 2003

[217] Н.Ган «Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба» с 43. М. АСТ, Астрель 2003

[218] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» с 23. М. Ко Либри 2008

[219] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» с 441. М. Ко Либри 2008

[220] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» с 314. М. Ко Либри 2008

[221] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» с 343. М. Ко Либри 2008

[222] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» с 147. М. Ко Либри 2008

[223] Уильям Ширер «Взлет и падение третьего рейха» Т. I Кн 1 гл 1 М. Воениздат 1991

[224] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» с 468. М. Ко Либри 2008

[225] Эрих Фромм «Адольф Гитлер: Клинический случай некрофилии» М.1992. Стр 59

[226] Эрих Фромм «Адольф Гитлер: Клинический случай некрофилии» М.1992. Стр 61

[227] Эрих Фромм «Адольф Гитлер: Клинический случай некрофилии» М.1992. Стр 68-69

[228] Н.Ган «Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба» с 128. М. АСТ, Астрель 2003

[229] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» с 153. М. Ко Либри 2008

[230] Н.Ган «Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба» с 72. М. АСТ, Астрель 2003

[231] Н.Ган «Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба» с 62. М. АСТ, Астрель 2003

[232] Н.Ган «Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба» с 90 М. АСТ, Астрель 2003

[233] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» Гл 10. М. Ко Либри 2008

[234] Н.Ган «Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба» с 67. М. АСТ, Астрель 2003

[235] Н.Ган «Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба» с 107-108. М. АСТ, Астрель 2003

[236] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» с 395. М. Ко Либри 2008

[237] Н.Ган «Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба» с 138. М. АСТ, Астрель 2003

[238] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» с 502. М. Ко Либри 2008.

[239] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» «Предисловие» с 202. М. Ко Либри 2008)

[240] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» «Предисловие» с 496. М. Ко Либри 2008)

[241] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» «Предисловие» с 397. М. Ко Либри 2008

[242] Н.Ган «Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба» с 175. М. АСТ, Астрель 2003

- [243] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» «Предисловие» с 566. М. Ко Либри 2008
- [244] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» «Предисловие» с 521. М. Ко Либри 2008
- [245] Н.Ган «Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба» с 185. М. АСТ, Астрель 2003)
- [246] Уильям Ширер «Взлет и падение третьего рейха» Т. II «Последние посетители бункера» М. Воениздат 1991
- [247] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» «Предисловие» с 566. М. Ко Либри 2008
- [248] Н.Ган «Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба» с 49-50. М. АСТ, Астрель 2003
- [249] Н.Ган «Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба» с 74-75. М. АСТ, Астрель 2003).
- [250] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» «Предисловие» с 202. М. Ко Либри 2008
- [251] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» «Предисловие» с 206. М. Ко Либри 2008
- [252] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» «Предисловие» с 75. М. Ко Либри 2008
- [253] Н.Ган «Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба» с 33. М. АСТ, Астрель 2003
- [254] Н.Ган «Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба» с 46. М. АСТ, Астрель 2003
- [255] Н.Ган «Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба» с 147. М. АСТ, Астрель 2003
- [256] Ганс Ульрих фон Кранс «Боги Третьего рейха» Гл 3 «Обряды и ритуалы СС» стр 79 «Вектор» СПб 2009).
- [257] Л.Повель, Ж.Бержье «Утро магов» М. 1992 стр 66
- [258] Л.Повель, Ж.Бержье «Утро магов» М. 1992 стр 58
- [259] Д.Х.Бреннан «Черная магия Адольфа Гитлера» М. 1992 стр 35-36)
- [260] Г.У. Кранс «Боги Третьего рейха» «Вектор» СПб 2009 стр 70 <https://www.labyrinth.ru/books/204332/> http://loveread.ec/read_book.php?id=321111&p=13

[261] Д.Х.Бреннан «Черная магия Адольфа Гитлера» М. 1992 <https://www.litmir.me/br/?b=129328&p=35>).

[262] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» «Предисловие» с 505. М. Ко Либри 2008

[263] Н.Ган «Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба» с 175. М. АСТ, Астрель 2003)

[264] А.Ламберт «Загубленная жизнь Евы Браун» «Предисловие» с 506-507. М. Ко Либри 2008

[265] И.Сведенборг «О небесах, о мире духов и об аде» 574

[266] Н.Ган «Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба» с 49. М. АСТ, Астрель 2003

[267] Н.Ган «Ева Браун. Жизнь. Любовь. Судьба» «Письмо». М. АСТ, Астрель 2003.

[268] Рамбам «Предисловие к комментарию Мишны».

[269] Кордоверо «Томар двора» гл 1 «ми эл камоха»

[270] http://chassidus.ru/library/rav_kook/maamarim/shofarot.htm

[271] <http://ariellamedia.net/portfolio/acheinu/>

<https://www.youtube.com/watch?v=WdmP528BuJI>

[272] цит. по: С. Лезов. «Национальная идея и христианство»

[273] Диврей Айамим (Хроники) 1, 17:21.

[274] Эрих Фромм «Адольф Гитлер: Клинический случай некрофилии» М.1992. Стр. 79.

Оглавление

Предисловие	4
Пролог	7
«1836»	9
«1988»	309
«2140»	441
«1929/1945»	565
Примечания	619

Арье Барац

День шестой

Дизайнер обложки Лия Барац-Аруш